1 р. 90 к.

Индекс 70331

ISSN 0130-1616. Знамя. 1991. № 12. 1—240.

ISSN 0130-1616

ЗНАМЯ

1991

Декабрь



Ежемесячный литературно-художественный и общественно-политический журнал

Выходит с января 1931 года

Содержание

12
ДЕКАБРЬ
1991

Москва
Издательство
«Правда»

К сведению уважаемых авторов:

Редакция не рецензирует рукописи, а только сообщает о своем решении.

Рукописи просим высылать заказной бандеролью,— посылки редакция не принимает.

Рукописи, присылаемые на дом работникам редакции, не рассматриваются.

Рукописи объемом менее двух печатных листов редакция не возвращает.

Учредитель — трудовой коллектив редакции журнала «Знамя».

Руслан Киреев

ИЗ ПОЗДНЕЙ ПРОЗЫ

Лунные моря в камышах и с водою

Сочиняла ли она свои истории, выуживала ли из книг — установить теперь было трудно. Еще тогда позабылись, почти сразу же, как были рассказаны, и теперь никакое усилие памяти не могло воскресить их. Лишь общее впечатление осталось, остались аромат и колорит: что-то сказочное, таинственное, с маркизами и принцессами, с пылкой любовью, верностью до гроба и прочими атрибутами романтического театра.

К-ов был самым, пожалуй, страстным, самым внимательным, самым благодарным слушателем. Не она ли, думалось впоследствии, и растормошила мальчишескую фантазию? Не она ли, дворовая девочка с продолговатым тонким лицом, пробудила вкус к сочинительству? Старшеклассница, так для него и осталась ею, но осталась, разумеется, там, в детстве, куда он, старея, наведывался все чаще, входил, как в хрустальный дворец, благоговейными шагами, дабы укрыться — на краткий хотя бы миг! — от ветров и холода взрослой жизни.

Звали ее Алевтиной. С матерью жила, но время от времени захаживал и отец — веселый, ладный, в сверкающей офицерской форме. Потом уехал с новой семьей на север, но и там не забывал дочери. Писал, рассказывали соседи, письма, деньги слал и посылочки.

Аля не говорила об отце. О матери, впрочем, тоже — да и что говорить! Неинтересно... Среди маркизов обреталась ее мечтательная душа, в воздушном порхала замке и лишь раз опустилась на грешную землю, в самый тяжкий для маленького К-ова, самый беспросветный час.

Бойкот объявили ему. Всем двором, единодушно — столь велико было презрение к негодяю, у которого поднялась рука обворовать полунищую старуху.

На копеечную пенсию жила, одна, подкармливаемая соседями. Кто супа плеснет, кто сунет горячий, из духовки, пирожок, а раз отсыпали с полведра яблок. Старуха тоненько нарезала их и вывесила сушить у двери на августовское солнце. За два дня яблоки сморщились, потемнели, а на третий исчезли внезапно — лишь обрывки сиреневой бечевы болтались на гвоздике, шевелимые ветром. Грешили на мальчишек — на кого же еще! — но кто, кто именно? И вдруг обнаружили сиреневую бечеву с яблочной долькой, одной-единственной, в палисаднике ошеломленного К-ова. Взрослые — те повозмущались и забыли, благородные же детские сердца простить такой низости не умели. Бойкот! Бойкот мерзавцу!

Что означало сие короткое, хлопающее, как выстрел, слово? Бить будут, решил двенадцатилетний К-ов, но оказалось, хуже чем бить. Не здоровались, не замечали, превратили в пустое место, и — удиви-

тельное дело! — он, пальцем не касавшийся злополучных яблок, ощущал себя виноватым.

О, какие веселые игры бурлили на площадке, куда ему отныне не было доступа! Какие жаркие споры клокотали там! Как таинственно шушукались! С независимым видом проходил он мимо, чувствуя, как горят в глазницах сухие, чужие какие-то глаза. Но ладно игры, можно в конце концов и без игр, когда же увидел плотно рассевшихся вокруг Али присмиревших ребят, для которых начиналась очередная волшебная история, то ноги его словно прилипли к вымостившему двор неровному булыжнику.

И тут раздался голос сказительницы. Звала его, звала как ни в чем не бывало, спокойно и дружелюбно, но ноги прилипли, и он не мог оторвать их. Оторвать не для того, чтобы приблизиться, а чтобы убежать, спрятаться, зажмурить пылающие глаза. Тогда она поднялась и быстрым легким шагом подошла к отверженному. Ты чего, сказала, идем, я им все объяснила... «Что объяснила?» — выговорил он. «Что это не ты взял». Темные глаза смотрели чуть исподлобья. «А кто?» Аля отвела взгляд. «Какая разница! Главное, не ты... Пошли, все ждут». Так и сказала: ждут, и это означало, что бойкот снят, ей поверили. Разве могли не поверить Але!

О яблоках не вспоминали больше, но ведь кто-то же да стибрил их! Кто-то сожрал втихаря и с умыслом подкинул бечеву в палисадник К-ова. Ах, как ненавидел он своего тайного врага! Как жаждал вызнать подлое имя! Подкараулив у ворот возвращающуюся из школы Алевтину, взмолился: кто? — но она лишь посмотрела на него и губ не разомкнула. «Я хочу,— настаивал он,— знать правду!» Она опустила глаза. «Зачем?» И странно так улыбнулась, обнажив розовые десны.

Тогда-то К-ов впервые обнаружил, что Аля отнюдь не красавица. Да и не так уж принципиальна... Словом, перестал боготворить поверенную маркизов, а случалось, испытывал даже неприязнь, перенося гнев с ускользнувшего от возмездия обидчика на ту, которая протянула руку помощи.

То был неправедный гнев, позже он поймет это. Поймет, что был недобр к Алевтине, и не только он, не только... Кажется, сама судьба, крепкорукая тетка, ополчилась против хрупкой мечтательницы.

К-ов в Москве жил, но в город свой наезжал часто и знал про бывшую соседку все. Закончив библиотечный техникум, по специальности не работала — секретарем пошла и на канцелярском поприще этом преуспела. Закованная в броню ироничности (а также косметики), цепко охраняла начальственный бастион: москвич убедился в этом, когда однажды позвонил из гостиницы. «Вас слушают»,— раздался официальный голос, и он вкрадчиво осведомился, не Алевтина ли это Николаевна. Опытный психолог (еще бы! Столько лет просидеть на секретарском стуле), сразу догадалась, что это не проситель, и ответила в тон, не без кокетства и не без колкости: «Алевтина Николаевна...» Ответила как женщина — искушенная женщина! — отвечает мужчине, но не конкретному мужчине, а мужчине вообще, существу ненадежному и сластолюбивому. Такой, стало быть, сложился у нее образ...

Рассказывали, была у нее любовь с неким виолончелистом, дело к замужеству шло, и даже вроде бы подали заявление, однако коварный виолончелист женился на другой. Аля пыталась отравиться, но бедняжку откачали. Тогда она надолго замуровала себя в четырех стенах. Даже на работу не ходила — мать приносила домой бумаги, и она с утра до вечера стучала на машинке. Потом замельтешили кавалеры. То укротитель тигров, прибывший с цирком на гастроли, то известный в городе рецидивист Стася Бочкин (К-ов учился с ним в одной школе), то красавец негр, студент из Ганы... Все это, разумеется, прежде было, давно, очень давно, теперь же кавалеров наверняка поубавилось. Если вообще остались... Тем не менее кокетливая нотка прозвучала, К-ов, во всяком случае, уловил. Осторожно назвал себя, присовокупив: помнишь такого?

Тишина наступила в трубке... Тишина разочарования? Тишина недоверия? А он-то звонил с надеждой встретиться: ностальгические тиски сжимали беллетриста все отчаянней, все неудержимей тянуло в вымощенный булыжником двор, в укромном уголке которого девочка с толстой, по пояс, косой рассказывала глуховатым голосом про благородных маркизов. «Читаем,— отозвались наконец (тем же глуховатым голосом!). — Читаем-читаем...»

Это означало, что, конечно же, помнят и не только помнят, а внимательно следят за земляком, который приноровился — кто бы думал! — сочинять книги. И еще означало, понял самолюбивый автор, что книги эти ей не очень-то по душе. Слишком заземленные — по сравнению с теми небесными кружевами, что плела когда-то юная сказительница. Слишком много в них скучной, вязкой, не нужной никому правды... Что ж, он не станет спорить с суровым своим критиком. Не станет оправдываться... Разве что напомнит об астрономическом кружке, который помещался — Алевтина, надо полагать, не забыла! — по соседству с ними.

По вечерам во дворе устанавливали телескоп, вокруг которого мгновенно собиралась местная детвора. Гуманные астрономы не только не отгоняли посторонних, но время от времени позволяли взглянуть, и малыши, встав на цыпочки, припадали к заветному окуляру. Зря! Зря не отгоняли — решит впоследствии сочинитель книг. Слишком рано узрел он в пространстве звездного неба сухие лунные моря...

Беллетрист ошибся: не в чрезмерном пристрастии к правде упрекнула Алевтина Николаевна, когда москвич четверть часа спустя предстал перед нею — в трех кварталах от гостиницы располагалась контора,— не в пристрастии к правде, а в лукавом отступлении от нее. «Читаем,— повторила врастяжечку,— читаем... Молодец, очень похоже». Темные, в густой краске глаза смотрели насмешливо. «Похоже на что?» — спросил-таки он, не дрогнув. «На правду»,— ответила она с некоторым даже удивлением: на что ж, мол, еще! — и плавно подняла трубку,— хотя звонка не было. «Да?» — произнесла... «Нет»,— произнесла... Снова: да, и снова: нет — безупречно вежливая, уверенная в себе, все-то на свете знающая и ничего не боящаяся, кроме разве что старости, которая уже запустила в нее, хищница, тлетворные коготки.

Алевтина сопротивлялась. О, как остервенело, как зло, как изобретательно сопротивлялась она! На ней была розовая кофта с широченными, как крылья, рукавами — младшая дочь К-ова все охотилась за такой, на испитом лице толстым слоем лежал грим, а поредевшие, угасшие от злых реактивов волосы отливали платиной. Алевтина сопротивлялась — в отличие от К-ова, который шел за бывшей соседкой след в след, не отставал (вот уже и внучка родилась), но которому по душе была распускающаяся осень. Крутило ноги, быстрей уставал, поверхностно-чуткий сон то и дело прерывался, и утомляли шумные компании, прежде столь любимые им, зато отныне имел право не спешить, не гнать — жить наконец-то в соответствии с тайным внутренним пульсом, медлительности и ненапряженности которого всегда стеснялся. С легким сердцем шагал навстречу старости, узнавая и привечая ее, как привечают полузабытого, из детских лет, друга. Да,

именно из детских, из того самого хрустального дворца, о котором — не случайно же! — и Алевтина вспоминала, полюбопытствовав вдруг, догадался ли инженер человеческих душ, кто подкинул тогда в палисадник бечеву из-под яблок. «А то,— молвила,— могу сказать».

К-ов испугался. Он точно помнит, что испугался, хотя виду не подал. Шуточку отпустил, отпустил комплиментик, вопросик задал — игривый и необязательный... Уводил, словом, от яблок и палисадника, от правды уводил — той самой правды, которую когда-то чуть ли не зубами выдирал. Теперь сами протягивали — бери, упивайся! — но он, зажмурившись, мотал головой. Не надо... Будто местами поменялись! Или нет, не менялись, просто то, что трепетно пульсировало когда-то в душе тонколицей девочки с косой, не умерло, не исчезло бесследно—бесследно ничто не исчезает!—в сочинителя книг перелилось, точно были они сообщающиеся незримо сосуды. Бесследно ничто не исчезает, иначе безвидной и пустой сделалась бы земля, как тот дрожащий в стеклышках телескопа лунный ландшафт, и беспризорный Дух маялся б, тоскуя по смертным сосудикам, чья затейливая соединенность одна только и способна сохранить вечный огонь... Вообще-то беллетрист не отличался галантностью, но тут неожиданно для себя взял сухую, старенькую ручку с по-девичьи алыми ноготками и быстро поцеловал. «О-о!» — насмешливо протянула Алевтина Николаевна.

Федя Тапчан, переводчик Гомера

Как бы поздно ни возвращался К-ов, окно у Тапчанов светилось. Не окна — окно, да и то лишь нижний правый угол: отгородившись книжными полками, собственноручно сбитыми из некрашеных досок, хозяин корпел при настольной лампе над своим Гомером.

Высокая, с бронзовыми финтифлюшками лампа, антикварная, почти античная, была единственной ценной вещью в доме. Своего рода семейной реликвией, которая, правда, время от времени исчезала: Лидусь, верная Федина подруга, оттаскивала ее, обернув простыней, в ломбард, дабы хоть как-то свести концы с концами.

Случалось, под рукой не было ничего, кроме горстки муки да яичка, что сиротливо белело в распахнутом холодильнике, который хозяйка регулярно мыла — пусть даже и пустовал всю неделю,— а после проветривала и сушила. Это была не просто опрятность, это было проявление оптимизма, веселой и энергичной уверенности, что жизнь счастливо изменится. Вкусными вещами заполнится холодильник, нагрянут гости, польется вино в бокалы (бокалы стояли наготове, протертые), и вдохновенные зазвучат тосты.

Увы, жизнь не менялась — во всяком случае, в лучшую сторону. По-прежнему лепешки на воде месила Лидусь, и пресные лепешки эти оказывались на редкость вкусными — К-ов раза два или три сподобился откушать, по-прежнему штопала портки сыну. Да и откуда взяться достатку, если рефератами перебивался глава семьи — с английского и немецкого, ради которых откладывал со вздохом златоустого Гомера? И ладно б платили регулярно, а то ведь по полтора, по два месяца тянули, иногда дольше; тут-то и уплывала из дому запеленутая в простыню античная лампа. В конце концов отваливали все сразу, кучей, и в тот же день девственно чистый холодильник набивался снедью, пеклись пироги и скликались гости. Долговязый хозяин торжественно восседал на обшарпанном, с высокой спинкой стуле в

вышитой бессарабской сорочке, бледнющий от недоедания и бессонных ночей, и провозглашал здравицы в честь присутствующих, за каждого в отдельности, никого не забывая. То ли из-за двухметрового своего роста, то ли из-за напряженности во взгляде, словно бы преодолевающем большое расстояние, но казалось, Федор смотрит откуда-то с высоты. Не свысока, нет,— даже оттенка высокомерия не было в заботливо-сосредоточенных глазах,— а именно с высоты, с той самой, надо полагать, балканской вершины, где пируют и резвятся бессмертные боги. Сам при этом почти не пил — не пил и не ел,— гостям же все подливал да подкладывал. «А кинза?» — спохватывался вдруг, и в певучем голосе — нотки ужаса. Это он разглядел, зоркоглазый, с хладного своего Олимпа, что в наваленной на блюдо пышной, в крапинках влаги зелени отсутствует ароматнейшая из трав.

Жена небожителя, полненькая, маленькая, чуть ли не вдвое короче супруга, виновато хлопала под линзами очков болезненно-выпуклыми глазами. «Кинзы не купила... Петрушка была, я петрушки взяла».

Стон отчаянья — не очень громкий, но стон,— выползал из узкой груди хозяина. Как же так, есть сыр — выдержанный сыр, ноздреватый, повезло, можно сказать,— а кинзы нету! Гости утешали: ну что ты, Федя, все отлично — какой салат, пироги какие, а уж о мититеях, фирменном тапчанском блюде, и говорить нечего,— но бледное остроносое лицо выражало страдание.

Страдала и Лидусь. Преданная, заботливая Лидусь, по-южному гостеприимная. В отличие от мужа, московского молдаванина, наполовину к тому же русского, она была молдаванкой чистокровной, из приднестровского большого села, куда выпускник столичного иняза отправился — по собственному желанию! — отрабатывать в школе положенные три года. Росли тут могучие белые черешни, такие огромные, что даже фитилеобразный Тапчан не всегда дотягивался до крупных, отливающих желтизной ягод. Но раз — о чудо! — ягоды слетели к нему с макушки сами.

Учитель поймал их и, не очень-то удивленный — подумаешь, чудо! — задрал голову. В трепещущей листве беззвучно смеялось среди солнечных пятен девичье лицо. Молодое... Черноглазое...

Столичный гость медленно сунул теплую черешню в рот. «Как,— спросил,— зовут-то?» И сверху, как еще одна ягода, самая зрелая, упало: «Лидусь».

Кавалер, поворочав черешню языком, упруго раздавил ее. Пожмурился: сладкая! Проглотил, выдул косточку. И предложил: «Выходи-ка, Лидусь, за меня замуж».

Так расписывал Тапчан веселое свое сватовство, так пел, разве что не гекзаметром, и увядшая женщина, близорукая, в ветхой кофточке с латкой на рукаве, внимательно и счастливо внимала.

Там же, в приднестровском черешневом селе, зародилась и вторая Федина любовь, не менее пылкая: Гомер. Сперва по-русски читал-перечитывал, а после, подвигнутый примером Льва Толстого, выучил древнегреческий и наслаждался подлинником, разгневанно уличая Жуковского с Гнедичем в беспардонных вольностях. Исправлял на ходу — то словечко, то строку, пока в одно прекрасное утро не засел под гортанное воркование хохлатых бессарабских голубей за собственный перевод. Новый... Современный... С дерзкими смещениями цезуры, что, по замыслу экспериментатора, должно было оживить мумифицированные строки.

Уписывая припорошенные луком сочные мититеи, гости нет-нет да и подтрунивали над новоявленным толмачом, но то гости, люди залетные, К-ов же, который общался с Федором чуть ли не ежеднев-

но, восхищался подвижником. Древнегреческий! По-русски-то не читал толком патриаршей книги, полистал перед экзаменом—и с плеч долой; лишь теперь, пристыженный, всерьез усадил свою милость за глухой, темный текст, рокочущий, как подземная река, вечными водами которой беллетрист надеялся смыть с души нарост суетности. Не тут-то было: суета и здесь подстерегала.

Что делает в первой же песне дерзновенный Ахиллес? Бежит ябедничать на Агамемнона к маменьке, которая, естественно, бьет челом Зевсу. Тот рад помочь, но кряхтит, но озирается беспокойно — нет ли супруги поблизости? — однако супруга тут как тут и закатывает громовержцу истерику. Скандал на Олимпе! Семейная сцена!

А вот у Тапчанов царили мир и согласие. Лидусь, в которой кто бы признал сейчас девушку с черешневого дерева, лезла из кожи вон, дабы оградить от пошлых будней хрупкого небожителя. Захаживая время от времени к жене К-ова, отзывала в сторонку и, вся красная, с чудовищно увеличенными под очками глазами — линзы становились все толще: зрение катастрофически падало,— жарким шепотом просила в долг трешницу. «Только,— заклинала,— не говори Феденьке!» А случалось, не трешницу, случалось, сумму поосновательней, потому что основательные предстояли расходы: сваливались как снег на голову бывшие Федины коллеги, молдавские учителя, и всех встречали здесь с распростертыми объятиями. (Буквально: К-ов собственными глазами видел, как приветливо раскидывал Тапчан длинные руки.) Потом умиротворенные гости отбывали восвояси, переводчик же гомеровского эпоса долго еще коротал трудолюбивые ночи не у зеленого античного светильника, стимулирующего своим вкрадчиво-ровным теплом русский лад древнегреческой речи, а при холодном свете позаимствованной у К-ова пластмассовой лампы.

Ширпотребный свет, однако, не приглушал горящего в Фединой душе священного пламени. Блики этого живого огня проступали на остроносом, с впалыми щеками лице, на алебастровом лбу, падали на тонкие, с изгрызенными ногтями пальцы, на разбросанные по столу листки в каракулях, а также на тех, кто оказывался поблизости,— К-ова, к примеру, который, попадая в поле этого таинственного излучения, всегда неприятно ощущал, сколь тяжел он по сравнению с Федором, сколь телесен, сколь густо опутан паутиной мелочных забот, в то время как нищий сосед его царственно ввысь устремлен — подобно слепому поводырю своему и кумиру. В небесах парит — над балканской грядой, заселенной бессмертными, над воинственными ахейцами, чьи армии напоминают птичьи стаи, над осиным гнездом осажденной Трои... «Откуда,— вопрошал Федор,— увидено это? — И сам же отвечал, воздев палец к звездам, под которыми труженики пера прогуливались на сон грядущий: — Со спутника! Гомер, если хочешь знать, был первым, кто произвел космическую съемку».

Без тени улыбки говорилось это: целомудренно-серьезен был Федя Тапчан — как царь Итаки... Или, если угодно, как сам незрячий вождь, влекущий бывшего школьного учителя по хлябям гекзаметров... Или — что еще точнее — как первозданный мир, еще не изъязвленный иронией, столь любезной сердцу уклончивого беллетриста...

Домой возвращались за полночь. Жена К-ова мирно спала, а в кухне у Топчанов горел свет: слепнущая Лидусь приноровилась с некоторых пор вязать ажурные платки, коими приторговывала в тайне от мужа. Его, впрочем, не настораживало бесконечное рукоделие: Пенелопа тоже ведь ткала из месяца в месяц свой лукавый покров, да и сам Тапчан — из года в год! — вышивал современными нитями древний узор.

Дозволялось ли хоть кому-либо взглянуть на него? Дозволялось.

Одному-единственному человеку, и К-ов, не утерпев, спросил с шутливой небрежностью — как, мол? Выпученные под стеклами очков темные глаза засветились благоговением и восторгом. «Хорошо»,— выдохнула чуть слышно черешневая девушка, уже седеющая, с дряблым подбородком и без зуба спереди.

С удвоенной, с утроенной энергией работала спицами. Понимала: чем больше платочков, тем меньше рефератов, этих коварных рифов на пути ослепительной Фединой ладьи. И вдруг...

И вдруг — буря, шторм, кораблекрушение.

В дверь не позвонили — затрезвонили, испуганный К-ов бросился открывать и увидел незнакомую, растрепанную, с искаженным лицом женщину. Лидусь! О господи, неужели Лидусь? В первое мгновение, в первую долю мгновения он, во всяком случае, ее не узнал. Как, впрочем, и она его. «Это ты? — просипела.— Я не вижу без очков». Тут только он заметил, что она и впрямь без очков, что было столь же невообразимо, как если б предстала перед соседом в ночной рубашке. Что-то с Федором, понял и уже видел мысленно бледное, с впалыми щеками запрокинутое лицо — лицо покойника. Но нет, Федор слава Богу, был жив, жив и здоров, и полон сил, вот только не поэтических сил, а грубых, телесных, заявивших о себе самым что ни на есть хулиганским образом. За что и угодил в милицию... «Федю арестовали»,— пролепетала обезумевшая Пенелопа.

Но сперва, как выяснил К-ов уже на улице, по которой они мчались на выручку узника,— сперва арестовали Лидусь. За ажурные ее платочки, которыми торговала у входа на рынок. Кто-то из соседей видел, как злоумышленницу уводили, поспешил мужу доложить, и тот, оставив Гомера, полетел в тренировочных штанах и домашних, спадающих на ходу тапочках спасать супругу. Не языком спасать, не словами — какие могут быть слова, если дорогое существо схвачено и пленено! — а длинными своими ручищами, которые тут же без особых усилий заломили. В кутузку втолкнули бузотера, а Лидусь, конфисковав платочек, отпустили на все четыре стороны.

Не прошло и получаса, как она вернулась. Не одна — с подмогой в лице сочинителя книг.

Переводчик Гомера метался, как зверь, за глухим стеклом, белый, хмурый, и все косился, косился — по-звериному! — на конфискованный платок, рядом с которым лежали треснутые женины очки. Вот когда прозрел небожитель! Вот когда грохнулся на землю! Вот когда понял, какой ценой оплачиваются олимпийские забавы! Увидев супругу, замахал длинными руками, заговорил горячо, но о чем — попробуй-ка разбери за толстым стеклом, и на миг К-ову почудилось, что в казенном помещении с портретиком на стене — отнюдь не Гомера! — зазвучала вдруг древнегреческая речь.

По-русски же забыл будто. Без единого слова подписал все, что требовали, и по дороге домой тоже ни разу не раскрыл рта. А дома — все так же молча! — сгреб в кучу многолетние рукописи, сунул в корзину для черновиков, утрамбовал, еще сунул — Лидусь смотрела окаменев — и отволок в мусоропровод.

На следующее утро отправился по школам наниматься в учителя. Вакансий не было, но ему любезно обещали, что если появится, дадут непременно знать. Хорошо, бубнил он, хорошо, вот телефон, но день минул, другой, а телефон молчал, и он, пока суд да дело, ушел с головой в опостылые рефераты. Холодильник не пустовал больше, не переводилась зелень в доме и не гасла на столе антикварная лампа. Зато гаснул, и чах, и хирел на глазах ее потомственный владелец. Даже кинза не радовала, любимая травка, которую исправно приносила с рынка несчастная Лидусь. А Гомер? К Гомеру не прикасался

месяца два или три, но однажды открыл — так просто, наугад, едва ли не машинально. Записал что-то, еще записал — Лидусь следила, затаив дыхание. Потом вышла тихонько в кухню, долго колдовала там и, вернувшись, положила на стол пачку листков — кое-где порванных, в пятнах, с не до конца распрямившимися складками. «Одной страницы нет... Двенадцатой».

Когда позвонили из школы — вакансия появилась-таки,— на семейном совете решено было повременить со службой. Вот закончит пятую песню... Ту самую, импровизировал сосед — вернее, бывший сосед, потому что К-ов переехал в новый дом,— ту самую, где, помнишь, нимфа Калипсо собирает в дорогу отклонившего ее любовь — а заодно и бессмертие — Одиссея. Дарит холст для паруса, еду дает, и какую еду, пальчики оближешь (Тапчан, надо полагать, имел в виду мититеи), наполняет ключевой водицей мех, другой мех — сладчайшим нектаром, да еще посылает возлюбленному, который — не забудь! — навсегда покидает ее, попутный ветер. Плот отчаливает, нимфа глядит вослед, уронив руки, а улепетывающий из рая хоть бы раз обернулся!

После К-ов добросовестно перечитал это место; к его удивлению, никаких подробностей об отплытии неблагодарного морехода в каноническом тексте не было. Но это у Жуковского не было, это у Гомера не было, Федя же, распалившись, еще не то рисовал. Огонь вдохновения трепетал на молодом, неподвластном времени лице, срывался голос, длинные руки рассекали воздух...

Теперь К-ов видел его все реже. Последний раз — на широкой, залитой вечерним солнцем улице. Длинные тени пролегли от столбов и деревьев, плавились золотом стекла машин, горели, неурочно вспыхнув, рефлекторы уличных фонарей. Неподалеку располагался ломбард — туда-то, видимо, и направлялись супруги. Но почему парочкой? Так плохи глаза стали, что одна по центру ходить уже не решалась?

В руках у Федора что-то белело, завернутое, как в саван, в простыню. К небу, обители богов, тянулся переводчик Гомера, почти бестелесный, почти невесомый, похожий на удлиненную закатом узкую тень, что, оторвавшись от земли, встала торчком,— тень медлительно-грузной женщины со сверкающими под линзами огромными глазами.

За газетный киоск укрылся беллетрист. Не зря, подумает он позже,— нет, не зря! — отклонил многоумный Одиссей дар обворожительной нимфы. Бессмертие... Лишь теперь начал мало-помалу улавливать стареющий К-ов потаенную иронию этого слова.

Воскрешение деревянного человечка

Последний раз видел Стасика за два с половиной года до смерти, в специализированной больнице, куда его, старого алкаша, упрятали по решению суда на принудительное лечение. Заявление жена написала, многострадальная, терпеливая, преданнейшая Люба,— написала в отчаянии и робкой надежде: авось, убережет горемычного муженька от очередного срока, который, понимала она, станет последним для него. «Пусть хоть умрет как человек. Дома, в чистой постели».

Располагалась больница у черта на куличках, в степном поселке Костры. Врачей с сестрами привозили сюда из райцентра, каждое утро, а вечером забирали. Ходил и рейсовый автобус, но редко, два, что ли, раза в день, поэтому К-ов, в распоряжении которого были считанные часы, решил взять такси. Платил, разумеется, в оба конца, да

еще набавить обещал, но шофер кривился и чесал в затылке. «А там долго стоять? В Кострах-то?» «Пятнадцать минут. Ровно пятнадцать!»

Обычно ему хватало двух суток, чтобы перед тем, как вернуться в Москву после уединенной работы в приморском пансионате, проведать своих — и живых проведать, и мертвых,— но объявившийся нежданно-негаданно Стасик нарушил привычный ритуал: мать, тетка, кладбище, где лежат старики... Не виделись лет десять — да, десять, если не больше,— и когда теперь представится случай! Никогда... И мать, и тетка твердили в один голос, что братец, хоть и младше их, на ладан дышит — резаный, битый, обмороженный... Словом, москвич не скрывал от себя, что едет прощаться с дядюшкой, и оказался прав, хотя Стасик протянул еще два с половиной года. Еще два с половиной года пульсировала и билась эта изувеченная жизнь, но для К-ова последним ее рубежом, последним кадром — стоп-кадром — стал затерянный в степи поселок Костры.

А первым? Что было первым кадром? Шумное ночное вторжение Стасика, которого маленький К-ов ждал нетерпеливо и благоговейно, как героя, ждал, да, считал на пару с бабушкой месяцы до Стасикиного освобождения, потом недели и дни, он же все равно нагрянул внезапно, под барабанный стук в дверь, окно, снова в дверь. Хриплый голос, желтая, поблескивающая при свете керосиновой лампы лысина, треск проламываемых грецких орехов, на которые набросился с тюремной голодухи... Нет, не это было первым кадром, сохранился еще один, куда более ранний: К-ову годика три или четыре, он в постели — почему-то в постели — и вертит в руках деревянного человечка, которого принес ему Стасик, сам, однако, выскользнувший из детской памяти. Вот между этим-то человечком и лечебницей в Кострах и уложилась долгая, бурная и при всем том такая, в сущности, незамысловатая Стасикина жизнь. Ну как уложилась? И по ту сторону было что-то, раньше, и по эту — как-никак еще два с половиной года мыкался, но для К-ова дядюшкино странствие по земле отсеклось голеньким деревянным существом и убогой больничкой. Кадр первый, кадр последний...

Подобно изображению на фотопленке сокрыт до поры до времени этот последний кадр, но смерть — великий проявитель, и картинка стремительно проступает, поражая яркостью и сочностью, которые, знаем мы, никогда уже не поблекнут. Никогда не пожелтеет листва на хилых больничных тополях, только-только зазеленевших под апрельским солнцем, не выцветет синее кашне на дряблой шее, не пожухнет золотой апельсин в дядюшкиной руке, напоминающей пустую грязную перчатку. Такое же, будто внутри нет ничего, и Стасикино лицо: впалый беззубый рот, ввалившиеся щеки...

К-ов с теткой приехал, та звонкоголосо и взволнованно окликнула брата, Стасик вскочил и сразу же, не стесняясь приятелей, чьи серые греющиеся на солнце фигуры тоже отпечатались на этом отныне вечном кадре, захрипел, зашамкал, забулькал, руками замахал... Любка, это она, зараза, она упекла его сюда, она, но ничего, он разберется, пусть только сестра вызволит его, он ждал ее, вот бумаги — и, громко сопя, извлек из-за пазухи кипу мятых листков.

К-ов неприкаянно и тихо стоял рядом. «Здравствуй, дядюшка,— проговорил наконец.— Или не узнаешь племянника?» Стасик быстро глянул на него — быстро, остро, со звериной какой-то цепкостью. «Чего это не узнаю! Узнаю...» И в доказательство чмокнул мокрыми губами, после чего снова зашелестел бумажками, точно не из Москвы пожаловали к нему после десятилетней разлуки, а заглянули из соседнего дома.

Разволновавшаяся тетка попросила закурить, Стасик дал, и она

тут же закашлялась. «Другого ничего нет?» «Эти-то,— прохрипел он,— не на что купить! Денег оставите?» К сестре опять-таки обращался — московского визитера попросту не существовало для него, пока не существовало, это потом, когда через неделю сестра снова приедет, будет выспрашивать, каким чудом объявился племянник (К-ову подробно напишут обо всем), сейчас же видел лишь ее, спасительницу свою, последнюю надежду, и даже когда К-ов в ответ на просьбу о деньгах торопливо вложил в холодную руку двадцатипятирублевку, не ему, а ей бросил спасибо.

Напоминая о времени, засигналил таксист. Потом еще раз и еще. Наспех попрощались — опять эти мокрые губы, этот перебитый хлюпающий нос, который он шумно вытирал рукавом, хотя тетка сунула свой кружевной платочек,— попрощались и быстро пошли к распахнутым настежь свежекрашеным воротам. Хромая, Стасик припустил следом. Галоши слетели, в одних носках бежал, грязных и рваных,— торчал обрубок пальца. «Любке не говори, что была... Что денег дали».

Машина развернулась и ушла, подняв облако пыли, в котором растворилась (навечно, как выяснилось два с половиной года спустя) нелепая босая фигура с апельсином в руке.

Бабушка рассказывала, что в детстве Стасик был смышленым, ласковым мальчиком, добрым и тихим. «Кем ты,— спрашивали,— хочешь быть, когда вырастешь?» — и он отвечал: ангелом. Потому что ангелы, поведали ему, живут в небесах и никогда не умирают. Он и походил на ангелочка: большеглазый, с длинными кудрявыми волосами, в матроске и коротких штанишках. Фотография эта сохранилась, К-ов время от времени смотрел на нее, и ему казалось, что на лице взрослого Стасика, отпетого рецидивиста, нет-нет да и мелькнет то же, что на снимке, доверчиво-невинное выражение.

Доверчивость — сочинителю книг казалось это слово точным — сквозила и в Стасикиных преступлениях, поразительно наивных, беспомощных, лишенных и намека на изощренность, которую он вроде должен был приобрести за годы тюремных мытарств. Нет! Стасик воровал как-то по-детски открыто, не воровал даже, а брал, просто брал, единственную позволяя себе хитрость: не спрашивал, можно ли. А когда ловили с поличным, обезоруживающе и опять-таки по-детски улыбался беззубым ртом. Еще он любил смотреться в зеркало, и никогда при этом не ужасался своему виду, напротив: испытывал явное удовольствие от этого лукавого, исподтишка, созерцания. Будто сам-то — красавчик и лишь примеряет, забавляясь, страшные маски.

Телеграмма, что Стасик умер, пришла накануне похорон; поездом уже не успеть было, а последний самолет улетал через час. Не судьба, стало быть... К-ов подумал об этом с облегчением, но тотчас устыдился и давай звонить в аэропорт: нет ли случайно дополнительного рейса? Дополнительного не было, а основной, сказали, задерживается. К-ов тут же стал собираться.

Ему повезло: вылет еще отложили и кое-кто сдал билеты...

Шел второй час ночи, когда беллетрист с легкой дорожной сумкой спустился по трапу на родную землю. Хотелось пить, но буфет был закрыт, а автоматы не работали: темнели, скалясь мертвыми ртами. Автобусы не ходили. Три или четыре легковушки караулили в сторонке полуночных пассажиров, но пока К-ов безуспешно пытался раздобыть воду, уехали.

Еще стоял небольшой фургончик, без света, но на всякий случай К-ов подошел. Кажется, в кабине сидели, однако издали не разобрать было, и лишь вплотную приблизившись, убедился: да, сидят, причем не один — двое. Но сидят поразительно недвижимо, поразительно прямо, точно манекены какие. «Вы не в город?» — спросил прилетевший на похороны, но в кабине не шелохнулись, хотя стекло было приспущено и не слышать его не могли. «Мне до центра. Не подбросите?» И опять никакой реакции. Сидят, смотрят перед собой, молчат... Ну нет и нет, и он двинул было дальше — в конце концов не останется же навеки здесь! — но тут из кабины выпрыгнули. Без единого звука обогнув фургон, распахнули сзади дверцу. «Подвезете?» — обрадовался К-ов.

Человек, придерживая одной рукой дверцу, молча ждал. «До центра, да?» — уточнил на всякий случай ночной пассажир и, сгорбившись, полез внутрь.

Не успел сесть — только нашаривал что-нибудь вроде сиденья,— как дверца захлопнулась, и почти в тот же миг (дошел ли человек до кабины?) машина сорвалась с места. По жестяному полу прокатилось что-то, ударилось и замерло, а когда фургон повернул, покатилось обратно.

Ни сиденья, ни подобия сиденья не было — во всяком случае, К-ов не сумел отыскать в кромешной тьме и устроился на карачках, держась за прохладную, глухую, без единой щели боковину и вслушиваясь в катающийся туда-сюда загадочный предмет. Страха, как ни удивительно, не было — ни страха, ни ощущения ирреальности. Даже некую удовлетворенность испытывал сочинитель книг, вроде искупал вину перед Стасиком, чью абсурдную, полную опасностей жизнь он, с риском для жизни собственной, как бы продлевал сейчас в летящем сквозь ночь черном вороне. Вины за что? Разве когда-нибудь обижал Стасика? Разве читал ему мораль, учил праведности и благоразумию, что с такой страстью и таким самоуважением делали и мать, и тетка, и покойная бабушка? Нет. Единственный из всей родни, К-ов пусть недолго, пусть в силу детской несмышлености, но боготворил дядю, чей ореол мученичества и северной, почти джеклондонской романтики бросал, к зависти дворовых мальчишек, отсвет и на племянника.

Впрочем, не только мальчишек околдовывал Стасик. Какие обворожительные, какие веселые, какие красивые женщины вились вокруг этого лысого хрипуна! — художник слова отродясь не видывал таких. Или, правильней сказать, они не видели его, не замечали, проходили мимо, с озорным мимолетным удивлением — а чаще равнодушием — скользнув взглядом по написанным им страницам. Типографский текст, к которому сочинитель книг относился с благолепием почти мистическим, навевал на них скуку. А вот со Стасиком весело было. Стасик умел рисковать, и они ценили это, тем более им-то самим ничто не угрожало. Рыцаря забирали, увозили в такой же вот, как эта, колымаге, а они оставались,— молодые, свободные, в золоте и дорогих нарядах. Никто, разумеется, не ждал его, за исключением Любы, но Люба появилась, когда Стасик постарел уже, пооблез и поослаб.

Загадочный предмет, судя по звуку, круглый, продолжал кататься по металлическому полу. Уж не бутылка ли, подумал узник, облизывая пересохшие губы. Ветерок приключения, в Стасикином совсем духе, овеял лицо насквозь бумажного, насквозь кабинетного человека. Встав на колени, попытался поймать предмет. Фургон повернул, пассажир завалился было, но успел выбросить руку и... наткнулся на бутылку! Полную, закрытую—пальцы ощупали на горлышке ребристую нашлепку. Вода? Пиво? Кто сказал, что Стасик умер, он жив, он лезет в дорожную свою сумку, достает перочинный нож, открывает на ощупь, сдергивает нашлепку, которая звонко ударяется о металлический пол — а черный ворон все везет его куда-то, и пусть себе везет, пусть! — подносит бутылку к лицу, уверенный, что услышит

запах пива, и пиво ударяет в нос, легкий, свежий аромат, и вот уже пенящаяся прохладная влага льется, булькая, в сведенный жаждой рот, воскрешая его, и Стасик счастлив, он улыбается, он жив, он бесстрашен — пусть себе везут, пусть! — он щедр, он по-царски отваливает десятку, когда фургон, наконец, останавливается и его выпускают («За пиво!» — бросает угрюмому молчуну), он шагает налегке по ночному пустынному городу и отыскивает свой дом, и стучит по-хозяйски, и слышит голос жены, верной, единственной, последней Любы: «Опять вы! Я же сказала — нет Хрипатого. Умер! Похоронили!»

К-ов медленно проводит по лицу ладонью. Ну да, Хрипатый — его т а м Хрипатым звали, ну да, умер, но почему похоронили, когда? «Когда?» — произносит он.

За дверью молчат. В ставнях светится щель, приторно пахнет горячим мясом. Задрав хвост, о ноги позднего гостя трется жирный котяра. «Кто там?» — доносится изменившийся Любин голос.

К-ов называет себя. Еще мгновенье тянется тишина, потом — аханье, причитанья, звяканье крючков и задвижек. «Приехал! А мы и не ждали уже!»

Ждали других, со страхом ждали, потому что дважды приходили, называли себя друзьями Хрипатого и уж наверняка явятся завтра, а она не желает видеть их рожи, она хочет по-человечески похоронить — хотя бы похоронить! — и она так счастлива, что он приехал, так счастлива... На глазах слезы блестят, но слезы не горя, а умиления. Будет оркестр, венки будут, ящик апельсинов достала (он вспомнил тот, в Стасикиной руке), будут приличные люди, вот только гроба нет...

В коридоре старуха в черном колдует над тазом с костями и мясом. Холодец готовит? «Как гроба нет?» — спрашивает К-ов. «Нет! С деревом плохо, ни за какие деньги не достанешь!»

Москвич осторожно бросает взгляд в комнату. Что-то длинное на столе, белое, в празднично мигающих свечечках... «Да как же без гроба-то?»

Люба открывает рот, чтобы ответить, но вдруг глаза ее в ужасе расширяются. «Брысь! — вскрикивает.— Брысь!.. Влезла-таки, зараза!» Вдвоем со старухой принимаются ловить кота — того самого, что терся о ноги К-ова,— и он, нечаянно впустивший его, помогает женщинам. Потом входит на цыпочках в комнату.

...А гроб все-таки утром привезли, но гроб так называемого многократного пользования. На кладбище, когда все попрощались у разверстой могилы, Стасика перевалили в длинный целлофановый мешок, завязали и опустили, согнутого, после чего долго дергали веревку, чтобы он распрямился там, как подобает христианину. Бросая свою горсть земли, К-ов заглянул в яму и увидел в мутной целлофановой облатке, уже припорошенной серыми комьями, желтое маленькое лицо деревянного человечка.

Зимой на платформе, а поезда не ходят

Помимо К-ова, еще один человек написал, оказывается, о Леше по имени Константин, модная и жесткая писательница (жесткость, даже жестокость стала с некоторых пор в моде),— газета с этой новеллой попала в руки беллетриста через два месяца после выхода, как раз в день Лешиного рождения — К-ов прочел ее в электричке (именно для дорожного чтения и откладывал газеты), и, узнавая покойного друга, которому нынче исполнилось бы пятьдесят пять — да, ровно пятьдесят пять! — завороженно думал об удивительном совпадении. Точно ниточка протянулась из прошлого в настоящее, тонюсенький нерв, осуществляющий, по терминологии Шекспира, связь времен — ту самую, что нет-нет да обрывается.

А может, вовсе не совпадением было это? Знаком, символом, иероглифом неведомого языка, не без насмешливости предлагаемого полуграмотным слепцам...

С юных лет бился сочинитель книг над этой таинственной письменностью. То был изнурительный и бесполезный труд, смысл текста, дразняще мелькающего перед глазами (или под пальцами, коль скоро о слепцах речь), бесшумно ускользал, и единственное что оставалось — это уверенность: смысл есть. Собственно, в погоне за ним прошла большая часть жизни, а уж лучшая — наверняка, но как бы ни изощрял доморощенный метафизик свой дешифровальный аппарат, как бы ни подключал его к источникам вековечной мудрости, мрак не рассеивался, а вспыхивающие там и сям зарницы — вроде сегодняшней, с газетным рассказиком о Леше — только оттеняли его вязкую толщь.

До часа пик было еще далеко, и К-ов с комфортом устроился в полупустом вагоне, заняв едва ли не полскамьи в своем широченном, на «молниях» и застежках, китайском пальто, в которое могли бы влезть два таких, как он. Полдня простояла жена в очереди, но выбросили только большие размеры, и она схватила, благодарная, что хоть это досталось. «Ничего... Сейчас чем просторней, тем моднее»,— и супруг покорно облачился в сей шуршащий балахон, весьма, впрочем, удобный и теплый, с огромными накладными карманами, в одном из которых и лежала, ожидая своего часа, старая газета с повествованием о Леше по имени Константин.

Раза два или три ездил с Лешей по этой дороге: тесть К-ова смастерил бильярдный стол, а Леша считал себя специалистом в бильярде, что не мешало ему с треском проигрывать, сердясь и глотая с досады самодельное яблочное вино, чистейший яд для бедного его желудка... Нынешняя поездка, в отличие от тех, развлекательных, носила сугубо деловой и даже рабочий характер: вышел из строя насос, что подавал из скважины воду, и предстояло вытаскивать наверх двадцатиметровую трубу. Сам тесть в свои без малого восемьдесят с работой этой не справился б, и К-ов, сунув в один карман новенького пальто газету (ту самую), а в другой — шоколадного зайца для внучки, отправился на подмогу.

Внучка — а для тестя с тещей, стало быть, правнучка — гостила у них куда чаще, нежели в доме К-ова, который видел ее последний раз месяца три назад. Дедом, разумеется, он был никудышным, вообще не чувствовал себя дедом, что тоже рассматривалось им как иероглиф — тревожный иероглиф — потаенного текста.

Выйдя из электрички, не стал подыматься по обледенелой лестнице, а сиганул с платформы в снег. Короткий сухой треск, за пальто хватается — большой, в форме правильного четырехугольника синий кус трепещет на ветру, выпустив белые волокна развороченных внутренностей. И трех дней не проносил, какая досада! А мысленный взор уже метался в потемках, отслеживая фосфоресцирующий пунктир дурного ли, хорошего ли (скорей, дурного) предзнаменования.

Прямо-таки наваждением была эта вечная охота. Пунктиком его. Слабостью. А может быть... Может быть, и сильной стороной, кто знает! Ибо на что еще опереться смертному человеку, как не на подспудную веру, что нет на свете ничего бессмысленного? Все вписано

в некий общий закон — в том числе и его, человека, краткое пребывание здесь,— напрягшись, закон этот можно если не постичь, то хотя бы почувствовать лицом его мерное, медленное дыхание.

В снегу ползли две автомобильные колеи, довольно широкие,— по одной из них и шагал К-ов. Тесть ждал его, уже в ватнике и рукавицах, с инструментом наготове. Ждала и внучка. Вскочив в деревянной кроватке, куда ее уложили для дневного припоздавшего сна, кричала звонко: «Дедушка! Мой дедушка!» В первый момент он решил, что это тестю она, но нет, не тестю, ему, и, растроганно-удивленный, что-то говорил в ответ неуверенным, как бы позаимствованным у настоящего деда голосом, а она доверчиво тянула руки, такие горячие, что он, вручив зайца, тотчас отдернул свои холодные с улицы, темные лапищи, то ли обжечься боясь, то ли, напротив, заморозить малышку... Теща нервничала: спать пора, спать! — но тещины слова не воспринимались ею, только его, и тогда он, взрослый и мудрый, пообещал прийти сразу же как она проснется. «А ты не уедешь?» — осведомились строго. «Куда ж я уеду! Надо сначала отремонтировать воду».

Он сказал именно так: отремонтировать воду — а как еще, не станешь же вдаваться с трехлетним ребенком в технические тонкости, которые и для него-то лес темный,— но в этих как бы спущенных со взрослой высоты, упрощающих словах уже таился обман (хотя уверен был: дождется, не уедет), начало обмана, и, убегая от этой невольной фальши, торопливо переоделся в брезентовую куртку, сунул ноги в валенки и поспешно вышел из печного уютного тепла на морозный воздух, к загадочным трубам и муфтам, с которыми ему, однако, было все-таки проще, нежели с внучкой.

Не доверяя ему, тесть самолично затянул на уходящей в земную твердь крашеной трубе гайки страховочного зажима, и сочинитель книг принялся энергично работать облаченными в рукавицы дилетантскими руками. Провисшая цепь раскачивалась и звякала, бесконечная в своей закольцованности, ошалело вертелся на вершине треножника погнутый блок, и голая труба, теперь уже не прикрытая кожицей краски, медленно ползла вверх.

Если сложить все часы и минуты, что провел он с внучкой за три года, то не набежит, наверное, и недели. Откуда же в ней... нет, не привязанности, привязанности, разумеется, никакой нет, любви тоже нет—К-ов ничуть не обольщался на этот счет,—откуда готовность любви? Вот-вот, готовность, зароненная неведомо кем и когда, быть может, в тот самый миг, когда существо это появилось на свет, о чем он узнал однажды утром, чистя зубы. Затрезвонил телефон, жена на первом же звонке сорвала трубку — еще бы, дочь в роддоме! — а он с щеткой во рту вышел из ванной. Не слышал, разумеется, что говорили на том конце провода, но видел по лицу жены: все в порядке. «Девочка!» — шепнула, прикрыв трубку ладонью, и то, как это было произнесено, подтвердило: в порядке! С щетки капало, он растер ногой белые пятна на полу и вернулся заканчивать туалет. Вернулся другим совсем человеком, нежели вышел минуту назад, новым, в новом статусе, который напряженно и честно пытался осознать, дабы жить отныне в соответствии с ним — в ином каком-то ритме и с иным отношением к людям и событиям. Строго говоря, перед ним был тот же фосфоресцирующий пунктир, разве что поярче и подлиннее, и вот сейчас, сейчас он наконец-таки поймет все. Черта с два! Свет не вспыхнул и на сей раз, мрак не расступился, а лукавая истина если и выглянула на мгновение, то в маске банальности.

Брезентовые рукавицы липли к цепи, но К-ов не сбавлял темпа, и труба мало-помалу подползла к вершине треножника. Поднявшись

по шаткой лестнице, подмастерье закрепил ее веревкой — и снова за цепь.

Наконец показалась соединительная муфта: одна из трех уходящих в земное чрево труб была извлечена. Ее аккуратно опустили на заблаговременно подложенный — чтобы снег не набился — кирпич и взялись за вторую.

И тут тесть забеспокоился. То пальцем мазнет по округло поблескивающему металлу, то постучит, тревожно вслушиваясь. «Воды нет... Без воды идет, зараза!» Отстранив подручного, сам взялся за цепь, чтобы определить, сколь тяжелы подымаемые трубы. «Ушла... Ушла вода! Или клапан сорвало, или...» И по свирепому, полному отчаянья взгляду К-ов понял, что это второе «или» чревато крупными неприятностями.

Ушла вода... Позже, коченея на платформе в ожидании электрички, которая опаздывала на десять, на пятнадцать, на двадцать минут, на полчаса,— а он, чтобы поспеть именно к этой электричке, сбежал, так и не дождавшись, когда проснется внучка,— позже эти слова — у ш л а в о д а — покажутся ему исполненными особого смысла, на сей раз не мерцающего пунктиром, а ясного и четкого, как всякое сравнение. (Рассудочный беллетрист обожал сравнения.) Пустой шла вторая труба, теперь уже тесть не сомневался в этом, но ждал с опаской еще чего-то, самого, по-видимому, худшего, и предчувствие не обмануло: нижний конец вылез свободным, без соединительной муфты и третьей трубы. Обрыв! Это был обрыв, неожиданный и коварный, оставивший третью трубу в узкой скважине на глубине двенадцати метров. К-ов не представлял, каким чудом можно извлечь ее оттуда. И можно ли...

Стянув с головы вязаную шапочку, старик вытер свое большое мокрое то ли от пота, то ли от растаявшего снега лицо. «Обрыв!» — повторил в третий или четвертый раз, явно подозревая, что зять не понимает до конца, что означает сие. Это зять-то не понимает! Прохаживаясь по темной платформе — фонари не горели,— твердил мысленно: обрыв, обрыв — в метафизическом, разумеется, смысле, вечном и универсальном, далеком от той грубой реальности, что подразумевал тесть. И вдруг остановился, осененный. Света нет, электричек нет, ни туда, ни обратно, хотя торчит здесь минут сорок, не меньше — тоже обрыв? Но уже не в метафизическом, уже в самом что ни на есть прямом смысле слова: лопнули провода. Назад возвращаться? Но его ждут дома, а здесь не ждут. Больше не ждут... «Может, разбудить ее? — предложил перед тем, как уйти.— А то ночью не заснет».

Теща на цыпочках вошла в комнату, побыла там недолго, потом так же на цыпочках вышла и аккуратно прикрыла за собой дверь. «Жалко...» А рядом что-то возбужденно говорил тесть, размахивал туго скрученной, изображающей насос газетой, схему рисовал — разрабатывал операцию по извлечению застрявшей трубы. Но для этого потребуются кое-какие приспособления, он изготовит к субботе, и если в субботу у него будет помощник... «Постараюсь,— сказал К-ов,— приехать».

Но сначала надо было уехать, а обеззвученные рельсы поблескивали в лунном свете тускло и мертво, как тот заманивающий в пустыню холода и мрака обманный пунктир. Нет никаких общих законов, понял К-ов, мираж все это, происки дьявола. Дьявола, впрочем, тоже нет...

То ли мороз усилился, то ли раненое пальто не держало тепла, но в ледяной торос превращался мало-помалу человек на заснеженной платформе. Не здесь и не сейчас началось это, давно, с тех самых пор, как пустился, слепец, в изнурительную погоню за убегающим смыс-

лом. Не здесь и не сейчас... Как же опасен безжизненный его холод для крохотного существа с горячими руками! Огонек только занимается — только-только! — и неужели лучшее, что может сделать К-ов, это держаться от него как можно дальше?

Анализ дневников Софьи Андреевны

Как правило, Жилец — а К-ов данный феномен окрестил словом Жилец, что было, по-видимому, не совсем точно, но сам характер явления исключал более определенную формулировку,— Жилец появляется в доме незаметно и долгое время ничем не выдает своего присутствия. Что, совсем уж следов не оставляет? Да нет, оставляет, но обнаружить их весьма непросто, так умело имитирует, конспиратор, повадки и манеры хозяина. Его голос... Его жесты... Его приглушенные вздохи, в которых, если внимательно прислушаться, можно все-таки уловить что-то необычное... Но вот раздается вдруг чье-то покашливанье — явно чужое покашливанье, шаги чьи-то — явно чужие шаги, чужое дыхание... Вот кто-то на цыпочках выходит среди ночи на балкон, где доцветает фасоль — под ногой звонко всхрустывает опавший лист,— и надолго замирает там: дышит под покровом темноты воздухом. Потом прокрадывается на кухню и, не зажигая света, пьет в одиночестве чай: электрический самовар к утру еще не успевает остыть. Между тем творожное печенье с корицей, что лежит в стеклянной, на высокой ножке вазе, тускло отсвечивающей во тьме, поэтому не заметить ее трудно,— творожное печенье остается нетронутым, а это любимое лакомство главы семьи: с противня, бывало, хватал, еще горячее, тут же целехонько все — в отличие от хозяина, таинственный квартирант к еде равнодушен. А жена молчит! Жена видит все, но молчит, и это, как и появление Жильца, симптом тревожный: прежде никаких тайн между супругами не было. Ночи напролет болтали, шикая друг на дружку: тише! тише! — ибо рядом, в той же комнате, их единственной комнате, посапывала в кроватке маленькая дочь. Теперь комнат три, и детей малых нет, выросли, и хватает, в общем-то времени, которого в молодости всегда в обрез, но где те споры до утра, те неторопливые беседы и быстрые, захватывающие дух откровения? Садясь за ужин или обед, включают радио — безотказное, неиссякаемое, нестареющее радио, которое говорит за обоих, а хозяева если и раскрывают рот, то чтобы осведомиться, какую погоду обещают на завтра, взять ли белье из прачечной, звонила ли дочь... Имеется в виду старшая дочь, что давно уже живет отдельно, своей семьей и по своим правилам, в которых родители отчаялись что-либо понять, но у них хватает ума не навязывать правил собственных. Младшая тоже вот-вот выпорхнет: по вечерам телефон работает только на нее, а если в молодое нескончаемое чириканье прорывается ненароком полузабытая хрипотца какого-нибудь старинного приятеля, то лишь затем, чтобы поздравить с праздником, с днем рождения поздравить (не всегда; забывать стали) или сообщить очередное траурное известие — вот тут уж не забывают никогда. Уходят дети, опадают, как листья на балконе, друзья — самое время, казалось бы, стать ближе друг к другу, вместе стареть и вместе умирать — ан нет! Появился некто третий, и «этот третий разбил нашу жизнь».

На слова эти К-ов наткнулся в дневниках Софьи Андреевны, за

которые снова взялся неожиданно для себя лет этак через десять — двенадцать после первого чтения, что, разумеется, не было случайностью: в большой, любовно и тщательно собираемой библиотеке насчитывалось весьма немного книг, которые время от времени перечитывались. Открыл наугад, полистал, и в глаза ударила фраза о «третьем», что вкрался с разрушительными целями в почти полувековое счастливое супружество.

Речь, конечно, шла о Черткове, под злую и коварную власть которого Толстой попал якобы незадолго перед смертью, однако при внимательном и целенаправленном чтении — а это второе чтение было, надо признать, целенаправленным — беспощадно-откровенные, страстные записи толстовской жены давали основание полагать, что грузный — и телом и умом, простодушный Чертков был ипостасью поселившегося в доме призрака. Его, если угодно, приспешником. Стало быть, и там, в яснополянской усадьбе, имел место феномен Жильца, вот только у великих феномен сей проявляется мощно и бурно, сотрясая мир, который и поныне завороженно взирает на крестный путь из Ясной в Астапово, у простых же смертных довольствуется коммунальными рамками. Что ж, атом тоже, как известно, уподобляют звездным структурам, и это не унижает космос, отнюдь...

«С ужасом присматриваюсь к нему»,— записывает Софья Андреевна, не подозревая, что вовсе не ко Льву Николаевичу присматривается она, к другому («злое чуждое лицо. Он неузнаваем!») — да, к другому, коему хозяин яснополянской усадьбы уступает мало-помалу законное свое место. «Лев Николаевич наполовину ушел от нас».

Прежде К-ов делился с женой прочитанным, а здесь хоть бы словечком обмолвился, когда же сама спросила, что, дескать, за книга у него, буркнул в ответ что-то нечленораздельное и поспешил уединиться. От кого бежал он? От жены? Или, может быть, от Жильца, которого сам обнаружить не мог, но о вкрадчивом присутствии которого догадывался по ее поведению? То есть отраженно видел: в глазах супруги, которая, почувствовав неладное, быстро отводила взгляд, так что хорошенько не успевал рассмотреть, по увядшему лицу ее со следами бессонницы — неясная тень вдруг мелькала на нем, точно кто-то бесшумно проходил в отдалении (раз К-ов обернулся даже), по замедленной реакции на его слова, будто другого кого слушала, напряженно слушала и ревниво, а его — так, вполуха, и потом, спохватываясь, переспрашивала.

Это раздражало его. Упрямясь, не повторял сказанного, а однажды посоветовал сходить к ушнику. «Я отлично слышу!» — с обидой и даже, почудилось ему, с отчуждением, а в комнате холодком повеяло: тот, другой, подкрался, видать, совсем близко. Вся напряглась — можно представить себе, какие эмоции вызывал у нее этот субъект! — но то было напряжение не только неприязни, но и острого звериного какого-то внимания. Должна же знать она, что за тип поселился инкогнито в их доме! Это не любопытство было, ни в коем случае, это был страх, причем страх не столько за себя, сколько за мужа, над которым, чуяла она, нависла неведомая и грозная опасность. Не за ней ведь охотятся, за ним, его место норовят занять — место живого еще человека. Вон как примеривается, актеришка! Вот с каким коварством, с каким сладострастием имитирует походку и мимику! Но женщину обманешь разве! Разве обведешь вокруг пальца ту, которая прожила с мужчиной без малого тридцать лет и теперь, что ж, должна безучастно наблюдать, как его, глупого, выживают из собственного дома? Правда, пока лишь из дома, не претендуя, к примеру, на хождение в клуб или по гостям. Это по-прежнему оставалось прерогативой мужа, которой он, впрочем, пользовался все реже и реже. Под разными пред-

логами отклонял приглашения, да и к себе редко кого звал, хотя в прежние времена обожал шумные застолья. Даже в театр, раньше столь любимый им, выбирался редко, почти не выбирался, когда же знакомый драматург или режиссер приглашали на премьеру, отправлял, ссылаясь на нездоровье, жену с дочерью. Жильцу потворствовал, который, понимала супруга, дает себе в ее отсутствие полную волю.

С тяжелым сердцем уходила из дому, а он как бы обещал смиренным своим видом, что все о'кей будет, никаких посторонних, однако, возвращаясь, обнаруживала всякий раз следы чужого хозяйничанья. То пластинка с концертом Шопена лежит не на месте, хотя зачем вдруг понадобился Шопен немузыкальному ее супругу, то все перекопано в ящике со старыми фотографиями и старыми письмами, куда он отродясь не заглядывал. «Искал что-то?..» Тихо и мирно спросила, с желанием помочь — уж она-то, женщина, лучше знает, где что лежит, но ответ его был как сжатая пружина: «Ничего я не искал!»

Сердце ее нехорошо забилось. Не потому что обманывали, в их доме, знала она, не лгут,— а потому как раз, что говорили правду. Он действительно ничего не искал, но это он не искал, он... «Кто же тогда?» — произнесла она почти машинально, и тут, говоря словами Софьи Андреевны, из него «выскочил зверь: злоба засверкала в глазах, он начал говорить что-то резкое».

То была первая запись 1910 года — года, который сделает ее вдовой...

«Прости ради бога!» — пробормотал К-ов и медленно огляделся. Секретер со стопками журналов, старый магнитофон на тумбочке, где прежде стояло что-то другое — ах да, аквариум, в котором старшая дочь разводила рыбок, маленький, в некрашеной рамке пейзаж над тахтой, уголок южного города, его, кажется, подарок — ну да, его, вот только чем привлекла его эта блеклая картинка? «Прости... Что-то не то со мной сегодня...» И быстро в кабинет ушел.

Это она называла так: кабинет, он же терпеть не мог этого казенного слова. Лишь днем работал там, ночью же — никогда, а если приспичивало, записывал лежа, зажигая бра в изголовье. А тут вдруг, проснувшись, увидела свет в кабинете. Шорох услышала... Странное звяканье... Откинув одеяло, тихо спустила ноги, нашарила тапочки, бесшумно подкралась к распахнутой двери. И — чуть не вскрикнула. Вытянувшись во весь рост, на тумбочке стоял человек в пижаме, босой, и простирал руку к кашпо с вьюном, что бежал по невидимой леске к стеллажам с книгами... Не вскрикнула, нет, но чем-то все-таки выдала свое присутствие, потому что незнакомец вдруг стремительно обернулся.

Тревожно вглядывалась жмурящимися с темноты глазами в костлявого, бледного, как покойник, старика, на котором была пижама ее мужа, собственноручно выглаженная ею третьего дня. Вот! Уже и пижаму реквизировали...

От порывистости, с какой повернулся, немного воды из кружки выплеснулось, по обоям расползлось бесформенное пятно. Скосив глаза, оба смотрели на стену. «Ничего,— успокоила жена.— Ремонт скоро».

Он опасливо и пытливо глянул на нее и стал медленно слезать с тумбочки. О ремонте давно говорили, но все как-то не доходили руки, и, может быть, подумал он, может быть, так и не дойдут уже. «Днем забываю полить,— молвил с потупленным взором. И прибавил неожиданно: — Не сердись».

Теперь это снова был он, ее муж, нелепый, неуклюжий, в возвращенной пижаме, на которой, заметила она, недостает пуговицы. «Я не сержусь,— сказала она и тоже опустила глаза.— Я... Я все понимаю».

К-ов испугался. Он точно помнит, что испугался, но виду не подал, произнес осторожно: «Что ты понимаешь?»

За плотно зашторенными окнами промчалась далеко по ночной просторной трассе (даже на слух просторной!) шальная какая-то машина. Он ждал. «Понимаю,— ответила она, по-прежнему не подымая глаз,— что ты любишь одиночество».

С чувством облегчения опрокинул он в рот оставшиеся в кружке капли. С незапамятных пор ставил себе на ночь воду, хотя пил редко, почти не пил — то был своеобразный ритуал, один из множества ритуалов, что накапливаются за годы и десятилетия совместной жизни как накапливаются в костях известковые отложения... Всякая религия, вычитал К-ов, ритуальна по своей сути, но разве, думал он, только религия? А жизнь? Просто жизнь — мыслимо ли представить ее без ритуальной дисциплины, этого известкового скелета, этого остова, на котором, собственно, и держится плоть?

Теперь остов разрушался. Разрушалось то, что, крупинка к крупинке, возводилось в течение многих лет, что срослось, стало единым целым. «Для одиночества,— проговорил он и уточнил, запнувшись: — Для полного одиночества, для настоящего, нужны другие люди».

В глазах жены, теперь уже привыкших к свету, всплыло недоумение. Ему и самому-то поначалу это неожиданное открытие — собственное его открытие — показалось абсурдным. Одиночество и — другие? Экая нелепость! И тем не менее все правильно: другие необходимы. Не здесь, не рядом, а отделенные временем, пространством отделенные, пусть даже весьма значительным, но — необходимы!

Жена слабо улыбнулась. «У нас есть другие...» И покосилась на оскверненную стену.

Медленно, с недобрым предчувствием, повернул беллетрист голову. Пятно все еще расползалось и, расползаясь, теряло, как ни странно, свою бесформенность, обретало исподтишка очертания чего-то знакомого. Маленькое усилие — совсем маленькое! — и К-ов узнал: очертания человеческой фигуры.

Вытянув палец, жена стерла с тумбочки капельки воды...

К утру фигура на обоях побледнела, но виделась все равно отчетливо. Закрывшись в своей комнате, К-ов долго изучал ее. Явно мужской была она, явно стариковской, точно кто-то невидимый прошел сквозь стену.

Сняв с полки дневники Софьи Андреевны, два тяжелых, в темном переплете тома, стал медленно перелистывать. Как и все на свете дневники, даже самые откровенные, они, разумеется, не были адекватны действительности, но при умелом чтении она, действительность, со всеми ее извивами и темными местами, все равно проступала. «Лев Николаевич, муж мой...»

К-ов подчеркнул это место. Муж мой... Выходит, был еще кто-то, другой, присвоивший себе имя Толстого, как в ином случае прошедший сквозь стену присвоил пижаму? Был! Жилец действительно был, и в дневнике на этот счет имелись недвусмысленные свидетельства. «Злой дух... царит в доме».

Это для нее — злой, а для него, всю жизнь мечтавшего хоть мгновенье — одно-единственное мгновенье! — побыть не Львом Толстым и не оттого ли сочинявшего романы? Да, для полного, для роскошного, для комфортабельного — в тоске своей и неизбывности — одиночества непременно другие нужны, тебе подобные, и человеку благодать такая дана. И человеку, и любой на земле твари. А вот господь Бог лишен ее. Бедный Бог! Ерническая мысль эта мелькнула в мозгу расшалив-

шегося атеиста, а в следующее мгновенье, машинально перевернув несколько страниц, увидел снимок: Софья Андреевна на станции Астапово, в темном, до пят, балахоне, у дома, где умирает Толстой и куда ее не пускают. «Держали силой, запирали двери, истерзали мое сердце».

Спиной к К-ову стоит она, в белом крестьянском платке, прильнув украдкой к окну и загораживая глаза ладонью, чтобы хоть что-то разглядеть во мраке, где свершается таинство,— стоит уже восемь десятилетий и не знает, что вот сейчас, сейчас ужасный Жилец исчезнет бесследно, и ее Левушка вернется к ней навсегда.

Не целуйтесь, когда смотрю на вас

С обоими познакомился сперва заочно, по рукописям, талантливым и неумелым, однако именно неумелость, именно отсутствие литературного опыта, который позволяет пишущему благополучно утаивать себя, приоткрыли юных дебютантов как бы изнутри.

Впрочем, не таких уж юных. Ей, говорилось в сопроводительной писульке, исполнился двадцать один, Пташкин был на три года старше, но по опыту, по духовному опыту, поразившему К-ова своей глубиной и болезненностью, смотрелись ровесниками. Возможно, она даже выглядела чуточку старше, хотя в рассказах ее не было ни обобщений, ни размышлений, ни тем более аллегорий, к которым Пташкин прибегал столь охотно. Это от страха. От боязни выдать себя. А еще, может, от безотчетной попытки трансформировать страдание в мысль, поскольку мысль, полагал, даже самую чудовищную, вынести все-таки легче.

Разумеется, юноша ошибался. Просто страдание свое было, по живому резали (опытный читатель не мог не почувствовать этого), а мысль — чужая, вычитанная и потому ненадолго успокаивала подобно обезболивающей повязке, сквозь книжную белизну которой проступала, однако, кровь.

Девушка обходилась без наркоза. Даже имя свое — Мила — отдала, не дрогнув, героине, что же касается внешности, то беллетрист К-ов реконструировал ее сам. Тоненькая, темноглазая, а впрочем, иногда глаза виделись ему светлыми, полными не столько печали, сколько беглого презрения,— это зависело от интонации, с какой героиня произносила так понравившиеся ему слова: «Не целуйтесь, когда смотрю на вас».

Третьей лишней была она в компании байдарочников. Или даже не третьей, а пятой, если не седьмой,— да, седьмой: три лодки по два человека в каждой плюс Мила, которая по очереди плыла то с одной парой, то с другой. Вода в реке была грязной, с пятнами мазута, с торчащими там и сям корягами, за которые цеплялся разный хлам: автомобильная покрышка, полусгнивший женский лифчик, плетеная корзина без дна... С той же безжалостной зоркостью описывались парочки, особенно девицы, громогласно восхищающиеся красотами природы. Стесняться некого было, вот разве что ее, седьмую лишнюю, которая то ли с грустной завистью любовалась влюбленными, и тогда заворожившая К-ова фраза звучала элегически (а глаза — соответственно темные — наполнялись печалью), то ли с не очень-то скрываемой насмешкой. Видимо, с насмешкой все же, ибо героиня в конце концов бросила компанию и двинула через лес на далекие вскрики поездов.

Когда до станции добралась, последняя электричка на Москву ушла. В маленьком, с осыпающейся штукатуркой зальце шаманила над бутыльком с мутным пойлом кучка алкашей, коротали ночь рыбаки с удочками, два глухонемых и толстая баба с петухом в сумке, который время от времени вытягивал шею и оглашал станцию звонким предутренним криком. Еще сидел в дальнем углу парнишка в выгоревшей гимнастерке. При каждом всплеске петуха он вздрагивал и быстро, тревожно смотрел на дверь. Раза два или три Мила поймала на себе его внимательный взгляд.

Когда начало светать, в зал вошли двое военных. Прямиком к парнишке направились, что-то сказали негромко, и он медленно, обреченно поднялся. Выйдя следом, несостоявшаяся байдарочница увидела брезентовый «газик». Один военный пошел звонить, другой стерег беглеца. Теперь уже тот смотрел на девушку, не таясь, и она, приблизившись, спросила, не нужно ли чего. «Курить»,— молвил он с улыбочкой. Тогда она вернулась в зал, подошла к алкашам, уже опорожнившим бутылек, и, не говоря ни слова, взяла со скамьи пачку сигарет...

«Жаль,— обронил, листая рукопись, К-ов,— нет реакции алкашей». Начинающая писательница пытливо глянула на мэтра (глаза у нее оказались зелеными, а вся она — маленькая, невзрачная, с прыщичками на лице) и, решившись, медленно засучила рукав. Пониже локтя белел небольшой шрамик. «Это,— молвил он,— и есть реакция?» Она тихо кивнула.

Сочинитель книг растерялся. Что все его искусные построения, что фантазия его рядом с этой загогулиной на бледной детской коже! «В субботу,— пробормотал он,— едем в Мелихово... Хотите?»

Опустив рукав, девушка не спеша застегивала пуговку. Пальцы у нее были небольшие, но гибкие, а ногти коротко острижены: с гипсом и глиной имела дело в своем художественном училище.

«Вы как к Чехову-то относитесь?» Молчание. То ли не услышала вопроса, то ли отвечать не желала. То ли просто думала: ехать, не ехать... «Поеду, если можно».

Без всякого умысла пригласил, и близко не держа в голове Пташкина, который, знал, тоже едет, причем, в отличие от Милы, едет с энтузиазмом и волнением, хотя, судя по пташкинским писаниям, Чехов не был его кумиром. О некоем другом городе рассказывало читанное К-овым сочинение, городе, который существует где-то рядом, под боком, но в ином измерении, и оттого попасть туда очень даже непросто. Вроде бы те же, что и здесь, улицы, те же дома и люди — да, и люди! — но в то же время не совсем те: улыбчивые, доброжелательные, а главное, ничего не знающие про смерть и потому бессмертные. Бессмертные, как бабочки... Бессмертные, как цветы... К-ов сравнения похвалил, а про себя отметил надломленность этой уклончивой прозы, ее скрытую женственность, особенно бросающуюся в глаза на фоне холодновато-жестких текстов юной ваятельницы. Рукописи даже внешне разнились; ее — неряшливая, с непронумерованными страницами: отшлепала на слепой машинке и — с глаз долой, он же каждую опечатку забеливал краской... Держали себя с нечаянным наставником тоже по-разному. Рослый, широкоплечий Пташкин волновался, как ребенок,— на рубахе расплылись под мышками темные пятна,— у Милы же хоть бы мускул дрогнул! Вчетверо сложив рукопись и откинув за спину красный шарф, осведомилась простуженным голосом, во сколько автобус.

Автобус был рано, в семь утра, а К-ов и в два, и в три ночи еще не спал, ворочался и мысленно выстраивал сюжет. Не сюжет для небольшого рассказа, не литературную ситуацию, а ситуацию реальную: в кои-то веки на лавры творца посягнул сочинитель книг,

причем творца не бумажных миров, не какого-то там Шекспира или Сервантеса, а мира самого что ни на есть всамделишного. Ясно виделось самозваному вершителю судеб, как идут рядышком его подопечные, нашедшие друг друга, счастливые, юноша наклоняется, лепит крепкими руками снежок и, размахнувшись, бросает — в никуда, просто так, в наполненный солнцем и воробьиным чириканьем воздух, а девушка в длинном красном шарфе смотрит на него снизу и улыбается. К-ов тоже улыбался в темноте, предвкушая, но это было не предвкушение текста — о нет, какой текст сравнится с этим, какая литература! — это было предвкушение жизни, к веселой мощной пульсации которой он, незримый опекун, приложил руку.

Когда пунктуальный К-ов явился без минуты семь к месту сбора, Пташкин был уже там. Сутулясь, стоял возле небольшого сугроба, отдельно от всех, в легкой, не по сезону, курточке. «Не замерзнете?» — спросил К-ов. Молодой человек встрепенулся, будто врасплох застали, и торопливо, отрывисто заверил, что нет, тепло,— с оттенком то ли недоумения, то ли неловкости, хотя вопрос был самый что ни на есть естественный. Или отвык, что кого-то на свете может волновать, замерзнет он, не замерзнет?.. К-ову рассказывали, вручая — с превосходными эпитетами! — рукопись Пташкина, что родители его разошлись, когда мальчику было лет что-то десять; сначала с матерью жил, но недолго, к отцу переехал, который тихо спивался себе, пока не окочурился у подъезда с бутылкой в руке, и теперь Пташкин живет один в коммуналке, мается желудком и каждый год без труда поступает то в один институт, то в другой, а после первого семестра бросает. «Сейчас, если не ошибаюсь, каникулы?» — осторожно осведомился К-ов. «Каникулы»,— снова встрепенувшись, ответил автор «Другого города», и так виновато, так правдиво посмотрел в глаза пожилого литератора, что тот понял: бросил опять...

Подошел автобус, все радостно поныряли в тепло, лишь нервничающий К-ов остался на морозе (где эта пигалица!) да его ни о чем не подозревающий протеже. Только после К-ова вошел, сел же отдельно, на неудобное боковое сиденьице. Было четверть восьмого, больше, решили, не ждать,— двигатель заработал, пригас свет в салоне, и тут в стекло забарабанили. Успела-таки! В коричневом полушубке была она, брови заиндевели, а изо рта пар валил,— что-то объясняла К-ову. «Пожалуйста, откройте двери!» — крикнул он водителю, а ей показал энергичным жестом, чтобы шла и поживей. И все же, пока обегала автобус, успел щедро и достаточно громко (Пташкин не мог не слышать) аттестовать опоздавшую. Войдя, пробормотала что-то об утюге (причем тут утюг!) и села, к радости К-ова, возле Пташкина. К прежде-временной радости: ни единым словом не обмолвились за долгую дорогу. В Мелихово тоже молчали, хотя почти все время рядом были: в хвосте плелись и в маленькие комнаты, которые не могли вместить всех, заходили последними.

Во флигель, где была написана «Чайка», экскурсий не водили, но для писателей сделали исключение. Гости щеголяли эрудицией, вопросами сыпали, острили, а один бравый романист, задержавшись, с кряхтеньем уселся в кресло Чехова. «Хоть минутку, да в классиках!» К-ов заметил, как пошло пятнами лицо Пташкина, а Мила — та, наоборот, побледнела, и недобрая улыбка скользнула по губам, предвестница недобрых слов, которые все-таки не слетели. На мгновенье единым целым стали они, но не интерес друг к другу объединил их, не исход из одиночества, не огонек симпатии, что разжигал в своих фантазиях самонадеянный автор, а брезгливое отторжение пошлости.

Женщины из музея, тихие подвижницы, устроили в честь столичных литераторов чай с пряниками, но Милы за тесным шумным столом

не оказалось. Отстала? Или тайком удрала, подобно героине своей, на станцию?

Улучив минуту, обеспокоенный К-ов вышел на улицу. Ярко светило уже предвесеннее солнце, мороз ослаб, с крыши капало. Белое поле простиралось, сияя, далеко вокруг, далеко и широко,— то был сугубо чеховский пейзаж, сугубо чеховский простор, оттеняющий тесноту «футлярной» жизни.

В свое время К-ов обратил внимание, что сразу после истории Беликова следует описание ночи: залитое лунным светом поле, хорошо видимое до самого горизонта, и — ни единого движения, ни единого звука. Бедный учитель греческого, однако, не сливается с этим торжественным миром, они как бы рядом существуют — маленький человечек, обретший, наконец, свой последний футляр (в гробу, замечает Чехов, лицо его преобразилось: кротким стало, приятным, веселым даже), и бесконечная Вселенная. Они не сливаются, но это не слабость земного художника, это немощь Творца,— немощь, да,— хотя замыслы Творца прекрасны...

В отдалении, по ту сторону забора, копошились в снегу дети. Знакомый коричневый полушубок разглядел К-ов и, надев шапку, осторожно двинулся туда.

Что-то лепила студентка художественного училища — снеговика? Туловищем служили два больших снежных кома, никак не обработанные, зато лицо выделывала тщательно, отступая и критически вглядываясь,— продолговатое, с бородкой, лицо, в котором изумленный беллетрист узнал вдруг хозяина усадьбы.

Памятник из снега — что ж, Чехову, наверное, затея эта пришлась бы по душе. Все лучше, нежели мрамор с бронзой...

В Москву вернулись затемно. У первой же станции метро автобус остановился и несколько человек вышли, Мила с Пташкиным в том числе. Он, сутулясь, быстро зашагал в одну сторону, к троллейбусной остановке, она, не спеша, в другую — фигурка ее под высокими светильниками все уменьшалась и уменьшалась, а беллетрист в гаснущем нимбе дальше поехал, к своему письменному столу, чтобы сесть за него и не вставать больше никогда.

Бахыт Кенжеев

СТИХИ ПОСЛЕДНИХ ЛЕТ

* * *

Над огромною рекою в неподкупную весну
книгу ветхую закрою, молча веки разомкну,
различая в бездне чудной проплывающий ледок —
сине-серый, изумрудный, нежный, гиблый холодок.

Дай пожить еще минутку в этой медленной игре
шумной крови и рассудку, будто брату и сестре,
лед прозрачнее алмаза тихо тает там и тут,
из расширенного глаза слезы теплые бегут.

Я ли стал сентиментален? Или время надо мной
в синем отлито металле, словно колокол ночной?
Время с трещиною мятной в пересохшем языке
низким звуком невозвратным расцветает вдалеке.

Нота чистая, что иней, мерно тянется, легка —
так на всякую гордыню есть великая река,
так на кровь твою и сердце ляжет тощая земля
тамады и отщепенца, правдолюбца и враля.

И насмешливая дева, темный спрятав камертон,
начинает петь с припева непослушным смерти ртом,
и тамбовским волком воя, кто-то долго вторит ей,
словно лист перед травою в небе родины моей.

* * *

Первый погон или пряный посол — что ты там нагородил?
Птичий язык индевеющих сел тих и непереводим.

Медленно спит оглашенный простор — и молодой инвалид,
молча ударив стаканом об стол, в мерзлое небо глядит,

а по земле проступает зима. И над дорогой кривой
мерно часовня качает с холма луковою головой.

Что же ты учишь, ночной человек, пальцами веки прикрыв,
трудную речь остывающих рек и коченеющих ив,

что ты выводишь в несмежных мирах линии на пятерне —
лисье убежище, волчий овраг, заячий гон по стерне?

* * *

Говори — словно боль заговаривай,
бормочи без оглядки, терпи.
Индевеет закатное зарево
и юродивый спит на цепи.

Было солоно, ветрено, молодо.
За рекою казенный завод
крепким запахом хмеля и солода
красноглазую мглу обдает

до сих пор — но ячмень перемелется,
хмель увянет, послушай меня.
Спит святой человек, не шевелится,
несуразные страсти бубня.

Скоро, скоро лучинка отщепится
от подрубленного ствола —
дунет скороговоркой, нелепицей
в занавешенные зеркала,

холодеющий ночью анисовой,
догорающий сорной травой —
все равно говори, переписывай
розоватый узор звуковой...

* * *

Не горюй. Горевать не нужно.
Жили-были, не пропадем.
Все уладится, потому что
на рассвете в скрипучий дом

осторожничая, без крика,
веронала и воронья,
вступит муза моя — музыка
городского небытия.

Мы неважно внимали Богу —
но любому на склоне лет
открывается понемногу
стародавний ее секрет.

Сколько выпало ей, простушке,
невостребованных наград.
Мутный чай остывает в кружке
с синей надписью «Ленинград».

И покуда зиме в угоду
за простуженным слоем слой
голословная непогода
расстилается над землей,

город, вытертый серой тряпкой,
беспокоен и нелюбим —
покрывай его, ангел зябкий,
черным цветом ли, голубым, —

но пройдись штукатурной кистью
по сырым его небесам,
прошлогодним истлевшим листьям,
изменившимся адресам,

чтобы жизнь началась сначала,
чтобы утром из рукава
грузной чайкою вылетала
незабвенная синева.

* * *

Венедикту Ерофееву

Расскажи мне об ангелах. Именно
о певучих и певчих, о них,
изучивших нехитрую химию
человеческих глаз голубых.

Не беда, что в землистой обиде мы
изнываем от смертных забот, —
слабосильный товарищ невидимый
наше горе на ноты кладет.

Проплывай паутинкой осеннею,
чудный голос неведомо чей —
эта вера от века посеяна
в бесталанной отчизне моей.

Нагрешили мы, накуролесили,
хоть стреляйся, хоть локти грызи.
Что ж ты плачешь, оплот мракобесия,
лебединые крылья в грязи?

* * *

...не ищи сравнений — они мертвы,
говорит прозаик и воду пьет,
а стихи похожи на шум листвы,
если время года не брать в расчет,

и любовь похожа на листьев плеск,
если вычесть возраст и ветра свист,
и в ночной испарине отчих мест
багровеет кровь — что кленовый лист,

и следов проселок не сохранит —
а потом не в рифму мороз скрипит,
чтобы сердце сжал ледяной магнит, —
и округа дремлет, и голос спит —

для чего ты встала в такую рань?
Никакого солнца не нужно им,
в полутьме поющим про инь и янь,
черный с белым, ветреный с золотым...

* * *

Где серебром вплетен в городской разброд
голос замерзшей флейты, и затяжной
лед на губах в несладкий полон берет
месяц за годом — поговори со мной.

Пусть под студеным ветром играет весть
труб петербургских темным декабрьским днем,
пусть в дневнике сожженном страниц не счесть,
не переспорить, не пожалеть о нем —

сердце в груди гнездится, а речь — извне,
к свету стремится птица, огонь — к луне,
завороженный, дальний костер ночной,
вздрогни, откликнись, поговори со мной,

пусть золотистый звук в перекличке уст
дымом уходит к пасмурным небесам —
пусть полыхнет в пустыне невзрачный куст —
и Моисей не верит своим глазам.

* * *

Европейцу в десятом колене
недоступна бездомная высь
городов, где о прошлом жалели
в ту минуту, когда родились,

и тем более горестным светом
вертоград просияет большой
азиату с его амулетом
и нечаянной смертной душой.

Мимо каменных птиц на карнизах
коршун серый кидается вниз,
где собачьего сердца огрызок
на перилах чугунных повис.

Там цемент, перевязанный
шелком,
небеленого неба холсты,
и пора человеческим волком
перейти со Всевышним на ты.

И опять напрягается ухо —
плещет ветер, визжит колесо, —
и постыла простая наука
не заглядывать правде в лицо.

* * *

Я жил в одной стране...
С. Гандлевский

1.

Неужели хвалиться нечем? Нитка, пяльцы, канва, игла.
В ненаглядной Европе вечер, а в России и вовсе мгла.

В двух шагах разыгралось море. И стакан на столе вверх дном,
будто лодочка на просторе сером, северном, ледяном.

Сколько бедного, злого неба молча смотрит в твое окно,
столько ненависти и гнева в море зябком погребено,

и священник, крестясь, зевает. И смотрителя маяка
после рюмки одолевает рыбой пахнущая тоска.

И волна выдыхает «не-ет», перед тем, как уйти в туман,
где ярится и цепенеет остывающий океан.

2.

По кому колокольчик плачет? Кто — беспечный, с цветком
в руке —
затевал карнавал незрячий в темнокаменном городке?

Пусть роняет ошметки дыма ясный месяц, летящий вниз,
награждая Иеронима, возрождая его эскиз.

Барабанные перепонки... хриплый голос, недобрый глаз...
Дьяволице и дьяволенку хорошо в этот поздний час.

Но звезда за звездой погасла. Все слепые ушли домой,
потянуло прогорклым маслом, одиночеством и тюрьмой —

просыпайся на всякий случай, недовольный и неживой, —
вдруг остался цветок пахучий на истоптанной мостовой.

3.

Заоконный ли свет заочный или снег оловянных туч
в человеческий град непрочный добавляет нежданный луч?

И опять, замерев в испуге, пришепетывая во сне,
сочиняющий книгу вьюги повернется лицом к стене.

Был он другом воды и праха, был он гостем, а стал врагом.
Отнимался язык от страха в тесном теле недорогом.

Смелость, истина, горечь, зрелость. Триумфальная ночь черна.
Кровь безрукая перегрелась, притираясь к изгибам сна,

переулкам, трубам, подвалам, осторожным каналам, где
пленка нефти живым металлом растекается по воде.

4.

Всякий возраст чему-то учит, разворачиваясь впотьмах
детской астмой, лиловой тучей, чудным заревом в небесах,

и тогда набирает скорость жизнь, оставшаяся в долгу,
превращая смолистый хворост в серый пепел на берегу

безвоздушного океана, — солью к соли, уста в уста.
Побережье ледком сковало, чтоб украдкой сошла с холста

тень длиной не в одно столетье — и, сжимая в руках печать,
дожидалась тебя до третьей стражи, требовала молчать —

и ловила, и целовала, и протягивала весло —
но усталому солевару не забыть свое ремесло.

* * *

Седина ли в бороду, бес в ребро —
завершает время беспутный труд,
дорожает тусклое серебро
отлетевших суток, часов, минут,

и покуда Вакх, нацепив венок,
выбегает петь на альпийский луг —
из-под рифмы автор, членистоног,
осторожным глазом глядит вокруг.

Что случилось, баловень юных жен,
удалой ловец предрассветных слез,
от кого ты прячешься, поражен
чередой грядущих метаморфоз?

Знать, душа испуганная вот-вот
в неживой воде запоздалых лет
сквозь ячейки невода проплывет
на морскую соль и на звездный
свет —

за изгибом берега не видна,
обдирает в кровь плавники свои —
и сверкают камни речного дна
от ее серебряной чешуи.

* * *

Молоко ли в крынке топится, усыхает ли душа —
жизнь к могиле не торопится, долгим временем дыша.
Ей делить с распадом нечего — вот и судит опрометчиво,
медлит, в дудочку дудит, упражняется в иронии,
напевает постороннее, молча в зеркальце глядит.

Сквозь ее разноголосицу понемногу в мир иной
легким мусором уносится голос выстраданный мой,
вьется ветер обтекаемый — и голодная стрела
между Авелем и Каином млечным лезвием легла.

Одному — листвой осеннею в растворенное окно
ради медленного чтения книг, написанных давно,
а другому — вроде выкрика в поле скошенном, пока
икса крест и вилка игрека душной страстью игрока

вяжут нищее сознание безобидного создания
с горлом, глазом, головой — брата скорби мировой...

* * *

Давай за радость узнаванья, как завещал один поэт,
пусть Аргус щерится, зевая, в вельвет застиранный одет.
Зима долга, и пир непрочен, в пыли тисненые тома
и к сердцу тянутся с обочин прохладноглазые дома.

Ответь, дыханьем пальцы грея, что город выверен и тих,
с тех пор как пробудилось зренье у трилобитов молодых.
Земля влажна, а в небе сухо, но там готовится одна
для осязания и слуха непоправимая весна.

И я родимой стороною бродил, ухваченный на крюк,
где ночью белою, двойною мой сводный брат и нежный друг
перемогается в ухмылке, дождем к булыжнику примят,
покуда ножницы и вилки в суме брезентовой гремят.

Всей силой скорбного сознанья он помнит, бедный звездочет,
что сон прохожего созданья горючим маревом течет,
и проникает, и бормочет, валдайской песенкой звеня,
но оправдания не хочет ни от тебя, ни от меня.

Да и зачем оно, откуда в руке свинцовый карандаш?
Ты за один намек на чудо всю жизнь с охотою отдашь,
и птица в руки не дается, и вера светлым пузырьком
в сердечный клапан молча бьется в скрещении дорог ночном.

* * *

То могильный морозец, то ласковый зной,
то по имени вдруг позовут.
Аметистовый свет шелестит надо мной,
облака молодые плывут.

Не проси же о небе и хлебном ноже,
не проси, выбиваясь из сил, —
посмотри, над тобою сгустился уже
вольный шум антрацитовых крыл.

И ему прошепчу я, — души не трави
человеку, — ты знаешь, что он
для насущного голоса, нищей любви
и щенячьего страха рожден,

пусть поет о тщете придорожных забот,
земляное томит вещество —
не холоп, и не цезарь, и даже не тот,
кто достоин суда твоего...

Но конями крылатыми воздух изрыт,
и возница, полуночный вор,
в два сердечных биения проговорит
твердокаменный свой приговор.

* * *

И темна, и горька на губах тишина,
надоел ее гул неродной —
сколько лет к моему изголовью она
набегала стеклянной волной.

Оттого и обрыдло копаться в словах,
что словарь мой до дна перерыт,
что морозная ягода в тесных ветвях
суховатою тайной горит.

Знать, пора научиться в такие часы
сырый воздух дыханием греть,
напевать, наливать, усмехаться в усы,
в запыленные окна смотреть.

Вот и дрозд улетает — что с птицы возьмешь.
Видишь, жизнь оказалась длинней
и куда неожиданней смерти. Ну что ж,
начинай, не тревожься о ней.

* * *

Ах, карета почтова́я, увлеченная пургой,
что летишь, не узнавая древней двери дорогой?

Там, за нею, стонет спящий, вспомнив в дальней стороне
пол гостиничный скрипящий, солнце алое в окне,

вечный сон, который начат, словно повесть без конца,
и в ладонях складки прячет безымянного лица...

Выступай же из тумана месяц медный, золотой,
вынимая из кармана ножик в ржавчине густой —

это жизнь моя под утро с беленой мешает мед,
и перо ежеминутно в руки белые берет,

тщится линию ночную снять с невидимых лекал, —
и рыдает, и ревнует к низким, влажным облакам.

* * *

Пока наверху без обиды и гнева
закатная льется река,
дурное отечество, гиблое небо,
на запад несет облака —

мой вольнолюбивый товарищ настроит
гитару, и бронзовый звук
взовьется, исчезнет за черной горою —
что хищная птица из рук.

И схватятся в воздухе сокол и ястреб,
взыграет латунная медь,
и будет он петь офицерские астры
и страсти советские петь.

Валяй, гитарист, без уныния и фальши
бывалые вспомним слова,
мы песенку спели, а дальше? А дальше
дрожит, ни жива, ни мертва

безумная женщина в черном платочке
в своем одиноком углу,
на зеркальце дышит, и зыбкие строчки
без музыки шепчет во мглу.

* * *

Когда безличественный народ на промысел дневной
выходит в город нефтяной и за сердце берет
несытой песенкой, когда в один восходят миг
полынь-трава и лебеда в полях очей твоих,
чего же хочешь ты, о чем задумался, дружок?
Следи за солнечным лучом, пока он не прожег
зрачка, пока еще не все застыли в глыбах льда,
еще, как крысе в колесе, тебе невесть куда
по неродной бежать стране вслепую, напролом,
и бедовать наедине с бумагой и огнем.

Век фараоновых побед приблизился к концу,
безглазый жнец влачится вслед небесному птенцу,
в такие годы дешева — бесплатна, может быть, —
наука связывать слова и звуки теребить,
месить без соли и дрожжей муку и молоко,
дышать без лишних мятежей, и умирать легко.
Быть может, двести лет пройдет, когда грядущий друг
сквозь силу тяжести поймет высокий, странный звук
не лиры, нет — одной струны, одной струны стальной, —
что ветром веры и вины летел перед тобой.

Монреаль, Канада

В. Кондратьев

ИСКУПИТЬ КРОВЬЮ

ПОВЕСТЬ

— А вообще-то, можно сказать, деревню дуриком взяли, — пробурчал рядовой Мачихин, после того как все отдышались, пришли малость в себя и заняли оборону на другом конце взятой ими деревни.

Карцев, именовавший себя ласково Костиком, ничего на это не ответил, либо ему было не до разговоров, либо согласен был с Мачихиным. Но только что подошедший политрук, такой же почерневший, как и все они, в ободранной о колючие заграждения шинели, пропустить такого не смог.

— Как это дуриком? — спросил строго, в упор.

— А так, — не смутившись ответил Мачихин. — Ежели по-честному, то живым мясом протолкнулись.

— А танки?!

— Ну, они подмогнули маленько, подавили фрицевские пулеметы...

— А наступательный порыв? А боевой дух? — напирал политрук.

— Этого хватало, — не стал отрицать Мачихин и попросил закурить, но все же повторил свое: — Что ни говори, а дуриком...

— Замолчите, Мачихин! — прикрикнул политрук.

— Это мы можем...

Политрук посмотрел на Мачихина, покачал головой, однако кисет с табачком все же вытащил, предложил и Карцеву. Все закурили... Курили молча, вдумчиво, глубоко затягиваясь легоньким табачком, которым, конечно, не удоволишься так, как нашенской моршанской махорочкой.

Прошедший бой казался сном — тяжелым, страшным, мучительным. Подробности не помнились. Бежали, падали, поднимались, снова падали и опять поднимались, крича что-то на ходу, и — если откровенно — совсем не надеялись достигнуть той небольшой деревеньки, на которую наступали, потому что как ни бежали, оставалась она очень далекой, и не верилось, что при таком вот смертном огне смогут приблизиться к ней для последнего рывка...

И вот — взяли все-таки. И сейчас пришел к ним если не покой, то все же какое-то успокоение. Курили, поглядывая на политрука, на его усталое, не по возрасту морщинистое лицо. Он делал короткие затяжки, и все видели, как подрагивают у него пальцы, держащие самокрутку, однако не осуждали — у всех не прошел еще противный мандраж, ведь такой бой осилили, и странно, что и политрук, и они сами остались живыми... И надо признать, политрук в бою после перебежек поднимался первым, крича истошным голосом «вперед, вперед!», перемежая эти слова матерком, которым, видать, пытался сбить страх и в себе, и в бойцах...

Докурив цигарку — уж пальцы начало жечь, — Карцев решил продолжить разговор, тем более вспомнил он, как в кадровой ходили они на учениях в наступление за огневым валом, подавив условного противника артогнем. Совсем непохоже на сегодняшнее, с одним «ура» и без единого артиллерийского выстрела.

— На одном порыве, товарищ политрук, далеко мы не уедем.

Не успел политрук и ответить, как опять Мачихин выступил:

Ежели у каждой деревеньки столько класть будем, не дотопаем до Берлина.

— Прекратите, Мачихин, — уже устало отмахнулся политрук, на что тот с усмешечкой:

— Прекратить, это мы завсегда можем, — и отошел на шаг.

— Ты, философ, на больную мозоль не наступай, без тебя тошно, — бросил Карцев.

Политрук на «философа» усмехнулся и спросил Мачихина:

— Вы кем на гражданке были?

— Счетоводом колхозным. А что?

— Да ты большой начальник, оказывается, — натужно рассмеялся Карцев.

— Не завидую вашему председателю, Мачихин, — покачал головой политрук. — Вот что.

— О пустяках болтаем, — проворчал Мачихин. — Вы бы назад, на поле взглянули.

А они и говорили о пустяках, чтоб не думать, чтоб почувствовать себя живыми, и слова Мачихина заставили передернуться политрука, а Костик, не выдержав, тихо выматерился:

— Да иди ты, Мачихин...

Политрук опять вытащил кисет и молча стал завертывать цигарку, а Карцев, чтоб стряхнуть с себя муть от слов Мачихина, спросил:

— Товарищ политрук, может, пошарить по избам фрицевским? Авось найдется чего? Кухню же раньше ночи не привезут.

— Опомнился... Другие взвода уж шарят небось, — повернулся к ним Мачихин.

— Ротному доложитесь, Карцев. Если разрешит — валяйте.

— Есть, — живо ответил Костик, которому невмоготу было стоять без действия.

Ротного нашел он на другом конце деревни. Тот стоял за уцелевшей избой и назначал из кадровых сержантов взводных, а из рядовых — отделенных. Заметив Карцева, ротный сам подозвал его.

— Слушайте, Карцев, назначаю вас командиром первого отделения в ваш взвод.

— Разрешите отказаться, командир. Не гожусь я в начальники. Вот я просил вас в связные к себе взять, так не взяли...

— Вы же блатняга, Карцев.

— Да нет, командир, рабочий класс я, на «Калибре» работал, ну а приблатненный малость, поскольку из Марьиной, известной вам, рощи.

— А почему в командиры не хотите?

— Разрешите при вас... Земляки же мы, — не стал особо распространяться Костик, и ротный кивнул головой.

Карцев попросил разрешения поискать у фрицев жратвы и курева, на что ротный тоже кивнул. И у него небось живот подвело, не шибко на марше командиров доппайком баловали, с одной кухни пшенку лопали, — подумал Карцев.

Проходя мимо бойцов, среди которых стоял и опекаемый им еще с формирования Женя Комов, худенький мальчик с карими, чуть навыкате глазами и припухлым детским ртом, прозванный «фитилем» и неизвестно, каким макаром попавший в армию, потому как на вид больше семнадцати ему не дать, Костик на ходу кинул:

— Ну как, мальчиша? Вроде не дрейфил? Видал я, не отставал ты в цепи, — и улыбнулся ободряюще.

Комов поднял широко раскрытые глаза, в которых стоял еще не остывший ужас, и словно бы не понял слов Карцева. Но когда хлопнул его Костик по плечу, Комов пробормотал:

— Дрейфил я, Карцев, еще как дрейфил... А не отставал, потому что больше всего этого и боялся. А еще боялся, что в немца живого не смогу выстрельнуть.

— Ну и иу, — усмехнулся боец из пожилых, — а того, что он в тебя врежет, не боялся?

— Об этом я почему-то не думал.

— Вот и воюй с такими, — хмуро проворчал сержант Сысоев. — Набрали детский сад да стариков.

— Ты, сержант, неправильно его понимаешь, — возразил пожилой. — Он же городской. Ему сроду никого убивать не приходилось. Это мы с тобой и скотину резали, и петухам головы рубили, а он что?

— Он-то? — ухмыльнулся Костик. — А клопов ты, мальчиша, давил?

— Давил, — выдавил улыбку и, чуть заикаясь, пролепетал тот.

— А фриц, он — хуже клопа! Вот и дави его, гада! — сказал пожилой, смачно сплюнув.

Костик задерживаться больше не стал, а направился к ближайшей избе. Дверь открывать не пришлось — распахнута была настежь, и Костик смело, но все же держа ППШ на изготовку, вошел, огляделся и даже присвистнул от удивления — на аккуратных двухэтажных нарах и матрасики, и одеяла, и даже подушечки, все чин чинарем. «Вот, гады, с какими удобствами воюют! — невольно вырвалось у него. — Вот бы придавить тут минут шестьсот, раздевшись до белья и укрывшись одеялом!» И почувствовал он тут, как устал, как намаялся от холода, бессонья и голода, ведь последний раз шамали вчера вечером, потом прошагали полночи до передовой, которая и слышна была, и видима кровавым, мерцающим над ней небом. С тех пор минули и ночь, и день, и бой, в который поднялись в шестнадцать ноль-ноль, выходит, что скоро сутки целые без жратвы.

И стал Костик шарить по солдатским тумбочкам. Сколочены они были грубо, но все же настоящие тумбочки, почти такие, какие у них в казарме стояли, только непокрашенные. Но ничего стоящего в них не было — носки фрицевские грязные, платки носовые, пустые пачки от сигарет, пачечки маленькие, сигарет на пять, наверно, были и побольше, на десять... Латинский шрифт Костик маленько знал, прочел: «Sport», «Senorita» и еще разные названия. Удивился, когда попалась пачечка с русским шрифтом — «Златна Арда», «Обед. Тютюн. фабрики придворни доставчици», посмотрел на обороте пачки, а там — «Царство България». В общем, барахло все, и нечего было больше тут искать, надо офицерскую избу или блиндаж найти.

Подальше от немецких окопов, но зато ближней к теперешнему нашему переднему краю избе, стояли не нары, а койки. Тут и почище, и воздух другой — вроде одеколоном попахивает. Здесь Костик решил поискать посерьезному, потому что кроме жратвы, а может, и выпивки, которые для всех надо добыть, томила его надежда, а вдруг пистолетик какой обнаружит типа «браунинга», который можно бы в задний карман бридж положить и какой видел он у Яшки-японца — героя марьинорощинской шпаны, профессионального уголовника, то пропадающего на несколько лет, то появляющегося в проездах Марьиной рощи. Про Яшку ходили легенды, говорили, что милиция брала его всегда с перестрелкой, без боя «японец» не сдавался, ну, и многое другое болтали. Дружбу Костик с ним, конечно, не водил по причине своего малолетства, но видел несколько раз на одной фатере, где и хвалился Яшка вороненым изящным браунингом и даже давал ребятам подержать в руке, предупреждая шепелявым голосом: «Ошторожно, жаряженный». Помнил Костик, как замерло его сердце от восторга, когда ощутила рука сладостную тяжесть пистолета, рукоятка которого прямо-таки влилась в ладонь.

И теперь, роясь в чужих вещах и делая это совершенно законно, Костик вдруг ощутил какую-то тайную радость в возможности найти что-то необыкновенное. Понял он сейчас своих дружков и знакомых блатяг, которые и после больших сроков, отбарабанив в лагерях по пять — семь лет, возвратившись, шли «по новой». Есть в этом что-то, есть...

В офицерских тумбочках нашел он галеты, несколько банок консервов, те же пустые пачки от сигарет, ну и барахлишко разное, вроде металлического портсигара с картой Великой Германии — вот это, бля, пропаганда! Закуривает немец и поневоле на эту карту поглядит и гордостью за свою страну нальется. Ну, еще пара зажигалок, письма, открытки, фотографии, баночки какие-то неизвестно с чем и для чего... Портсигар и зажигалки он взял, а остальное кому надо?

Пошарил он в самодельном шкафу бывших хозяев. Там-то и обнаружилась темная бутылочка, наверняка со спиртным. Поколебался немного Костик и решил глотнуть. Вряд ли отравлено, немцы же отступать не собирались, выбили их нежданно-негаданно, чего там раздумывать. Крутанул бутылку, приложился к горлу. Закусил галетой, постоял — вроде

все в порядке, крепость есть, в желудке потеплело, в голову чуть ударило — хорошо. Тут и мысль появилась, пошуровать бы по койкам, может, лежит что там. Одну, другую разворошил и под подушкой увидел... пистолет! Правда, не браунинг, а большой, с длинным стволом, непонятной конструкции. Повертел в руках, прочитал на затворе надпись — «Walther P-38». Сунул в карман, еле влез пистолет, не приспособлен для такого ношения, кобура нужна, но другого места нет. Пробуравит, конечно, карман ствол пистолета вскорости, но пока приятно оттягивает.

Сложив галеты, консервы и бутылку в вещмешок, вышел Костик из избы, чуть пошатываясь и глуповато ухмыляясь, — исполнилась «голубая мечта» его юности. Ему захотелось поделиться с кем-нибудь этой мальчишеской радостью, но с кем? С командирами нельзя — отберут, со стариками — не поймут, и зашагал он к Жене Комову.

— Ну-ка, мальчиша, подойди ко мне, шепну пару слов, — пригласил Костик, подойдя к группке бойцов, среди которых тот находился.

Женя тяжело поднялся, подходить ему, видно, не хотелось, но и Карцеву отказать не мог.

— Что покажу, — заговорщицки прошептал Костик. — Отойдем в сторонку.

Они зашли за угол дома, Карцев огляделся по сторонам и торжественно вытащил из кармана пистолет.

— Гляди, какая штучка!

— Нашел? — с легким придыханием, восхищенным шепотом произнес Комов, потянувшись к пистолету, словно желая погладить.

— Осторожно, заряженный, — сказал Костик тоном Яшки-японца. — Хорош? Только не пойму, на наш ТТ не похож, на браунинг тоже. Небось, тоже в детстве мечтал иметь такую штучку?

— Ага... В седьмом классе один приятель мне дамский браунинг показывал, так я — вроде честный был мальчик — а долго лелеял планы, как бы спереть у него этот пистолетик. Даже ночи не спал.

— Только молчок, мальчиша... Пойдем к ребятам, обмоем мою находку. — Костик засунул пистолет в карман. — Никому. Понял? — повторил Костик.

Женя понимающе кивнул и заковылял — на марше ноги он, конечно, стер. Сержант Сысоев и пожилой боец сидели, покуривали.

— Ну что, братцы, мандраж еще не прошел? — весело спросил Костик.

— У меня никакого мандража нет и быть не может, — быстро ответил сержант и вытянул руки — они не дрожали. — Это у некоторых...

— Бьет еще колотун, бьет... Такой бой осилили, — пробурчал пожилой.

— Тогда держи, папаша. Только глоток, — предупредил Костик, передавая бутылку.

— Раз угощаешь, нечего норму устанавливать, — принял «папаша» бутылку.

— Отставить! — скомандовал Сысоев, поднимаясь. — Вы чего, Карцев, тут распоряжаетесь. Где достали?

— Ротный меня послал съестного добыть, ну и трофей. Не бойтесь, сержант, неотравленная, пробовал. Так что прошу, угощайтесь. Я не жадный.

Пожилой успел сделать хороший глоток и теперь протягивал бутылку сержанту. Тот не взял и сказал строго:

— Учтите, Карцев, я теперь командир вашего взвода.

— А я у ротного в связных, сержант.

— Вот и идите к ротному. Нечего тут людей разлагать всякой немецкой гадостью. А бутылку — разбить!

— Ну, сержант... — протянул Костик, — неужто самому неохота после всей этой катавасии нервы успокоить.

— А у меня нервов нет. Поняли? Они в бою бойцу не нужны.

— Даешь, сержант... А ведь физика-то белая у тебя была в наступлении.

— Это я от злости бледнею.

Пожилой внимательно поглядел на сержанта и покачал головой.

— Форсишь, сержант. Не верю, чтоб страху у тебя никакого не было.

— Отставить разговорчики. А вы идите, Карцев, идите.

Костик повернулся и выругался про себя. Ну и долдон же сержант, хотя, что говорить, в наступлении вел себя толково и смело, сколько раз маячил на поле в рост, чтоб поднять кого-то из залежавшихся при перебежках... Да и вообще, подумал Костик, вся рота, хоть и не очень верила в успех — в наступление шла безропотно, послушно, несмотря на ожидавший их всех «наркомзем» или «наркомздрав», как называли они смерть или ранение...

Ротного он нашел не сразу... Сидел тот на завалинке возле аккуратно (видать, немцами) сложенной поленницы. Сидел бледный, с сосредоточенным, усталым лицом и глянул на Костика равнодушно.

— Товарищ старший лейтенант, — начал Костик бодро, — насчет жратвы трофеи слабые, но бутылочка шнапса нашлась. Давайте по глотку за нашу победу, — и вытащил бутылку.

Ротный взял бутылку, крутить ее не стал. Видать, навыка пить из горла не имел. Сделав несколько небольших глотков, молча отдал бутылку.

— Сержанта Сысоева вы на взвод поставили?

— А что?

— Задираться уже начал.

Ротный ничего не ответил, цигарку стал завертывать. Видел Костик — худо ротному, прошел вспыл, с которым они в наступление шли, небось мысли всякие навалились. И чтоб поддержать его, он сказал:

— Поздравить нас следует всех с победой-то...

— Какие к черту поздравления! Хреново наше положение, Карцев. Разве это оборона? — показал он рукой на край деревни. — Начнут немцы нас выбивать, вряд ли удержимся.

— Надо удержаться, командир. Ежели он нас обратно по этому полю погонит, побьет всех начисто.

— Понимаешь это?

— Чего тут не понимать. Это все понимают.

— Это хорошо, если все, — вздохнул ротный и задумался.

Костик потоптался еще немного и, поняв, что ротному не до разговоров, спросил:

— Если я вам не нужен сейчас, то разрешите еще по избам пошукать насчет съестного?

— Валяй, — кивнул ротный.

Карцев пошел... Для компании решил взять с собой Женю Комова. Тот лежал, закрыв глаза, подложив вещмешок под голову.

— Мальчиша, подъем! — негромко позвал Костик. — Пошли, облазим эту фрицевскую деревню. Может, еще пистолетик найдем.

Комов вздрогнул, открыл глаза и ничего не ответил.

— Что, устал? Неохота?

— Если найдем, мне отдашь? — стал приподниматься Комов.

— Беспременно. Законный твой трофей.

По дороге Костик стал напевать какую-то блатную песенку про паровоз, где часто повторялось: «Курва буду, не забуду этот паровоз...» Напевал тихо, почти про себя, но Комову казалось странным и даже кощунственным, что Карцев позволяет себе это, когда кругом наши убитые. «Как он может?» — думал он, поглядывая на товарища, не понимая, что тот отвлекает себя и свои мысли от того, что было, что есть и что может быть впереди.

Двинулись к немецкой обороне, шли вдоль хода сообщения, тянувшегося от крайней избы к блиндажу. Из блиндажей вился ход уже к окопам... Все сделано было добротно, толково и по всем правилам.

— Умеют, гады! — вырвалось у Костика. — Теперь понятно, почему эту деревуху наши почти два месяца не могли взять.

— А как же мы взяли? — еле слышно спросил Комов.

— Не знаю, — пожал плечами Костик. — Мачихин сказал — «дуриком», а по-моему, оплошали малость фрицы, всерьез нас не приняли.

Справа виднелся развороченный танковым снарядом дзот. Взрывом

выброшены были и искореженный пулемет, и сам пулеметчик. Комов отвернулся от трупа. Костик бросил взгляд, поморщился и сказал:

— Давай в блиндаже посмотрим.

Женя кивнул, и они стали спускаться в блиндаж. Спустились, свет от приоткрытой двери высветил труп немца с развороченной раной в животе.

— Кто это, интересно, сработал? У кого из нас СВТ? Здорово резанул, все кишки наружу,— поморщившись, но бодро сказал Костик.

Женька отвернулся, смотреть на это было страшновато, и у него пропало желание искать здесь что-то. Карцеву тоже, видать, не очень-то хотелось тут копаться, но он все же оглядел все внимательно. Ничего стоящего не найдя, выкарабкались из блиндажа. Идти к развороченному дзоту Женя отказался, хватит с него и этого трупа, не будет он рыскать по блиндажам.

— Подбодрись, малыш,— вспомнил Карцев о бутылке и вынул ее из кармана.

Комов долго раздумывал, потом нерешительно согласился:

— Ну, если глоток... Может, согреюсь.

— Конечно. Меня колотун сразу перестал бить, как принял дозу.

Комов глотнул немного и совсем неожиданно для Карцева попросил закурить.

— Дам фрицевскую сигарету. Держи. Итак, мальчиша, посвящаю тебя в солдаты,— усмехнулся Костик, хлопнув его по плечу.

Комов неумело затянулся и раскашлялся... Карцев поглядел на него, покачал головой и отошел, подумав, что таких мальцов на войну брать ни к чему. Пройдя немного, увидел он связистов, тянущих связь, тоже в измазанных, грязных шинелях, с серыми, усталыми лицами. Видно, не раз фрицы своим огнем утыкали их на поле в воронки. Глянул он и на кажущийся очень далеким лесок, из которого начали они наступление, и подумал, что ежели выбьют их немцы из этой деревни, то вряд ли кто доберется живым, и стало ему страшновато — нет у них тылов, и подмоге не добраться, и связь перебьют сразу, так что все это — мартышкин труд. Хотел сказать связистам, да раздумал, отошел в сторонку и хлебнул глоток от зябкости, которую ощутил, когда глядел на поле и на такую дальнюю передовую.

У одной из изб, на завалинке, сидели папаша, бывший парикмахер Журкин и другие ребята. Папаша, смоля длинную закрутку, как всегда, что-то вещал:

— Помню, в германскую энто дело, то есть бой первый, обставляли сурьезнее: бельишко чистое надевали, поп молебен служил, письма родным карябали... А сегодня с ходу пошли, будто в игру играем. И, кстати, без разведки сунулись. Ведь энтих фрицев здесь батальон мог быть, они бы нас тут враз всех прикончили, и танки не помогли бы... В ту войну так не делали...

— Рота их здесь была, а может, и меньше. Небось, начальство знало,— заметил один из бойцов.

— Ни хрена твое начальство не знало... Нам бы, Карцев, когда стемнеет, хотя бы энти спирали Бруно перетащить на конец деревни, а то ничего впереди, ни окопчиков, ни заграждений, а фрицам сейчас ихнее начальство за то, что деревню оставили, мозги вправляет. Как бы они ночью выбивать нас не стали. Ты на начальство,— обратился папаша к тому бойцу,— особо не рассчитывай: помкомбата у нас сопляк, ротный уж больно ученый, а политрук — что? Он только болтать может. На войне, брат, каждый солдат лишь на себя надеяться должон. Верно, Карцев?

— Верно, да не все. Ротный у нас дело знает... Но, говорят, немцы ночью не воюют, а к рассвету надо быть наготове.

Эти Костины слова подействовали на всех успокаивающе. И верно, все болтают, что фриц ночью спать любит, а к утру они передохнут малость, поспят хоть несколько часиков, а там со свежими силенками дадут фрицу прикурить, ежели он, гад, сунется. Хотя окопов с того конца деревни и нет, но воронок тьма, деревца есть, ну и за фундаментами сгоревших изб укрыться можно. Ежели танки не попрут — отобьются, а ежели попрут — тогда хана. О танках, видать, почти все одновременно подумали, потому что кто-то сказал, что неужто сорокапяток не подкинут, без них не выдержать.

— Раньше ночи и не мечтай. Как они их через все поле потянут на виду у фрицев... Да и ночью вряд ли, от ракет светло, как днем. Вот, может, на самом раннем рассвете...— сказал папаша.

Парикмахер Журкин сидел, положив руки на колени, и смотрел в никуда отсутствующим взглядом. Рядом прислонил он винтовку СВТ с окровавленным штыком-кинжалом. Карцев сразу смекнул, что это, выходит, Журкин фрицу пузо распорол. Вот уж не подумать на него, мужичонка хлипенький, да и трусил на поле здорово, один раз его ротный за шкирку поднял с земли, второй — Карцев прикладом в спину погнал, а гляди-ка, угрохал немца. Хотел было Карцев спросить, как это он с таким верзилой управился, но тут завыли над ними мины, застрекотали пулеметы. Глянули на поле и увидели, как залегли там несколько солдат с двумя станковыми пулеметами.

— Пулеметики-то нам к делу,— заметил папаша.— Только не пройдут.

Но пулеметчики отлежались, переждали огонь, потом рванули рысцой, вновь залегли, снова рванули и минут через пятнадцать достигли деревни. Лица белые, руки дрожат. Сбились возле избы и задымили.

— Ну, как дорожка? — спросил Костик.

— Иди ты...— проворчал пожилой усатый пулеметчик.

Костик и пошел, но не туда, разумеется, куда послал его усатый, а на другой край деревни. Кабы не так ответил пулеметчик, дал бы им Костя глотнуть трофейного шнапса, но раз послали, хрен-то им... По дороге наткнулся он на ребят, все так же сидящих у избы и смолящих махру. Сержант Сысоев стоял перед ними — прямой, подтянутый, будто и не из боя. Подошел, остановился послушать разговор, который вели солдатики.

— Вот, разводили панихиду перед боем, — а живые, и деревню взяли,— это Сысоев выступал.

— Мы-то живые, а скольких положили, царствие им небесное...

— Опять, папаша, за религиозную пропаганду взялся? Предупреждаю,— повысил голос на последнем слове сержант.

— А ты сам-то, сержант, неужто за весь бой ни разу о Боге не вспомнил? — оставил папаша без внимания строгое «предупреждаю».

— А чего о нем вспоминать? Без него деревню взяли.

— Ох, сержант, не гневи Господа. Вот выбьют нас фрицы отсюдова, да порасстреляют всех на поле, как драпать будем.

— Я вам подрапаю! И думать забудьте. И чтоб я таких разговорчиков больше не слышал. Слыхал, Карцев, уже драпать приноровились? Ну и народ, воюй с такими.

— Танки пойдут, не устоим, сержант,— сказал Костик.

— И вы туда же!

— А почему сорокапяток нет? — спросил кто-то.

— Будут,— уверенно заявил сержант.

— Ты, сержант, о Боге не думал, потому как сзади цепи шел, а нам-то пульки-то немецкие прямо в грудь летели, страхота страшная была,— сказал кто-то из ребят.

— Позади шел, как ротный приказал, людей подтягивать. Но там не лучше. Вы впереди не видали, как ребят косило, а я видел...— Опустил голову Сысоев и сжал кулаки.

Бойцы посмотрели на него с удивлением — неужто людей жалеет службист этот? Папаша тоже оглядел сержанта, сказав:

— Это верно, в наступлении что впереди, что позади — все равно у фрица на виду. Но ты молодец, сержант, думал я, хвастал ты насчет Халхин-Гола. Значит, медалька твоя не зазря.

— Вы мне комплименты не делайте, скидки не будет.

— Мне твои скидки не нужны, я за Расею-матушку воюю. Понял?

— Не за Расею твою дремучую, а за Советский Союз. Понял?

— Да сколько Союзу твоему лет? Двадцати пяти не будет. А России сколько? Понял? — Папаша довольно усмехнулся, решив, что уел сержанта.

Тот и вправду призадумался, но ненадолго:

— Старорежимный ты человек, папаша... А может, из хозяевов ты?

— Из них самых. Из крестьян, которые до тридцатого хозяевами были, а теперича... — махнул он рукой.

— Но-но, поосторожней, отец, — прикрикнул сержант.

— А чего нам осторожничать? Все одно под смертью ходим. Чего нам бояться? А окромя прочего, ты, сержант, брось мной командовать, я воевать и без тебя научен, потому как империалистическую прошел и гражданскую, а ты хоть медальку и получил, но воевал-то сколько?

Сысоев сплюнул и, проворчав «разговорчики», отошел.

— Здорово ты его, папаша, — сказал Костик Карцев и полез в карман. — На, глотни.

Папаша не отказался, взболтнул бутыль и выпил до дна. Костя взял ее у него и кинул, но вместо ожидаемого звука разбитого стекла грохнул взрыв, словно гранату бросил. Все вздрогнули невольно, переглянулись с недоумением, пока кто-то не поднял голову вверх и не увидел «раму»... Видать, она и скинула небольшую бомбочку ради озорства.

— Ну вот, прилетела гадина, теперича жди бомбовозов, — в сердцах вырвалось у папаши.

И у всех засосало под ложечкой... По дороге на фронт бомбили их эшелон три раза, и хотя потерь было немного, страху натерпелись. И сейчас страшно сделалось, потому как ежели налетит штук пять, они от этой деревни ничего не оставят, да и от них тоже. Тогда фрицы заберут деревню обратно с легкостью.

С тоской уставились ребята в небо, где кружила рама, выглядывая, что они здесь, в этой занятой деревеньке делают. А что они делали? Связисты протянули связь в избу, которую заняли ротный и политрук, пулеметчики, появившиеся недавно, выбирали позиции на краю деревни, остальные бойцы тоже искали какую-нибудь лежку поудобнее да поукрытистей. Кто бродил по деревне, кто шарил по избам и блиндажам, а кто просто дремал с устатку, привалившись куда придется.

Костик тоскливо глядел на кружившуюся в небе раму и сожалел, что, наугощав других, себе ни капли не оставил, а выпить страсть как захотелось и от противного жужжания самолета, и от такого же противного ожидания бомбежки. Побрел он снова к офицерской избе и, открыв дверь, сразу же увидел Журкина, сидящего на полу с бутылкой в руках, с бессмысленными, затуманившимися глазами.

— Ты что опупенный такой? Фриц в блиндаже твоя работа? — спросил Костик.

— Не спрашивай! — взвизгнул Журкин. — Сгоряча я. Раненый он был, рану свою перевязывал. Как я вбежал, он руки поднял, а я... с ходу ему в пузо. Понимаешь, ни за что человека убил. Знаешь, как он кричал... — Журкин закрыл лицо руками.

— Неладно, конечно, получилось. Живым надо было фрица брать, хоть расспросили бы его. Не переживай, война же...

— Я никого сроду не убивал. Никого.

— Ты что, бутылку всю опрокинул!

— Всю.

— Придется пошуровать. — И Карцев вышел в сени, где видел какие-то ящики.

Но не успел он их открыть, как вошел сержант и накинулся на Костика:

— Опять мародерством занялся? Отставить, Карцев! Выдь отсюда. Кто еще тут? — Не дождавшись ответа, Сысоев плечом толкнул дверь в горницу...

Увидев сидящего на полу Журкина, сержант заорал:

— Встать! На пост шагом марш! Устроился, голубчик! Живо! Журкин! Во, бля, народ! Воюй с такими!

Журкин с трудом поднялся и побрел к выходу. Как не заметил сержант, что он пьяный, неизвестно. Просто, видать, в голову не ударило, что этот заиюханный парикмахер, боец, на взгляд сержанта, никудышный, может такое позволить. А скорее всего мысли Сысоева были заняты Карцевым, который много о себе понимает и которого надо укоротить... Тем временем, пока сержант в избе был, Костик нашел две бутылки и, засунув их в карманы ватных брюк, быстро зашагал к ротному, чтоб

угостить земляка-москвича шнапсом, ну и вообще он как связной должен при нем находиться.

По дороге встретил он бойца, к которому давно приглядывался, знакомая вроде физика, да все как-то не выходило спросить, не встречались ли где? А сейчас попросил тот прикурить, при этом тоже трофейную сигаретку достал.

— Пошуровал, вижу, по избам? — спросил Костик.

— Да нет, нашел в траншее пачку, — лениво ответил тот.

— Ты, случаем, не москвич?

— Москвич. А что?

— Лицо мне твое знакомо. Вроде встречались. Не в Марьиной ли роще?

— Нет. Там я сроду не бывал, в другом районе жил. А ты оттудова?

— Да.

— Нет, браток, не встречались мы. Москва-то большая.

— Это верно, большая. Все-таки где-то я тебя видал...

— Ошибся, — так же лениво и спокойно ответил тот и отошел.

Но Костик пока топал к штабной избе, все вспоминал, где же он видел этого парня? Не в той ли фатере, где видел он и Яшку с его браунингом? Там тогда было много народа, можно и ошибиться... Так и не придя ни к чему, дошел Костик до места.

В горнице, возле печки сидел ротный без шинели, выставив руки к огню. Карцев присел рядом, снял каску и шапку и вытащил бутылку.

— Погреемся, командир? Сейчас раскупорю.

Они сделали по хорошему глотку и закурили.

— Вы где в Москве жили? — спросил Костик.

— На Первой Мещанской...

— Понятно. Значит, и «Уран», и «Форум», и «Перекоп» — наши общие киношки... Куда чаще ходили?

— В «Форум», наверно.

— Помните, летом в садике джаз играл, танцы... Потом в буфет пойдешь пивка выпить, а после уж — в кинозал. Хорошо было... — мечтательно закончил Карцев, задумавшись, а затем с горечью прошептал: — Неужто больше ничего не будет? И эта деревня проклятущая — последнее наше место жизни? А, командир?..

— Не надо, Карцев, об этом думать... Я пробовал подготовить себя к смерти, но...

— Не получилось? — прервал Костик, усмехнувшись.

— Да, не вышло, — усмехнулся и ротный.

— Но все же помирать очень неохота, командир... Вы-то хоть что-то повидали в жизни, а я... — махнул он рукой. — Когда по полю бежал, ни о чем не думал, а вот сейчас... — достал Костик пачку фрицевских сигарет и закурил.

— Ничего я в жизни тоже не видел, Карцев. Даже жениться не успел, — вздохнул ротный. — А сейчас думаю, и хорошо, что не успел.

В другой комнатухе зазвонил телефон, телефонист позвал ротного. Помкомбат спрашивал, не прибыл ли связной с приказом.

— Какой еще приказ?

— Придет — узнаешь. Погляди налево, может, поймешь. Как придет связной — сообщишь. Насчет того, что ждешь, будет ночью. Короче, связной все сообщит.

Ротный накинул шинель.

— Пойдем, Карцев, посмотрим, что там на левом фланге делается.

Напротив Усова, занятого немцем, увидели они в лесу какое-то копошение, накапливался народ у опушки.

— Все ясно, командир. На Усово наступать собрались. Если возьмут, больному легче.

Тут и связной от помкомбата подошел и сообщил, что второй батальон на Усово пойдет, и приказано его поддержать огнем станковых пулеметов, которые имеются, чтобы открыли фланговый огонь по Усову.

— Пойдем к пулеметчикам, Карцев.

— Что вы меня по фамилии, командир? Земляки же мы, да надоела мне казенщина эта в армии.

Ротный внимательно посмотрел на Костика... Ему был симпатичен

этот марьинорощинский парень, неглупый и даже интеллигентный, несмотря на свои полублатные замашки. Он улыбнулся:

— Хорошо, Костя...

— Лучше, Костик, командир, — улыбнулся и он.

Пулеметчиками распоряжался усатый сержант... Расположил он станкачи по флангам, довольно хорошо замаскировал точки. Сейчас, когда подошли ротный с Карцевым, он выбирал запасные позиции. Ротный передал приказ помкомбата поддержать второй батальон фланговым огнем. Усатый передернул плечами и нахмурился.

— Без толку это, далеко слишком. Только себя откроем. К тому же лишь одним пулеметом сможем, вот этим, что слева стоит, — показал он на пулемет.

— Понимаю, но приказ...

— Приказ, — криво усмехнулся усатый, — приказы и дурные бывают. Ладно, посмотрим. Ни хрена из этого наступления не выйдет. Усово фрицами укреплено, дай Бог. Это у вас дуриком получилось...

— Во-во, — оживился Костик, — и наш Мачихин то же сказал.

— Не дурак, значит, ваш Мачихин... Я, товарищ командир, должон вам помогать, а ежели свои пулеметы открою, немцы их сразу забьют, чем отбивать атаку ихнюю будем?

— Вы думаете, немцы пойдут в наступление? — спросил ротный.

— А чего не пойти, им нас выбить без труда. Обороны-то настоящей нет.

Плохо чувствовал себя ротный старший лейтенант Пригожин, бывший инженер-строитель, которому место, разумеется, не в пехоте, а в инженерных войсках, но в скоротечности и неразберихе мобилизации сунули его в стрелковую часть, не посмотрев даже на «вус» *, ну, а потом, после ранения и госпиталя, тоже не удосужились этим заняться и послали на формирование стрелковой бригады, которое происходило в небольшом уральском городке недалеко от того, где находился их госпиталь.

Однако с пехотой он примирился. Встретив войну на западе и провоевав самые тягостные и трагичные первые месяцы, Пригожин пришел к выводу, что главное в этой войне — сберечь жизни бойцов, которыми так легко и бездумно разбрасываются, а война-то будет долгой, насчет этого никаких иллюзий он не строил, как и в отношении того, что удастся ему остаться в живых...

Он лучше других в роте понимал, как шатко и ненадежно их положение — слишком далеко оторваны они от своих, трудно будет им помочь, когда немцы начнут отбивать деревню. А отбивать, несомненно, будут. И если пойдут танки, то встретить их Пригожину нечем — только два противотанковых ружья, штук двадцать противотанковых гранат, ну, и у каждого по бутылке зажигательной смеси... К тому же знал он по опыту, как трудно выдержать человеку приближение этих железных махин, какой страх и чувство беспомощности охватывает бойцов и как трудно подпустить танк на расстояние броска гранаты или зажигательной бутылки, особенно если человек находится не в укрытии. И он спросил Карцева:

— Если танки, Костик, что будем делать?

— Бой вести можно только за избами, ну и в окопах немецкой обороны. Если оттуда вылезем — раздавят на поле, как клопов.

— Давай-ка и скажем об этом бойцам. Пошли.

К наблюдателям подходить было опасно, можно только ползком.

Подошли к тем, которые расположились в середке деревни отдельными группками. Уже на подходе услышали голос папаши:

— Была у меня своя землица, холил ее, ублажал, кажинный камешек с нее убирал, навозу завозил сколько можно. Вот она и родила, матушка. Ну, и изба была справная, сам каждое бревнышко обтесал, к другому пригнал... И что? Из этого дома родного меня к твкой-то матери... А какой я был кулак, просто хозяин справный... Обидели меня? Конешно. Вроде бы эта обида должна мне мешать воевать, однако воюю...

— Меня оставили, но я сразу в счетоводы пошел. Не на своей земле — что за работа, — сказал Мачихин и сплюнул.

* Вус — военно-учетная специальность.

— Эх, сержанта на вас нету, он бы вам поговорил, — заметил кто-то.

— Что сержант? У него одно понимание вынули, а другое вложили, знаем мы таких... — махнул рукой Мачихин и снова сплюнул.

— Отставить разговорчики, отцы. Как танки будем отбивать, думали? — с усмешечкой вступил в разговор Костик.

— Я с танками не воевал, — заявил папаша. — Но рассказывали — страшенно очень.

— Оружие у нас противу танков больно знаменитое, — съязвил, конечно, Мачихин, показав на торчащее из кармана шинели горлышко бутылки.

— В общем, братва, надо за избами прятаться, а из-за углов кидать. И бутылки, и гранаты, — произнес Костик бодрым голосом.

— Да он энти избы сметет вместе с нами, — сказал один из бойцов со вздохом.

— А ты, мальчиша, что скажешь? — обратился Карцев к Комову, притулившемуся к завалинке.

— Я? Как все...

— Эх, мальчиша, я надеялся, что ты подвиг совершишь, а ты «как все», — усмехнулся Костик, хотя у самого от этих разговоров про танки ныло в душе, но он бодрился, стараясь победить страх, льдинкой забравшийся за пазуху.

— Про подвиги пущай в газетах балакают... Как дуриком взяли, так дуриком нас отсюдова и турнут фрицы, — проворчал Мачихин.

— Нам с тобой, Мачихин, что, мы свое прожили, а вот мальца жалко будет, да и тебя, Костик... Не вовремя вы родились, ребята, не выйдет вам пожить на свете, — пожалел их папаша.

— Не каркай, папаша. А ты, малыш, не слушай, мы еще с тобой до победы, дай Бог, дотянем.

— Вот именно — дай Бог. Может, вы выживете, — решил и папаша ободрить мальцов.

Пригожин этот разговор и не прерывал, потому что ничего утешительного сказать не мог, а повторять казенные слова не хотелось, ими эти тяжкие мысли о смерти из голов людей не выбьешь, у самого на душе тягомотина...

Подошел политрук, бойцы нехотя приподнялись, но он сразу же махнул рукой — сидите, дескать. Лицо политрука озабоченное, растерянное. Он, несомненно, тоже понимает их положение и пришел, по-видимому, для того, чтоб поговорить с народом, приободрить, а тем самым приободрить и себя.

— Ну как, товарищи, настроение? — спросил негромко он.

— Какое может быть настроение? Хреновое... Одни мы тут в этой деревухе, в случае чего — помощи не дождемся, перестреляют их немцы на подходе. Вот и пушки не могут доставить, а без них...

— Зачем так мрачно, Мачихин? Сорокапятки нам, как стемнеет, привезут, патронов у нас навалом. Унывать нечего, товарищи. Главное, деревню мы взяли геройски. Вот если второй батальон Усово возьмет, наше положение укрепится. Можно же немцев бить! Сами убедились. Откатили их от Москвы, а теперь дальше катить будем... — политрук замолчал, закручивая цигарку, и, закурив, продолжил. — Главное теперь: отсюда ни шагу назад. Деревню надо удержать. Понятно?

— Это нам понятно. Деваться-то некуда, ни вперед, ни назад. Это мы разумеем, — сказал папаша.

Не смог умолчать и Мачихин. Почесывая за ухом, он пробурчал:

— Понятно-то понятно, но почему у нас, товарищ политрук, завсегда так нескладно получается? Взяли вот деревню, а сколько у нас сейчас народу? С гулькин нос. Подмога нужна, а ее нету, пушки нужны, тоже нету. Это заместо того, чтоб укрепиться тута как следует. И чего начальство думает? А выбьют нас — мы же и виноваты будем.

— Это уж непременно, — согласился кто-то.

— Подождем до ночи, товарищи. Прибудет и пополнение, и пушки. Обязательно, — успокоил их политрук.

На этом политбеседа и закончилась. Воевать надо, это все знают и все понимают. Но почему так слабы мы оказались, что допустили немцев до самой Москвы, почему у него всего навалом, а у нас то того, то

другого нет? Вот снова эта рама проклятущая прилетела, действует на нервы, хоть бы один ястребок появился, сбил бы эту гадину, ан нет их, самолетов-то наших, куда подевались? Сколько их на парадах летало, неба не видно, а сейчас хотя бы залетный какой появился самолетик. А ведь эта рама неспроста, после нее всегда юнкерсы на бомбежку прилетают, ну и натворят здесь, одному Богу только известно. Перелопатят деревню, все с землей смешают. Одна надежда, ежели немцы отбить ее надеются, то не будут бомбить, сохранят ее для себя, у них тут все оборудовано, все справное, с удобствами вплоть до теплых сортиров...

Надеялся на это и Пригожин, поглядывая на небо, на тихо урчащую моторами раму, которая спокойно парила в небе, ничего не опасаясь... Вот на снижение пошла неспешно, и посыпались из нее белыми голубками листовки... Политрук, увидев это, едва не бегом бросился к бойцам:

— Листовки не читать, немедленно сдать мне. Это приказ! — закричал он. — Передать всем!

Чего напугался, недоумевали бойцы? Подумаешь, листовки фрицевские. Чем они могут взять? Да ничем. Попадались они некоторым, кто вторым заходом на фронте, так говорили — глупые листовки. Ну, еще в первые месяцы войны могли подействовать, а сейчас? Когда немцев от Москвы отогнали? А политрук забеспокоился. Не знали бойцы, что со стороны Особого отдела инструктаж был строжайший: листовки читать не давать, отбирать, а потом сдать все в Особые отделы, под личную ответственность командиров, и политработников особенно.

А листовочки кружились в воздухе и медленно планировали на землю. Какие на поле попадали, какие и в деревню залетели. Политрук и замполитрука, назначенный им из бойцов, потому как того, с четырьмя треугольничками, кадрового, ранило и потопал он радостно в тыл, начали ходить по деревне и листовочки эти подбирать. Их в деревню попало не так уж много, а потому политрук приказал никому их не подбирать под угрозой трибунала, надеясь, что вдвоем они сами управятся. Ведь ежели боец подберет, так поневоле глазом пройдется по строчкам и узнает, к чему немцы его призывают, а призывали они, конечно, сдаваться, переходить на ихнюю сторону, и каждая листовочка эта являлась пропуском. А переходить предлагали, потому как сопротивляться им безнадежно, Красная Армия разгромлена, а в плену им будет обеспечена и жизнь, и пропитание, и прочее...

Видя, как резво собирают политрук с бойцом листовочки, чуть ли не бегом, Мачихин — а кто же иной — ухмыльнулся презрительно и заявил во всеуслышание:

— Не верит нам начальство, не доверяет, будто прочтем этот листок и побежим сразу в плен. Разве это дело, так народу не доверять?

— А когда Советская власть народу доверяла? Да никогда. И в гражданскую комиссары все выпытывали, какого кто происхождения. Офицеро́в царских сколько перестреляли, а они ведь добровольно в Красную Армию пошли, за народ вроде были, — откликнулся папаша, и тоже не тихо.

— Легче на поворотах, папаша. На стукача нарвешься — погоришь, — предупредил Костик. — Вон сержант на подходе.

— А я уж горел, горел, а как война, призвали меня Советскую власть защищать, которая меня не успела заничтожить до конца. Не боюсь я теперича никого — ни стукачей, ни власть, ни НКВД, надо мною сейчас другая власть — Божья. А посадят, так я в лагере, может, и выживу, а здесь, сам понимаешь...

— Интересное кино получается, папаша... Может, ты и задумал в лагере от войны перекрыться? — усмехнулся Костик.

— Я вот тебе врежу за такие слова, соплями изойдешь. Силенка во мне осталась, — тяжело приподнялся папаша, сжав увесистые кулаки.

— Пошутил я. Что, ты меня не знаешь?

— Я тебе пошуткую. Говорил я, за Расею-матушку воюю, она мне родина родная. Понял?

Костик согласно кивнул, а папаша стал завертывать цигарку. Закурив, продолжил:

— Я вот что думаю: ежели победим немца, распустит, может, Сталин колхозы, вернет мужику землицу обратно?

— Вижу, здорово ты против колхозов, папаша, — сказал Костик.

— А что же, давно людьми сказано: богатый мужик — богатая страна. А в колхозе все нищие. Это и дураку ясно, чего тут говорить-то.

Вдали появился политрук с бойцом, в снятых касках несли они немецкие листовки. Разговор, само собой разумеется, затих, но когда они проходили мимо, Мачихин спросил:

— Ну что там, товарищ политрук, фрицы нам пишут?

Политрук остановился и, не ответив, озабоченно спросил в свою очередь:

— Никто из вас, товарищи, не подбирал листовки? Смотрите, найду, плохо будет. Есть на этот счет строгий приказ. А потому, если кто припрятал на закурку или еще для чего — сдайте сейчас же.

— Успокойтесь, товарищ политрук, никто из нас ничего не брал. Хотя на подтирку парочку неплохо бы иметь, — улыбнулся Костик.

— На кой они нам, — безразлично произнес папаша.

Политрук оглядел всех и, видно, поверив ребятам, тронулся в избу, в которой ротный с телефонистами находится. Не успел он войти, как прибежал боец-наблюдатель и сообщил, что по оврагу пробираются к нам двое, помкомбат, наверно, с бойцом. Ротный поднялся, подтянул ремень и ушел встречать помкомбата, захватив по дороге Карцева. У края деревни они остановились и глядели, как двое, согнувшись, довольно робко двигались в их сторону. Овраг метрах в ста от деревни кончался, и тем двоим придется выйти на поле, где они будут видимы немцами из деревни Панова, что находится справа от Овсянникова. Вот тут придется им и ползком, и перебежками, потому как подстрелить их может немец запросто. На какое-то время они скрылись из глаз, а потом стал видим один. Он ползком вылезал по склону оврага, это был сопровождавший помкомбата боец. Выползя, огляделся, затем быстро поднялся и побежал в сторону деревни, но вскоре бухнулся в снег, прижатый огнем немецкого пулемета, открывшего стрельбу почти сразу же, как тот побежал.

— Наблюдают, гады, — заметил Костик. — Ранило или так залег?

Ротный молчал, думая, зачем тащится к ним помкомбат и что его приход сулит? Почему-то прижало сердце от нехорошего предчувствия: вдруг заставят их наступать на лесок, в который ушли немцы для поддержки второго батальона? И наступать не по делу, а лишь для отвлечения противника, стало быть, ненужные бессмысленные потери, а в роте и так всего восемьдесят человек...

Тем временем помкомбатовский связной поднялся и добежал до первого немецкого окопа, а оттуда по ходу сообщения добрался до них. Левый рукав его телогрейки был окровавлен. Карцев бросился ему помогать перевязать рану, тот морщился от боли, но в глазах билась радость.

— Отвоевался на время... Отсижусь у вас до темноты и в тыл потопаю, — выдохнул он и попросил завернуть ему цигарку.

— Зачем помкомбат-то идет? — спросил его ротный.

— Не помкомбат это. Начальник Особого...

— А ему зачем к нам?

— Из-за листовок фрицевских поперся. Он больно смелый у нас, когда выпивши. А мне вот не поднес, мне тверезому под пули лезть, знаете, какая неохота была.

— Знаем, — сказал Костик и дал связному фрицевскую сигарету.

Тот затянулся со смаком и даже блаженно закрыл глаза на время. Ему-то хорошо, подумал Костик, отлежится в санроте или в эвакогоспитале, а вот нас неизвестно, что ждет...

— Знаешь что, Карцев? Пойди-ка, поспрошай, не оставил ли кто листовки при себе, а то найдет особист, неприятностей не оберешься, — сказал ротный.

— Неприятностей? — усмехнулся раненый. — Мягко выразились, старший лейтенант. Наш бравый начальничек в трибунал упрячет, а то и на месте за такие дела хлопнет.

— Чего мелешь-то? Какие у него такие права на это? — занедоумевал Костик.

— Выходит, есть... Да он у нас как что, так пистолетик из кобуры. Психованный, по-моему, малость.

— Ну, ты такое наговорил, что нам радоваться надо, ежели хлопнет его по дороге.

— Его не хлопнет, везучий он. А вообще-то я горевать особо не буду, — заявил раненый, осклабившись.

— Что ж ты так о своем командире?

— А меня назначили к нему всего два дня назад.

— Костик, выполняйте приказание, — спокойно напомнил ротный.

Карцев рысцой бросился в деревню, а ротный и связной особиста стали смотреть, как будет тот перебегать открытое место. Ротный ни разу не сталкивался с Особым отделом, никого оттуда не знал, но слова красноармейца насторожили его, по ним видать, что особист этот сволочной и ждать от него всего можно. Однако особист перебегать не торопился, ждал, видно, когда немец успокоится и перестанет так внимательно наблюдать, решив, что русский, по которому стреляли, был один. Ротный закурил, угостив и раненого, они дымили и перестали глядеть на поле, перекидываясь незначащими словами, а потому особист ошеломил их своим нежданным появлением.

— Вот как надо, — заявил особист раненому. — Выбрать момент и мигом, без всяких перебежек. Они по мне стрельнули, когда я уж у окона был.

Особист был возбужден и так доволен, что добрался благополучно, что не обратил внимания на ранение своего связного. От него и вправду попахивало спиртным, хотя по виду был трезв, подтянут и недурен собой — серые холодные глаза, нос с горбинкой и небольшие черные усики на тщательно выбритом лице.

— Я говорил, вы везучий. А меня вот ранило.

— Ранило? — только сейчас посмотрел особист на забинтованное предплечье связного. — Эх, вояка! И в левую ручку угодило? Хорошее ранение. Что-то вы долго отлеживались, не тогда ли и ранило?

— Вы же видали... Меня на ходу хлопнуло, оттого и упал, — с обидой и с недоумением ответил связной, исподлобья взглянув на особиста.

— Ладно. Такой вы мне не нужны, можете в тыл идти.

— Разрешите темноты дождаться, не хочу, чтоб добило, — попросил он.

— Я темноты дожидаться не буду. Со мной пойдете тогда, — приказным тоном сказал особист и повернулся к ротному. — Вы кто?

— Командир первой роты.

— Листовки все собрали?

— Этим политрук занимался.

— Где он? Отведите меня к нему, — таким же тоном произнес тот.

Когда вошли в избу, особист поздоровался с политруком и сразу же к делу:

— Сколько листовок собрали?

— Штук тридцать.

— Какие тридцать? Над деревней сотни кружились.

— Остальные на поле упали, там не соберешь, обстреливают.

— Испугались? А если кто из бойцов там их найдет? Выделите трех человек понадежнее и прикажите все, повторяю — все листовки собрать. И немедленно!

— Я не имею права рисковать жизнями бойцов ради этих ничтожных бумажек, — твердо сказал политрук и поднялся.

— Нас осталось слишком мало, а главная наша задача — удержать занятую деревню, — тоже твердо и даже с некоторым раздражением заявил ротный. — А приказывать нам может только помкомбата.

— Ах так! Хорошо. Где связь? Соедините меня с помкомбата!

Пошли в другую половину избы, телефонист стал крутить телефон, вызывать: «Я — Ока. Волга. Волга, дайте второго...»

Добившись ответа, связист сказал, что помкомбата в землянке нет и не скоро будет, пошел в сторону Усова.

— Ладно, подождем. А пока, политрук, пойдем-ка проверим, нет ли у кого из ваших бойцов на руках этих бумажек, как вы назвали вражеские листовки, не понимая, видимо, их значения.

— Глупость эти листовки, — заметил политрук.

— Глупость вы видите? Я вот вижу потерю бдительности, политрук. Ну, пошли.

Ротный кивком головы послал Карцева вслед за ними. Костику сразу не понравился особист, да и кому он мог понравиться, когда со всеми на басах говорит, будто такой уж большой начальник, небось, по званию лейтенант или старшой, а гонору... Особист не только спрашивал, есть ли у кого листовки, но бесцеремонно у некоторых шарил по карманам шинелей, а к кому и в гимнастерочный карман лез рукой. Из-за чего шмон и паника, Костик не понимал, подумаешь, какие-то листовки поганые, будто прочитают их ребята и сразу скопом сдаваться пойдут... Ох, уж эта бдительность хреновая. Конечно, папаша номер выкинул. Когда к нему особист полез, папаша встал и сказал несомо.

— Я не в лагере, товарищ начальник, а в Красной Армии, вы мне шмон делать не можете, права у вас такого нет.

— Есть у меня права, прекратить разговорчики.

— Не трожь, начальник, а то худо будет, — предупредил папаша, да так серьезно, что у того аж лицо побледнело от злости, — сказал я, нет у меня ничего, и баста. Тут не тыл, где руки распускать можно.

— Как ваша фамилия?

— Фамилия? Самая русская. Петров я... В гражданскую, начальник, нам больше верили, красноармейцам-то. А то нешуждались какой-то дряни, да я срать хотел на эти фрицевские бумажки.

Особист постоял около папаши, подумал, но решил все же с этим мужиком не связываться — широкий был в кости, да и росту стоящего, — и пошел по другим бойцам. К наблюдателям, залегли которые на краю деревни и к которым в рост не потопаешь, особист не пошел, а попросил политрука кликнуть двоих. Фамилий всех политрук, конечно, упомнить за две недели формирования не мог, выкликнул тех, что знал, в том числе и Журкина, бывшего парикмахера. Хмель у того еще не прошел, и он, глупо улыбаясь, стал уверять особиста, что нет у него ничего, однако тот не поверил и ловко, одним движением расстегнув крючки шинели, сунул руку в карман гимнастерки и вытащил две сложенные пополам листовки.

— А это что?! Мать твою! — заорал особист, держа листовки у всех на виду.

— А разве это листовки? Валялись бумажки белой стороной, я и взял для закурки, нету газетки-то. Они сами ко мне прилетели, я лежу на посту, вдруг одна, вдруг другая, ну и сунул в карман...

— Не врать! Сами прилетели... Дурочку не стройте. Для чего взяли? К немцам перейти собирались? Родину продать?!

— Зачем мне к немцам? Ей-богу, на закурку взял. Я и не читал их, они же непечатной стороной упали.

— Я вам дам закурить сейчас! Признавайтесь, кому листовку вражескую показывали? Кого агитировали на переход к врагу?

— Да ей-богу, как в карман положил, так и не вынимал. Я и забыл про них. Вы меня спрашивали про листовки, а я думал, что бумажки простые поднял, вот и не отдал вам.

— Хватит божиться, я вам не поп! Все ясно, политрук, этот боец намеревался перейти к фашистам. Как предателя Родины, я обязан его расстрелять на месте, — и стал особист расстегивать кобуру.

Услышав это, Карцев бросился бегом к ротному и не слыхал, как побледневший политрук сказал:

— Нельзя этого делать. У нас впереди бой, и каждый боец на счету. К тому же, подумайте, какое моральное состояние будет у красноармейцев после того, как их товарища расстреляют без суда.

— Я вашего позволения и не собираюсь спрашивать, — расстегнул уже особист кобуру и вынул пистолет.

Политрук шагнул вперед и загородил собой Журкина.

— Этот боец первым ворвался в деревню и в рукопашной уничтожил фашиста. Вы можете разоружить его и отвести в штаб, но расправы над ним я вам не позволю.

Здесь подбежали ротный и Карцев.

— Что тут происходит? — почти криком спросил ротный.

— Ничего, — отрезал особист. — У вашего бойца я нашел припрятанную листовку. Я забираю его к себе в Особый отдел, — спрятал он писто-

лет в кобуру. — А вы, политрук, сдайте мне все найденные листовки. И повторяю, нужно собрать их и на поле. Под вашу ответственность, политрук. Надеюсь, вы знаете приказ насчет этого.

— Хорошо, постараюсь, — сдался политрук для видимости.

— Без разрешения помкомбата я не отдам вам бойца, — сказал ротный.

— Будет вам разрешение, будет... Идемте звонить. А его разоружите.

И все, кроме Журкина, с похмелья еще не понимающего, что произошло, отправились в штабную избу. По дороге к Карцеву подошел папаша, спросил, в чем дело, Костик сказал ему на ходу в двух словах. Папаша нахмурился, и какой-то таящий опасность огонек блеснул на миг в его глазах.

До помкомбата дозвонились. Ротный рассказал ему о происшедшем, помкомбата буркнул, что ладно, мол, отдай Журкина, он проверит, как пойдет дознание, и что лучше с дерьмом не связываться. Ротный нехотя согласился и послал Карцева за Журкиным, сказав все же особисту, что он, ротный, на его месте не стал бы этого делать.

— Это почему?

— Да потому, что вы будете маячить своей спиной к роте не одну минуту...

— Угрожаете?

— Предупреждаю, потому что не могу гарантировать вам безопасность. У меня восемьдесят бойцов, только что побывавших в аду, под смертью. Неизвестно, что кому придет в голову, когда их товарища поведут на расстрел...

— Вот что... — угрожающе пробормотал особист. — Если так, то я и вас приглашаю прогуляться со мной до Особого отдела, лейтенант. Сдайте кому-нибудь роту.

— Вы превышаете свои полномочия. Роту мне сдать некому и уйти отсюда без приказа я не имею права. Идите-ка подобру-поздорову, лейтенант, или как вас там по званию. — Отвернувшись от особиста, ротный приказал Карцеву привести Журкина.

Костик резво бросился выполнять приказание. Резво, потому как мелькнула у него одна мыслишка, и он заспешил... Прибежав, Журкина на прежнем месте он не нашел, стал спрашивать бойцов, те неохотно отвечали, что был тут недавно, а куда пошел, не видали... Неужто сам догадался парень, что надо скрыться куда-нибудь на время, а там второй батальон наступать начнет, пулеметчики наши поддержат, значит, немцы и по их деревне огонь откроют, и тогда особист ноги в руки и смоется, чего ему зря рисковать, а что дальше будет, загадывать нечего. А Журкина может ранить или убить, и вообще от этой деревни ничего не остаться, и от них вместе с нею. Искать Журкина он, конечно, не стал, а неспешным шагом направился к штабной избе. Не без удовольствия доложил ротному, что Журкина на месте нет, и никто не знает, куда он делся, а сам поглядывал на особиста, предвкушая, как тот разъярится, начнет орать, но тот обманул ожидания Костика, сказав спокойно:

— Этого следовало и ожидать. Этот подлец ушел к немцам.

— К немцам не уйдешь, все поле под наблюдением. Карцев, возьмите кого-нибудь и найдите Журкина, — приказал ротный.

Не успел Костик сказать «есть», как особист спросил:

— У вас в роте есть сержант Сысоев? Вызовите его ко мне.

— Найдите, Карцев, сержанта.

— Есть, — Костик показал выправку по всей форме и вышел из избы. Вышел и вскоре столкнулся с папашей.

— Журкина ищешь? Это я ему присоветовал скрыться. Помечется особист и уйдет, как бой начнется. Видишь, второй батальон уже изготовился, и танки там заурчали.

— Особист сержанта приказал найти.

— Вот оно что? Выходит, его кадр, герой-то наш? Ты помешкай малость, Карцев, не торопись.

— Я и не спешу, — ухмыльнулся Костик.

Но «не торопиться» не вышло у них, сержант собственной персоной шел на них, и Костику ничего не оставалось, как сказать, чтоб шел он в штабную избу. А через некоторое время увидели они, как особист с сержантом пошли рыскать по деревне Журкина, и вскоре нашли. Сержант нес СВТ Журкина, а тот шел между ними, опустив голову и лишь иногда бросая отчаянные взгляды по сторонам.

— Заарестовали, гады, — сокрушенно выдавил папаша, и опять в его глазах блеснул мрачноватый огонек.

Когда они поравнялись с папашей и Костиком, сержант Сысоев кинул им:

— Знаете, куда этот тип заховался? В сарюхе в солому спрятался. Я же чую, что тут он, крикнул, сейчас прострочу очередью, тогда вылез голубчик.

— И чего ты, сержант, так старался? Наш же Журкин. Знаешь, как он фрицу брюхо разрисовал?

— Я приказ выполнял. Понял? И скажи, зачем твой герой листовки фашистские в кармане прятал?

— Так по дурости.

— Вот за дурость и ответит, — отрезал Сысоев, глянув на особиста.

Тот в разговор не мешался, вспоминал случай, рассказанный одним старшим товарищем, который в подобной же ситуации расстрелял за листовку красноармейца. Правда, тот бросился бежать, и пришлось догонять его на газике, вставши на подножку кабины... Занятый воспоминаниями, он пропустил мимо слова Костика, что «наш же Журкин», а то бы, конечно, запомнил этого долговязого бойца.

— Ну, и что ему будет? — спросил Костика папаша, когда те отошли на порядочное расстояние.

— А хрен их знает! Трибунал, наверно.

— Трибунал, ладно... Шлепнуть могут для испуга остальных, им это раз плюнуть — тьфу и нету Божьего создания.

— За такую ерунду — шлепнуть? Не думаю...

— Не знаешь ты этого народа, Карцев, — покачал головой папаша.

Тут подошел к ним Женя Комов и спросил, куда повели Журкина. Костик ответил, не скрыв опасений папаши. Комов изменился в лице, побледнел, губы жалко задрожали.

— Не может быть... За какую-то листовку?.. — почти прошептал.

— Ты, малец, ничего-то не знаешь. У нас, поди, с семнадцатого года ни за что шлепали, и жили не тужили. А за листовку — это, брат, за дело, — мрачно усмехнулся папаша.

— Война, мальчиша, ничего не поделаешь, — решил успокоить его Костик и закурил трофейную сигарету. — Не хочешь?

— Не-е... Надо же что-то придумать...

— Придумать можно, однако... — раздумчиво и мрачновато произнес папаша и отошел.

Костик не сразу, но догадался, вспомнив предупреждение ротного особисту, что подразумевал папаша. Но когда Женя Комов стал допытываться у Костика, что можно придумать, он не стал распространяться о своей догадке и отвязался от Жени, сказав, что ему нужно идти к ротному.

Комов остался один. Навалившееся на него за сегодняшний день было слишком тяжелым, и он оказался словно бы придавленным. Все представлялось каким-то кошмаром, от которого можно сойти с ума. Да и читал где-то Комов, что случается на фронте такое, и он стал бояться, вдруг он тоже свихнется от всего пережитого.

В роте почти все бойцы из служивших кадровую, кто-то из госпиталей, уже повоевавшие, только он один попал на фронт сразу из дома, из уютной московской квартиры, из-под маминой юбки, говоря грубо. И понимая, что жизнь его не стоит и пятака, он переживал не за себя, а больше за мать, которая не выдержит, не переживет, если получит похоронку на единственного сына...

Пока он сидел около полусожженной избы и думал об этом, подошли к избе папаша и Мачихин и расположились невдалеке. Тоже присели, закурили. Часть разговора их доносилась до Жени.

— Вот заарестовали Журкина, наверняка, гады, шлепнут, им это раз плюнуть. Когда драпали с запада, рассказал мне один, что к их части пристали старик какой-то и учитель с училкой. Ясно, что им лучше с солдатами идтить, чем одним, ну, и шли рядом, солдаты с ними хлебцем де-

лились, но появился тут особист в чинах и решил, что шпионы они, раз за частью следуют, ну и шлепнул всех троих. Училка кричала, клялась, какая она шпионка, ее недавно только в западные области в школу направили, так никого не послушали — расстрелял этот курва всех собственноручно..

— Откуда только такая сволота берется? — не смог, видно, смолчать Мачихин.

— Ты погоди, ты дослушай... Хлопнул, значит, этот особист, не посмотрел даже на убиенных, сел на лошадь и тронулся. Однако далече уехать ему не удалось, пульнул кто-то в догонку и... наповал... А кто пульнул, поди разберись, да и разбираться никто не хотел, те же командиры... Вот ты, Мачихин, человек неглупый, политрук тебя как это... философом называет. Вот и подумай... Может, и нам?.. Журкина спасем, и Расею от сволоты избавим. Он же молодой, только начал работать, сколько он за эту войну людей ни за что погубит? А?

— Погубит бессомненно. Однако...— задумался Мачихин.

— Что — однако? Ведь пока они до оврага станут добираться, немцы не один раз их обстреляют, а то и мины пустят. Под этот шумок...

Комов слушал, как хладнокровно и спокойно обсуждают папаша с Мачихиным предполагаемое убийство человека, пусть и малосимпатичного, плохого, но все же человека, пусть и ради спасения другого человека, и ощущение кошмара, происходящего вокруг, еще более усиливалось, становилось совсем невыносимым... Комов не знал, что предпринять: подойти ли к ним и сказать, что он все слышал, или отойти незаметно, и пусть будет что будет, ведь он сам хотел спасти Журкина?.. Но пока Комов раздумывал, Мачихин встал, завернул за угол дома, расстегивая ширинку, и увидел Комова. Не став справлять нужду, он остановился напротив Комова и направил на него напряженный взгляд.

— Ты что, все время здесь сидел?

— Да,— еле слышно ответил Комов.

— Выходит, слыхал, о чем мы с Петровичем балакали?

— Слыхал...

— Ну и что?— уперся Мачихин в него взглядом.

— Не знаю...

— Чего заладил — не знаю, не знаю?.. По тебе что лучше? Чтоб твоего сотоварища, с которым вместе эту деревуху брал, кокнули ни за что или особиста того подранили?

— Так вы его только подранить хотите?— обрадовался Комов.

— Ничего мы не хочем. Просто мыслями делились. Может, его и без нас немцы шлепнут...

Тем временем в штабной избе особист и его связной, раненный, собирались идти обратно в тыл, ну и, конечно, с арестованным Журкиным. Ротный сидел за столом и наскоро писал Журкину характеристику. Политрук ждал, когда он закончит, чтоб подписать ее тоже, а перед этим уговаривал особиста отнестись к Журкину по-человечески, учесть, что вел себя в наступлении этот боец хорошо, смело...

— Уж больно вы жалостливый, политрук. Война же, а на ней слюни распускать не следует,— грубовато прервал его особист.— Развели тут гуманизм вместе с ротным. Глядеть на вас тошно. Как бы с этим гуманизмом не выбили вас немцы отсюда. Учтите, трибунал будет верный.

Костик Карцев глядел на особиста, слушал, а сам недоумевал, почему ни ротный, ни политрук не могут его обрезать, они же тут командуют и за все отвечают, и хоть стараются Журкина как-то поддержать, вот характеристику пишут, а все-таки отдают своего красноармейца в Особый отдел на неведомую судьбу. И что это за сила такая — Особый отдел? Общаясь с марьинорощинской шпаной и блатарями, для которых главным врагом были МУР и милиция, Костик не слыхал от них насчет политических, которых в лагерях было навалом, ничего, кроме того, как здорово кто-нибудь из блатных поживился барахлом каэ́ров. Жалости к ним у уголовников не было, да и какая жалость может быть в лвгере, где идет борьба за выживание.— «Умри ты сегодня, а я завтра». И, размышляя о судьбе Журкина, Костик начал понимать, что «мусора́» все же сажают

людей за настоящие преступления, а вот э т и могут пришить дело ни за понюх табаку — ну в чем Журкина вина? Кабы выдавали им, как немцам, сигареты или папиросы, так и бумага для завертки махры не нужна была, никто бы и не подбирал эти чертовы листовки, а так: где на передовой бумажку найти, чтоб цигарку завернуть? Негде. И за это дело могут расстрелять человека или срок намотать в десятку с заменой передовой! А как человеку воевать со сроком? Ему и доверия в роте не будет, его в каждое мертвое дело будут посылать, чего его жалеть, осужденного-то, пусть кровью искупает. И чем больше Костик об этом думал, тем отвратительней становился ему этот особист, перед которым и уважаемый им ротный тушуется, и политрук тоже. И тем справедливее казалось ему папашино — «Придумать можно». Навязчивее становилась мысль сделать самому то, что надумал папаша. Не убить, конечно, это Костику казалось страшным, а подранить особиста, чтоб не до Журкина тому стало.

— Ну, дописали? — нетерпеливо спросил особист и с какой-то брезгливостью схватил бумагу с характеристикой, небрежно сунул ее в планшет.— Ну, бывайте.

— Передайте, пожалуйста, помкомбата, что мы ждем подкрепления живой силой и сорокапятки,— сказал ротный.

— Передам. Вы только тут сопли не распускайте,— предупредил особист и вышел из избы вместе со связным и Журкиным.

Но не успел он выйти, как зазвонил телефон, по которому помкомбат сказал ротному, что начинается наступление на Усово, и приказал поддержать его огнем станковых пулеметов. Все, кроме телефонистов, выскочили из избы. Вдалеке, на правом теперь от них конце черновского леса, высыпались на поле маленькие серые фигурки бойцов второго батальона, вскоре разрезанные пошедшими, теми же, что и поддерживали их, танками. И сразу же, разумеется, открыли огонь немцы из Усова.

Ротный, скомандовав «всем в укрытия», бросился к пулеметчикам. Карцев за ним, но, успев захватить взглядом возвращавшегося в избу особиста, которому не пройти теперь было открытое место до оврага, потому как немцы и с Напова открыли фланговый огонь по второму батальону. Политрук спешным шагом потопал к ребятам в обороне, ведь можно ожидать, что немцы именно теперь пойдут отбивать деревню, и надо быть наготове.

Пулеметчики, само собой, наблюдали за наступлением и приняли ротного без радости, понимая, что прикажет он открыть огонь, а тем самым обнаружат они себя, и немцы тут же забросают их минами.

— Помкомбат приказал поддержать,— не от себя сказал ротный, понимая неохоту пулеметчиков вести огонь.

— Без толку, командир... Я говорил вам, что и далеко, да и бесприцельный огонь вести бессмысленно,— ответил усатый.

— Я знаю, но это приказ помкомбата. Надо выполнять.

Усатый скомандовал пулеметчикам откатить станкач подальше от основной позиции, более или менее обустроенной, и которую, не дай Бог, немцы засекут.

— Одним пулеметом будем стрелять, второй пусть в заначке,— сказал усатый, ротный согласно кивнул.

Полоснули пулеметчики по Усово фланговым огнем, однако и минуты не прошло, как заныли противно мины над головами и стали рваться по всей деревне. Густо стали сыпать... Пулеметчики огонь свой прекратили, однако немцы не успокоились, сыпали и сыпали мины по всей площади деревухи, разбросав роту по немецким окопам и щелям и по подвалам домов. Только тем, кто в обороне, деваться некуда, прижались к землице, нахлобучив каски до ушей, вздрагивая каждый раз, когда мина рвалась неподалече.

Оттуда, из черновского леса и с поля, доносилось негромкое «ура», но двигался второй батальон робко, часто залегая. Танки, дойдя до середины поля и отстреляв из пушек, стали заворачивать обратно, и, ясное дело, наступление застопорилось. Только отдельные группки пытались короткими перебежками продвинуться вперед, видать, под действием матюков командиров, а вообще-то почти весь батальон залег и ждал, наверно, как великого счастья, команды «отход»... А когда танки возвратились в лес, начали и бойцы пятиться, кто ползком, а кто и перебежками.

— Ну все, амба, — прошептал Костик, лежавший вместе с ротным, наблюдая за вторым батальоном.

— По-видимому, так... Очень жаль, но такие наступления обречены на провал.

— А мы на учениях ходили за огневым валом. Ну, думал я тогда, так воевать можно. А здесь с одними родимыми, образца 1891/30 потопали. Вы что-нибудь понимаете, командир? В чем тут дело? Выслуживается наш комбриг или ему свыше приказывают? И зачем это, сразу с марша, истомленным бойцам и — в бой.

— Кое-что понятно, Карцев... Как не жалели людей в мирное время, так не жалеем и сейчас.

— Видите, отступает второй. Кто живой, — показал Костик рукой на поле.

Да, живые отходили, раненые отползали, а убитые остались лежать на поле серыми комочками, и было их много. Очень много. Больно смотреть на это, но и злость берет на кого-то, кто так бездумно и бездарно швыряется человеческими жизнями. Ротный тихо, почти шепотом выматерился, выкидывая из себя этим и боль, и обиду, и горечь. Они, не поднимаясь, потому что шел еще минометный обстрел по деревне, закурили, и тут решился Костик спросить, почему так безропотно отдали ротный и политрук бойца Журкина особисту.

Ротный долго молчал, а потом, безнадежно махнув рукой, ответил:

— Ничего не поделаешь тут, Карцев. Мы даже здесь, на фронте, не можем избавиться от страха перед органами. Немцев вроде не боимся, смерти тоже, а их... Иррациональность какая-то дьявольская...

Слово «иррациональный» Костик не знал, но понял — это что-то такое, что от человеческой воли не зависит... Вскоре обстрел деревни прекратился, и они смогли подняться, чтоб пройтись и посмотреть, что понаделали немцы своим налетом, но те вели огонь, судя по воронкам, из ротных минометов, а потому разрушений домов не было. Это и обрадовало, и насторожило, — видать, не хотят они рушить обжитую ими деревню, а значит, будут ее отбирать. Последнее пугало, уж очень ненадежно и неприютно здесь, вдалеке от основных частей.

На пути встретились им папаша и Мачихин. Хоть и не было в них полного согласия, но все же они дружили, потому как и возраста почти одного, и деревенские оба.

— Что же это творят, товарищ ротный? — обратился папаша. — Разве так наступают? Это же смертоубийство, а не наступление.

— Согласен с вами, Петрович.

— Да мы в гражданскую умнее воевали.

— Не уважают у нас жизнь, — заметил Мачихин, высказав мысль, которая поразила ротного.

— Как вы сказали? Не уважают жизнь? Да, по-видимому, это так.

И ротный с интересом стал разглядывать Мачихина, будто в первый раз его видел. Эта мысль удивила и Костика — не дурак этот сельский счетовод, подумал он, и предложил Мачихину закурить. Тот взял фрицевскую сигарету, прикурил, затянулся и покачал головой:

— Дерьмо табак-то... — но не бросил, конечно, сигарету — на безрыбье и рак рыба.

— Как вы думаете, товарищ ротный, начнут фрицы отбивать деревню? — спросил папаша.

— Боюсь, что начнут.

— Не удержим. Как дуриком взяли, так дуриком и отдадим, — высказал Мачихин то, о чем уже говорил.

— Надо удержать, — сказал ротный обычное, а что другое можно было сказать, другого от него и не ждали.

А серый мартовский денек между тем отходил... Потемнело небо, изъеденный оттепелями снег на поле, который и так не был белым, совсем потемнел, а лес, из которого начали они наступление, стал вроде еще дальше, и это наполняло сердца тягомотным страхом: многим не добраться до него, ежели выбьют их. И вообще предстоящая ночь томила предчувствием: должно что-то случиться страшное, чего не избежать, что неминуемо.

Когда они все подошли к избе, увидели, как политрук провожает

особиста и тех, кто с ним. Он провел их до хода сообщения, по которому они должны добраться до немецкой обороны, а оттуда уже придется им прогуляться по полю боя до оврага, а это метров сто пятьдесят, двести. Тут их, конечно, заприметит фриц и обстреляет беспременно.

Ротный пошел в избу, а Костик попросил остаться, чтоб посмотреть, как доберутся особист с Журкиным и связным до оврага. Политрук остался у хода сообщения и, видно, тоже решил понаблюдать за ушедшими. Карцев постоял у избы недолго, а затем пошел налево, к другому ходу сообщения, тоже ведущему к немецким передовым окопам, оттуда виднее, как будут проскакивать открытое пространство особист и другие. Не знал он пока, для чего ему это нужно, но потянуло почему-то именно туда, к немецкому переднему краю.

Через некоторое время увидел он, как высунулись головы из окопа, осматривались, видать, а потом вылез Журкин и, понукаемый особистом, — услышал Костик его голос, приказывающий «вперед», — бросился бегом по полю к оврагу. Брызнувшая с Панова пулеметная очередь заставила его залечь, а, возможно, и ранило, отсюда не понять. Лежал он долго. Не вылезали из окопа и особист со связным — напугались, видно... Потом Карцев снова увидел голову особиста, высунувшуюся из окопа, и услышал его голос, дающий команду Журкину бежать дальше. Вот гад, подумал Костик, сует под огонь других, а сам выжидает подходящего момента, чтоб проскочить опасное место. Однако Журкин не поднимался, и тогда выкарабкался с трудом — рука-то одна ранена — связной и побежал к Журкину, конечно, по команде особиста. До Журкина вроде бы он добежал и плюхнулся рядом, наверное, если судить по расстоянию, которое он пробежал...

Костик вынул сигареты, прижег и жадно затянулся... Теперь он напряженно ждал момента, когда выскочит сам особист. Немцы зря патронов не тратили, по лежащим не стреляли, но наверняка наблюдают, курвы, и как только кто-нибудь поднимется и побежит, — резанут очередью...

То же самое наблюдали папаша и Мачихин из другого окопа, который левее, и тоже возмущались поведением особиста. Папаша проворчал: «У, сволота...», а Мачихин сказал спокойно: «Чего удивляешься, Петрович?»

Тем временем ротный обходил наскоро состряпанную оборону и беседовал с бойцами. Точнее сказать, не обходил, а обползал, так как находилась часть роты на самом краю деревни, бойцы притулились за чем попало, кто около дерева (были тут большие липы), кто за каким-либо холмиком на местности, кто за углами изб, а кто-то устроился и в самих избах, в которых окна выходили на лесок, занятый немцами... Все это хлипко, ненадежно. От пуль, может, и спасет, но если прицельно будут бить минами этот краешек, то, конечно, поранят и поубивают. И ротный, и все бойцы это понимают, а потому у всех на душе муторно, беспрестанно холодком покалывает сердце. Если и была у кого радость, что взяли все-таки деревню, выбили фрицев, то сейчас она прошла. Чего тут радоваться, когда впереди неведомое и не менее притом страшное. Хоть бы подмога и пушки прибыли, все же полегче стало б, а то ведь мало народа и, кроме стрелкового оружия, ничего нет. Вот и делились с ротным своими сомнениями и, чего уж тут, страхами. Ротный, конечно, как и положено, подбадривал их словами, которые завсегда в таких случаях говорят, — ничего, ребятки, как-нибудь выдюжим, главное, удержаться здесь, обязательно поддержит нас батальон, не может не поддержать... Такие дежурные слова всерьез никто не принимал, никто в них не верил, недолгий опыт подсказывал бойцам, что порядка на войне мало, что делается все наобум, на авось и никто всерьез об их солдатской судьбе не печется.

Подполз ротный и к Жене Комову, которого сержант Сысоев назначил на пост, — старший лейтенант впервые обратил внимание на этого мальчика-бойца с почти детским интеллигентным личиком, и его почему-то резко ударила жалость к этому мальцу.

— Сколько же вам лет? — спросил он.

— Семнадцать, но я прибавил себе год, — слабо улыбнувшись, ответил Женя.

— Зачем? Никуда от вас война не ушла бы...

— У нас в классе почти все мальчики таким образом пробились на фронт. Мы боялись, что вдруг война через год кончится, и мы не успеем...

— У вас, по-моему, температура. Вы дрожите...

— Нет. Это я после боя еще не успокоился, — сказал Женя с все такой же слабой и беззащитной улыбкой.

Ротный недолго подумал, а потом решил:

— Я снимаю вас с поста. Идите в избу, в которой командный пункт.

— А что я там буду делать?

— Ранило ротного писаря, будете вместо него.

— Мне бы не хотелось, товарищ старший лейтенант.

— Не глупите. Выполняйте приказание, — и ротный, взяв его за воротник шинели, потянул назад. — Ползите за мной.

Комову ничего не оставалось, как подчиниться. Разумеется, в избе было лучше, горела печурка, от которой шло тепло, а бревенчатые стены дома казались солидной защитой, и его охватила тихая радость от этой временной безопасности, в которой он пробудет какое-то время до боя. Он устроился у печки. Около нее сидел один из телефонистов и курил, глядя в огонь.

— Ну как там? Не шебаршат фрицы? — спросил телефонист.

— Пока нет, вроде. Все спокойно.

— Покурить хочешь?

— Не-е... Я не курю.

Телефонист поначалу удивился, но, когда глянул на Комова, покачал головой: чего таких пацанов на войну берут, а потом спросил, не видал ли он ротного?

— Видал. Оборону обходит.

— Оборону... — презрительно сморщившись, выдавил телефонист. — Звонил ему помкомбата, как стемнеет, грозится прийти к нам. А что нам от него толку? Мальчишка, вроде тебя. — Сделав несколько последних затяжек, он бросил окурок в печку и раздумчиво сказал. — Я два года в кадровой и в пехоте, так вот мы копали, копали, но всегда летом, а зимой, во-первых, никаких учений не бывало, во-вторых, мерзлую землю никогда не рыли. А воюем-то зимой, и ни кирок, ни ломов, ни даже больших саперных лопат в ротах нету. Вот и ползаем по переднему краю, ищем ямку какую, чтоб в нее залечь... Выбьют нас отсюдова немцы, помяни мое слово.

В заключение телефонист зло выматерился и стал свертывать вторую цигарку. Комову же, попавшему в теплую избу и отогревшемуся, положение их не казалось уж таким безнадежным, тем более надеялся он и на пополнение, и на пушки, которые обязательно должны прибыть, как обещал ротный. Вскоре, прикорнув у печки, он задремал и проснулся лишь тогда, когда в избу шумно вошел Костик Карцев, с порога прохрипевший:

— Вот сука, так сука. Знаешь, малыш, что особист придумал? Журкина взял за руку, чтоб он его слева прикрывал, а связному приказал сзади себя идти. Вот так и побежали они. От немцев Журкин особиста прикрывал, сзади, от нас, связной, — на случай, если кто задумает шлепнуть его. Приметил жа, падла, что в роте его возненавидели...

— Ну и что? Прошли? — с интересом спросил телефонист.

— Хрен-то! Зацепило всех троих вроде, а кого как — не знаю. Надо ротному доложить. Где он?

— На краю деревни был, — сообщил Комов.

— Пойду искать. — И Костик быстро вынырнул из дома.

Политрук тоже видел, как особист прикрыл себя с двух сторон бойцами, и тихо ругнулся, но когда все трое упали и долго не поднимались, он пошел обратно, чтоб послать кого-нибудь из бойцов к ним. Встретив по дороге ротного, он рассказал ему все, умолчав, правда, о том, каким подлым способом особист пытался обезопасить себя при переходе простреливаемого места. Тут навстречу попался им Костик, которому и приказал ротный узнать, что произошло на поле. Костику страсть как не хотелось ползти туда, но он сразу же сказал «есть» и рысцой побежал к немецким окопам. За ним повернули туда ротный и политрук.

Придется на пузе, решил Костик и, осторожно вылезши из окопа,

споро пополз вперед по-пластунски, умело используя неровности местности. Что-что, а ползать его научили за два года кадровой. Раза три он передыхал и даже умудрился искурить сигаретку. Уже издали, чуть приподнявшись, он увидел только одного лежавшего — это был особист. Ни Журкина, ни связного не было. Видать, они за это время махнули в овраг, а поскольку не оттащили особиста, наверно, он мертв... Так и оказалось. У него была прострелена левая часть груди, вторая рана была на ноге. Крови почти не было, рана в грудь, видимо, была смертельна... Костик вздохнул, хотя ему нисколько не жаль было особиста, но все же смерть есть смерть...

Но вот что поразило Карцева: примят снег около тела, расстегнут ватник, в который был облачен особист, чтоб скрыть командирские ремни и знаки различия, знал, видать, что на передок лучше идти в красноармейском. А еще больше удивило Костика, что под расстегнутым ватником не обнаружил он ни командирского широкого ремня, ни планшета, ни кобуры с пистолетом, а когда полез в карман гимнастерки за документами, то ничего и в них не обнаружил... Опередил кто-то Карцева! Но кто? И Журкин, и раненый связной могли бы взять документы и пистолет, как положено, однако зачем им ремни и планшет? Нет, кто-то другой орудовал, но кто? Кому все это понадобилось? И еще одну странность заметил Костик: небольшая дырка в ватнике была спереди, а выходное отверстие — на спине, оно всегда больше. Немцы же могли стрелять только с Панова, то есть слева...

Тащить тело особиста в деревню не было смысла, его свои хоронить должны, да и тяжело... Можно было подползти дальше, к оврагу, и крикнуть Журкина — может, он там хоВается, но стоило ли лишний раз жизнью рисковать, ему еще обратно ползти, а здесь каждый лишний метр смертью грозит. И, передохнув еще немного, Костик двинулся назад.

Доложив ротному об увиденном, Костик высказал предположение, что Журкин, ежели ранен, то пошел в тыл, а если нет, то ждет, наверно, темноты, чтоб в роту вернуться.

— А точно ли мертв особист? — спросил ротный.

— Точно, товарищ командир.

— Кто же мог забрать документы и пистолет, да еще и ремни? — озабоченно сказал политрук и внимательно поглядел на Костика. — Это ЧП. Может, немцы?

— Нет, немцы за это время не успели бы. Им всю деревню обогнуть бы пришлось, — уверенно заявил Костик. Согласился с ним и ротный.

— Мда... — задумался политрук. — Плохая история. Взято с определенной целью. С такими документами делов натворить просто. Карцев, может, есть в роте кто из уголовников?

— Официально нет, — сказал ротный.

— Официально-то я лучше вас знаю. Но, может, кто по-товарищески трепанул, что в лагере был?

— Я не слыхал ни от кого, — сказал Костик. — Нет, по-моему, у нас в роте таких. Я же якшался с блатными в своей Марьиной роще, узнал бы по одному разговору. Нету у нас из них, товарищ политрук.

— Тогда это сделал враг. Тогда, может, и не немцы убили особиста, — твердо заявил политрук. — Но все же, Карцев, сходите-ка сейчас во взвод. Может, узнаете что?

— Есть сходить, товарищ политрук.

Когда Карцев ушел, политрук с тревогой спросил ротного:

— Что думаете по этому поводу?

— Пока не знаю.

— Документы взяты не зря, это ясно. Возможно, тот, кто взял, перейдет ночью к немцам. Тогда нам беда. За подлинный документ начальника Особого отдела немцы отблагодарят. На это тот тип и надеется, для того и взял документы, чтоб не с пустыми руками перейти. Плохо наше дело, старшой.

— Не надо паниковать. Придется, наверно, обыскать всех.

— Обыскать? — усмехнулся политрук. — Кто же при себе держать такое будет? Припрятал наверняка. А всю деревню не обшаришь. Тут думать надо, старшой. И крепко думать... — Политрук вынул кисет и стал свертывать цигарку.

Сделав несколько глубоких затяжек, спросил:

— Вы что-то слишком спокойно отнеслись к гибели особиста. Не жалуете эту публику?

— Мне рассказал Карцев, как подло он поступил, прикрыв свою значительную особу двумя рядовыми. Вы, кстати, это тоже видели.

— Видел. Мне тоже не понравилось это... А вообще как к ним относитесь?

Ротный резко повернулся к нему, посмотрел выразительно и отрезал:

— Нам сейчас с вами не до посторонних разговоров, политрук. О другом думать надо — как деревню удержать.

— Понимаю... Вы не подумайте только, что я провоцирую вас. Нет. Я по-простому, старшой. Помню, как в 37-м обкомы и райкомы громили. Тогда не понимал и сейчас не понимаю. Может, нам с вами на ты перейти? Одной веревочкой связаны, обоим тут насмерть стоять придется. Правда, мало мы знакомы, но в бою вроде оба вели себя неплохо. Ну что, старшой? — протянул руку политрук.

— Хорошо, — принял его руку ротный.

— Вот и лады, — как будто обрадовался политрук. — А теперь скажи, если не трудно, ты же из этой самой... интеллигенции? Да?

— Да, из этой самой, — чуть усмехнулся ротный.

— Родителей-то, наверно, притесняли после революции?

— Да не особенно. Обошлось как-то. Отец-то погиб в той войне.

— Офицером был?

— Да.

— Дворянином, значит?

— Нет. Из вольноопределяющихся... А мать — дворянка, — вроде бы с вызовом произнес Пригожин.

— Вот оно что?.. Все скрывают, а ты мне, политруку, напрямик.

— А разве дворяне плохо Россию защищали? Все «великие предки», о которых Сталин говорил, из дворян, между прочим, — уже усмехаясь, сказал ротный.

— Это оно так, конечно...

— Знаешь что, политрук, мы оба с тобой русские люди, и Россию я люблю не меньше тебя, а может, и больше, потому что у меня есть прошлое. Давай-ка больше биографий не разбирать. Понял?

— Конечно. Да я доверяю тебе, не сомневайся.

Так, за разговором, подошли они к штабной избе, приостановились.

— Как думаешь, помкомбату будем докладывать о случившемся?

— Подождем пока, — ответил ротный, подумав.

— Самим бы выяснить надо. Я по взводам пойду, старшой. — И политрук тронулся в сторону так называемой обороны. Там и встретился с Костиком, который, сообщив, что ничего узнать не удалось, высказал затем наболевшее:

— Товарищ политрук, мы вот почти всех людей на одном краю деревни выставили, а ведь фриц ночью окружить нас сможет. Надо круговую оборону организовать. Помню, на учениях мы завсегда так делали.

— Соображаешь, Карцев, — одобрил его политрук.

— Что тут соображать? Два года кадровой протрубил, кое-чему научили, да я и сам старался, чуяло сердце, не отслужу мирно кадровую, доведется хлебнуть лиха.

— Не зря чуял... А для меня вот война, как обухом по голове, надеялся очень на наши соглашения с Германией.

— Обхитрил нас Гитлер, чего уж тут... Дали мы промашку.

— Ну-ну, Карцев, ты в большую политику не лезь, не нашего ума это дело... А насчет круговой обороны ты молодец. Как прибудет ночью пополнение, расположим его в старых немецких окопах, обезопасим себя с тыла, — политрук прикурил потухшую цигарку и, помолчав немного, продолжил. — Вы с ротным земляки вроде?

— Да, в одном районе в Москве жили.

— А знакомы не были?

— Вы что, политрук, думаете Москва деревня какая, где все друг друга знают? В одном нашем Дзержинском районе, почитай, около пятисот тысяч жителей, — не скрыл Костик превосходства москвича перед се-

лянином, слыхал, что политрук в сельском райкоме инструктором, что ли, работал.

— Это я понимаю. Но бывают же случаи...

На этом разговор кончился. Политрук отправился сержанта Сысоева искать, а Костик в штабную избу пошел.

Ротный же, как вошел в избу, так приказал Жене Комову идти по взводам, чтоб от взводных строевые записки получить. Тот даже обрадовался какому-то делу и живо отправился выполнять приказание. По дороге наткнулся он на сидящих на завалинке папашу и Мачихина. Лица у обоих были нахмуренные, вроде чем-то озабоченные. Однако папаша спросил:

— Живой пока, малец?

— Живой, — весело ответил тот. — Ротный меня в писаря взял.

— Это хорошо. Парень ты грамотный, перо с ручкой тебе сподручней, чем винтарь-то. Небось, еле таскаешь родимую? Ну, ты иди, куда шел, тут у нас с Мачихиным свои разговоры, — сказал папаша, увидев, что Комов приостановился и расположен к дальнейшей беседе.

Когда Комов отошел на порядочное расстояние, Мачихин спросил:

— Не жалеешь, Петрович?

— А чего жалеть? Мне думается, промазал я. В самый последний миг рука дрогнула. А потом я же в ноги целил.

— Я не про это, а про то, что при мне сие было.

— Ты свой, деревенский... Тоже «товарищами» обиженный... Верю я тебе.

— И правильно, ты, Петрович, во мне не сумлевайся. А греха я в том не вижу.

— Грех он, конечно, есть. Но нашему брату за всю нашу жизню разнесчастную Господь Бог все грехи отпустить должон, — заключил папаша и перекрестился.

После этого долго молчали, покуривали... Затем Мачихин сказал обеспокоенно:

— Показалось мне, Петрович, что кто-то смотрел за нами. Чуял я это... Тогда хана нам с тобой.

— Какая хана? — небрежно бросил папаша. — Ты что, надеешься живым отсюдова выйти? Хрен-то... Пойдут германцы отбивать деревню — всем нам крышка. Ну, а если... продаст кто?.. Пока винтарь у меня в руках, расстрелять я себя не дам, отбиваться буду, — твердо сказал папаша.

А не зря чуял Мачихин... И верно, видел один человек, как пробирались они по окопу и как грянул оттуда папашин выстрел... Он тоже направлялся тем же путем, имея цель, которую попытался бы осуществить, независимо от того, что наделал особист у них. Ему нужны были документы особиста и его пистолет. И это был тот самый красноармеец, лицо которого Костику показалось знакомым...

Тридцатилетний рецидивист по кличке Серый проживал в свое время в Лаврах и находился к началу войны в бегах и во всесоюзном розыске. По чужому документу пришел он добровольцем в военкомат, где шла массовая мобилизация и было не до проверок.

Пришел, конечно, не защищать родину, а потому, что при повальных проверках документов, производимых везде — и на улицах, и в поездах, и в квартирах, ему и месяца не прожить бы на свободе. А в армии он в безопасности, и не вся армия воюет, можно и в тыловые части попасть. Там до конца войны прокантоваться. Но угодил он на фронт, да еще и в пехоту, где жизнь — копейка, отдавать которую ни за советскую власть, ни за страну он не хотел, а потому еще на формировании твердо решил дезертировать, подвернись подходящий случай.

И потому, как только появился особист, он постоянно следил за ним и тщательно обдумывал, как добыть его «ксиву». Он еще до обстрела деревни нырнул в немецкий окоп, потом вылез на поле и дополз до оврага, где и притаился как раз напротив тропки, по которой и должен пойти особист.

Разумеется, как и предполагал политрук, он спрятал все взятое у особиста и ждал ночи, чтоб податься в тыл.. Конечно, Серый никому

о себе не рассказывал, словечек лагерных не выбалтывал, держал себя неприметно, не высовывался зазря, команды командиров выполнял охотно, ну и в наступлении вел себя умело, вперед не рвался, но и не отставал от других. К опасностям он привычен был, жизнью рисковал не раз, и мог бы, наверно, из него хороший разведчик получиться, наверняка и орденов бы нахватал, но ему эти железки ни к чему, дурной он, что ли, чтоб за них жизни лишиться. А жизни-то он 'и не видел. Первый пятилетний срок получил семнадцати годков, а второй — десятилетний — перед войной заработал, просидев два до побега. Нет, подыхать на войне ему ни к чему, ему жизнь настоящая нужна, с вином, с бабами, с деньгами и дружками, которыми он верховодить будет, как верховодил еще мальчишкой лавровской шпаной.

Стемнело на передовой... Сквозь свинцовые тучи тускло, но кроваво мерцало на западе заходящее солнце... Усталость наваливалась на всех в роте. Дремали бойцы и на постах, и в избах, и на воле. Да и немудрено — три ночи топали к передовой, на диевках, на холоде, какой сон, кормили всего два раза — утром и вечером, перед маршем, и жратва была слабая — пшенка жидкая и хлеб замороженный. Откуда силы взять? Вот и день этот в занятой деревне прошел как в полусне, а к вечеру и совсем невмочь, в ногах слабина, глаза слипаются, в голове туман... И наряду со всем этим глухое, подспудное предчувствие, что ждет их впереди страшное... Но и это предчувствие не могло пересилить усталость и безразличие, которые вдруг навалились на них.

В штабной избе, в тепле еще хуже в дрему валило... И ротный, и политрук, и Костик, не говоря уж о Жене Комове, дремали сидя. Только пришедший с докладом сержант Сысоев сидел на табурете прямо и смолил цигарку, вбирая в себя тепло от печки, чтоб запастись им на ночь, которую должен быть с бойцами своего взвода... Когда узнал он о гибели особиста, сам сполз к телу, сам все обсмотрел и обследовал и заявил политруку, что, несомненно, кому-то оказались нужны документы особиста и что он, Сысоев, кровь из носа, но расследует это дело. Но как его расследуешь, когда ни на кого в роте нет у него подозрения, все люди как люди, и вроде не видать среди них ни врага, ни блатаря-уголовника. Даже папаша из раскулаченных, хоть и треплет много, не вызывал у сержанта подозрений, потому как настоящие враги не болтают зря. Сысоев весь остаток дня торчал в роте среди бойцов, вел разговоры и пронизывал взглядом то одного, то другого, но все были измучены, до разговоров не охочи, отвечали вяло и односложно, и, как ни старался Сысоев проникнуть в души и сердца солдат и командиров, ничего у него не вышло, ни у кого не приметил он душевного беспокойства.

Передохнув и малость согревшись, Сысоев тихонько поднялся, чтоб не обеспокоить начальство, и вышел из приютной избы в темень и холод — и посты надо проверить, и наказы дать строгие, чтоб не вздумали дремать, враг-то близок, метров четыреста, можно заснуть и не проснуться. Говорили ему бойцы из сменяемой ими части, что орудуют тут финны, которые в маскхалатах и на лыжах подбираются, как тени, к нашим постам и забирают языка, а остальных безжалостно вырезают кинжалами, чтоб шума не поднимать. Об этом и надо напомнить бойцам...

Когда он уходил, ротный открыл глаза и стал завертывать цигарку. Очнулся от дремы и политрук и тоже взялся за кисет. Закурив, они помолчали немного, а затем политрук спросил:

— Почему ты не в партии, старшой? По соцпроисхождению не приняли, что ли?

— Да нет, оно ни при чем. Не подавал я...

— Отчего же? Не согласен с линией партии?

— Не дорос, политрук, — усмехнулся ротный.

— Это ты-то не дорос? С высшим образованием...— покачал он головой.

— Не подкован я политически. Понимаешь?

— Шутишь?

— Шучу. Ты брось меня допрашивать, политрук. Каждый у нас волен и вступать в партию и не вступать. Добровольное же это дело?

— Конечно, добровольное. Вот сейчас и вступай. Рекомендацию тебе дам.

— Не заслужил еще, — так же с улыбкой ответил ротный. — Мало еще воюю. Вот возьмем мы с тобой еще пяток занятых немцами деревень, тогда можно и подумать.

— Ну, ежели ты из скромности, то понимаю. Партия — дело серьезное, разумеется. На всю жизнь надо себя ей отдать. Ну, я напомню тебе на пятой деревне.

— Напомни, напомни... Если доживем до пятой-то...

Политрук выяснил, что хотел, и теперь определил свое отношение к ротному: мужик честный, верить можно, ну, а происхождение — черт с ним. Удовлетворен он был и тем, что свой партийный долг выполнил, да и просьбу особиста тоже — пощупать ротного, определить, каков он человек, инженер этот. Надо сказать, что в разговоре пришлось ему покривить душой, когда сказал, что не понимал и не понимает того, что творилось в 37-м и 38-м. Нет, сомнений у него тогда никаких не было, верил он и Сталину, и партии, и все, что делалось в те годы, принимал безоговорочно, а как же иначе, когда партия сделала из него человека и дала ему все. Кем бы он был без нее, без революции? Батрачил бы на какого-нибудь кулака, а сейчас он человек государственный, партийный и дана ему власть людьми командовать. И поучать, и за идейно-моральный облик их отвечать.

Когда совсем стемнело, ротный стал звонить помкомбату насчет пополнения и сорокапяток, тот поначалу пообещал, а через некоторое время позвонил сам и сказал, что обстановка изменилась и сделать это невозможно.

— Вы знаете, сколько у нас народа?

— Знаю, знаю... Продержишься, тем более, говорят, немцы почью не воюют. Может, к рассвету пришлю тебе обещанное.

— Мало ли что говорят, а вдруг пойдут?

— Ты бди, ротный. Сам не спи и людям не давай.

— Люди измучены донельзя. К тому же голодны.

— Нам тоже жрать не принесли. Терпи, дорогой. Терпи. Все, — закончил разговор помкомбата.

Ротный удрученный отошел от телефона... Позвав Карцева, он приказал разыскать Сысоева...

Серый и на формировании, и на марше не сблизился ни с кем, хотя в отношениях с бойцами был дружественен, от разговоров не уклонялся, короче, старался не выделяться, хотя в глубине души презирал это стадо, безропотно шедшее на убой за какую-то там советскую власть, которая никому ничего не дала и ничего хорошего для людей не сделала. Он жил вне общества с юности, а детство его было безрадостным и голодным. Отец сгинул в Соловках, был он вором «в законе» с еще дореволюционным стажем. В последний раз появился в Лаврах в году двадцать седьмом, пробыл недели две, пил сам, поил дружков, в доме было море разливанное — и еды всякой вдоволь, и приодел жену с сыном. Взяли его не дома, а где-то на малине, писем он не писал, и только в 34-м зашел к ним отцов однолагерник, либо освобожденный, либо находящийся в бегах, и сообщил матери, что отец приказал долго жить, что убили его охранники при побеге...

Но все же, несмотря на легкое презрение к однополчанам, Серый чувствовал себя тут среди своих. Напоминала чем-то армия лагерь — такая же масса людей, сосредоточенных в одном месте, такая же несвобода, такие же начальники, которым надо беспрекословно подчиняться, ну, а вместо лесоповала работа, не такая, может, тяжелая, но зато смертная, где выжить труднее, чем в лагере. Потому побег отсюда был для него тем же, чем и побег из лагеря — делом достойным, необходимым... И так же, как и при побеге из лагеря, он не ощущал вины перед оставшимися, так и сейчас у него никаких чувств не вызывало то, что он уйдет, а эти останутся тут на погибель. «Ты подохнешь сегодня, а я завтра» — закон лагеря, закон тайги, который вошел ему в плоть и кровь...

Когда сержант Сысоев стал отбирать бойцов в старые немецкие око-

ны, чтоб организовать оборону тыла деревни. Серый обрадовался, что сержант назначил и его туда,— не нужно будет ему пробираться через всю деревню, удача сама в руки идет. Главное, с передовой выбраться, а в тылах да с такой ксивой он не пропадет...

В то же самое время в штабной избе зазвонил телефон и спросил помкомбата, когда от них особист ушел, беспокоятся, дескать, в штабе, не случилось ли что?

— Случилось,— ответил ротный.— Убило его на обратном пути. Только недавно мне об этом сообщили.

— Вот черт возьми! Предупреждал его — не ходи, ан нет, полез из-за этого говна — листовок. И надо же угодить было в наш батальон. Давай, выделяй людей, пусть притащат тело.

— Сейчас не дам, какие у меня люди! Четырех надо, а у меня каждый на счету. Доложите в штаб, пусть своих пришлют.

— Они пришлют... Ну, бывай, и зубами держись за деревню-то.

Политрук прислушивался к разговору, а по окончании его занервничал, заходил по комнате.

— Затаскают нас с тобой, ротный... Кабы не документы... Может, на немцев свалить? А? Что они забрали? Думай! Вдруг за телом придут, что скажем?

— Не придут, не бойся,— успокоил его ротный.— Выкинь это, нам бы ночь продержаться.

— Не выходит выкинуть-то... И мне, и тебе достанется. И Журкин этот хренов пропал. И связной особиста. Куда подевались?..

И тут, легок на помине, в избу вошел бледный и измученный Журкин, трясущийся то ли от того, что замерз, то ли от нервов. Вошел, встал, щурясь от света...

— Рассказывай! — бросился к нему политрук.— Где болтался, куда связной особиста делся?

— Убило старшего лейтенанта...

— Мы это знаем. Что дальше было?

— Как полоснуло нас очередью, упали мы все вместе. Вначале лежали, замерши, потом, когда немцы перестали стрелять, увидели — убит старший лейтенант...

— Документы, пистолет не взяли? — перебил его политрук.

— Не-е... В рост мы уже побоялись, ползком до оврага... Связной раненый в тыл пошел. Я его проводил немного, а потом стал темноты дожидаться... Вот и пришел... Закурить не даст кто-нибудь?

Карцев сунул ему в рот сигарету, прижег.

— Садитесь, Журкин,— сказал ротный.

— А вы не видали, к телу особиста никто не подходил?

— Не смотрел я на него, я в овраге ховался.

— Но, может, связной документы и оружие взял? Вспомни! — напирал политрук.

— Не до того нам было, мы повернуться боялись, куда там по карманам шарить... Засекли бы нас фрицы.

— Почему же связной не доложил о гибели особиста? — подумал вслух политрук.

— У него боли сильные начались. Небось, сразу в санвзвод, а оттуда и в тыл потопал. Кому охота раненому на передке торчать? Ждать, чтоб добило? Да и слабый он очень стал, крови-то много потерял,— объяснил Журкин для себя очевидное.

Вопросов больше политрук не задавал. Через некоторое время Журкин попросил начальство разрешить ему посидеть еще недолго в избе, чтоб согреться, а уж потом он в роту пойдет. Ротный разрешил, конечно, а Журкин тут же, сидя на табурете, и заснул...

Спустя немного пошли ротный с Карцевым и политрук проверять посты... Телефонисты задремали у телефонов, Комов тоже...

Тихо было на передовой... Хлопки осветительных ракет, пускаемых немцами с Усова и Панова, слышны не были, а из леска, куда отступили немцы, ни одной ракеты не выпустили, что, разумеется, насторожило и ротного, и Карцева. То ли понимали немцы, что остатки роты, измученные

боем, не станут их беспокоить, то ли собирались подобраться к деревне в темноте?..

В бывших немецких окопах расположилось всего двадцать бойцов — маловато на всю протяженность. Люди находились далеко друг от друга, видимой связи между ними не было. Если убьет кого немец, другой не увидит и не узнает, но что поделаешь, большие потери в роте... К тому же и из этих двадцати не все бодрствовали, приходилось ротному и Карцеву их будить... Ротный не материл, убеждал только, что нельзя спать, чтоб терпели до смены, иначе каюк всем, ежели проморгают они немецкую ночную атаку. Карцев же по-свойски проходился матерком, зная, что крепкое русское слово взбодрит бойцов лучше, чем интеллигентные разговоры ротного, особливо если мат с прибаутками, а он знал их множество.

Дошли они по окопу и до Серого, который по красноармейской книжке Петром Егоровым значился. Тот не дремал, выглядел бодрее многих и, главное, спокойнее. Кроме законного винтаря, лежал рядом с ним немецкий автомат. Приготовлены были и гранаты на бровке окопа. Автомат он приготовил, потому как мало ему было пистолета, мало ли что случится. Винтовку он, конечно, оставит в окопе, а трофейный автомат подозрения не вызовет, знал он, что тыловики страсть как любят трофейное оружие.

— Как дела? — спросил ротный.

— Полный порядок, товарищ командир,— улыбнувшись, ответил Серый.— Встретим фрица, ежели что, как полагается.

— Вижу, что приготовились,— одобрительно сказал ротный.— Только не дремать.

— Как можно, товарищ командир. Насчет меня будьте спокойны. Я не подведу,— уверенным тоном и солидно заверил Серый.

— Надеюсь.

Когда отошли от Серого и двинулись дальше, спросил ротный, не знает ли Костик этого бойца.

— Вроде москвич он тоже... А более ничего не знаю, в разных взводах были. Но парень вроде надежный.

— Мне тоже так показалось...

Около часу ночи возвратились все в штабную избу... У Костика, конечно, в НЗ оказалась еще одна бутылка немецкого рома и пачка трофейных галет. Достали кружки, поделили галеты, выпили за то, чтоб эта ночка прошла спокойно, снова вспомнили разговоры, что фрицы ночью не воюют, и, не раздеваясь, только сапоги сняв, улеглись кто где — ротный и политрук на постелях, Карцев на печку полез, а Женя Комов, как сидел на полу, прислонившись к стене, так и остался. Журкина и одного из телефонистов направили на пост около избы...

А через какое-то время, за час до смены, Серый осторожно вылез из окопа, убедившись предварительно, что два его ближайших соседа благополучно подремывают, и быстро пополз к оврагу. Там он, укрывшись шинелью, чтоб скрыть свет фонарика, переклеит свою фотографию заместо особистской, подмажет карандашом на уголке печать (был у него опыт в этом деле) и, малость передохнув, двинет дальше, к нашей передовой, где вряд ли стоит ожидать особой бдительности на постах ополовиненной в наступлении второй роты. Ну, а дальше загадывать нечего, дальше действовать придется по обстоятельствам...

Дополз он до оврага довольно скоро и, не став опускаться в него, присел на склоне, чтоб отдышаться, а может и искурить одну немецкую сигаретку, пару пачек которых, к тому же хороший кинжал с костяной ручкой, он, так же, как и Карцев, подобрал в немецких жилищах, обшарив их еще раньше Костика. Закурив и пряча сигаретку в рукаве, он глядел на покинутую им деревню, ощущая ту необыкновенную радость полной свободы, которую наконец-то добыл, не давая, правда, этой радости силы, потому как впереди ждет его разное, но первый шаг сделан, удался, а там уж судьба... И никаких угрызений совести не примешивалось к его радости, что бросил он свою роту, с которой пробыл месяц формирования, трое суток ночного марша и принял первый бой, потому как не природнился

к ней, остались для чего эти люди, как и были, чужими, он не испытывал к ним никаких чувств — ни добрых, ни злых, просто они были ему безразличны.

И вот, покуривая тайно, он поглядывал все же на покинутую им деревню — не забеспокоились ли там, не обнаружил ли кто его исчезновения, но там было тихо и спокойно... Однако вдруг каким-то чутьем ощутил он обеспокоенность, приближающуюся опасность. Он весь напрягся — и слухом и зрением, погасил сигарету и спустился в овраг чуть дальше, но так, чтобы было видно вокруг. И тут мимо него, совсем близко шмыгнула какая-то тень, за ней вторая, третья. Серый сжался, сполз еще вниз и уже не зрением, а по движению воздуха почувствовал, как бесшумно мимо него прошло не менее двадцати немцев...

«Окружают, гады», — подумал он, и второй мыслью мелькнуло, что пофартило ему, вовремя ушел он из деревни, сейчас тут такая мясорубка начнется, что вряд ли кто живой из нее выберется. Надо, пожалуй, мотать скорее отсюдова, и он, наверное, мотанул бы, если б не увидел, как один из немцев залег над оврагом так близко, что он мог дотянуться до его ног в сапогах. Чуть приподняв голову, Серый смотрел, как устанавливал немец ручной пулемет, а справа, на ремне, заметил кобуру для большого пистолета... Парабеллум, наверное?.. Прихватить второй пистолет показалось Серому совсем неплохо, и он тихо выпростал из ножен кинжал... Всего несколько движений корпусом, и он сможет ударить немца под левую лопатку, лишь бы не вскрикнул фриц... Надо сразу прижать его лицом к земле. Серый не спешил, немец, видать, никуда не денется, раз выбрал здесь позицию для ручника. Еще раз просчитав все в уме и выверив каждое свое движение, Серый подвинулся сперва на шаг, потом на второй, затем, приподнявшись на колени, что есть силы ударил немца кинжалом правой рукой, а левой прижал к земле его голову. Тот только еле слышно хрипнул и замолк... Вытащив из кобуры тяжелый пистолет с длинным стволом, он сунул его в карман шинели вместе с запасным магазином. Он не стал больше трогать тело и ползком спустился вниз, чтобы оврагом уже нормально, в рост, двинуться в тыл. Но, спустившись, он понял, что надо закурить, успокоить нервы, что ни говори, а все же порешил человека, а мокрых дел за Серым не числилось. По такой статье не привлекался. Убил человека он один только раз, но не ради добычи, а по пьяной драке на одной из малин, где его никто, разумеется, не продал, так как дело семейное. Труп увезли, захоронили в лесу, и всех делов...

Курил он жадными затяжками, но табак немецкой сигареты не продирал легкие, не успокоил, и он достал полпачки махорки и скрутил большую цигарку, которая его и удоволила. И как-то исподволь вспомнил, что дал ему эти полпачки малыш, Женя Комов, дал свою долю, не спросив за это ни хлебушка, ни сахарку... Вспомнил, и вдруг что-то прижало сердце: погибнет же паренек в этой катавасии. Потом почему-то вспомнился ротный, похваливший его два часа тому назад, которому тоже, конечно, хана, потому что будет он кричать «ни шагу назад» и убьют его одним из первых...

Ротный был таким же усталым, как и его бойцы. Он тоже почти не спал все трое суток марша, совсем не спал ночь перед боем, однако заснуть сразу, как заснул политрук, Карцев и другие, не мог... Он лежал и думал о том, что раз не дали ему подкрепления, то, видимо, никому не нужна занятая его ротой деревня, поскольку не взяты Усово и Паново, составляющие оборону немцев. Он выдвинулся со своей ротой почти на километр вперед, за ним простреливаемое противником поле, связь с батальоном ненадежна, так как в любую минуту телефонные провода могут быть перебиты, снабжение роты боеприпасами и едой почти невозможно даже ночами, и вообще получившийся из-за победы его роты выступ нашей обороны — только лишняя и постоянная забота и боль для бригады, вроде больного зуба, который лучше поскорее вырвать...

Самое благоразумное было бы отвести роту сегодняшней же ночью назад, потому что развить наступление бригада, уже здорово обескровленная и не имеющая поддержки артогнем и достаточным количеством танков, вряд ли способна. Но приказа на отход не дают и не дадут, потому

что уже пошли донесения, что Овсянниково взято, что есть успех, который нужно закрепить, а потому кровь из носа, но ни шагу назад... Но комбат, наверно, прекрасно понимает, что удержать деревню, даже усилив роту пушками и людьми, очень трудно, а потерять при том пушки и еще роту, за это по головке не погладят, вот и оставили их одних на авось: авось немцы не пойдут, авось удастся отбить атаку, ежели она и будет, авось удержатся, ведь советский человек в с е может... При последней мысли ротный горько усмехнулся.

Потом пришла мысль позвонить помкомбату с просьбой поговорить с командованием об отходе его роты из Овсянникова, но тут же понял бессмысленность этого... Подхрапывающий рядом на койке политрук повернулся и, открыв глаза, прижег потухшую цигарку.

— Не спишь, командир?

— Не сплю.

— Понимаешь, проснулся от страшной мысли: не дадут нам подмоги.

— Поздно догадался. Я давно это знаю, — ответил ротный и тут же сказал политруку, что никому оказалось не нужна занятая ими деревня.

— А мы, а люди?.. С нами-то как? — обеспокоенно спросил тот. — Если же мы не удержимся, нас с тобой под трибунал отдадут.

— Наверно, — совсем безразлично процедил ротный.

— Ничего не понимаю, — в сердцах бросил политрук.

— Что тут понимать? Не профессионально воюем. Уж если наступать, то надо бы всей бригадой сразу на две деревни. Тогда Паново осталось бы у нас почти в тылу и немцам пришлось бы его покинуть самим. А сейчас мы оказались в таком положении. Окружить нас — раз плюнуть. Не доживем мы с тобой до трибунала, политрук...

— Не каркай. Я помирать не хочу.

— Я тоже. Никто не хочет, политрук, но по милости командования, боюсь, нам не отвертеться.

— Не рано ли панихиду заказываешь? — дрогнул голос у политрука, а потом, взяв себя в руки, уже тверже он сказал: — Все же вы, интеллигенция, слабы на изломе, сразу и помирать собрался.

— Я здраво и трезво смотрю на все, политрук. А насчет слабины на изломе, то видел я, какой мандраж тебя бил, когда на передовую пришли. Перед бойцами не стыдно было?

— Да, сробел я поначалу... — неохотно признался политрук.

— Все сробели, но не все подали вид.

— Да, не смог скрыть, ты прав. Как увидел этого... ну, у которого полтуловища осколком срезало, аж замутило и в глазах померкло.

— Ну и помалкивал бы... Что ты об интеллигенции знаешь? То, что тебе в политпросвете вякали? Мягкотелая, хилая и так далее? Не так это, политрук. Может, помнишь, как в «Чапаеве» каппелевцы в психическую шли? Неплохо шли...

— Неплохо, — усмехнулся политрук. — А ты случаем, не за них болел?

— Я за всех болел. Чего больнее, когда русские друг друга уничтожают.

— Не понимаю, — искренне удивился политрук. — Как можно за помещиков и капиталистов болеть? Ты что, ротный, закручиваешь?

— Поймешь когда-нибудь... А теперь пойдем посты проверять. Я на правый край деревни, ты на левый...

А у бойцов на постах с наступлением ночи нарастающая тревога все же не могла превозмочь усталость и сонливость... Слипаются глаза, и сам того не замечаешь, как в дремоту уходишь, а то и в настоящий сон...

Папаша и Мачихин договорились: один дремлет, другой бодрствует, но не получилось. Без разговора дремоту не уймешь, вот и решили эти три часа на посту обоим не спать, а разговаривать, тем более что поговорить было о чем, у обоих судьбы крученые, корявые, без радости и просветов...

— Понимаешь, у меня четыре девки было и двое парней, сила же. Сколько землицы поднять могли. А сейчас девки по фабрикам работают...

Парень один воюет, другой на заводе броню имеет, может, живой останется... Как думаешь, Мачихин, распустит Сталин колхозы после войны?

— И не мечтай, Петрович... Не нужен ему вольный хлебопашец, он завсегда занозой будет для его власти.

— А я слыхал, что ходют такие разговоры...

— Пустое... Да и чего нам об этом мечтать? Война долгая будет, живым нам с тобой в этой пехтуре не остаться. Видишь, как воюем неразумно. Нам и эту ночку, может, не пережить, а ты вон куда заглядываешь.

— Я не о себе мечтаю... О сынах и девках, да и жена моя еще здоровая. Хоть бы они зажили по-старому, на своей земле, при своем дому, при своей скотине... — мечтательно произнес папаша и вздохнул глубоко, как бы со стоном.

— Я, Петрович, заказал себе думать об этом. Сломали нам хребет, уже не поднимемся.

— Так без надежды и живешь?

— Так и живу. Чего бередить душу.

— А я все же таю надежду... С ней воевать-то легче...

— Это оно так, — вздохнул и Мачихин. — Темень-то какая, Петрович. Не пущают немцы ракеты. Видишь, и из Усова, и из Панова запаливают, а у нас нет. Неспроста это.

— А чего им пущать? Они знают, что мы наступать не пойдем, вот и берегут.

— Хорошо бы, ежели так...

Серый уже несколько раз порывался уходить, но что-то удерживало его. Тем более, только он соберется, как увидит еще группку немцев, подтягивающихся к деревне, потом еще... Сколько же их, гадов, набирается? За сотню, наверно, уже будет. Ну и, конечно, к другому концу деревни тоже подтягиваются, туда, возможно, и поболее... И, видать, хотят втихаря это сделать, подобраться совсем близко, чтоб одним броском к нашей обороне двинуть, а там все сонные-пресонные. Порежут своими штыками-кинжалами, либо прикладами перебьют все посты, а там уж и огонь с двух сторон откроют, гранатами избы забросают, и никому, пожалуй, из этой деревни не уйти... Ну и что? Ему-то какое дело? Ему нужно уходить поскорее, а то вдруг, если стрельба начнется, пойдет по оврагу подмога, наткнется он на нее, пристрелят как дезертира без всяких слов...

Нет, двигать надо, двигать, — уговаривал себя Серый, но с места не трогался... Тут услышал он из недалека шепотливую команду, и поднялись все до того залегшие немцы и, пригнутые, осторожно подались к деревне... Идут, как тени, ничего у них не звякнет, все пригнано, как следует... Глядит им в спины Серый, почти все они как на ладони, только дальние не видны, а те, которые от оврага идут, видятся хорошо, особенно ноги на снегу...

И вдруг, будто кто-то толкнул в спину, одним рывком подбросило его к убитому, откинул он мертвое тело, залег за пулемет, на несколько секунд замешкался, ощупывая руками что где, и нажал спусковой крючок. Веером, сначала по ближним, а потом и по дальним немцам дал длинную очередь... Дал... и опомнился — чего это он? Зачем? Ведь жизнь свою и свободу подставляет. Хотел было нырнуть в овраг, но и тут будто кто-то вырвал из его горла отчаянный крик:

— Братва! Окружают вас фрицы! Ах вы, падло! — и снова припал к пулемету, и стрелял уже не прицельно, а по направлению, так же, веером, по залегшим фрицам, стрелял до тех пор, пока не кончилась лента...

Тут пальба пошла со всех сторон. Кто стреляет, куда, свои или немцы — ничего не разберешь, но ясно, что ведет рота бой... Не дал он немцам втихаря свое дело сделать, пусть и на этом спасибо свои скажут, а больше делать ему здесь нечего, драпать надо... Спустившись в овраг, Серый прошел по нему полпути, а потом вылез и — ползком по полю, это верней, здесь вокруг все видать, ни на кого невзначай не нарвешься...

Ротный, услышав стрельбу и крикнув: «Карцев, за мной!», первым выбежал из избы, бросившись направо, к той обороне передней, где и ждали немца. Но стрельба шла и слева, с тыла деревни, да и вообще отовсюду летели снопы трассирующих, и ротному пришлось двигаться перебежками, от избы к избе, иногда падая на открытых местах, чтоб уберечься от пуль...

Еще не добежав до края деревни, встретил он отступающих, огрызающихся ружейным и автоматным огнем бойцов.

— Остановиться! — закричал он, — стойте! — и дал поверх голов короткую автоматную очередь.

— Окружили нас! Выходить надо! — крикнул налетевший на него и чуть не сбивший с ног боец.

А пока ротный разбирался с ним, схватив его за грудки и повернув лицом к противнику, мимо них бежали с ошалевшими физиономиями бойцы его роты, изредка останавливающиеся на секунду, чтоб пальнуть из винтовки или из автомата...

Карцев тоже пытался остановить ребят, но его не слушали, обтекали, продолжая драпать, выкрикивая на ходу, что надо прорываться из окружения, а то всем капут... Но все же ротному удалось остановить нескольких бойцов, и они, укрываясь за углами изб, открыли встречный огонь по немцам, которые тоже стреляли из-за домов. Кое-где раздавались и взрывы ручных гранат, своим грохотом на миг заглушая ружейную пальбу, и какое-то время, неслышимые, метались из конца в конец деревни нити трассирующих...

Ротный по августу сорок первого помнил страшные, вызывающие панику слова «окружение», «охват» и понимал состояние людей, хотя и не думал, что деревня полностью окружена. Передав Карцеву командование, он бросился к бывшей немецкой обороне и увидел во вспышках разрывов, что там идет рукопашная, в которой и днем не разберешься и которой командовать нечего — тут каждый за себя и кто как сумеет. Он только крикнул во весь голос:

— Держитесь, ребята! Сейчас подмогу пришлю! — и бегом обратно.

А там тоже дошло до ближнего боя, и немцы, обтекая роту с флангов, грозя и тут окружением, медленно, но верно оттесняли бойцов к краю деревни, к своей обороне, и Пригожину ничего не оставалось, как вступить в бой, послав перед этим несколько бойцов на помощь тем, кому обещал.

Ведя бой, он все еще надеялся, что помкомбат, услышав стрельбу, поймет, что немцы пошли отбивать деревню, и пришлет помощь. Возможно, их спас бы полный взвод с дельным командиром. Но если помощи не будет, оставалось лишь одно — смять немцев там, у окопов, и уходить...

Помкомбату доложили, конечно, наблюдатели, что идет бой в Овсянникове, да он и из своей землянки его услышал, и тут же стал звонить «первому», то есть комбату, майору Костину. Тот долго не подходил к телефону, видно, не сразу разбудили его телефонисты, и ответил голосом сонным и недовольным:

— Что, сам не знаешь, что делать надо?

— Знаю, но мне нужно ваше разрешение послать людей на помощь.

Комбат не спешил с ответом. Слышно было, как он попросил принести ему папирос, как зажигал спичку...

— Значит, так... Третью роту не трожь, она в резерве, а из второй выдели взвод и посылай...

— Взвода мало, товарищ комбат, — поспешно сказал помкомбат.

— Не перебивай! — повысил голос майор. — Всем устрой подъем, чтоб наготове были. Чем черт не шутит — выбьют немцы Пригожина и с хода к тебе нагрянут. Понял? Потому больше взвода тебе и не даю. Связи-то с Пригожиным нет?

— Какая связь!

— Тогда с комвзвода второй роты передай этому Пригожину: ежели деревню сдаст — расстреляю перед строем.

— Как это?.. Пушек мы ему не дали, подкрепления тоже, а у него от роты дай бог человек семьдесят, и ни одного среднего командира, — убито пробормотал помкомбат.

— Рассуждаешь? Повтори приказание. А ежели ты этого Пригожина сильно жалеешь, иди сам со взводом, разрешаю. Пороху понюхаешь, может, умнее станешь. Понял?

— Понял, — постарался он придать своему голосу твердость.

Командиры второй и третьей роты находились тут же в землянке и в разговор вслушивались, а потому, как окончился он, начали расспрашивать.

— Ну, и что? — спросил командир второй роты.

— Выделяйте один взвод. И быстро на помощь первой роте. Может, я тоже пойду с ним.

— Есть выделить взвод, — поднялся тот и вылез из землянки.

— Ты что, всерьез задумал с ними идти? — на «ты» обратился командир третьей, старший лейтенант в летах.

— Да. Комбат разрешил.

— Разрешил — не приказал, а потому не глупи. Деревню все равно не удержать.

Этот короткий разговор привел его в растерянность. По дороге к взводу он догадался, почему не нужна бригаде занятая ими деревня, и чувство тяжести и какой-то вины, даже не своей, а общей перед ротой Пригожина сдавила грудь... Взвод второй роты уже стоял на опушке напротив оврага, по которому и решили двигаться на подмогу...

Молоденький лейтенант почему-то тихо, сдавленным голосом давал последние указания командирам отделения. Уже в самом овраге стояли пять человек, вооруженные автоматами — они пойдут первыми. Лица напряженные, усталые, в глазах смертная маета, как всегда у людей перед боем.

— Товарищи! — начал помкомбат. — Надо помочь первой роте удержать деревню. Там бьются ваши товарищи и друзья! Задача ясна?

В ответ раздалось не очень согласное, вразнобой — «ясна», «Понятно, надо помочь...» и еще мало разборчивое.

— Вперед, ребята. Ни пуха ни пера... — помкомбат попытался сказать это весело, бодро, но получилось фальшиво, как-то не к месту... Он понял это, и натянутая улыбка сползла с его лица.

Вначале в овраг втянулись пять человек с автоматами, за ними поотделенно пошел взвод. Ротный присел на сваленное дерево и закурил, помкомбат присел рядом и тоже задымил... Звуки перестрелки в деревне то затихали, то усиливались, но они ждали, что через какое-то время в шумы того боя ворвутся новые, от действий идущего сейчас на подмогу взвода, ждали сосредоточенно и напряженно и не без чувства вины перед этими людьми, которых послали в бой, а сами вот сидят здесь, в относительной безопасности и ждут, когда этот бой начнется и чем закончится...

А роту Пригожина тем временем немцы выдавили из деревни, и она заняла немецкие окопы, отбив перед этим тех фрицев, которые наступали на них с тыла. Смяв их поначалу перед окопами и заставив залечь, рота затем яростной контратакой рассеяла их по полю. Ведя этот бой, Пригожин удивился, что перед окопами валялось много трупов немецких солдат, убитых вроде не ими, так как, нагнувшись над одним, он увидел ранение в спину. Но времени раздумывать об этом не было, и только после боя, вернувшись в окопы, отдышавшись, он снова подумал об этой странности...

Заняв деревню, немцы прекратили вести огонь, и наступило короткое, как они понимали, затишье... Немцы, видимо, не будут наступать в лоб, они, наверно, раздумывают сейчас, как выбить их без особых потерь, и по всей вероятности постараются зайти с флангов, чтобы оттуда начать выжимать их из траншей. Поэтому Пригожин усилил фланги ручными пулеметами и роздал бойцам дополнительно гранаты... Сам он находился в центре вместе с Карцевым, Женей Комовым, недалеко от них были и Мачихин с папашей. Здесь Пригожин и выразил недоумение по поводу слишком большого количества убитых перед окопами немцев.

— Так кто-то открыл по ним огонь с тыла, — откликнулся услышавший это папаша. — Мы с Мачихиным задремали малость, случился такой грех, скрывать не буду, а тут очередь пулеметная и крик чей-то: «Окружают вас! К бою!» Ежели бы не это, боюсь, перерезали бы нас всех сонных.

— Сон с нас как рукой сняло — открыли стрельбу, а потом уж и немцев увидели. Ну, и остальные тоже, — вставил свое слово Мачихин.

— Кто же это мог быть? — удивился ротный.

— Кто бы ни был, а без него — хана бы нам. Живой останусь, свечечку за него поставлю, — сказал папаша и перекрестился.

Карцев, слушая, мучительно соображал. Мелькнула догадка, что связано это с убитым особистом и с тем парнем, лицо которого показалось ему знакомым, и он сразу спросил:

— А где этот... как его... Егоров, что ли, с которым, помните, командир, мы говорили здесь, в окопах? Как будто он недалеко от вас стоял, — повернулся он к папаше и Мачихину.

— Стоял, верно... Только не видали мы его больше, — ответил папаша.

— Понятно теперь...

— Что вам понятно, Костя?

— Это он и особиста убил. Ну и он, наверно, заметил немцев и резанул очередь.

— Из чего резанул-то? — спросил Мачихин.

— Не знаю... Значит, это его я на одной малине в роще видал.

— На малине? Значит, уголовник? — спросил ротный.

Костик кивнул.

Больше говорить об этом Егорове нечего... Папаша о другом начал, о самом главном — придет ли подмога, а если не придет, как выбираться они будут, потому как ясно теперь, что отход неизбежен. Не выдержать им немецкой атаки, тем более патроны уже на исходе. И отходить нужно, конечно, по оврагу, который скроет их от огня...

— Должны же нам помочь, — вырвалось у Жени. — Товарищ командир, скажите — должны же?

— Должны, должны, малыш... — успокоил его Карцев, а ротный промолчал, только посмотрел на Женю как-то внимательно, будто что-то вспоминая...

Ему и тогда, когда снял он Комова с обороны и отправил в штабную избу, детское личико Жени показалось знакомым, и теперь вглядевшись как следует, он спросил его по-немецки:

— Haben sie die deutsche Sprache nicht vergessen?

— Nein, — невольно ответил Женя по-немецки, а потом уже оживился. — Откуда вы знаете, что я учился немецкому?

— Не у Веры ли Семеновны учились? — улыбнулся ротный.

— У нее! Вы ее знаете?

— Это моя мать, Комов... Наверно, раза два или три я видел вас.

— Бог ты мой! Неужто это правда! Как я рад! Я очень любил Веру Семеновну, она была такая красивая — совсем седые волосы, а лицо молодое. И комнаты у вас были очень красивые, картины на стенах и стулья какие-то резные, и статуэтки. Как я рад! — он протянул к ротному свои ручонки.

— Вот, малыш, какие дела-то, — заулыбался и Костик. — Теперь держи хвост пистолетом — сам ротный тебе старый знакомый.

— Не смейся, Костя, у меня же тут никого... Вот ты, а сейчас... Евгений Ильич, — досказал Пригожин.

— Да, да... Вера Семеновна говорила, когда я вечером занимался: «Вот Женя что-то на работе задержался». Евгений Ильич, я так счастлив, словами и не передать... — даже слезы появились у него на глазах.

Хмыкнул носом и Карцев и, немного подумав, сказал ротному:

— Товарищ командир, а не послать ли нам связного к комбату с донесением, что ежели не пришлет помощь, придется нам отходить?

— Я как раз об этом думал, Карцев. Сейчас напишу записку.

И на планшете нацарапал короткое донесение.

— Держите, Комов. Пробираться будете оврагом...

Комов машинально взял записку, но тут дрожащим голосом попросил:

— Разрешите остаться с вами. Я не хочу уходить, не хочу.

— Это же приказ, малыш... Пойдем, я провожу тебя до оврага, — сказал Костик и взял его за локоть.

— Да, это приказ, Комов... Ну, с Богом... — сказал Пригожин и подтолкнул Комова.

Это «с Богом» странно было услышать на поле боя. Странно, но и

очень приятно... То же самое всегда говорила ему мать, отправляя в школу. Женя понимал, что, посылая его в тыл, ротный спасает его, но покидать сейчас и Костика, и ротного ему действительно не хотелось, и он еще какое-то время стоял, переминаясь с ноги на ногу, пока Костик не подтолкнул его к ходу сообщения...

— Радуйся, мальчиша, и не переживай. В живых останешься, сообщишь хоть своей училке, если что с ротным нашим случится. Может, он тебя потому и послал.

— Ну, а вы как?

— Мы-то? — усмехнулся Костик. — Авось выкарабкаемся как-нибудь, отпевать нас рановато. Мы с тобой после войны еще в «Форум» сходим, пивка там попьем, музыку перед сеансом послушаем...

— Какое кино, Костик! Что я, маленький, не понимаю, что ли.

— Кино — самое обыкновенное. «Жизнь — это трогательная комбинация», как говорил мой тезка Костя-капитан из фильма «Заключенные». Смотрел? В жизни все может случиться.

Они вышли из траншеи, до оврага оставалось немного, но в рост не пойдешь, пришлось перебежками. Добравшись до оврага, присели. Костик осторожно прижег сигаретку и, скрывая ее огонек полой телогрейки, затянулся.

— Вот перекурим, и пойдешь, малыш... Только осторожней продвигайся, будь начеку.

— Почему? Там меня не видно будет.

— Понимаешь, не дураки же немцы, должны же они предполагать, что к нам подмога может прийти. Неужто не ждут? А самое подходящее место — овраг. Понял?..

Немцы были, конечно, не дураки... Они давно уже расположились наверху по обеим сторонам оврага и ждали русских, недоумевая, почему они не идут. Они замерзли и тихо переругивались, проклиная «иванов», которые по всем правилам должны прислать подкрепление своим, но почему-то не шлют, а бой в деревне уже кончился, русские в их окопах, еще один удар, и они будут выбиты, и тогда им тоже придется отходить по оврагу. Обер-лейтенант, посылая их сюда, поставил две задачи: отбить подкрепление, если оно пойдет, и не выпустить ни одного русского при отходе. Уж больно был он зол на них за то, что каким-то чудом выбили его роту из теплых изб Овсянникова, которое они так надежно обороняли в течение двух месяцев и в котором полагали продержаться до весны, до нового наступления войск на Москву.

Костик докуривал уже сигарету и вот-вот собирался проститься с Комовым, как услышал стрельбу в овраге, выклики своих и немецких команд...

— Ну, малыш, что я говорил? Считай, в сорочке ты родился. Айда назад!

Они побежали к траншеям, а потом, уже в них, расталкивая испуганных стрельбой бойцов и не отвечая на их вопросы, добрались до ротного, который приподнялся из окопа и смотрел в сторону оврага, стараясь разобраться, в чем дело, откуда идет стрельба. Костик, торопясь, выложил ему:

— Немцы ждали нашу подмогу, они в тылу у нас. Разделаются с подкреплением, пойдут на нас, ну, и из деревни на нас нажмут. Короче — амба нам.

— Найдите политрука, — приказал Пригожин, сразу понявший, что теперь-то отход неизбежен, иначе вся рота будет уничтожена или пленена.

— Ну, что? Плохо наше дело? — взволнованно спросил подошедший политрук.

— Да. Пока там, в овраге, идет бой, роте надо отходить.

— Приказа-то нет... — обреченно выдохнул политрук.

— Отсутствие приказа не оправдывает бездействие командира, так, кажется, в уставе. Так вот, приказываю вам обеспечить организованный отход. Берите правее оврага. Если немцы не запустят осветительных ракет, пройдете без потерь. Я остаюсь с несколькими бойцами в прикрытии. И поскорей, пока немцы не начали атаку из деревни. Поняли?

— Да, все ясно, — со вздохом облегчения ответил политрук, однако добавил для приличия: — А ты как, ротный?

— Не беспокойся, как-нибудь выберемся. Иди.

И тут они увидели стоявшего неподалеку Сысоева, который сделал шаг к ним.

— Я, товарищ ротный, со своим взводом без приказа отходить не намерен.

— Не дури, сержант. Себя не жалеешь, людей пожалей, — не выдержал Костик.

— Сколько в вашем взводе осталось людей? — спросил ротный.

— Двенадцать штыков.

— Останетесь со мной в прикрытии. А вы, Карцев, отправляйтесь с политруком, мне не нужен сейчас связной.

— Нет уж, командир, этот номер не пройдет. С вами остаюсь, — твердо заявил Костик.

— Спасибо, — просто ответил Пригожин.

Пока рота покидала окопы, бой в овраге еще гремел, а в деревне немцы помалкивали — ждали, видно, конца схватки в овраге. И вот в эти напряженные минуты ожидания неминуемого боя, может, последнего для них, Костик, чтоб разрядить обстановку, решил с Сысоевым побалакать.

— Выходит, сержант, ты и верно герой, — начал он.

— Какой герой? Просто я по правилам воюю, по уставу. Понял? И без приказа отходить не имею права.

— Так по уставу последний приказ выполняется. Ротный наш отдал приказ, должен исполнять, а ты?

— Что я? Приказ на взятие деревни нам комбат отдавал. Мы ее взяли, выбили гадов, а теперь обратно отдавать?

— Уже отдали...

— Плохо дрались, значит. И отвечать за это будем.

— Дрались мы не плохо, но силенок не хватило... Ладно, сержант, ты скажи мне, почему особист знал тебя по фамилии и сразу вызвал?

— Память у него на фамилии хорошая, вот и вызвал.

— Ты мне мозги не дури. Давай по правде — работаешь на него?

— Еще чего? Он меня еще на формировании вызвал, поскольку я в Монголии воевал, ну и награда у меня... Разговор там сам знаешь какой — знаем, что вы боец сознательный, верим вам, на вашу помощь надеемся... Что мне отвечать? Надейтесь, говорю, в бою не подведу... А он: вы мне зубы не заговаривайте... Тут подошел к нему кто-то, он и отпустил меня — идите пока, потом поговорим, ну а потом не вышло. Вот так... Ты меня «героем» не дразни, сам-то почему остался? Тоже геройствуешь? Посылал же тебя ротный.

— Раз уж я попал на этот «курорт», как говаривал мой тезка...

— Какой тезка?

— Да ты не знаешь... Так раз попал, то до конца хочу...

— Мелешь чего-то... Какой курорт, какой тезка, не пойму... Ладно, закурим, что ли?

— Закурим.

— Я все приглядываюсь к тебе, вроде боец ты неплохой, но язык... Всегда с подковыркой какой-то подходишь, не по-простому.

— Таким уродился, сержант... Давай-ка скорей перекурим, вроде фрицы зашевелились.

Когда остатки первой роты во главе с политруком еще добирались до исходных позиций, до черновского леса, туда вернулись уже и бойцы разгромленного в овраге взвода второй роты, вернулись без комвзвода, молоденького лейтенанта, оставив и его, и еще полтора десятка убитых на дне оврага, успев только захватить тяжелораненых. С легкими ранениями дошли сами.

Сейчас они сбились в кучу, жадно смолили махру, кто-то тихо матерился, выбрасывая из себя злость и обиду за неудачный бой, а точнее, убой, потому что расстреливали их немцы сверху безбоязненно с двух сторон оврага, оставаясь сами неуязвимыми для ответного огня...

Растерянный помкомбат метался среди них с жалким лицом и дрожа-

щими губами, спрашивал, как прошел бой, но ему никто не отвечал, только один зло буркнул:

— Почему без разведки сунулись? Вот и получили. Не бой был, а смертоубийство.

У помкомбата упало сердце: как же так, действительно, получилось? Почему взводный не послал вперед нескольких бойцов? Почему и он не напомнил об этом? Но тут боец, перевязывавший рядом рану, бросил:

— Что разведка? Пропустили бы немцы ее спокойненько, не дураки же...

Да, конечно, разведка ничего бы не дала, с облегчением подумал помкомбат. Но все же по-умному можно же что-то сделать, и как ему доложить комбату, который вот-вот должен прийти на передовую и который, несомненно, свалит все неудачи на него. Дай Бог, если обойдется только руганью и матом, как бы под трибунал не отдал? А он только начал воевать!

Ему зримо вспомнился выпуск в училище. Как стояли они в строю, бодрые, полные решимости воевать, мечтая о подвигах, которые они совершат... Играл оркестр, они прошлись строевым, чеканя шаг, перед начальником училища. И музыка, и слова начальника о том, что он уверен, что они станут гвардейцами, наполняли их сердца возвышенным восторгом, при котором им совсем не страшна была смерть — они готовы хоть сейчас отдать свои жизни за Родину... О, какой торжественный и незабываемый день! Получение командирской формы, привинчивание кубарей, одуряющий запах кожи ремней, кобуры, в которую они скоро вложат давно ожидаемый пистолет... Это было совсем, совсем недавно, но сейчас показалось далеким, далеким сном — два дня на передке словно отрубили его от такого недавнего прошлого. Два дня, за которые он ничего не успел сделать, ничего совершить, ничему помешать. Батальон фактически разбит, а его ожидает либо трибунал, либо разжалование в рядовые, хотя от него ничего и не зависело...

Поэтому, когда появился политрук с бойцами первой роты, он с ошалелой радостью бросился к ним.

— Выбрались! Живые! — бормотал он, тяня к ним руки, словно желая то ли обнять, то ли просто ощупать этих пропахших порохом, в перепачканных кровью шинелях, с почерневшими, хмурыми лицами бойцов.

А они отворачивали от него глаза, в которых не было радости возвращения, а таилась какая-то тревога и беспокойство — отдали же деревню и оставили часть бойцов прикрывать свой отход, оставили почти на верную смерть.

— Где Пригожин? — спросил он политрука.

— Остался прикрывать наш отход... Боюсь, что... — не закончил он, сокрушенно опустив голову.

— Вы ранены, — увидел помкомбат перевязанную руку политрука.

— Да, задело...

— Пойдемте ко мне в землянку, угощу вас.

— Ох, неплохо бы глоток. Пошли.

Когда они ушли, то начались разговоры между ребятами первой роты и теми, кто ходил к ним на помощь. Начали с упреков.

— Что же вы так поздно пошли? Мы ждали вас весь день...

— Мы-то при чем, приказа не было.

— Приказа? Слышали же, что начался бой, поднажали бы на начальство.

— Кому охота в пекло-то...

— Это ясно, но ведь товарищи же ваши гибли. Подошли бы раньше, отбили бы мы деревню. Отбили...

— Не отбили бы, — это сказал кто-то из первой роты. — Много фрицев навалилось, да и хитрые они. В лоб не лезли, все окружить норовили. Умеют воевать, гады.

— Нет, отбили бы. Ротный говорил: взводик бы, взводик... — это произнес Женя Комов.

— А где ротный-то ваш?

— Прикрывать нас остался...

— Вон как? Наш не пошел... — это голос из первого взвода. — А лейтенантика нашего первым же хлопнуло. Кабы был командир, может, и прорвались бы к вам, а тут такая паника началась. Бьют сверху с двух сторон, ну и свалка, одни вперед, другие назад, прямо куча мала, а немец шлепает нас и шлепает...

— С таким начальством не навоюешь много...

— Наш ротный хороший, он умеет, — выступил Женя в защиту.

— Ну, ваш, может быть... Я вообще про начальство говорю. Помкомбатом пацана назначили. Малец неплохой, но молоко еще не обсохло. Суетится, бегает, а толку чуть...

Хорошо, не слышал этого помкомбат. Приведя политрука в землянку, он налил ему полкружки водки, дал на закуску галету, а сам направился к выходу, потому как сообщил ему телефонист, что комбат уже как полчаса вышел из Чернова. Он торопливо шел по тропке, поправляя на ходу обмундирование — подтянул ремень, разгладил складки на шинели... Пройдя немного, остановился покурить, чтоб успокоить нервишки. Курил, жадно затягиваясь, чувствуя, как трепыхается сердечко.

Грузные шаги комбата он услышал издалека. Бросил папиросу, еще раз оправил шинель и пошел навстречу.

— Товарищ майор, разрешите доложить...

— Нечего докладывать. Знаю. Веди к этим трусам, которые приказ нарушили.

Комбат был без свиты, с одним ординарцем. От него сильно пахло спиртным в смеси с одеколоном, которым он надушился густо, чтобы отбить, наверно, запах водки. Шел он, правда, не покачиваясь, но тяжело. Белый полушубок, перетянутый походными ремнями, не мог скрыть полноты и выпирающего брюшка. Помкомбата неудобно было идти впереди, и он топал сбоку. Ветви елок царапали лицо, и вообще идти было неловко до тех пор, пока не вышли к оврагу. Там больших деревьев не было, только мелкий подлесок и кустарник.

— Построй первую роту, этих героев в кавычках, — приказал комбат. — А где виновник торжества?

— Вы про Пригожина? — робко спросил наш комбат.

— Да.

— Он остался прикрывать отход. Пока не вышел.

— Давай политрука пока.

Помкомбат бросился к роте и скомандовал построиться в две шеренги, а за политруком послал связного. Пока рота строилась, подбежал и политрук, успевший соорудить косынку для своей раненой руки. Прихрамывая, так как ушиб ногу, подошел к комбату.

— Докладывай, политрук. Почему нарушили приказ? Кто разрешил отходить?

— Пригожин дал приказ на отход, когда положение стало безвыходным, немцы уже почти окружили нас...

— Как допустили до окружения? Кто решил, что положение безвыходное? Нет безвыходных положений! Думать надо было. Да, видно, нечем. Чего молчишь? Сказать нечего? Всех буду судить, всех. И тебя тоже.

— За что?.. — вырвалось у политрука.

— За предательство, — отрезал комбат.

И от этого страшного слова захолодело в груди политрука и даже потемнело в глазах.

— Ну, идем к бойцам, если их так можно назвать.

Остатки первой роты в разодранных, грязных и окровавленных шинелях хмуро глядели, как приближается к ним комбат. Нет, они не боялись его. Наоборот, чем ближе он подходил, тем тверже становились их глаза, тем суровее лица... То чувство вины, которое они все же ощущали по возвращении, сейчас ушло — они видели перед собой подлинного виновника их поражения: это он не прислал вовремя помощь, это он не прислал сорокапятки, это он оставил их одних...

Комбат подошел, остановился и долго обводил взглядом ряды, останавливая его то на одном, то на другом бойце. Но те не опускали глаз, смотрели на комбата без страха, и это разозлило его.

— Ну как вас теперь называть? Товарищи красноармейцы? Бойцы славной Красной Армии? А? Не могу я вас так назвать. Язык не поворачивается. Кто вы теперь? Кто? Сдавшие деревню без приказа? Нарушив-

шие священную присягу? Кто? Отвечайте! — повысил он голос. — Молчите? Нечего сказать? Предатели вы, вот вы кто! Поняли?

По шеренге прошел негромкий протестующий ропоток и легкое движение, но вслух никто не возразил. Люди не чувствовали себя предателями, наоборот, понимали, что их предали. Они совершили почти невозможное, взяли деревню, которую до них не могли взять несколько стрелковых частей. Но их не поддержали. А почему не поддержали, они не знали. И потому слова комбата не задевали их, они терпеливо ждали, что будет дальше, какое примет комбат решение. Ждали без трепета, без боязни, потому как были измучены и усталы донельзя, и было им все уже безразлично. Отпустил бы скорей, чтоб смогли они завалиться на землю, не держали их уже ноги, стоял кровавый туман в глазах от неспанных ночей. Даже об еде не мечтали. Залечь бы куда-нибудь, забиться под елку, покурить бы. И больше, казалось, ничего им не нужно, ничего не требуется. Но комбат загремел опять:

— Вы что, надеялись, что примут вас здесь как героев? Кашей накормят и спать уложат? А кто искупать вину будет? Кто деревню обратно отбивать будет? Пушкин? Сейчас поднесут патроны и гранаты. А зачем? Не знаете? Подумайте. Разойдись!

Комбат резко повернулся и направился к своему помощнику и политруку, стоявшим в стороне.

— А вы, вояки, поняли, что я сказал? — негромко спросил комбат.

— Поняли, — враз и упавшими голосами ответили оба.

— Как вел себя Пригожин в бою, политрук?

— Хорошо, товарищ майор.

— Хорошо? — усмехнулся комбат. — Ежели б хорошо, то не здесь бы вы были, а там, в деревне. Ты вот что мне скажи, политрук, вернется твой ротный сюда?

— Если останется живым — конечно...

— И ты веришь этому шибко грамотному? Не отвечай сразу, подумай.

Политрук мучительно задумался: какой ответ хочет услышать от него комбат?

— Подумай, — продолжил комбат. — Разве обязательно командиру роты в прикрытии оставаться. Сержанта бы оставил с бойцами, а сам роту обязан вывести. Но он знает, что его ждет расстрел. Так, может, не зря остался-то? Плен предпочел?

— Не может этого быть, — уверенно и без робости сказал помкомбат.

— Ты помалкивай. Я политрука спрашиваю. Отвечай, комиссар.

— Не знаю... Офицерский сынок он... Мать дворянка. Говорил он мне... Не знаю...

— Заладил — не знаю, не знаю. А я вот знаю, как волка ни корми, он все в лес глядит.

— Какая чепуха! — выскочило у помкомбата.

— Не чепуха, — оборвал его комбат. — У меня к этим интеллигентам, инженерáм всяким доверия нету. Что у них на уме — не знаю и не понимаю. Так вот, уверен я, не вернется ваш Пригожин. Не вернется. Сколько с ним бойцов осталось?

— Человек двадцать, по-моему. Двое пожилых, связной его и еще остатки взвода Сысоева, сержанта.

— Ну, все ясно. Командовать ротой ты, помкомбат, будешь. И ты политрук, пойдешь. Тебе в плен нельзя, шлепнут немцы сразу, сам знаешь. Для тебя одно — смерть или победа. Понял?

— Понял... Но поцарапан я, товарищ майор. В предплечье ранен...

— Злее будешь. Не с такими ранами воюют. Вот дождемся боеприпасов, и пойдете искупать кровью.

— А если вернется Пригожин? — спросил помкомбат.

— Пригожина для меня нет на свете, вернется, не вернется. Ежели придет — расстреляю саморучно перед строем. Другим и вам наука. Чего побледнели? Вы на войну пришли или в бирюльки играть? А на войне как на войне. Сантименты всякие да слюни — ни к чему. Нам Родину надо отстоять. Принимай, лейтенант, первую роту. И ты, комиссар, иди к людям.

Разъясни, что обратного хода для них нет. Не возьмете деревню, добра не ждите.

Не бодро отошли они от комбата. Пошатывало обоих. И тошно было на душе. Не дойдя до роты, присели и закурили. Единственная отрада, единственное, чем поддержать нервы можно. Хорошо, помкомбат вспомнил, что осталось у него во фляге, висевшей на ремне, немного водки. Отцепил от пояса, протянул политруку. Тот выпил, как воду, не ощутив ни запаха, ни крепости, только через минуты две, когда затеплело в желудке, понял, что выпил сорокаградусной. Чуть-чуть полегчало на душе и разомкнулись уста.

— Ты понял, лейтенант, на смерть же нас посылают?

— А мне уже все равно... Я ждал, что комбат под трибунал подведет... Вообще за этот день и ночь столько было...

— И главное, не взять нам деревню. Ни за что. Так под нею все и ляжем. А мне, ежели еще ранят, стреляться придется... Вот знаю, а както не верится, что всего два часа жить осталось. А тебе?

— Мне тоже... А может, возьмем?

— Нет, исключено... Один раз взяли чудом или дуриком, как один боец сказал, второй раз не выйдет. Немцев туда сейчас набилось тьма. Не отдадут.

— Так что? Может, чтоб не мучиться, сейчас пулю в лоб? — странно спокойно спросил помкомбат и хлопнул себя по кобуре.

— Нельзя, лейтенант. Надо перед смертью хоть уважение к себе не потерять.

— Слова-то хорошие. А Пригожина предали, политрук. А зачем? Перед смертью-то? Надеялись, что отпустит вас комбат в санроту? Гадали, что он хотел от вас услышать? Понял я...

— Прав ты, лейтенант. Проявил слабость. Но понимаешь, чего я за это время не пережил... Скажу честно, обрадовался, когда руку пулей царапнуло... Человек же я. Не железный, а как и все. Виноват перед Пригожиным. Перед ним уже не покаешься, хоть перед тобой. Как на духу — виноват, черт меня дернул...

— Теперь, если и вернется Пригожин, его комбат уже без всяких колебаний хлопнет — сынок офицерский, мать дворянка... И чего это он перед вами разоткровенничался?

— Сам удивился... Сказал он, правда: разве дворяне плохо Россию защищали во всех войнах, и кто такой Кутузов, Суворов, как не дворяне... А потом мы же с ним, уж если честно сказать, в живых остаться не надеялись...

Глотнули они из фляги еще, до донышка опорожнили и поднялись, не зная, как и вести себя перед людьми, какие слова говорить, как им в глаза глядеть?

Серый успел выбраться из оврага еще до того, как немцы заняли позиции по его склонам, а потому и не видел их. Он взял сильно влево, чтоб войти на передовую там, где вряд ли выставлены посты. К лесу он подползал, а войдя в него, поднялся и пошел быстро в тыл, но не успел пройти и десятка метров, как его остановили:

— Стой! Кто идет?

Он выругался про себя: вот незадача. И сразу же обозлился на остановившего его. Того было не видно, и он крикнул:

— Свои. Свои...

— Пароль!

— Какой к хрену пароль. Я — старший лейтенант, из особого. Днем в Овсянниково ходил. Помнишь, самолет листовки разбросал, так я пошел, чтоб собрать их. Ты выходи, вот мое удостоверение, — сказал он все это спокойно, уверенным голосом, и двинулся вперед, вынув из кармана удостоверение особиста. Фотографию свою он еще не наклеил, но понадеялся, что в темноте не разберет постовой.

Постовой вышел из кустов, здоровенный пердило с винтовкой, и они пошли навстречу друг другу.

— Давай удостоверение, старшой, — протянул тот руку.

— Давать его я не имею права, на, смотри, — и Серый сунул ему

удостоверение, не зная, конечно, что уже по всем постам отдано распоряжение задержать любого, кто назовется особистом. Не знал, а потому и не подготовился, ни пистолета не приготовил, ни ножа.

Постовой глянул мельком на удостоверение и сказал добродушно:

— Порядок, товарищ старший лейтенант...— потом кивнул на немецкий автомат.— Трофей? Нельзя посмотреть, старшой, первый раз такую машинку вижу,— и протянул руку.

Не обманул Серого добродушный тон, почуял он неминуемую опасность, но автомат протянул левой рукой, а сам в одно мгновение выдернул кинжал из ножен и, потянув на себя автомат, ударил в приблизившегося к нему постового. Тот и не пикнул даже, свалился как сноп. Одним движением руки расстегнул Серый шинель убитого, достал из кармана гимнастерки красноармейскую книжку, сунул себе в карман и осторожно, стараясь не шуметь, пошел по лесу. Пройдя около километра, остановился и призадумался. Нет, так ему с передовой не уйти. Про особиста знают. Ксива эта сейчас никуда не годится. Но уходить надо, главное же сделано, впереди свобода маячит, ж и з н ь... Он подошел к не очень толстому дереву, достал пистолет, но не особиста, а трофейный парабеллум, приставил левую руку к стволу дерева, а правой стрельнул через дерево в левую. Первая пуля прошла мимо, не задев, но со второго выстрела прострелил он себе предплечье. Скривившись от боли, наскоро перевязался. Пистолет особиста спрятал под деревом в снегу, как самую явную улику, а удостоверение его засунул в сапог и тронулся спокойно в санвзвод, чтоб получить санкарту не на свое, конечно, имя, а на имя убитого им постового, благо книжки эти были без фотографий. В санвзвод пришел он уже на рассвете. Врач обработал рану, порадовался за него, что не задета кость, сделал противостолбнячный укол и выпроводил, так как изба была набита ранеными.

— Санрота в Бахмутове. Как Волгу перейдешь, так и село это. Понял?

— Спасибо, доктор. Понял. Прощайте.

И тут уже полное спокойствие освободило душу, сейчас мог он радоваться, не сдерживая себя. Теперь одно желание—дойти до села, купить бутыль самогона и тем спраздновать обретенную свободу. А то, что стоила она двух человеческих жизней, он не очень-то задумывался: особисту туда и дорога, а этому постовому не надо было лезть на рожон, тоже мне, бдительный, кого задержать вздумал? А кстати, все же за это время он и доброе дело сделал, предупредил роту, ну, и с десяток фрицев ухлопал, еже-ли не более...

А когда дошел до Волги, то уж совсем душа успокоилась. В санроте задерживаться он не будет, только продаттестат возьмет и тронет в тыл дальше. Хорошо бы в московский госпиталь угодить, в Москве он своих найдет, там уже полный порядок будет...

Стрельба в деревне уже давно закончилась, но никто оттуда еще не пришел. Больше всех переживал Женя Комов, он даже несколько раз выходил на поле и тщетно всматривался в темноту. Два хороших и близких ему человека остались там—ротный и Костя. Хорошими были и папаша с Мачихиным, но от тех он был далеко. А вот ротного—«С Богом», пронизало его до глубины души, ну, и к тому же оказался он сыном его милой учительницы Веры Семеновны... Что он ей напишет, если старший лейтенант Пригожин не вернется?.. Да и успеет ли написать? Вот бойцы его роты разбирают принесенные в ящиках патроны, разбирают гранаты, набивают диски ППШ. Все это делают молча, хмуро и не очень-то думают о том, что вот-вот снова придется идти в бой. Им показалось, что комбат пугал их только,—это настолько бессмысленно, что трудно поверить в серьезность такого приказа послать разбитые, деморализованные остатки роты опять наступать на деревню, которую и в первый-то раз взяли счастливым случаем.

А в это самое время старший лейтенант Пригожин, Карцев и Мачихин, выбиваясь из сил, тащили тяжело раненного папашу. Он был грузен, и они часто останавливались, отдыхали, опуская папашу на землю. Он прерывисто дышал, ранение было в грудь, и порой, когда он говорил, розовая пена показывалась у губ. А говорил он слабым голосом, прося захоронить его обязательно...

— Не хочу валяться неприбранным...

— Чего о смерти заладил, выдюжишь ты,—успокаивал Мачихин.

— Не болтай... Ты адресок дочки не забудь и отпиши обязательно... И место укажи, где захоронили... Хочу, чтоб на могилку после войны сыны и дочери приехали... Звезду железную мне не надо... Крест бы... Но его вы не поставите... Так лучше без всего тогда...

— Как в лес зайдем, тебя на носилках быстро в санчасть доставят, Петрович, ну, и порядок будет...— это Костик успокаивал.

— Нет, браток... Чую, пришел мой час... Я смерти не боюсь... Все равно жизни не было, и будет ли она, один Бог знает... Вы только исполните все, что прошу... Обещай, ротный, хочу твое слово... офицерское услышать...

— Обещаю, Петрович...

— Ты мне моего командира по германской напомнил... Вот почему и про слово офицерское сказал... Понял?

— Вредно тебе говорить, Петрович. Помолчи лучше...

— Ничего мне теперича не вредно, Мачихин...

И на следующей остановке о том же бормотал умирающий папаша и просил заверений, что захоронят его по-человечески. И так всю дорогу, пока перед самым лесом и не затих... Мачихин перекрестился, остальные стянули с себя каски. На поле его не оставили, донесли до леса, положили около большой ели, чтоб потом вернуться и похоронить, как он просил...

Уходя от немцев, они взяли далеко влево и вышли почти в том же месте, где и Серый, а потому и натолкнулись на труп постового... Костик увидел ножевую рану и сказал ротному:

— Вот говорил я о Егорове вам... Видать, тоже его работа. Теперь пойдет гулять на воле. Сволочь, конечно, хотя кабы не его вскрик и стрельба, прозевали бы мы фрицев...

Ротный ничего не сказал на это, не до того ему. Они повернули направо, чтоб выйти к оврагу, где, наверно, находятся остатки их роты. Шли медленно, часто передыхая. Пожалуй, только Сысоев был бодрее других, но и от его бравого вида мало что осталось — ссутулился, обмяк.

Немцы снова начали пускать ракеты из Овсянникова, и их свет пробивался сквозь деревья, а потому плутать особо не пришлось. Минут через двадцать услышали они голоса и вскоре увидели ребят. Увидели и ящики из-под патронов, уже пустые...

— Это что же такое?—спросил Сысоев, кивнув на цинковые коробки.— Неужто?..

— Это самое, сержант,— выдвинулся один.— Пойдем вторым заходом.

— Где комбат?—нахмурил брови ротный.

— Небось, у землянки помкомбата,— ответил тот же боец.

И здесь бросился к ротному Комов... Побежал со счастливой улыбкой.

— Живой, товарищ командир! Живой!

Ротный потрепал его по плечу и тоже улыбнулся, однако задерживаться не стал, тронулся с Карцевым и Сысоевым к землянке. Побрел за ними зачем-то и Комов. Видно, хотелось быть рядом с Пригожиным... Женя, воспитывавшийся без отца, вообще тянулся к взрослым мужчинам и даже к ребятам старше его, и хотя ротный не годился ему в отцы, чувства, похожие на сыновьи, вспыхнули в нем. Он шел позади, но до него доносились слова разговора, который вели ротный и ребята.

— Выходит, сержант, опять геройствовать придется,— сказал Костик, выдавив усмешку.

— Выходит, так,—каким-то не своим голосом протянул Сысоев.— Я уж какой нестомчивый, но и то дошел... Не смерти боюсь, просто сил не осталось...

— Постараюсь доказать комбату бессмысленность всего этого,— сказал ротный, но не было в его словах уверенности, а потому шли к землянке с холодком в сердце.

Через некоторое время ухватился Костик за одну мысль, которую и высказал.

— В уставе говорится: выполняются любые приказы, кроме явно преступного. А разве приказ комбата не...

— Пустое это, — перебил сержант. — Есть это в уставе, но как определить?..

Ротный в разговор не включился, понимая, видно, что этот пункт устава их не спасет.

Комбат сидел на пне и курил. Около него стоял помкомбат и командир второй роты... Из землянки вился теплый дымок, и, почуяв его запах и даже тепло, и ротный, и Сысоев, и Карцев, и Комов так захотели очутиться сейчас в землянке, в тепле, что это желание на какое-то время вытеснило у них все остальное — забраться бы, лечь у печурки, курнуть два разка и... заснуть, забыться от всего кошмара, которым сопровождался весь этот день и ночь...

Ротный подошел первым к комбату, но не успел еще ничего сказать, как тот, окинув его холодиым и безразличным взглядом, процедил:

— Явился, не запылился?.. Докладывай, почему деревню сдал, приказ нарушил.

— Я не сдал, нас выбили, потому что вы не прислали подкрепление и сорокапяток.

— Выбили? И я, значит, виноват? Ловко, Пригожин! Так вот, слушай, хотел я тебя расстрелять без лишних разговоров, как вернешься. И сделал бы это, вернись ты чуть раньше. Но решил дать тебе шанс и всей твоей роте — искупить кровью! Приказываю: немедленно выбить немцев и возвратить взятую деревню. Возвратить! Понял?

— Деревню взять сейчас нельзя. Люди измучены до предела. Вы посылаете их на верную и бессмысленную смерть... Я не могу выполнять этот приказ... Я считаю его преступным...

— Что?! — заорал комбат, вскочив с пня. — Ты что сказал, сволочь недобитая? — он суетливо расстегивал кобуру. — Да я тебя тут... на месте шлепну, ты что, этого не понимаешь? Дал тебе шанс искупить вину, а ты... — комбат вытащил пистолет, дернул затвор, вогнав патрон в патронник, и, подняв руку с пистолетом, двинулся на Пригожина.

Тот стоял не шевелясь, бледный, с плотно сжатыми губами и смотрел на приближающегося комбата.

— Стреляйте! Ну, стреляйте! — вроде бы совсем спокойно сказал он.

— Товарищ майор... — пробормотал помкомбат, сделав шаг в его сторону.

— Молчать! — не повернув головы, крикнул комбат. — Я не шучу, Пригожин. Повтори приказание и марш — выполнять!

— Я считаю ваш приказ явно преступным. Стреляйте.

— Ах так!

И тут, откуда ни возьмись, выскочил Комов и, бросившись к комбату, схватил его руку с пистолетом, пригнув ее тяжестью своего тела вниз.

— Не надо, товарищ комбат... Не надо! Товарищ комбат, миленький, не надо...

Комбат на секунду опешил от такого непредвиденного поступка и глупых слов, затем попытался ногой отпихнуть от себя этого чумового бойца, но Женя мертвой хваткой вцепился в руку комбата, не оторвать... И тут прозвучал выстрел... Комов без стона, без вскрика рухнул ему под ноги... Комбат с брезгливой миной перешагнул через его тело и спросил:

— Кто такой? Как посмел? — и оглядел окружающих.

Ему никто не ответил, взгляды всех были направлены на убитого. Комбат грубо выругался. Не понять было, случайно он выстрелил или нарочно, но так или иначе, какая-то растерянность виделась на его лице.

И тут тишину разодрал дикий крик:

— Ты что натворил, гад?! Ты кого убил, падла?!

С автоматом наперевес, направленным стволом на комбата, шел Карцев...

— Арестовать! Обезоружить! — истерично взвизгнул комбат, но никто не бросился на Костика, все оцепенели... Да и как тронуться, когда так страшен был вид этого бойца, в окровавленном ватнике, почерневшего, с выпученными сумасшедшими глазами, который вот-вот брызнет очередью из ППШ и порешит всех, стоящих напротив.

— Арестовать! — крикнул комбат еще раз, но его рука с пистолетом, опущенная вниз после выстрела в Комова, так и висела, и он боялся ее поднять, потому что дрожал палец Карцева на пусковом крючке и вот-вот, при любом движении майора, он несомненно нажмет на него.

— Ты кого убил, падло?! Ты что сделал, гад?! — повторял Карцев, неотступно и неотвратимо надвигаясь на комбата.

Первым очнулся Пригожин, он в два прыжка обогнал Карцева и встал перед комбатом.

— Отставить, Карцев. А вы, майор, уберите пистолет в кобуру, иначе я не отвечаю за вашу жизнь.

— Отойди, ротный! Не мешай! — прохрипел Карцев, уткнувшись стволом автомата в грудь ротного.

— Отставить, — повторил твердо и четко Пригожин.

— Отойди, говорю! Все равно я этого гада прикончу. Всех прикончу, — вдруг заорал Карцев, поведя стволом автомата. — Отойди!!! — совсем уж бешено повторил Костик и стволом автомата попытался отодвинуть ротного.

Пригожин не схватился за ствол, не стал вырывать автомат у Карцева, понимая, что тот в истерике и вот-вот нажмет спусковой крючок.

— Костик, прошу, не надо... Комбат, наверно, случайно выстрелил... Майор, скажите ему...

Комбат молчал, но Пригожин продолжал уговаривать Карцева:

— Вот слышишь, Костик... Образумься, — он положил ему руку на плечо. — Успокойся... Комова не оживить...

Карцев вдруг обмяк, сбросил руки с автомата, закрыл ими лицо и, сотрясаемый беззвучными рыданиями, побрел в сторону, согнувшийся, словно переломленный пополам... Подойдя к ели, он опустился на землю, обессиленный и раздавленный.

Комбат уже убрал пистолет в кобуру и стоял, шумно и тяжело дыша. Пригожин повернулся к нему, и теперь они стояли лицом к лицу. Комбат смотрел зло, играли на скулах желваки и подрагивали тонкие, в ниточку губы. Пригожин глядел спокойно, даже как-то отрешенно, сердце давила боль за нелепую смерть Комова, этого мальчика, которого учила его мать немецкому языку, и ему вдруг стала совсем безразлична собственная судьба. Только придавила невероятная усталость, вытеснив все... Комбат первым отвел взгляд, резко повернулся к помкомбата и другим командирам и приказал:

— Арестовать обоих!

Помкомбат нерешительно двинулся к Пригожину.

— Сдайте оружие, Пригожин... И бойцу своему прикажите, — сказал он мягко, чуть разводя руками, словно говоря этим — ничего не поделаешь — приказ...

Тем временем остатки первой роты, бухнувшись кто куда, не подложив даже лапника на снег, сразу почти все ушли в дрему, отключились от кошмара прошедшего дня и ночи. Кто-то и покурить даже не покурил, а как прилег, так и провалился в небытие. Не дремал только Мачихин и еще один боец из пожилых, с которым улеглись они вместе под большой елью, завернули по большой цигарке и вдумчиво потягивали горький дымок моршанской, переваривая в душе и только что происшедшее, и то, что предстоит им снова.

— Мачихин, вот ты мужик грамотный... — начал сосед, но Мачихин буркнул, перебив:

— Какой я грамотный? Церковноприходская только.

— Да нет, грамотный ты. Вот политрук тебя философом прозвал. Так скажи, понимаешь ты что из того, что сегодня было?

— А чего тут понимать? Не жалеет народ наша власть, и никогда не жалела. Она пол-России угробит, чтоб себя сохранить. Разве сможем мы отбить деревуху? Нет. Поляжем все, вот и весь сказ...

— Неохота помирать-то... Из такой заварухи вышли живыми... Сейчас бы нам на отдых надоть, хоть на два денечка. Пришли бы в себя, а там и опять повоевать можно.

— На том свете нам отдыхать. Понял?

Они вздохнули тяжело оба и задумались. Молчали долго, пока не

искурили... После этого сосед тихо и вроде бы ни к чему сказал равнодушным голосом:

— А я листовочку-то сохранил,— и глянул на Мачихина выжидающим взглядом.

— Ну и что? — так же равнодушно спросил Мачихин.

— Да, ничего... Просто сказал... Жизнь-то одна...

— Одна,— согласился Мачихин.

— Дети у меня...

— Ну и что? У всех дети... Ты что, немцам поверил?

— Так пишут же: обеспечена жизнь и свобода...

— Ну и дурило ты, ежели поверил. Выкинь это из головы, а листовку порви, чтоб она тебе душу не мутила. Понял?

— Так убьют же, гады. Сегодня ночью и убьют нас с тобой. Что же, как бараны и пойдем? — с отчаянием вырвалось у соседа.

— Другие-то пойдут,— повернулся к нему Мачихин.

Тот как бы съежился и начал дрожащими пальцами свертывать вторую цигарку. И только сделав три глубоких затяжки, спросил шепотом:

— Не продашь, Мачихин?

— Сдурел, что ли? Не такой я человек. Но ты порви все же листовочку-то. Порви.

— А пропади она пропадом! — Он вытащил из кармана гимнастерки листовку и стал рвать ее с отчаянием, зло, отрезая себе этим последнюю надежду на жизнь.

Мачихин смотрел, как он рвет листовку, а сам думал: ох, как безропотно и покорно, словно скотина какая, ходит русский мужик на смерть, и почему сие так? Власть он не любит, потому что ничего хорошего она ему не сделала, и сейчас не жалеет людей, воюет безжалостно, к тому же еще и глупо, неумело, а вот ведь не выйдешь из строя, не подашься к фрицам, хоть и обещают они жизнь... Невозможно русскому человеку спасаться одному, оставляя сотоварищей... Вот и листовку порвал лишь потому, что сказал ему Мачихин: «Другие-то пойдут». И выходит, одно их держит — совесть, совестно оставлять других в беде, а самому спастись. И сказал Мачихин:

— Разорвал? Есть в тебе, значит, совесть. Есть...

— У нас-то есть... Вот и поляжем все. А комбат вернется к своей бабе, ополовинит бутылку и нас даже не помянет. Обидно. Мы за свою совесть смерть примем, а бессовестные орденов нахватают, чинов, жить будут да еще хвастать, что они войну выиграли.

— Ну, комбат невелика шишка, его запросто могут хлопнуть, а вот генералы... Те, конечно... Как звать-то тебя?

— Степаном.

— Так вот, Степа, ты надежду все же не теряй. Может, и вернемся сегодня... Ну, а на всю войну не загадаешь, пехота же матушка...

— Знаешь, Мачихин, я уже ни ноги, ни руки не жалею, пусть оторвет, лишь бы живым. До боя думал, лишь бы что не оторвало, а сейчас — пусть... Лишь бы живым.

— Это оно так...— пробурчал Мачихин.

На том разговор двух пожилых солдат и закончился. Повело их, как и остальных, в дрему. Сперва Степан заснул, а за ним и Мачихин, деревенский философ, который перед тем, как заснуть, все же подумал: а правильно ли он сделал, что уговорил Степана листовку порвать...

Уже снимал с плеча Пригожин автомат, чтоб отдать помкомбату, как раздался резкий щелчок взводимого затвора и вышел из темноты Сысоев, а за ним два бойца.

— Нет уж, товарищи командиры! Не дам я вам ротного заарестовать. Раз вы не по уставу воюете, так и я тоже. Мы пойдем, комбат, брать Овсянниково. Пойдем! Но вся кровь наша на вас будет. И мальчонки этого, и наша... Пойдемте, ротный, ну их всех... Может, и возьмем эту деревню распроклятущую... Пошли. А вы отойдите, лейтенант, от греха, да и вы, комбат, не вздумайте игрушку свою вынимать, я диск набил, тут у меня семьдесят два патрона,— угрожающе повел стволом ППШ Сысоев.

Все словно закаменели... Нерешительно топтался на месте помкомбат, молчал и комбат, покусывая губы, чуть, еле заметно усмехался командир второй роты, поглядывая то на Сысоева, то на комбата. Поднялся с земли Карцев и встал рядом с Сысоевым. Неровный, слабый свет из открытой двери землянки еле-еле освещал пятачок, на котором они стояли, выхватывая из темноты то одного, то другого. Помкомбат первым нарушил молчание:

— Вы сдадите оружие, Пригожин? — спросил он и сделал шаг к нему.

— Нет. Сержант прав, мы пойдем брать деревню, лейтенант.

Помкомбат повернулся к комбату и вопросительно глядел на него, не зная, что делать дальше. Комбат долго молчал, потом с неохотью и с раздражением сказал:

— Ладно, пусть идут... Ну, смотри, Пригожин. Возьмешь деревню — в с е прощу, а нет — лучше не возвращайся.

Пригожин ничего не ответил, круто повернулся, и все они — Сысоев, Карцев и два бойца тяжелыми шагами пошли к своей роте...

Немного погодя помкомбат сказал:

— Их же нужно поддержать, товарищ майор.

— Вот ты и поддержишь. С тем взводом, что ходил уже, и пойдешь за ними. Сами в бой не вступайте, но ежели они отходить станут... Понял?

— Нет, товарищ майор.

— Ох, какой непонятливый,— усмехнулся комбат.

— Я действительно не понял.

— Не валяй дурака! Присматривать за ними должон, ну и если кто сдаваться пойдет — пресеки. Теперь понял?

— Я пришел сюда с немцами воевать и пойду, чтоб помочь первой роте.

— Помогай, помогай... Ну, а если они на сторону врага перейдут, а ты не пресечешь — отвечать будешь по всей строгости.

— Что вы выдумываете? Вы должны верить людям!

— Я ничего не выдумываю. И верю. Но должон все предвидеть и за все отвечать. А ты должон приказ выполнять и не рассуждать много. Молод еще, и мозгов у тебя для этого мало. Понял? Ежели трусишь, на, выпей для смелости,— протянул он помкомбата флягу.

— Спасибо, я пьяным в бой не хожу.

— И тут перечишь? Ну-ну, давай... А я вот глотну малость,— и комбат отхлебнул из фляги изрядную дозу, неприязненно поглядывая на помкомбата. Выпив, он утер губы рукавом, а потом грубо спросил его: — Чего ждешь? Иди, собирай взвод и выполняй приказ. Повтори.

— Есть выполнять приказ,— тихо сказал помкомбат, приложил руку к каске и пошел вслед за Пригожиным и другими.

Комбат закурил, посмотрел на командира второй роты и вдруг неожиданно предложил:

— Ну, а ты, старшой, выпьешь?

— Спасибо, товарищ майор. Не пью,— холодно ответил тот.

Комбат нахмурился. Неужто и этот, как будто бы кадровый командир, осуждает его? В общем-то плевать ему на всех, поступил он правильно, только вот с этим пацаном нехорошо все же вышло. Но виданное ли дело, чтоб рядовой ухватил руку командира части. Фактически он в порядке самообороны в него стрельнул, хотя сейчас и сам не помнит, случайно нажал крючок или нет. Курок-то был взведен, тут чуть нажал — и выстрел. Сейчас ему хотелось думать, что случайно, как показал Пригожин, но если и нет, то в справедливом гневе, потому что не отставал от него этот чумовой... Невольно глянул он на лежащее рядом тело и при свете вспыхнувшей немецкой ракеты увидел открытые, застывшие вроде бы в удивлении, глаза и черную струйку крови из полуоткрытого рта, застывшую у подбородка... Он быстро отвел взгляд и буркнул командиру второй роты:

— Прикажите захоронить... Ну, и насчет похоронки не забудьте...

— Погиб смертью храбрых в боях... и так далее? — спросил тот, скривив губы.

— Да! — почти крикнул в сердцах комбат.

В этот момент снова вспыхнули несколько ракет на поле...

— Берегутся немцы. Видать, настороже,— заметил ротный.

Комбат сжал губы и бросил злой взгляд. Он понял, для чего сказал это ротный, и ничего ему не ответил. От отцепил флягу и припал к ней надолго, граммов двести в себя влил, после чего прибавилось в нем уверенности, что поступил он справедливо — пусть все знают, что значит приказ нарушать, все равно придется кровью расплачиваться, ну, а потери?.. Они же неизбежны в войне, что значит несколько десятков перед теми сотнями тысяч, которые гибнут за нашу советскую Родину? Да и он сам не сегодня-завтра может быть убит, Черново же немцы вон как обстреливают, а блиндаж его сделан наспех, накаты хлипкие, прямого попадания не выдержат. Надо бы, конечно, приказать второй ряд сделать, да все недосуг в этой кутерьме и суматохе... Да и сейчас, сидя на передовой, он тоже рискует жизнью: немцы за то, что потревожит их ночью рота Пригожина, откроют огонь по черновскому лесу, а тут ни траншей, ни щелей не удосужилась сделать сменённая ими часть, прихлопнут запросто, и останется батальон без командира, а что солдат без начальника — мясо...

Но уходить с передовой, не узнав, чем закончится наступление, нельзя, иначе этот старшой не только презрительно хмыкнет, но и побежит к роте, сообщит, что комбат с передовой ушел, ну, а тогда, знает он, как будут они наступать — продвинутся для виду сотню метров, постреляют и... назад, дескать, нельзя пройти, больно огонь немцы сильный ведут... Нет, страх смерти можно подавить только еще большим страхом — той же смерти, но еще и с позором... Так и гражданскую воевали, так и эту придется... Он тяжело поднялся и кинул командиру второй роты:

— Пойдем, старшой, к опушке, понаблюдаем, как они там...

Комроты ничего не ответил, только поправил на груди ППШ, и они пошли, обходя трупы, а порой в темноте спотыкаясь и наступая на них невзначай. С поля пока не доносилось никаких шумов боя, стояла тревожная тишина, лишь шипенье гаснущих и падающих осветительных немецких ракет да негромкие хлопки взвивающихся в небо новых... Около оврага в небольшом снежном окопчике сидел одинокий боец и напряженно смотрел на поле.

— Ну, присядем... — хрипло сказал комбат и стал выбирать место. — Небось, рад, что не тебя послал со взводом, а этого петушка?

— Мне все равно, — безразлично ответил старший лейтенант.

— Ну да? Помирать-то неохота, семья, наверно, есть?

— Есть.

— Ну, а этот петушок бессемейный, пусть пороху понюхает. Кто его мне в помощники сунул, понять не могу. Ежели не вернется, тебя назначу. Ты же кадровый?

— Кадровый, — так же безразлично ответил тот.

— С какого года служишь?

— С тридцать пятого.

— Смотрю, не разговорчивый ты.

— Люди на смерть пошли, а мы тут разговорчики вести будем?

— За мальчонку меня осуждаешь? Так нечаянно я. Да и что один мертвый, когда сейчас сотни тысяч за Родину гибнут, — комбат вытащил пачку «казбека», предложил старшому.

Тот взял папиросу, и они закурили...

— А ты молчун, старшой... Всегда таким был?

— Не всегда...

— Понимаю, со мной не хочешь говорить?

Старший лейтенант ничего не ответил, поднялся, а потом спросил разрешения пойти к своей роте.

— Не разрешаю, старшой... Думаешь, ты один переживаешь? Я тоже не каменный, только права не имею переживать. Ты сядь... Я, конечно, жестоко поступил, но правильно. Отдали деревню, струсили, берите обратно, другого на войне и быть не может. Ну, что можешь возразить?

— Если бы мы поддержали Пригожина, усилили его роту, тогда и спрашивать можно было. Их же в деревне горстка осталась.

— Не горстка, а половина роты. И приказа на отход не было, значит — стой насмерть и ни шагу назад. Ты — кадровый, уставы должон знать.

— Разрешите все же пойти к роте, — снова поднялся старшой.

— Сиди. Знаю, что ты думаешь: вот бы и пошел комбат вместе с ротой Пригожина... Так, что ли? А я не пошел, потому как права такого не имею. Я отдельным батальоном командую, и не меня из деревни немцы выперли. Кабы меня — пошел бы брать обратно. Самолично. Понял?

Хотелось старшему лейтенанту, рвалось из груди, высказать комбату все, что он о нем думает, что противна ему демагогия, которой наслышался за свою службу в армии предостаточно от таких же отцов-командиров, что за всеми словами одно лишь — угодить начальству. Ведь поспешил он, наверно, доложить комбригу о взятии Овсянникова, а пушки и подкрепления дать побоялся, потому что потерять эти сорокапятки страшнее, чем угробить сотню людей, за технику-то спрос другой, а потому не стал рисковать ими, понадеялся «на авось» — авось удержит деревню Пригожин, но ничего этого не сказал. Только мерзко было на душе оттого, что и его жизнь тоже зависит от этого человека...

Пригожин остатки своей роты повел не по оврагу, опасаясь, что немцы, ожидая этого, выставят там посты. Он взял много вправо, и люди шли по открытому полю где-то между Овсянниковом и Пановом, куда не доходил свет немецких ракет. Но вскоре роте придется подбираться к деревне ползком и, не дай Бог, если немцы заметят их, то уже никаких шансов на внезапность нападения не останется, а тем самым и на успех. В успех Пригожин не верил вообще, но одно дело быть расстрелянными немцами на поле, другое же ворваться в деревню и нанести хоть какой-то ущерб противнику в рукопашном бою, хоть и погибнуть, но не совсем уж зазря.

С помкомбата договорились, что он со взводом пойдет много левее Овсянникова, остановится как можно ближе к деревне и будет поддерживать Пригожина только огнем — зачем губить людей, и так у них будут потери, когда немцы их обнаружат. Пригожин рассчитывал, что огонь слева как-то отвлечет немцев и ему, быть может, удастся ворваться в деревню.

Сейчас рота, подойдя к участку, освещаемому ракетами, залегла и передыхала перед тем, как начать движение ползком. Людям хотелось курнуть хоть разок, затянуться махрой в предпоследние минутки жизни, но сделать это было нельзя, а потому тихо переговаривались друг с другом, обменивались адресами. Брезжила все же надежда у каждого, что, может, ранят в начале наступления, тогда как-нибудь доберутся живыми до исходного рубежа, до родного леска, а оттудова уж и до санвзвода.

— Что ж, прощаться будем, Евгений Ильич? — шепотом спросил Костик Пригожина.

— Подождем, Костик... — так же тихо ответил Пригожин.

— Тогда глотнем, — стал вытаскивать последнюю трофейную бутылку Костик.

Они сделали по глотку, после чего Костик передал бутылку ближнему к нему бойцу.

— По глотку, браток. И передай по цепи...

Глотки делали большие, а потому досталось немногим. Странно было осознавать, что, возможно, это последний глоток. Да что там возможно! Почти наверняка...

— А что вам помкомбат говорил?

— Комбат приказал ему, если мы сдаваться пойдем, чтоб не допустил, — усмехнулся Пригожин.

— Вот падла... Может, зря вы меня остановили?

— Не зря, Костик... Под расстрел и вы, и я пошли бы. Или... или действительно к немцам надо было уходить. Нет, лучше уж в бою. Банально, конечно. Такое бы политруку вякать, а не мне...

— А почему вы политрука отпустили, пожалели?

— Он ранен.

— Но ведь комбат приказал ему идти с нами.

— Это незаконный приказ. Раз человек ранен, должен идти в тыл.

— А вот нам не повезло, хоть бы царапина, — горько усмехнулся Костик. — Возьмем мы деревню, Евгений Ильич?

— Не знаю. Думаю, нам удастся в нее ворваться. Все зависит от того, сколько там немцев. Ладно, пора... Передайте по цепи — продолжать движение.

Костик пополз к бойцам, и рота начала двигаться к деревне, превозмогая усталость и смертную маету.

Пригожин поглядывал на часы. Они договорились с помкомбатом, что он начнет обстрел в четыре ноль-ноль, и оставалось еще десять минут... В эти, быть может, последние минуты Пригожин не думал ни о матери, ни о доме, ни о Москве... Знал он по опыту, что мысли эти расслабляют, даже мешают, но вот от другой мысли, которой у его отца, сражавшегося против немцев в четырнадцатом году, наверное, не было, мысли, не только мешающей, но и разъедающей душу, отвязаться не мог... Он, быть может, единственный из всей роты понимал, что, защищая Россию, он защищает и сталинский строй, сломавший судьбы миллионов русских людей.

— Который час? — прервал размышления Пригожина Костик.

Взглянув на часы, Пригожин увидел, что помкомбат запаздывает, было уже десять минут пятого. Видимо, еще не подобрались на нужное расстояние для действенного огня.

— Уже пятый час...

— Скорей бы, — вырвалось у Костика. — Невмоготу ждать.

Подполз Мачихин и зашептал:

— Вот перестреляют всех нас, Петровича и не захороним, а слово ведь давали.

— Кто же знал, что нас снова погонят, — ответил Костик.

— Простить должен нас папаша.

— Он-то простит, но я к тому, что ежели кто из нас уцелеет, чтоб не забыл... Эх, покурить бы, — вздохнул Мачихин.

Люди лежали уже полчаса и стали замерзать. И вот наконец-то раздалась стрельба с левой стороны деревни, но Пригожин не торопился давать команду на атаку. Только когда услышал крики «Ура!», он скомандовал: «Вперед!» Все поднялись почти разом и в полном молчании, стиснув зубы, с холодным отчаянием в сердце, тяжело двинулись к деревне...

Комбат тоже промерз в ожидании боя в деревне, а потому стрельба застала его не сидящим на пеньке, а меряющим шаги вдоль опушки, чтобы согреться. Услышав стрельбу, он остановился, вынул казбечину, закурил и, подойдя вплотную к полю, старался рассмотреть, что же там происходит. Но видны были только пунктиры трассирующих с двух сторон, вспышки осветительных ракет и нечастые разрывы мин слева от деревни. Он понял маневр Пригожина и теперь ожидал боя с другой стороны. Через некоторое время к нему подошел командир второй роты и тоже стал глядеть на поле.

— Понял маневр, старшой? — спросил комбат.

— Да.

— Вообще-то верно поступили они, но этот мальчишка не выполнил мой приказ.

— Какой?

— Я приказал ему... А ты разве не слыхал? Ну и ладно, — пробурчал комбат, понимая, что тот, судя по прежнему разговору, не одобрит.

Стрельба шла, но рота Пригожина, которая должна начать наступление справа, пока не подавала жизни. Комбат начал нервничать. Чем черт не шутит, вдруг и верно предпочтет Пригожин плен смерти? Ну, тогда помкомбата несдобровать. Приказал же ему следить за ротой Пригожина и в случае чего не допустить. А Пригожин отправил его от себя отвлекать немца, что вроде бы логично и грамотно, но развязал себе руки и может теперь спокойно перейти к врагу.

— Ты, старшой, с Пригожиным на формировании общался?

— Общался.

— Ну и как он? Можно ему доверять?

— А почему бы нет? Дельный командир, повоевал уже в сорок первом, ранен был... Не пойму я вас, товарищ майор, откуда такая недоверчивость?

— Оттуда, старшой, — коротко ответил комбат, рассчитывая, что поймет тот.

Старший лейтенант понял, но все равно смотрел на комбата холодно. Комбат чувствовал его отчужденность и неприязнь, но ему было это безразлично. Его никогда не любили подчиненные, и он, зная это, часто говорил в кругу командиров: «Я не баба, чтоб меня любить», и полагал, что командира нужно бояться, а потому всегда был жесток с подчиненными, безмерно требователен и чего-чего, а дисциплинка у него стояла на высоте, потому и продвинулся быстро по службе, особенно после тридцать седьмого — от старшего лейтенанта до майора. Когда он отошел в кусты по нужде, остатки роты Пригожина ворвались в деревню и стрельба, разрывы гранат доносились до передовой.

Застегивая на ходу прореху, комбат подошел к опушке и облегченно выдохнул:

— Начали наконец-то...

Бой на правой стороне деревни длился минут пятнадцать. Потом все смолкло. Слева взвод под командой помкомбата еще вел некоторое время огонь, но вскоре затих — видать, стали отходить. Комбат после этого искурил папиросу... Командир второй роты снял ушанку и стоял, вперив взгляд в поле. Комбат поморщился недовольно на эту «демонстрацию», как про себя он назвал поступок старшого, и вытащил вторую казбечину...

— Ну что, товарищ майор? — повернулся к нему командир второй роты.

— Чего что? Пригожин с ротой искупил кровью нарушение приказа, — резко выхрипнул он. — Кстати, и тебе, старшой, урок, и всем, кто посмеет нарушить приказ. Война же. Понял? Я пошел. Передай помкомбату, что я объявляю ему благодарность. Если кто подойдет раненый, обеспечь отправку в тыл. Все, — он круто повернулся и зашагал по тропке, вытоптанной в снегу, которая вела к Чернову.

Он понимал, надо бы дождаться хоть одного из роты Пригожина, чтоб расспросить, а может, и посочувствовать, наградить, но, вспомнив высокого бойца в оборванной телогрейке, шедшего на него с автоматом, его сумасшедшие глаза, брызжущие ненавистью, ощутил неприятный холодок в груди. Конечно, струсил майор встретиться с кем-то из погубленной роты Пригожина, но сам себе в том не признался.

Карцева ранило в руку, когда они бежали к деревне, но он не бросил роту, а наскоро перевязался и вступил в рукопашный бой вместе с другими, но когда автоматная, видать, пуля полоснула по щеке и все лицо залилось кровью, Пригожин, заметив это, приказал ему немедленно выходить из боя... Карцев, придавливая стыдную, но неуемную радость от того, что, может, останется в живых, отбежал назад, залег где-то в огородах у плетня, вытер лицо от крови и ждал, что вдруг кто-то вырвется раненым из боя, хорошо, конечно, если это будет ротный...

Но бой вскоре затих... Слышались лишь голоса немцев и редкие выстрелы, которыми они, наверно, добивали раненых. И только тогда Карцев начал потихоньку отползать, а когда отполз от деревни подальше, поднялся и, пошатываясь, заковылял в тыл. Не в тыл, конечно, а к передовой, к тому леску, из которого пошли они в наступление и с чего начался для них этот страшный день и такая же жуткая ночь...

Он плелся еле-еле, изнемогая от усталости и потери крови, но автомат держал крепко. В его диске оставалось еще десяток патронов, и он уже знал точно, что если застанет комбата в лесу, то застрелит его без всяких колебаний и сомнений. Более того, он полагал это своим святым долгом перед погибшими ребятами и ротным, с которым так сблизился за это время. Та стыдная радость, которую он на миг ощутил, когда Пригожин приказал ему отходить, сейчас покинула его, ему уже не хотелось жить, а потому были не страшны последствия... Пусть расстреляют, но он отомстит за напрасную гибель своей роты.

Когда он добрался до леса, силы оставили его, он рухнул на снег, чувствуя, что теряет сознание... Превозмогая себя и чтоб не допустить этого, он вынул фрицевские сигареты и закурил, но после же двух затяжек провалился то ли в сон, то ли в беспамятство...

Юрий Малецкий

ПРИВЕТ ИЗ КАЛИФОРНИИ

РАССКАЗ

Приглашает меня как-то к себе один знакомый из деловых и говорит:

— Ты уехать хочешь? В Америку.

— О чем речь, — говорю. — Да пока я собирался, самолет улетел.

— Не совсем. Появился один вариант... Словом, оттуда звонил мой деловой партнер. Там образовалась какая-то община евреев-христиан, ну, сам понимаешь, американцы — ищут своих собратьев по всему миру, в том числе здесь, чтобы помогать. Культурно-гуманитарная программа и прочее. Как тебе?

— Интересно, — отвечаю. — Очень интересно.

— В перспективе — эмиграция. По крайней мере для активистов.

— Еще интереснее, — говорю.

И в самом деле, стало мне так интересно, как давно уже не было. Надо сказать, что те два года, когда у нас уже выпускали, а там еще принимали, я промаялся, решая для себя вопрос: обязано ли православие быть патриотичным, а патриотизм осуществляться лишь на специально отведенной для этого территории? А потом, когда я понял, что вопроса этого однозначно решить не смогу, но все равно ехать надо, поскольку жизни такой душа больше не принимает, дорога на Запад повсюду была уже перекрыта; если не считать Западом Ближний Восток. Но для таких, как я, не существовало и этой дороги.

— Вот ты и стань этим активистом.

— Я?

— А кто же? Ты христианин?

— Надеюсь.

— Еврей?

— Смотря что считать еврейством.

— По паспорту?

— Это уж будь благонадежен. Порок не скрыт.

— И прекрасно. Тебе и карты в руки. Через две недели от них прилетает человек. Организуй ему программу.

— Я?

— Ну не я же. Я и здесь проживу, как в Америке. А ты нет. Так что давай. Спик инглиш?

— Э литтл бит.

— Ну и вперед. Смелее.

— В смысле — театры, музеи?

— Это тоже. Но главное — дело. Встречи с людьми. Евреями-христианами. Пойми, это американец. Ему нужно чувствовать, что он делает нужное и важное дело. У тебя есть такие, как ты?

— Кто-то есть... человек пять...

— Найди двадцать. Вызови из других городов. Знакомых знакомых. Чтобы он чувствовал — доллары на поездку потрачены не зря. Работай. Да, как можно быстрее собери у всех анкетные данные и давай мне — я перешлю с оказией. Это для вызовов.

— А тебе-то зачем все это? Какая выгода?

— Это бедный ищет во всем выгоду. А богатый может позволить себе бескорыстный поступок. Мне приятно делать людям приятное. Потом, в этом почему-то заинтересован мой американский компаньон. В общем-то, это ведь благотворительность; а благотворительность у них — лучший бизнес. Он просил меня устроить хороший прием, я и устраиваю. Но я не еврей, не христианин и не знаю специфики. Мне нужен ты, а тебе нужна Америка. Так что вот. Машину, шофера, переводчика для встреч с людьми и деньги на прием в рублях я дам. Вот тебе стартовая тысяча — и дерзай... Да, не забудь, в программе обязательно должен быть биг-диннер.

— Куда столько? Даже если учесть биг-диннер...

— Старик, ты свалился с луны. Мой опыт серьезных приемов говорит, что через два-три дня тебе понадобится еще. Я дам... Да, вот тебе телефон одной девицы, сестры моего американского компаньона. Янки остановится у нее. Она тоже...

— Христианка?

— Не знаю. Но уехать хочет очень. Работайте на пару.

И стал я активистом, каким отроду не был. Начал кому-то звонить, кого-то агитировать по междугороднему телефону, кому-то обещать матпомощь, кого-то манить эмиграцией. Собрал и выслал кучу анкетных данных. Я им всем хотел добра, совершенно искренно.

— Старик, — сказал мне очередной абонент, — какая Америка? Это все Свидригайлов выдумал, после того, как ему очередное привидение явилось, чтобы русскому человеку, чуть чего, сразу в Америку натыриваться, ну, с тех пор и пошло. Только сам-то он, если помнишь, проблему выезда решил по-другому. Потому что был не дурак и понимал: нечего там нашему брату делать.

А другой сказал:

— Тебе опять захотелось большого и чистого. Так я тебе уже говорил — пойди в зоопарк и попросись вымыть слона.

Такой остроумный. Но поскольку он мне это действительно говорил, и не раз, а значит, мы это уже проходили, я продолжал работать. И сам удивился: у одного меня — а я последние лет 10 вел жизнь довольно уединенную — оказалось более десятка знакомых православных из евреев. Сколько же их было по всей стране? Вряд ли меньше, чем правоверных иудеев в Израиле.

Потом позвонил я этой девице. Настоящая такая, выпуклые темные глаза, грустно поникший нос, пышноватая фигурка — и имя соответствующее: Катя Бочкарева. Так, говорю, и так, мои люди готовы прибыть по первому зову, и если у нее вербовка тоже идет полным ходом, то не пора ли нам встретиться и разработать план кампании.

— Прекрасно. Давайте хоть сегодня.

— А как ваши люди?

— Ждут сигнала.

— И много вас?

— Да человек двадцать пять в Москве, пятнадцать в Питере да десяток в Харькове.

— Что вы говорите.. А у меня народ из Самары, из Рязани... Нет, я никогда бы не подумал, что кругом сплошные евреи-христиане, даже в Харькове.

— А чего тут удивительного? Евреев в Харькове всегда хватало, даже сейчас. А насчет христианства — мои люди поверят в то, во что надо поверить.

— Вы хотите сказать, у вас — люди неверующие?

— Я хочу сказать, у меня — люди, интересующиеся эмиграцией. Причем в Штаты. А неверующих людей, я думаю, вообще нет. И поскольку все мы верим в одного Бога, только по-разному Его называем, так почему не назвать Его Христос? Это имя не хуже любого другого, даже лучше, если за него дают Америку. Вы что, не согласны?

— Нет. Но будем считать, что мы попутчики.

И мы разработали план, исходя из того, что у американца на все про все десять дней. Эту декаду мы расписали по часам. Здесь были: Большой театр, соборы Кремля, поездка в Троице-Сергиеву Лавру, прогулка по Арбату, закрытый ресторан (по ее каналам) — и, конечно, встречи с людьми, общее собрание для всех и отдельно по секциям: Москва, Питер, Самара, Рязань, Харьков; наконец, двухдневная поездка в Питер для осмотра тамошних sights и встречи с тамошней колонией потенциальных христиан.

— Одно меня смущает,— сказала Катя.— У тебя и твоих действительно есть, с его точки зрения, серьезный повод для контакта с ними и всего вытекающего. А у меня... если он нас копнет... ведь мы в этом ни бум-бум.

— Н-да... Слушай, а зачем тебе эти сложности? Если я правильно понял, у тебя в Америке брат? Так чего же проще...

— Брат-то он мне брат, да не родной, а троюродный.

— Все-таки.

— Кабы это было «все-таки», я была бы уже в Бруклине. И даже родной брат, заметь, это много, но это не стопроцентное прямое родство. Хуже формалистов, чем янки, нет. Не считая немцев, австрияков, французов, швейцарцев, голландцев и англичан.

— Ты пробовала там остаться?

— Агентурные данные. Я уже пол-Москвы отправила разными путями, а сама все сижу. Сапожник без сапог. Замужество не задалось, родство непрямое, в отказе была, но без репрессий. Хочу попробовать нетрадиционное решение.

— Понятно,— сказал я.— Ладно... Я, конечно, вранья не одобряю, особенно по части веры, но теоретически вы можете замотать это дело, мотивируя плохим знанием языка. А переводчик скорее всего плохо знает религиозную терминологию.

Кстати о переводчике. С ним, а точнее, с ней, у меня тоже состоялся разговор.

— Мое дело — переводить,— сказала она.— Я все переведу, мое время оплачено... но все-таки любопытно... Скажите, я правильно поняла — речь идет о каких-то евреях-христианах?

— Совершенно верно.

— Но, простите, никаких евреев-христиан нет. Есть выкресты.

— М-м... Вы — иудейка?

— Ну... когда я была в Израиле и зашла в синагогу, я испытала что-то особенное. Какое-то... больше, чем чувство. И я поняла, что еврей должен быть евреем.

— То есть иудеем?

— Это одно и то же!

Я крестился в сознательном возрасте и не с бухты-барахты; стало быть, я прокрутил в уме и сердце все доводы pro и contra выбора христианства вообще и крещения евреев в частности. Я мог спроста вообразить себя ею и привести пять, пятнадцать, пятьдесят пунктов обвинения от лица иудея выкресту, а затем опять стать собой и ответить на все пятьдесят. Но знал я и то, что разговор наш совершенно бесполезен, поскольку вера — дело интимное, а в интимных делах верно всегда одно: не по хорошу мил, а по милу хорош. Выкресты были ей немилы, и оставалось только спросить:

— Так вы работать будете или отказываетесь иметь дело с выкрестами?

— Почему? Работа есть работа. А мое время оплачено.

Ладно. Короче говоря, беру я три отгула да неделю за свой счет и в одно прекрасное утро прибываю на своей временно-служебной «Волге» в наше замечательное Шереметьево-2. И жду прибытия рейса Нью-Йорк — Москва, имея на груди, как и положено, опознавательную табличку на английском и чувствуя себя в некотором роде партизаном или помогавшим оным.

Минут через двадцать один из толпы прибывших бросается ко мне, и мы говорим друг другу: «Найс ту мит ю». Вид у него несколько взъерошенный, и, с трудом разбирая его речь, я узнаю, что таможенники, увидев у него кучу брошюр, решили пошмонать его детально. Первый обыск в жизни — понятно, что он был ошеломлен; но держался бодро — американец: геройское столкновение с Кей-Джи-Би входило в его культурную программу.

С виду Роджер был не похож на еврея совершенно: светловолосый крепыш с аккуратно подстриженной бородкой. А с собой он волок Бог знает что, помимо кейса и большущего саквояжа: некий квадратный рундук с окованными железом краями, вызывающий в памяти картину классика московской живописи Перова «Приезд гувернантки в купеческий дом», и

длиннющий узкий мешок из потрясающей рыжей кожи, который он тащил на плече за петлю. Мешок этот, почти в человеческий рост, меня ужасно заинтриговал.

И повез я его к Кате, постаравшись использовать те сорок с чем-то минут, что мы ехали, с толком, то есть объяснить ему, что не берусь говорить за всех, но, в частности, я и несколько моих друзей поставлены самой жизнью в такое положение, что нам выехать сам Бог велит. Для этого понадобилось охарактеризовать и Церковь Московской Патриархии, в которой мы больше быть не могли, и Зарубежную Русскую Церковь, с которой хотели бы соединиться, и проблему антисемитизма в церковных кругах, и наши сложные житейские ситуации... Сделать это на английском языке мне было нелегко, и я накануне написал себе шпаргалку. Одним глазом я глядел в нее, вторым — на Роджера, чтобы увидеть, понимает ли он меня, а сам думал: что же такое у него в рыжем мешке? А он все кивал головой и время от времени вставлял сочувственно: «О!»

Когда я закончил, он сказал: «О'кей». И добавил, что всю жизнь мечтал увидеть Россию, но только теперь, несмотря на продолжающиеся происки Кей-Джи-Би, это стало возможно.

— В какое интересное время мы живем! — закончил он жизнеутверждающе, глядя в окно на русский снег. Снег был грязный, но у них в Калифорнии и такого не было. Все было, а этого не было. Да еще, говорят, бородинского хлеба. Наше время представлялось ему интересным, а мне — гадким и страшным; но я не стал спорить и только лишний раз утвердился в своем убеждении, что на свете как минимум пять миллиардов параллельных пространств и времен, существующих вполне объективно.

Короче, приезжаем к Кате, и после дежурных слов и улыбок провожает она Роджера в его комнату, провожая одновременно взглядом его окованный баул и длинный мешок. Как я и думал, они произвели на нее впечатление. Роджер начинает располагаться, а мы с Катей деликатно выходим на кухню, где стол уже накрыт и ломится от всяких еврейско-русско-украинских штучек, всяких там баклажанов по-домашнему, печеночного паштета со шкварками, соленых огурчиков и всего прочего, что моя бабушка называла суммарно «цимес мит барбулькэн». С той приятной оговоркой, что самого-то цимеса, с детства мною ненавидимого, тут, слава Богу, и нет, а вместо него вынимает Катя из духовки с пылу с жару горшочки с мясом и опять же баклажанами и снимает с них крышечки.

— Ух ты,— говорю я, нюхнув.— Здоровски.

— Мне звонил оттуда брат и сказал, что Роджер любит домашнюю кухню с национальным колоритом.

— Так сделала бы фаршированную щуку.

— Милый мой, где ты раньше был? Достань щуку, я сделаю. Я и так открыла все банки и сгоняла на рынок за печенкой. Надо было тебя послать, ты на моторе.

Тут вышел американец и, увидев стол, сказал: «О!.. О'кей!» И, пробормотав нечто по-своему (вероятно, молитву), сел за стол. Мы последовали его примеру, но догнать его не смогли. Я слышал, что американцы равнодушны к еде, но это был не тот случай.

— О! — сказал он, наконец.— Вери тэйсти! Сэнк ю, Кэйт. Ю ар эн экселлент кук!

Мы поинтересовались, не хочет ли он теперь соснуть. В принципе на вечер назначен был общий сбор, но мы предполагали, что после двойного перелета Лос-Анджелес — Нью-Йорк и Нью-Йорк — Москва он вырубится до утра. Тогда сбор отменялся. Наши люди были на подхвате. Но Роджер продемонстрировал высокие бойцовские качества: попросил разбудить его ровно через два с половиной часа, после чего он будет готов приступить к работе.

Мы разбудили его, как он просил. Он прошел в ванну, откуда вышел почему-то с мокрой головой, и спросил:

— Должен ли я переодеться ко встрече? Сменить галстук и пиджак? И расстегнул мешок.

Боже правый, это оказался специальный футляр для пиджаков и плащей! Сколько там было первых, сказать не берусь, но последних было точно три. С этим он приехал в ноябрьскую Москву 1990 года на десять дней. Воистине, хотя Роджер был человеком моего возраста, он был человеком

другого поколения, неизвестно только, предыдущего или последующего.

— Не надо, — говорю, — оставайтесь в этом пиджаке и в этом галстуке. У нас очень демократичное общество.

Он наморщил лоб в попытке понять, и я почувствовал, что у нас с ним разные представления о демократии.

Но спорить он не стал, надел куртку, нахлобучил на мокрую голову невообразимую — то ли совсем дешевую, то ли очень дорогую — ушанку (сработанную, как потом выяснилось, в Шри-Ланке специально для холодных стран) и вытащил классные, каких я еще не видел (а что мы видели?), черные то ли кожаные, то ли резиновые сапоги, но такого размера, что я присвистнул. У меня самого размер 43,5, но такие сапоги подошли бы и снежному человеку. Я посмотрел на его ноги. Ноги как ноги.

— Простите, это ваш размер? — осторожно спросил я.

Он улыбнулся, вместо ответа надел полуботинки и уже в них влез в сапожищи и застегнул молнию. Это были такие мокроступы! Мы уж и забыли, что в сырую погоду хорошие господа ходят в галошах. Я окончательно почувствовал себя дикарем с дубиной в руках, только вчера слезшим с ветки. Я, представитель многотысячелетней еврейской мудрости и тысячелетней русской культуры. Это было неприятное ощущение.

Встреча была назначена на шесть часов и должна была происходить в конференц-зале поликлиники в соседнем с Катей дворе. Главврач этой поликлиники был из Катиной компании; а день был воскресный.

Весь еврейский бомонд, люди, все имеющие и заинтересованные только в одном: чтобы отвалить, да еще и не в Израиль, а непременно в Штаты, — уже собрался. Еврей, пусть самый корыстный и потому якобы очень хитрый, относится серьезно по крайней мере к своей корысти, а потому и к делу, и к людям, от которых дело зависит. Потому-то ему и можно верить, и сам он доверчив, меряя другого по себе. Вот и сейчас, только услышав о весьма гипотетической возможности эмиграции, народ энергично поднялся, надел свое лучшее и пришел с женами и детьми, как во времена исхода из Египта.

С моей стороны тоже подгребали; но, во-первых, пришли не все, во-вторых, шли вяло, подтягиваясь поодиночке. Но все-таки. Чего мне это стоило, знал один я. Еврей, принявший крещение, то есть сознательно или бессознательно пошедший на нарушение некоего фундаментального духовно-нравственного запрета, веками выдерживавшегося в крови, как правило, немного не от мира сего. Он немного... не то чтобы полоумный... и не то чтобы полудурок... Как замечательно сказал прп. Симеон Новый Богослов, христиан многие считают сумасшедшими, и те, кто так считает, правы: христиане действительно сходят с ума; но с какого ума? Христиане сходят со светского ума на духовный. Вот именно. И когда человек еще сходит с одного ума на другой, но совсем еще не сошел, с ним как бы что-то происходит. Он как бы не очень точно знает, чего хочет, и его надо долго убеждать, что он хочет того, чего хочет на самом деле. Но и потом не знаешь, можно ли на него положиться, что он своего не упустит, — словно, нарушив запрет, он лишился какой-то важной части своего национального характера, какой-то характерной мимики своего национального лица. Вот почему, глядя на иных своих сотоварищей по сумасшествию в обществе людей сугубо нормальных, я немножко стеснялся, причем не знал, чего именно: перед своими — собственной рудиментарной быстрой хватки и сметки или перед Катиными — юродства своих братьев и сестер во Христе?

И тут выходит на сцену Роджер, встречаемый волной аплодисментов, выражающих чувство единодушного одобрения, что ему, понятно, нравится. Засим водворяется самая заинтересованная тишина, и американец приступает к делу.

Он начал с того, что представляет здесь церковь или общину «Врата Израиля», основанную его покойным отцом и руководимую ныне им, Роджером, и еще кем-то. Просто захотел — и основал церковь, не более не менее, замечательная у них вообще житуха! Как хорошо родиться вчера, чтобы все слова о преемственности, предании, традиции были для тебя — неосязаемый чувствами звук. Эта церковь или община соединяет в себе основные верования, обряды и обычаи иудаизма с верой в Иисуса как истинного Мессию еврейского народа. Посему ими празднуется не только суббота, но и воскресенье, еврейская пасха, а равно и христианская (блестяще — вся жизнь праздник; нет, не мы, но американцы рождены для того, чтобы сказку сделать былью). Всего их по Америке насчитывается около десяти тысяч. У них большие планы, например, разнообразные гуманитарно-культурные программы. Так, они привезли большую партию музыкальных инструментов в дар бедным детям в Израиле и помогли голодающим в Парагвае (или Уругвае, не помню; но все равно молодцы). И так далее.

Так вот, в мае этого года до них дошли слухи, что в далекой России распространяется антисемитизм (быстро же шли эти слухи!). Затем они узнали, что в России есть их единомышленники — евреи, верящие в Иисуса. Их братья по крови и вере нуждаются в помощи; вот почему сегодня он здесь. Одиннадцать часов лета — и он здесь, чтобы познакомиться с нами, узнать, так же ли мы празднуем свои религиозные праздники, как они, показать нам видеофильм «Иисус» и...

...Я неприятно почувствовал всеобщее, но разнонаправленное напряжение: одному крылу не понравилось то, что будут расспрашивать о праздниках, о которых оно почти поголовно понятия не имеет, другому — явная еретичность американца, то есть очевидная, с православной точки зрения, вздорность самой идеи церкви, основанной по внезапному изволению чьего-то папы...

...и помочь, чем возможно. При этом размеры матпомощи будут подробно оговорены, исходя из точного подсчета количества нуждающихся и возможностей их общины. Но желающим эмигрировать — а они слышали, что есть и такие, — они могут помочь уже сейчас: он привез бланки приглашений для тех, на кого они получили анкетные данные.

И Роджер открыл свой кейс.

Напряжение достигло высшей точки. Только теперь оно переменило знак, из неприятного сделавшись вдруг радостным. Как-то мгновенно мы оказались в преддверии счастья, не решаясь, однако, поверить ему до конца. Неужели то, чего мы так долго хотели, за что многие так долго и безуспешно боролись, произойдет просто так, за здорово живешь? Здесь и сейчас? И если они и впрямь посылают нам приглашения — у янки ведь все просчитано — то, вероятно, они будут и нашими гарантами? Теоретически это вполне возможно, ведь за ним — организация в 10 000 человек, а организация в Штатах — это... Но практически — этого не могло быть.

Но он их вынул. Это была целая пачка вызовов. На Святую Землю. В государство Израиль.

Что тут сказать? У каждого второго из нас была своя небольшая коллекция вызовов в Израиль; у меня лично их было пять, в Хайфу, Беэр-Шеву, Иерусалим и два в Тель-Авив. Самых настоящих. Но такие, штатовские, мы тоже знали. Это были липовые вызовá, с позволения сказать; кто-то в Америке лепил их в больших количествах. Тот, кто, как я, имел такие и долго решал: ехать — не ехать — и потому ходил в консульство продлевать просроченный поддельный вызов, видел, как их мгновенно распознавали, разрывали пополам и метали в корзину.

Что сказать? Когда не во сне, а наяву идешь на посадку и уже видишь статую Свободы — и тут оказывается, что это все-таки сон, а наяву ты сидишь там, где сидел, в безотрадном районе Отрадного, и просидишь до морковкина заговенья — что тут скажешь? Говоря на настоящем, давно прошедшем, русском языке, — соблаговолите сообразить.

Да, а тем временем Роджер, думая, что самым деятельным образом возлюбил своих ближних, чем, помимо прочего, содействовал установлению контакта, принялся расспрашивать каждого поочередно о его семейных традициях, особливо же — какие праздники и какие блюда еврейской кухни кто знает. В кухне он толк понимал, это я уже усвоил.

Но контакта не получалось, народ приуныл — те и другие не видели больше смысла в общении с ним, одни — практического, другие — духовного. А он, бедняга, все никак не мог взять в толк, в чем дело: он ехал с открытой душой, он так всех нас любил, как только может любить человек, у которого все есть и для которого любовь есть часть его гуманитарного бизнеса.

Я понял: надо спасать положение. И не нашел ничего лучшего, как прямо объяснить свою ситуацию, распространив ее на всех присутствующих.

— Уэлл, — сказал я через переводчика, — мы рады были бы уехать

в Израиль, но, увы, это невозможно. Мало того, что еврей-христианин, то есть выкрест, подвергается там моральной дискриминации, ему еще и трудно устроиться на приличное место. Но главное то, что мы просто не можем туда въехать. Как сказали мне в консульстве, еврей, изменивший вере отцов, по израильскому закону не является евреем, а стало быть, закон о возвращении на него не распространяется.

— О! — сказал американец, выслушав переводчицу, переведшую последнюю фразу с легкой улыбкой удовлетворения.

— Более того, — продолжал я, глядя на нее, — мне было сказано недавно, что по таким, как я, весь израильский народ должен носить траур.

— О!! — сказал Роджер. — Такое я слышу впервые. Я очень огорчен.

Видно было, что так оно и есть — у них ведь все на лице написано.

— Мы тоже. И поэтому, — вырулил я куда надо, — мы хотели бы знать, не могли бы вы, учитывая рост антисемитизма в России и плохое отношение к нам в Израиле, помочь желающим эмигрировать в Америку?

Я смотрел в презрительное лицо переводчицы, говорящее примерно так: «Мне заплатили, чтобы я это перевела, но я не собираюсь скрывать свое отношение ко всем вам», — или так: «Как в России жить, так вы христиане; а как в Америку ехать — евреи», — и слушал тишину. Тишина наступила полная. Все ждали, что он скажет. Мы понимали, что ему надо подумать: как американец и честный человек он не мог давать безответственных обещаний. Наконец он сказал, что их община впервые имеет дело с такой проблемой, но постарается сделать все, что можно, а именно: свяжется с иммиграционными службами США и узнает, что в таких случаях делается.

Это был дохлый ответ — уж мы-то знали, что иммиграционная служба США — если это все, что они могли нам предложить, — покажет нам шиш с маслом. Но все же это был ответ: нам обещали сделать все, что могут, а могли они — если бы захотели — пригласить нас и стать нашими гарантами. Спрашивать об этом прямо я не мог — это значило бы дожимать, то есть нарваться на возможную и окончательную грубость. Но надеяться этот ответ позволял, а что нам еще оставалось? Все как-то слегка облегченно вздохнули, разговор-таки пошел-пошел-пошел — и завязалась искомая непринужденная беседа. Кто-то вспомнил свое киевское детство, как его бабушка делала пасхальный куриный бульон с кнейдлах из мацы, кто-то — как праздновали пурим и нарезались в дымину, а заедали традиционными треугольными гоменташ с маком. Роджера это потрясло — надо же, по обе стороны океана, в Москве и Лос-Анджелесе эти штуки с маком не только делались одинаково, но и одинаково назывались! Словом, пошла тут такая мир-дружба, что, когда прощались и американец каждому дарил по приятному пустячку, я его спросил, доволен ли он, и он ответил:

— Не то слово. Я — счастлив! Какие люди!.. Но почему никто не хочет смотреть фильм?

— М-м... Дело в том, что этот фильм у нас недавно шел... Но мы еще поговорим об этом.

— О'кей.

Тут меня поймала Катя и говорит:

— Клиент сказал, что готов к просмотру балета «Каменный цветок».

— Нет, серьезно?

— Вполне. Мы успеваем на второй акт. Если ты, конечно, дашь своего шофера.

— Шофер не мой, а Роджера. Только мне надо договориться на завтра. Как думаешь, даст он мне поспать?

— Безусловно. Не двужильный же он. До 12 будет дрыхнуть как миленький. Я после перелета в Нью-Йорк спала четырнадцать часов.

— Тогда скажи ему, чтобы, как встанет, позвонил мне — и я появлюсь, как Сивка-Бурка. И вот тебе 150 рублей, дашь ему. Пока ему хватит на карманные расходы.

Засыпаю я обычно не раньше трех, а чаще позже, и, проснувшись раньше одиннадцати, долго не чувствую себя человеком. Я и работу себе долго искал такую... не скажу какую, все равно там свободных мест нет. Но слова ее меня успокоили, я лег в три и в четыре заснул. А в 8.30 зазвонил телефон.

— Монин'? — услышал я знакомый голос. — Ай'м рэди. Ай'м вэйтин' фор ю.

Что было делать? Прочитал я утреннее правило, короткое по необходимости, после чего, как нынче говорят, вызвонил шофера, и помчались мы на сломную голову по ноябрьскому грязному снегу из Москвы в Москву.

Мы радушно поздоровались, улыбаясь до ушей, — он искренно, я — чувствуя себя профессиональным дипломатом, то есть думая про себя: «А сидел бы ты, друг, у себя в Калифорнии и не мешал приличным людям спать».

— Слушай, — сказала мне тем временем Катя, — он встал в шесть, два часа шастал, ждал, что я сама встану, потом-таки разбудил меня — и попросил есть. Все умял, что осталось со вчера, ты представляешь — все, что я на три дня наготовила, и говорит: «Вери, вери тэйсти. А не пора ли позвонить?» Так что извини, я его держала сколько могла, но...

— Спасибо и на том.

— Нет, но ты не расстраивайся. Это у него парадоксальная реакция. Такое иногда бывает при акклиматизации. Вот увидишь, сегодня он вырубится по-настоящему и раньше середины завтрашнего дня не встанет.

Забегая вперед, скажу сразу: она ошиблась. По-настоящему он не вырубался до конца своего визита и аккуратно звонил между восемью и девятью. Спал я по-человечески лишь те два дня, что он был в Питере. При этом, что интересно, он все время встречал меня с мокрой головой, наскоро обсушивая ее потрясающим портативным феном; в итоге мы выяснили, что в Америке голову моют каждый день, то есть изобрели такой шампунь, от которого волосы не портятся, хоть тресни. От незнания этого факта современной цивилизации, а главное, оттого, что своим вопросом я это незнание обнаружил, я закомплексовал еще больше.

В общем, пошла у нас с ним красивая жизнь, и вскоре понял я, что Онегин, может быть, и лишний человек, но далеко не бездельник. Потому что быть профессиональным светским повесой, то есть изо дня в день вести такую жизнь, где одно развлечение в правильном порядке сменяет другое и все расписано по часам с утра и до утра, — это тяжелый и однообразный труд. Я помню все лишь суммарно, некий собирательный день. Но отдельные моменты выделились в памяти.

Помню, он вдруг высунулся в окно машины да как закричит:

— Смотрите, эти люди ар стэндин' ин лайн!

Как будто увидел трехглазого человека.

— Да, — отвечаю, — ну и что? У нас все стоят в очередях. На том стояла и стоять будет наша земля.

— Но почему?

— Ит'з нот коррект. Не почему, а за чем.

— За чем?

— За всем.

— Что значит «за всем»?

— То и значит. За мясом, за хлебом, за молоком, за ботинками, за рубашками, за мебелью...

— За какой мебелью?

— За любой мебелью.

— Даже за плохой?

— А за какой же еще? В общем, за всем, что дают.

— Как это — дают?

— Продают.

— О!.. Дают и продают — у вас одно и то же?

— Считайте, что так.

— О! — сказал он растерянно, но тут же добавил: «О'кей», — и выхватил видеокамеру. К концу нашего знакомства я понял, что, если привязать его к столбу, чтобы поджечь, его последним словом, заключающим последнюю в его жизни молитву, будет не «Аминь», но «О'кей».

Дальше, помню, причалили мы к Красной площади, отпустили часа на полтора нашего кар-драйвера; Роджер повернулся да как заорет вдругорядь:

— Эти люди опять стоят в очереди!

— Ну да, — говорю, — это Мавзолей.

— А здесь что дают?
— Здесь, — говорю, — не дают, а показывают.
— О! Это шоу?
— Пожалуй. Вери экзотик энд эксклюзив шоу. Шоу без шоумена. То есть он — есть, но как бы... в страдательном залоге. Он здесь, но он, некоторым образом... мертв.
— О! Но как же тогда... шоу? Что показывают?
— Так его и показывают! Знаете, пирамиды, фараоны, мумии?..

Честно сказать, я не люблю это расхожее сравнение. Во-первых, Мавзолей архитектурно напоминает не пирамиду, а зиккурат. Маленькая такая, трогательная Вавилонская башенка. Во-вторых, фараона хоронили как царя-Бога, а тот, кто лежал здесь, был цареубийца и безбожник. И если уж быть настырным по большому счету и копать дальше, мумию хоронили в закрытом саркофаге, а частично открытые мощи — это уже нашенская, православная традиция. Но вот мумия или поддельные мощи, в пиджаке и галстуке — это уже не имеет аналогии в истории религиозной мысли, это уже выше крыши. Как писал поэт, это рассказать нельзя. Но рассказать-то как раз было надо, как-то объяснить ему попроще.

— О! Мами! Хи'з мамификэйтид! У вас распространен этот обычай?
— Видите ли, в случае с Лениным...
— О, Ленин! Я слышал это имя. Это, кажется, псевдоним Достоевского?
— Не совсем. Но он тоже великий человек. Он сделал революцию. При нем Россия зажила новой жизнью.
— О, да, я слышал, до революции вы жили гораздо хуже...
— Ну вот еще. Вы сами-то подумайте: разве можно жить хуже? Разумеется, Россия жила много лучше.
— В чем же величие Ленина?
— Ну... он был великий мафиозо. Крестный отец всех последующих коммьюнист мафиози.
— О'кей. Это ваш Аль Капоне.
— Я бы сказал, даже покрупнее. Возможно, он величайший преступник всех времен и народов.
— И он здесь лежит?
— Угу. За бесплатно.
— Вери интерестин'! — и он навел камеру на очередь у Мавзолея и залопотал в раструб, комментируя. До меня доносилось что-то вроде: «Совьет фараон — большевик-коммьюнист-кремлин бандит — ред скверс бриллиант фэнтэстик шоу ин рашн стайл», разбавляемое змеиным шипом всех этих «зи», «зыс», «зэт» и пр. И потом вдруг вскрик: «Фри оф чадж!» Наконец он заявил, что хорошо бы пройти внутрь Мавзолея и там продолжить съемку. Эта мысль мне не показалась, что называется. Я там, внутри, ни разу не был, о чем в детстве очень жалел, но уже и тогда не мог позволить себе простоять пять часов, чтобы попасть в Мавзолей. Не родился еще тот человек, из-за которого стоило бы, по-моему, простоять несколько часов в очереди, чтобы узнать, похож он на себя самого или нет. Я бы и за пивом долго стоять не стал. Кроме того, можете думать обо мне что хотите, обзовите каким угодно словом, но я просто боюсь Мавзолея. Что-то зловещее видится мне, когда я представляю, как внутри этого скромного, но значительного здания лежит полое тело главного богоборца всемирной истории: полое тело, оболочка, идеальное место для вселения сюда, как в пустую квартиру, легиона бесов... Я знаю, знаю все, что можно сказать в ответ, — и все же... Но как ему объяснить? Я сказал, что мы простоим здесь несколько часов. Но это только подлило масла в огонь: очевидно, жизнь для него не была полна без преодоления препятствий. Тогда я сказал, что съемки в Мавзолее строго запрещены, а кто будет нарушать, того посадят в тюрьму или отправят в Сибирь. Слово «Сайбириа» произвело надлежащее впечатление: все-таки кое-что да и они о нас знали.

Только успокоился он, как вдруг откуда ни возьмись заплясали вокруг нас две темные личности в темных же кожаных куртках. Что же это, думаю, такое — неужели снова за Ленина забирают? Опять двадцать пять. А почему бы, думаю, и нет — Ленина же еще не отменили. То есть сажать за него пока приказом не запретили. А все, что не запрещено — разрешено.

Но чекисты не собирались нас брать, а стали провоцировать на спекуляцию: продай, говорят, видеокамеру. На таком языке, что по сравнению с ними я говорю, как Рональд Рейган. Я почему думаю, что это были чекисты, а не фарцовщики — потому, что фарцовщики, разумеется, занижают цену, но по уму, то есть понимают, что дураков нет. Чекиста же узнать можно, в частности, по тому, что, каков он сам есть, таковым и тебя считает: вот и цена, названная этими двумя, была занижена до полной дурости. Впрочем, может, они и не провоцировали, может, и вправду хотели купить камеру: главные же перекачивают кассу в совместные предприятия, почему бы и шестеркам не быть по совместительству фарцовщиками?

Увел я Роджера от греха подальше — в Кремль. Вожу его по Успенскому и Благовещенскому соборам, толкую как могу на языке о Феофане Греке и Дионисии, и что икона — не картина, мир ее не зрительный, но умозрительный, ибо она есть свидетельство мира горнего, и про обратную перспективу, и что святой на иконе изображен не как в жизни, но — во славе, и плоть его есть здесь преображенная плоть; и что иконописец перед писанием образа долго постится и молится для очищения духа... Слушал он меня вежливо, долго. Слушал-слушал, да и говорит.

— Да, — говорит, — это все очень замечательно, что вы тут рассказываете, но человек больше верит, когда сам может потрогать и убедиться, как апостол Фома. Или увидеть фильм «Иисус», где Господь показан во всей жизненности, и его играет очень хороший артист. И мне бы все-таки очень хотелось показать вашим людям этот бриллиант филм. Когда бы все-таки мы могли это сделать?

Начал я тут в двадцать пятый раз заматывать этот больной вопрос; я уже устал объяснять ему, зануде, что фильм этот прошел у нас сначала по ТВ, а потом еще и широким экраном, и кто хотел, его уже посмотрел, а кто не хотел, тот, значит, и сейчас не станет. Но он уперся рогом и ни в какую: это, говорит, важнейший пункт его программы, а он с детства ставит себе целью выполнять все намеченное. Похвальная черта, конечно, у меня ее напрочь нет. Наконец, я сдался и пообещал ему постараться загнать всех на просмотр этого фильма.

Но что интересно: он всерьез был убежден, что наглядное пособие, актерский оживляж Евангелия лучше, — и сильнее действует на человека, — чем икона Дионисия «О тебе радуется», на которую когда смотришь, в душу входит нечто ледовитое — и пламенеющее. И я подумал, что еще неизвестно, кто из нас больше дикарь, слезший с ветки и забывший закинуть дубину в кусты. Только я ведь не ехал в Америку — даже если бы и мог — проповедовать аборигенам православие; не ехал, хотя митрополит Илларион уже 900 лет назад, когда не то что Соединенных Штатов Америки, но Америго Веспуччи на свете не было, написал «Слово о законе и благодати». А вот Роджер — да он ли один — ехал сюда точно так же, как если бы это были острова Самоа. Они ехали к своим меньшим братьям, честно выполняя свой религиозный долг, ибо сказано в Писании: «Идите по всему миру и проповедуйте Евангелие всей твари», они как бы даже не подозревали, что едут во вчерашнюю величайшую христианскую империю, больше того, Святую Русь, их не впечатляли соборы Кремля и даже действующие храмы, потому что вокруг они видели стаи небритых людей, одетых в звериную кожу и без конца плюющих себе под ноги, людей, считающих золотом все, что блестит и сто́ит хотя бы четверть фунта стерлингов. Я понимал американцев; но себя я тоже понимал; и глядя, как Роджер раздает детям жвачку и как к нему стягивается толпа детей и их родителей, а он извиняется, что больше у него с собой нету, я ощутил вдруг дикую тоску. Не побоюсь высокого слова, скорбное чувство охватило меня.

— Я слышал, что русские едят мороженое зимой, — сказал он, морщась от холода и потирая кончик носа. — Но я не думал, что это правда. Мы, американцы, закаленный народ; но вы — еще более закаленный народ.

«Ты даже не представляешь, насколько более закаленный», — подумал я и сказал вслух:

— Тут дело не в закалке, а в том, что мороженое — единственное лакомство, доступное нашим детям... да и нашим взрослым без особых проблем.

Повинуясь какому-то внезапному импульсу, я вдруг спросил:

— Скажите... вы не поститесь, не молитесь, не причащаетесь... однако

вы говорите о постоянной связи с Богом, которую вы ощущаете. Как вы ее ощущаете?

— О! О'кей, я скажу. Я просто чувствую, что Бог всегда со мной. Во мне. Что Он помогает мне во всех делах.

— В бизнесе?

— Да, прежде всего. У меня дом в Калифорнии, две машины, хорошая семья. Все это дал мне Бог. И я знаю, что если я буду вести себя хорошо и всегда благодарить Бога, Он даст мне еще больше.

— Скажите... А если бы вдруг Он вас оставил?

— Как это?

— Если бы вы разорились, стали жалким неудачником, аутсайдером? Если бы ваши знакомые перестали приглашать вас к себе, а за вашей спиной говорили бы: «Это конченый человек»? Если бы, кроме того, вокруг вас торжествовала несправедливость, богатели бы и правили только такие, как Саддам Хусейн и Аль Капоне, а умные, честные и предприимчивые люди жили бы в нищете? Что тогда? Вы бы и тогда продолжали верить в Бога? Чувствовали бы постоянную связь с Ним?

— О... — лицо его вытянулось, — тогда... Тогда... я не знаю... Но ведь этого же не может быть! — он хлопнул меня по спине и засмеялся. — Этого не может быть. Так бывает, когда люди живут неправильно. А правому всегда помогает Бог. Поэтому я живу так, как я живу. И поэтому я в Него верю.

Я вспомнил Катино утверждение, популярное в широких кругах интеллигенции, что все верят в одного Бога, хотя и называют Его разными именами, и подумал, что в данном случае все как раз наоборот: мы верим каждый в своего Бога, хотя и называем Его одним и тем же именем.

Стартовая тысяча, которой должно было быть мало для хорошего приема, жгла мне карман. Я добросовестно тащил его есть в ресторан. Но Роджеру это не нравилось. Ему нравилось есть у Кати. «Я предпочитаю домашнюю еврейскую кухню, — добродушно пояснял он. — У нас тоже не любят готовить дома, а приглашают друг друга в ресторан. Но Кэйт прекрасно готовит. О, Лорд, по сравнению с ней жена просто морит меня голодом».

В это можно было поверить, глядя, как он уничтожает ее припасы, затем (как она мне объяснила) припасы ее матери, а потом и припасы ее тетки.

— Ладно. Любишь поесть — хорошо. Но ты вынь хоть банку из своего баула. Представляешь, у него половина баула — банки и пачки. Мясо такое, мясо сякое, липтоновский чай, кофе и так далее. И он открывает баул и хвалится. Я, говорит, предусмотрительный, я думал, в России нечего есть, и взял все с собой. А оказывается, в России отлично можно покушать, хо-хо. Уж я ему и так и этак, но он намеков не понимает. Нет, мне не нужно, я не умру без банки консервов, но ты-то — ты достань хоть пачку печенья к кофе... Весь мой кофе выпил, а больше растворимого в стране, говорят, не будет. Чем я гостей встречать стану? И главное — ему не жалко, он кучу подарков навез, раздавать на встречах, кофе в том числе. Но у него в голове все расписано, что, когда, кому и за сколько; и он от своей программы не отступает.

Я сочувствовал ей, хотя и на него не мог бы заставить себя рассердиться. Он, конечно, будил меня слишком рано, и по нашим меркам вел себя у Кати не компанейски, но что-то было в нем симпатичное, наверное, улыбка прежде всего — не американская, не во все тридцать два зуба, а какая-то наша, застенчивая ухмылка в бороду.

Но все же нашлась такая общепитовская точка, которая произвела на него хорошее впечатление. К сожалению, только под занавес мне пришло в голову сводить его в «Макдональдс».

Роджер был счастлив. Доедая резиновую котлетку с прозрачным кусочком сыра и листиком зеленого салата сверху, он сказал, что наконец-то чувствует себя как дома. «Вот же ты Штирлиц калифорнийский», — думал я, глядя, как он, видимо, принимая как руководство к действию рекламу «Enjoy Coca-Cola», наслаждается бурой кока-колой. Я предпочел бы сейчас «Арагви», где не был с перестроечной золотой лихорадки, охватившей внезапно ставшие мне не по карману московские кабаки; сидеть в подвале подальше от жизни, за те же деньги, которые нынче в «Дональдс» стоит

котлета, пить «Мукузани» и есть горячий сулугуни и шашлык с соусом «Ткемали». Днем, пока с оркестрового балкончика еще не полилась «Сулико»...

— Сколько здесь стоит «Биг Мак»? — поинтересовался он, открывая записную книжку.

— Девять рублей.

— О'кей. А Кэйт сообщила мне, что билеты в Большой театр стоили десять рублей за два.

— Что вы говорите? Я помню, лет... семь назад, когда я был в Большом, билет стоил два с чем-то... Да, все подорожало.

— Но у нас билет в такой театр... то есть у нас в Эл-Эй нет такого театра, но в Нью-Йорке билет в Метрополитэн Опера стоит несопоставимо дороже, чем котлета в «Макдональдс»!

— А у нас дороже стоит котлета. Наши люди любят мясо.

— Х-м... А если вашему человеку предложить на выбор билет в Большой театр или «Биг Мак», что он выберет?

— Девять из десяти выберут не то что «Биг Мак», а простой гамбургер, — ответил я не раздумывая.

— О, — причмокнул он, досасывая кока-колу. — О'кей.

Он все хотел купить жене и детям что-то такое русское, и главное — игрушечного медведя, почему-то белого (наверное, представлял себе, что в заснеженных белых лесах живут тоже белые медведи), и мы обошли весь Арбат и Измайлово, пока не купили какие-то косыночки и матрешку на Даниловском рынке. Не то, чтобы мне было жаль чужих денег... но, по-моему, в каждой вещи должен быть заложен свой принцип, свой эйдос, с позволения сказать, включающий все качества этой вещи, в том числе и ее максимальную цену, — и глядя на все это занюханное, но нахальное арбатство, выдающее безо всякого стеснения самую ленивую и неряшливую самодеятельность за Палех и Федоскино, заламывающее немыслимую цену за иконы, похожие на матрешки, и матрешки, вообще ни на что не похожие, хотелось сказать: «Господа плебеи! Лучше вам было бы оставаться товарищами рабами; потому как, имея руки-крюки, симпатичнее быть застенчивым, нежели наглым». Короче говоря, такую точно матрешку из восьми персон, какую нам втюхивали на Арбате за 450, мы купили у тамбовской бабы на рынке за 35. Роджер хотел купить ее сам, но я опередил его. Он сказал:

— Вы мне уже дали в первый день 150 рублей.

— Ну и что же? Понадобится, дам еще.

— О'кей, — сказал он, что на сей раз выражало несогласие. — Скажите, у вас все дарят друг другу деньги?

— Ну... вы — наш гость.

— О'кей. Думаете ли вы, что если вы приедете в гости в Америку, хозяева начнут дарить вам деньги?

«Неплохо бы», — подумал я и сказал:

— У вас свои обычаи, у нас — свои.

Я ожидал, что он скажет: «О'кей», но он сказал твердо, с отчетливым чувством собственного достоинства:

— Мы считаем оскорбительным получать деньги просто так. Деньги платят только за работу. Поэтому я бы хотел купить у вас русские деньги, включая те 150, которые вы мне уже дали. Я слышал, доллар стоит по реальному обменному курсу 20 рублей.

Вот они, иностранцы. Кто такой Ленин, не знают, икону от картины не отличат, а курс зелененьких где-то уже успели уточнить.

— Точно, 20, а говорят, уже и 22.

— Я вам очень благодарен за хороший прием и предлагаю вам самые выгодные условия, — серьезно сказал он. — Я покупаю у вас... для начала триста рублей, по курсу 1 к 19. О'кей?

— Нет, — сказал я тоже твердо. — Мы с гостями не торгуем.

— Тогда я у вас ничего не возьму. Даже этой матрешки.

Создалось идиотское положение. Видно было — американец, что называется, пошел на принцип, а я уважаю чужие принципы. Но посудите сами, не мог же я продать чужие деньги! И за какие-то смешные 16 долларов без скольких-то центов!

— Роджер, — сказал я, подумав, — эти деньги входят в счет культур-

ной программы. Как и ваше содержание у Кэйт. Все обговорено с вашим нью-йоркским знакомым. По всем финансовым вопросам обращайтесь к нему.

— О'кей! — улыбнулся Роджер и взял деньги; и я еще раз подумал, что у него хорошая человеческая улыбка.

Я спал по пять часов в сутки, говорил только на деревянном английском, относившемся к моей полновесной, но, увы, только внутренне конвертируемой русской речи, как 20 к 1. Я глотал какое-то кооперативное пойло под названием «Напиток клюквенный (клубничный, вишневый)» и носился с этим малым на нашем кар-драйвере по мерзкой демисезонной Москве. И каждый день я вез его на очередную встречу с людьми из разных городов, сплоченных готовностью поверить в то, во что будет надо, лишь бы вырваться отсюда.

И все это время одна фраза чаще других озаряла вспышкой мой утомленный мозг. Она являлась мне перед засыпанием и при пробуждении, когда сама хотела. Телевидение влило ее в мои уши, без усилий внедрило в мой разум, расстроенный недосыпом, — тем ликующим голосом, которым у нас всегда сообщается все самое главное. Это была самая удивительная, самая непонятная фраза, слышанная мною когда-либо на русском языке: «И все это практически за рубли!»

Я устал. И спросил Роджера, во сколько тот встает дома. «В 5.30» был ответ. В 7 ему надо быть в своем офисе в Эл-Эй, а до города час езды. Во сколько же он уходит из офиса? «В 17.30». Это был настоящий человек. Он хорошо ел и хорошо работал. Я так не мог. Катя тоже.

Наконец пришел последний вечер, вечер запланированного биг-диннера. Катя по своим блатам заказала стол в ресторане Дома композиторов, куда явились Роджер, Катя, я, женщина-переводчик и по одному делегированному представителю харьковского, питерского, самарского и рязанского кланов. Это был хороший стол, в легендарных традициях застоя, хоть и не без прорех, нанесенных перестройкой. Тут была и икра, правда, уже только красная, и рыба, и язык, и карбонат. Многих вин уже не было, стояли только шампанское и коньяк, но коньяк — «Энисели», а шампанское, правда, московского завода, но — брют. Для гостя из солнечного Лос-Анджелеса специально приготовили фаршированную рыбу. Роджер глядел на стол во все глаза.

— Кавьяр, — восклицал он, — салмн, шампэйн! О! О'кей! — и врубил видеокамеру. Она плавно панорамировала вдоль самобранной скатерти, а мы тем временем занялись делом, которое все советские люди умеют делать одинаково хорошо: начали накладывать закуски на тарелочки и приступили к закусыванию.

Тогда поднялся Роджер и, держа в руке единственную рюмку коньяку, выпитую им за весь вечер, выразил желание сказать спич. Все стихло. Он говорил, а женщина-переводчик переводила высокопрофессионально, слово в слово. Он говорил о том, что он в восхищении от Москвы, от древних памятников ее архитектуры, но еще больше — от русского гостеприимства, от того внимания, которое уделили ему — обычному американцу. Затем он охарактеризовал персональные заслуги в деле его приема: Катины, мои и переводчика, а также принимавших его в Ленинграде. Затем он воздал должное всем остальным присутствующим. Он сказал, что счастлив встретить так много евреев, верующих в Иисуса, и заверил, что они со своей стороны сделают все возможное, чтобы помочь нам. Он сказал также, что, хотя говоря «биг-диннэр», он имел в виду то, как это понимают в Ю-Эс-Эй: большой стол, на котором стоят бутылки с минеральной водой и кока-колой, вазочки с орешками и еще, может быть, небольшие сэндвичи, и много-много гостей и разговоров, — но русский обычай устраивать биг-диннэр тоже можно признать отличным, и он обязательно покажет своим видеозапись.

После горячего он принялся раздавать подарки. Каждому досталась плитка жвачки, пакетик соленого арахиса, маленькая шоколадка и еще какая-то вещь. Кате достался плеер, которых у нее и без того было два, а мне — четырехсотграммовая банка растворимого кофе, который я не пью. Харьковский кооператор с миллионным оборотом получил штампованные электронные часики. Роджер раздал также брошюры, знакомящие с деятельностью их общины, и просил распространять их среди возможных

единомышленников. Все обещали... Один из наших подарил ему белого плюшевого мишку, которого он безуспешно искал. Роджер прослезился.

Мне кажется, вечер удался.

На следующее утро я отвез его в Шереметьево. На прощанье он подарил мне свою зимнюю шапку, сделанную в Шри-Ланке, и прекрасные теплые рукавицы, сработанные на Филиппинах. Я отказывался, но он сказал, что не любит, когда вещи пропадают и не используются по назначению. Шапка и перчатки совсем новые, а у них в Калифорнии температура редко опускается ниже +15°. Расстались мы по-братски, и я подумал, что, если с их подачи кого-то пустят в Америку, то уж меня не в последнюю очередь.

Шофер Сережа — пока еще, последние сорок минут, мой личный шофер — сказал:

— Вот жлоб этот янки. Я его десять дней катал, вещи ему поднес, а он дал всего 5 долларов. Стэйтсы все такие. То ли дело бундеса́, когда датые. Я как-то у «Интуриста» оказался под вечер — вылезает один оттуда, совсем вдрабадан. Отвези, говорит, в Шереметьево, только быстрее, опаздываю. Я отвез, а он мне — сто марок. Это, я понимаю, человек.

Дома я отключил телефон и лег спать. Мой сон был сном человека с чистой совестью. Человека, изрядно потрудившегося и довольного плодами своего труда. Мне поручили организовать хороший прием, и я его организовал. В нем были все ингредиенты, я бы сказал, приема большого стиля. Мне не в чем было себя упрекнуть, я проспал 13 часов.

Пару недель спустя мне позвонила Катя.

— Мне тут с оказией пришло письмо из Нью-Йорка. Брат имел беседу с Роджером. Вот слушай...

Этот тип, оказывается, был крайне недоволен приемом. Ему не понравилось то, что его все время таскали по театрам и музеям, вместо того, чтобы работать с людьми (Боже мой, сколько же еще людей нужно было этому живоглоту?). А главное, ему не понравилось вот что. Он ехал с серьезной миссией — оказать бедным, преследуемым братьям посильную помощь. Он потратил деньги, собранные общиной, — и полетел. И что же он увидел? Он знает, как живут бедные люди, он был в Мексике и Пуэрто-Рико. В Москве он увидел прилично одетых людей, живущих в домах с очень грязными подъездами, но в приличных, хорошо обставленных квартирах. Эти люди говорят, хоть и плохо, по-английски. В ресторане они позволяют себе заказывать икру, лососину, шампанское. У него приличный заработок, но икру в ресторане он заказывает не часто. Он ехал помогать людям, а вместо этого они сами взяли его под опеку. Ему давали деньги как маленькому, все дарили, не давали самому купить жене и дочкам матрешку и медведя.

Очевидно, эти люди не столь уж и нуждаются в помощи. Тем более, когда им эту помощь предлагаешь, они ее совершенно не ценят. Они почему-то не хотят ехать в Израиль, а ведь, казалось бы, куда и ехать еврею-христианину, как не в Израиль? Разговорам о том, что в Израиле иудео-христиане якобы подвергаются дискриминации, он совершенно не верит (хотел бы я, чтобы он там пожил с годик! Показали бы ему честные евреи, как после субботы праздновать воскресенье...). Больше же всего разозлило его то, что ни один человек не изъявил желания посмотреть фильм «Иисус». Оказывается, это был его небольшой бизнес: он собирался прокатывать фильм за плату и частично окупить поездку (это сколько же людей должно было, по его прикидкам, посмотреть фильм, и какой должна была быть входная плата, чтобы окупить — хотя бы частично — его затраты в твердой валюте? Он, наверное, представлял себе толпы жаждущих иудеохристиан. Вот зачем ему нужны были люди!).

Одним словом, говорилось в письме, теперь ставить вопрос об американской помощи крайне затруднительно.

Нет, но что это значит, что вот ты хочешь как лучше, а непременно оказывается как хуже?!. Не знаю, что это значит вообще; хотя и догадываюсь. Но в данном случае это значило вот что. Что американцы вовсе не такие бодряки-простаки, какими я их представлял, а такие же точно люди,

как и я: себе на уме, со вторым и третьим дном. Объемные. Люди как люди. То значило это письмо, что все мы одинаковые. И еще то оно значило, что все мы безнадежно разные. И все, что мы понимаем так, они понимают прямо наоборот. А значит, если хочешь жить у них и не тужить (потому как зачем же ехать туда специально, чтобы тужить?), нужно вывернуться наизнанку, чтобы стать как они. Потому что это только говорится так: Америка — страна эмигрантов. На самом деле Америка — страна американцев. И эмигранты едут туда, чтобы стать американцами. А если эмигранты едут в Штаты, чтобы оставаться эмигрантами, значит, они заведомые дураки.

Я хотел оставаться русским по своим взглядам и привычкам, а вести жизнь американца по своим возможностям и стандарту. Я был заведомым дураком. Мне нечего было делать в Америке.

Но мне и здесь нечего было делать! Я и здесь такой, как я есть, был не у дел, и чем дальше, тем больше. Я и здесь должен был измениться, как-то переучиться — и войти в рынок; либо — отмереть. Мой вид не был предусмотрен в будущем. И там и здесь я должен был бороться за жизнь, работая локтями. А я этого не умел — и не хотел учиться. Может быть, кому-то это и подходило, может быть, на этом и стояла мировая цивилизация, — на своекорыстии, стимулирующем трудолюбие, создающее все остальное; стало быть, если человек случайно лишен своекорыстия, не совсем, но в решающей степени, — пусть пеняет на себя: как говаривал классик, Россия без него обойтись может. Не говоря уже об Америке. Но Бог без меня обойтись не пожелал... А я и хотел жить тихо, молиться Богу, бродить по свету, глядя, что там наворочали люди всех времен и народов, — и больше ничего.

Я взвесил все и окончательно решил: не поеду я ни в какую Америку. Туда нужно еще попасть, и с большими усилиями, а сюда я уже попал. Конечно, если бы отец моего отца не уехал из Варшавы в Каунас, а потом в Астрахань, быть бы мне (если бы некий «я», внук моего деда, вообще — был) сейчас уже гражданином свободной Польши. Но я был там, где был, и по крайней мере в этом отношении не надо было делать лишних движений.

Все же я благодарен судьбе, что встретился с Роджером. Как-никак он подарил мне приличную зимнюю шапку и теплые перчатки; теперь я мог спокойно пережить зиму. Если, конечно, этой зимой не отключат отопление.

Да, забыл сказать, мы с Катей совершили бартерную сделку: я ей отдал фунтовую банку американского кофе, чтобы было чем принимать гостей, она мне — ненужный ей плейер, чтобы я мог совершенствовать свой английский. Дело, конечно, решенное, да мало ли что. Всяко может быть.

Дмитрий Лакербай

ДОЖДИК В ДЕРЕВНЕ ЕЛКИНО

Элегия

...И снится жизнь — цветов увядшие кварталы,
Где одному нельзя, но все равно один,
И где один смешон, когда смешного мало.
И до смешного мало даже наследил.
Один или ничто. Ничто или дилемма.
Данайцев дар, нанайский абсурд или квадрат?
Нет, духа теснота. И тени сна, и тема
Во сне, сонет хвоста, хвоста нет — будто рад...
Умерший робоастр, моллюск окаменелый.
Разрезан на два свет. Журчание смешка.
А-а, выключили свет. Очнись, учитель. Мелом
В проказу запусти, очнись исподтишка.
Убит?
Заворожен?
...Так бесконечен выстрел
И пауза в любви.
Ученики молчат.
Ты СПАЛ. Ты БЫСТРО СПАЛ. Очнулся ОЧЕНЬ
БЫСТРО.
Проходишь по рядам — улыбок тайный ряд...

И так везде. Всегда. Повсюду. Неизбывно.
Не Ахиллес — Пята. Луна из тучных клумб
В разбитой форточке... цветами пахнет.
Здесь ты прошел, Колумб...

Ты прыгал!.. Смял цветы, но спасся, а подстрелен
Другой, он ускакал, безумный, весь в грязи.
А ты — назад, за стол — ведь каждый миг смертелен!
Но не успел.
Устал.
И руку занозил.

Так получилось. Но — здесь хитрые машины.
Свет выключили. В ряд наставили колы
В журнал. Проели тьму дыханием мышиным
И ждут. А ты молчишь, разбросанный в углы.

УБИЙЦЫ... Любишь их? Конечно. ...Тьма бильярдной.
И головы шаров застенчиво круглы.
Беззвучным сквозняком ступают леопарды.
Тетради взаперти вздыхают, как волы.

...Так неужели?.. Да.
...Возможно ли?.. Что проще.

Дмитрий Леонидович ЛАКЕРБАЙ родился в 1965 году, учился в Ивановском университете, в настоящее время работает учителем русского языка и литературы в городе Тейково, Ивановской области. В центральных изданиях не печатался.

...А где же?.. А нигде.
...Когда?.. А никогда.
И так везде. Всегда. Повсюду... В темной роще!
...При свете дня!
...Как смерть!
...Над морем!
...Где всегда!!! . . . .

...не пачка фотографий, груда запонок,
А дождь невосполнимый. Жить любя —
Мгновенье, будучи украдено, прекрасно...
Напрасно, друг мой, сам поймешь — напрасно!

Песком сквозь пальцы. Вдруг проистекло
На клумбу спрыгнуть, чтоб спастись от выстрела.
Но оказалось — время истекло.
Улыбок тайный ряд. Забавно искренне.

...Но дождь невосполнимый! Бег руки.
Как поезд. Строчки лесом рвутся, лесом...
Они сошли с ума. Спешат звонки. Мигает свет, тетради
давят весом
Чужого бытия. Ученики
СМЕЮТСЯ...
Дурачки.

Болтливый череп

...Все замкнуто. Шла женщина по площади
Потом возникла рядом — в разговоре.
Потом взглянула так, как смотрят лошади —
Без мысли понимающее море...
И в мире нет сюжета без изъяна,
Без хромоты, когда не без причин
Все сводится в одну и ту же драму,
В одну и ту же сумму величин.
И в поисках тогда глядишься в зеркало,
Чтобы в СЕБЕ открыть источник зла...
Спит женщина — капризная гипербола,
Материя, что знает нас дотла.
Но ты жесток, как женщина в квадрате.
Ты разделен: глядит, почти любя,
Зрачка планета в студенистой вате,
Как протоплазма мучает себя.
О зеркало... Глаза, морщины, губы,
Улыбки космос, вечный, как Тибет...
Но пальцами отодвигаешь губы —
Твой череп улыбается тебе.
И двое вас — глаз трепетная дымка
И челюсти бестрепетный оскал...
Так череп твой, бессмертный невидимка,
Всегда с тобой, как смертная тоска.
Зубами, лбами сталкиваясь крепче,
Любовники целуют свой удел:
То самое, что носят наши плечи
И Гамлет, землю счистив, разглядел.
И бедный Йорик бродит по квартире,
Ужасный, пустоглазый, глух и нем.
Ты — блюдо на его пустынном пире,

Живая глина, плащ его и шлем.
Он сбрасывает нас, как змеи — кожу.
Он всюду мертв — от пятки до виска.
Он в зеркало глядит, Тобой умножен...
Живой мертвец, не зря твоя тоска!
...Но ты болтлив. Довольно. Бесполезно.
Почисти ему зубы и забудь,
Что иногда в глазах мелькает бездна,
Которая в глазницах станет суть.
А вот и утро. Сон, как рыба, чуток:
Аквариум, листвы шумящий грот —
Все падает в железный промежуток
Часов на кухне, замыкая свод
Усталости, и мыслей, и желаний,
И тягостного скрипа изнутри,
И той, что развалилась на диване...
Что значит РАЗВАЛИЛАСЬ?! Не смотри...

Дождик в деревне Елкино

«Гроза! Изнуряющий, сладостный плен мой...»

Б. Корнилов

...Крадущая окно гроза, перекрестясь —
И с богом! ...Порадей
За нас. Полюбит пусть...
Идешь потом — сопя, засасывает грязь
И мелких веток вдрызг поломанная грусть...

Не любы.
Дальних туч набрякшая тюрьма.
Коленями трещит ледащий березняк...
Родная жуть вокруг! Чахоточная тьма.
Дыра в заборе.
Брех
Нерезаных собак.
Вдруг свадьба! ...Гам и визг — их бьют по голове.
Несчастный от грозы, весь исступлен жених:
Невеста — бля, бревно и теща — бля, медведь,
А власть — сплошная бля — но дело все не в них.

Руками не замай, а в рожу, хошь, наплюй—
Спокойней наплевать — не то по морде даст...
Качается братан, что лез вчера в петлю —
Сейчас, темней грозы, полезет в свой «КамАЗ» —

Да, елки, где же он?
...Озáрен горизонт.
Просохнут ли худые, пьяные поля?
Пришитый Копелян, зарезанный Кобзон —
Как ангелы, идут, одетые с нуля.
Руками шевеля.
Ногами шевеля.
Губами шевеля.
И радостно, бля.

...А дождик тут как тут — крадущийся впотьмах
Хозяин вороват?.. Крадется от тоски?..

И невдомек, что жизнь постыдна, как сума,
До склизлой, до гнилой, до гробовой доски...

Тут молния. Сверкнет. Герой-интеллигент
Опять идет в народ, в соленые грибы
Вгребается, громит и празднует момент.
Тут молния. Врасплох. Вокруг такие лбы...

Проходят не пойми какие времена.
Дождь хлещет все сильней, весь вымок дурачок
Сопливый. И Луной облевана стена —
Откуда здесь Луна?.. Молчок, торчок, молчок.

Но если не любовь, то что же?
Кутерьма.
Родильная горячка с белой пополам.
Сверкает дождь по кровле иглами ума,
Чей изверг, как зигзаг, спать не дает углам.

И постигаешь связь войны и не-любви,
И нежное «залазь», и злобное «отлезь», —
И сердце, как в дожде, купается в крови —
Ну голубь, душу мать!
...Убийца дремлет здесь.

Не надо! Не свети. Убогим не до сна.
Ты выпей. Пусть себе качается кадык.
Как помпа, дождь торит со звоном дотемна
В грядущий березняк гремящие ходы.

Начальник!!! Ты погряз, как ливень в сенокос:
Всех матом полукрыл, плывя под пулемет,
Нахлебник, всех бесил — потом взахлеб, взасос!
Полуторку взорвал — и рухнул эшафот...

Хоть застрелись, как ты!
Полюбишь — полируй.
О, пуля и петля, и пламенный распыл...
Не поздно никогда. ...Но тяжесть мокрых сбруй
Не сбрасываешь вдруг — пока от слез не сгнил.

Утешься. Утопись. Умойся. Уругвай.
Не знаю что. Умри. Ешь землю. Кушай плов.
Сейчас гроза опять наедет, как трамвай,
Взрывая лопухи разрезанных голов.

И сил нет передать — о, как она права!
Раздерганной грозы гремит трубоворот.
Расколота, блестя, пустая голова.
Подходит ночь — и ногу ставит на живот.

По новой... Подошло.
Померкло.
Подошло...
Там прозелень веков. Там медная резня.
Там ливня белизна. Там вечный бой быков.
Там колокольной тьмой грядущий березняк...

22.—27. 04.91
Тейково, Ивановской обл.

Эдуард Пустынин

АФГАНЕЦ

РОМАН В ТРИДЦАТИ ПЯТИ ГЛАВАХ

ГЛАВА 1. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРАВЕ НА ЛЬГОТЫ

Я тоже **афганец**. Несколько лет назад я был там. Жалею? Нет, скорее наоборот. Удостоверение «Свидетельство о праве на льготы». Сколько раз оно выручало: гостиницы, билеты, тряпки без очереди, даже в городском транспорте без билета ездил. Но об Афганистане я не люблю говорить, по возможности избегаю этой темы и не горю желанием встречаться с другими афганцами. Я в Афгане ни разу не стрелял (даже по мишеням), служил в связи. «Кто тут пашет в дождь и грязь — наша доблестная связь». О своих армейских буднях никогда никому не рассказывал. Неудобно.

А когда учился в КГУ[1], и на 23 февраля устраивался вечер воинов-интернационалистов, я притворился больным. Мне было очень стыдно. Ведь я всем сказал, что служил в десантно-штурмовой бригаде. Из-за этого я и университет бросил. На 1-м курсе это еще можно было скрывать, но на 2-м появилось бы военное дело, и меня сразу бы уличили во лжи.

ГЛАВА 2. ПЫТКА

Живя с ребятами в одной комнате, я все время чувствовал себя неспокойно, я боялся, что зайдет разговор об армии, о ДРА. Боялся, что кто-то спросит: «Ну как там?» Боялся передач[2] по радио и телевидению, боялся студентов, бывших воинов-интернационалистов. Это была настоящая пытка. Я жестоко и мучительно переживал свой обман. А получился он сам собой.

ГЛАВА 3. ТЕЛЬНИК

Из Афгана я привез музыкальные часы, индийский дипломат и тельник. Часы подарил брату, дипломат — Сереге Гурьеву, а тельник оставил себе.

Я, как и все мальчишки, мечтал быть десантником и даже писал заявление в Афгане, но перевод в десантники не состоялся, и на память я купил в чековом магазине тельник десантника. Когда я вернулся домой, Коля сразу его заметил (он служил в воздушно-десантных войсках, поваром, но это не мешало ему рассказывать о своих подвигах): «Я в станице только один, а теперь нас двое будет. Десантники должны друг другу помогать. Десантники по всему Союзу братья», — говорил Коля, когда я давал ему трешник на пиво[3].

Эдуард ПУСТЫНИН (р. 1965) служил в Афганистане, учился в Кубанском государственном университете, работал грузчиком, дворником, воспитателем в ПТУ. Стихи опубликованы в ж. «Студенческий меридиан», ал .«Поэзия». С прозой выступает впервые.

[1] Кубанский государственный университет.
[2] Связанных с армией.
[3] Я не пил тогда, даже пиво.

ГЛАВА 4. ДЕСАНТНО-ШТУРМОВАЯ БРИГАДА

Незаметно для самого себя, я сжился с этой мыслью (что я десантник), и на вступительных экзаменах в университет (несмотря на июньскую жару, я был в тельнике) на вопрос одного из абитуриентов я ответил — в ДШБ.

Но потом я на минуту пожалел, что я обманул, но это только на минуту, я еще не мог предвидеть все плоды своего вранья. Тем более глаза мальчишек и девчонок загорались таким восторгом, что устоять было трудно. А сказав одному, что я десантник, я уже вынужден был говорить это всем.

ГЛАВА 5. ВОЕННЫЙ БИЛЕТ

Военный билет я хранил в чемодане (под кодовым замком), ведь там было написано, что я всего-навсего телефонист. Помню, как я переживал, когда нужно было становиться на военный учет. Дело в том, что становились на учет, как правило, все вместе, все ребята с курса.

И скорей всего, кто-нибудь из них попросил бы показать военный билет. И я бы был разоблачен.

Я выдумывал различные предлоги: некогда, болен; даже убегал, скрывался, чтобы удалось пойти одному. Я так ловко лавировал, что мне это удалось. Так никто ничего и не узнал.

ГЛАВА 6. ШАХРАТ

Мое положение усугублялось тем, что в одной секции со мной жил еще один воин-интернационалист. Правда, он был не десантник, но мне от этого было не легче. Таким образом, и в своей комнате я не мог полностью расслабиться. А позже я сошелся с Шахратом, так его звали,— это когда уже знал, что меня исключили «за распитие спиртных напитков и недостойное поведение». Мы вместе с ним выпивали, знакомились с девчонками, и Шахрат просил — скажи, что я тоже с тобой в десантуре... И в винно-водочный ездили, без очереди по удостоверению водку брали. Афган вспоминали.

ГЛАВА 7. БРОНЕЖИЛЕТ

Как-то в разговоре я сказал, что продал т а м бронежилет за 100 тысяч афгани.

А потом Леха Лунев где-то достал бронежилет (чтобы бегать в нем — тренироваться), и я впервые видел его так близко. Вот почему Леха спрашивал перед этим — а какие у вас были бронежилеты, как они застегиваются?..

Я напряг всю свою волю, чтобы вести себя непринужденно, не знаю, как мне это удалось.

Леха напялил на меня (оказывается, он на застежках) этот злосчастный бронежилет.

И я начал —...да от них толку, мы их ставили и с автоматов прошивали, как нечего делать...

Леха согласился со мной, он ничего не заподозрил.

ГЛАВА 8. НАРКОМАН

Девочки спрашивали — скольких ты убил. А страшно? Страшно! Анаши обкуришься — и не страшно. Анаши обкуришься — и вперед.

С тех пор девочки стали считать меня наркоманом (мне это нравилось), записки писали: «...тебе не кажется, что ты сегодня принял немножко больше, чем обычно...»

В армии один старлей тоже меня за наркомана принимал: «Да ты постоянно обкуренный. У тебя глаза мутные».

А я первый раз попробовал анашу только через полтора года после армии. Я ехал в Сибирь по оргнабору (из университета меня уже исключили), и Серега Фоменко предложил... Я тут же сделал радостный вид и начал играть роль заядлого наркомана. Попробовал, но ничего не ощутил, нужно еще уметь курить, вдыхать полной грудью и по возможности задерживать дыхание. У меня не получалось.

ГЛАВА 9. ГРАДУСНИКИ

Поведал я всем и историю о нашем солдате с Кавказа, который перебежал к духам и стал главарем банды. У него был свой гарем, жителей он обложил тяжелым налогом. И в конце концов сами духи сместили его. Не знаю, откуда взялась эта история, я сейчас даже не могу отделить в ней правды от вымысла. Еще я всем рассказывал про градусники.

Подъем. Не встаю. Старшина спрашивает: «Что с тобой? Заболел». — и градусник приносит.

А я градусник под подушку и говорю — утерял.

Я так несколько раз делал, а градусники по 200 афошек сплавлял.

ГЛАВА 10. ДОРОГА В ТАШКЕНТ

Шесть человек из нашей учебки распределили в ТУРКВО, выдали одному из нас документы в пакете, и без сержанта, сами, отправились мы в Ташкент.

В Харькове была пересадка, и мы разбрелись кто куда. Нас с Саней Ткаченко взяли возле кинотеатра «Стерео», и до самого отъезда мы с ним маршировали на гауптвахте.

В поезде Валера Брюховец (мой земляк, он в Мары попал) начал выступать, что он — командир, документы у него и его надо слушать.

Пришлось заехать Валере в рожу.

В Ташкенте столько всего было, на базаре глаза разбегались, а денег ни копейки, пришлось искать свою часть. Я приболел и попал в медпункт, лежал, читал Конан-Дойля. Год назад, когда я в Краснодаре на квартире обитал, рядом афганец жил, и к нему друг приезжал. Такая радостная встреча, и меня пригласили. Я в ресторан ходил за вином.

Если бы еще дня два пролежал, меня бы не взяли, но я сам выписался, решил: будь что будет.

ГЛАВА 11. КАБУЛ

Принимал прапорщик небольшого роста, с располагающим лицом и большими, лихо закрученными усами. Он записывал наши данные и одновременно вводил в курс дела. Рядом лежал автомат со складывающимся прикладом. Все косились на него и с интересом разглядывали (в учебке у нас были карабины, за все время стреляли один раз, по пять выстрелов), самые смелые пытались потрогать.

«Успеете еще,— улыбнулся прапорщик,— мы тут с автоматами и спим».

Казарма представляла собой двухэтажное серо-желтое здание. На первом этаже располагались медпункт и общежитие офицеров и прапорщиков.

Распределили по ротам, я попал в 1-ю. Мы уже изрядно проголодались, и как раз нас повели кормить.

Столовая, так называемый модуль (новые постройки),— длинное вытянутое здание, покрытое шифером.

Нас сопровождал дежурный по роте, простой, общительный парень. Мы задавали ему вопросы, он охотно отвечал, но при этом держал нас на расстоянии.

После обеда сдавали старшине шинели, рюкзаки, все, что привезли с собой. Старшина был здоровый мужчина (в таких случаях разводят руками), с вот такой красной рожей. Громовым голосом он давал ценные указания: «Слышали ли вы что-нибудь о дедовщине». А мы уже не только слышали, мы видели, правда, нас пока не трогали (пусть привыкнут, говорили дедушки), гоняли своих молодых. А те смотрели на нас с радостью — конечно, теперь им будет легче.

ГЛАВА 12. ШАПКА

Какой-то солдат, худой, щупленький, маленький, пытался отобрать у меня новую шапку.

«Давай сюда», — уверенно потребовал он и, не дожидаясь ответа, потянулся за шапкой.

«А у тебя что, нет?» — остановил я его.

«Я дед, мне новая нужна».

Но я не поддался на его уговоры, и он сразу как-то обмяк (как я узнал чуть позже, это был дедушка-стукач, из тех, что пашут до дембеля).

В тот же вечер я написал письмо домой, сперва хотел сообщить, что я где-нибудь в соцстране, но потом все же решил — Афган.

Из окна казармы был виден кишлак. Небольшие глиняные постройки — дувалы. Там ходили люди, колючая проволока и минное поле отделяли нас от них. Стоял ноябрь 83 года.

ГЛАВА 13. КОЛОБАХА

Ну что такое казарма? Бетонный пол, от которого тянуло сыростью. Койки в два яруса. Верхние для духов[4], нижние для дедушек и черпаков. И конечно же — тумбочка дневального. Без нее никуда. Это корень, основа, каркас казармы. С дневальным шутили. Шутки самые разные. Ну, например, проходит мимо дедушка и задирает дневальному шапку на лоб (чтоб чуб было видно). А другой дедушка говорит: «Ты что, припух, ну-ка одень как положено».

Перед сном дедушка, которому не спится, мог подозвать к себе и спросить: «Ну-ка, расскажи, сколько баб на гражданке перепортил».

Каждый дух должен знать, сколько дедушке осталось до дембеля. Не дай бог ошибешься, не миновать колобахи. Колобаха бывает двух видов. Простая и стереофоническая. Молодой солдат берет в рот шапку, нагибается и мотает головой, дедушка сначала по ушам его как кролика, а потом, заключительно, — по шее. Это стереофоническая, а простая — просто по шее.

Иногда дедушки проводили с нами беседы: «Год честно отпашешь и все. От этого никуда не деться».

Так дедушки смиряли нас силой слова. И, как дедушки всех времен и народов, они иногда любили поворчать: «Да что это, разве мы вас гоняем, вот нас в свое время...»

ГЛАВА 14. ДУХИ

Духи тоже бывают разные. После карантина[5] — одни духи, они уже выслужились перед дедушками и у них больше прав по сравнению с молодыми солдатами, только что прибывшими с учебки[6].

Есть духи русские и нерусские.

Русских духов гоняют все: и русские дедушки, и нерусские, — а нерусские духи находятся под защитой своих дедушек-земляков.

Кроме этого, у нас были различия между духами из роты и духами с узла[7]. Между ними не было равенства, первые были на ранг выше.

Для того, чтобы стать черпаком и пользоваться привилегиями, нужно честно отпахать свой год.

Но бывают исключения, бывают такие, которые пользуются всеми этими благами досрочно — и не потому, что они какие-то особые. Совсем не поэтому. Просто им повезло. Все зависит от должности, должность выделяет и дает право не ходить в наряды, не заправлять утром по нитке постель. Водитель командира, почтальон.

Мы, простые духи, завидовали таким, нам доставалось и за себя, и за того дедушку. Даже в столовой покоя не было, после приема пищи

---

[4] Духами называют душманов, молодые солдаты тоже почему-то носят имя духов.

[5] Подготовка в течение двух месяцев.

[6] Учебная часть (шесть месяцев).

[7] Солдаты с узла связи не ночевали в казарме и не ходили в наряд.

нас припахивал наряд. Мы опаздывали на построение. Старшина нас ругал и с наивным видом спрашивал: «Где шлялись?» (Хотя он прекрасно знал, где мы были.) Наряд вне очереди.

Когда выдавалась свободная минута, собирались и заводили речь о том, что вот когда мы будем дедушками... И каждый искренне думал, что никого бить не будет и издеваться тоже.

Но до этого было еще целых полгода. Нам казалось, что это целая вечность. Наверно, никогда ни для кого из нас время не тянулось так медленно.

ГЛАВА 15. МАТРАЦЫ

Осень и зима в Кабуле прохладные. Грязь. Слякоть. В казарме сквозняк. Уже за полночь, скоро начнет светать. Старослужащие сладко спят под несколькими одеялами. Им самое время видеть сны, в которых «водки — бочка, пива — таз, и Устинова приказ об увольнении в запас». А мы, согнувшись, дремлем. Холодно. Страшно холодно. Черпаки и деды забрали даже матрацы. А что офицеры, где замполит? Они знают, все всё знают, но им легче не замечать.

В 7 утра тишину нарушает бас старшины:

— Рота, подъем.

Молодые уже не спят, они ждут этого крика, многие уже оделись[8], умываться не положено. Мне сначала не верилось — как не положено? — заправил свою постель и пошел в умывальник. Вернулся быстро. И присоединился ко всем. Койки заправляли, по нитке выравнивали. Черпаки в белых майках, в ярких подтяжках присматривали. Подогревали. Подгоняли: «Быстрей. Быстрей...» И так до завтрака.

Иногда мне удавалось сбегáть. Я уходил за казарму, стоял и смотрел на кишлак, на горы, вспоминал одного деда с дизельной, я был на него зол и собирался отомстить ему, подраться с ним, даже караулил его, пытался поймать одного.

ГЛАВА 16. СТУКАЧ

Наша рота вышла из столовой; пока дедушки перекуривали, мы обязаны были построиться или создать что-то наподобие строя. Это были минуты отдыха, никто не трогал, можно было помечтать.

Из-за пригорка показался старшина.

«В бане все были. Ну что — все помылись?»

«Нет, не все. Мы не успели», — я сказал это совершенно неожиданно, я никого не хотел подводить (как и все, я боялся стать стукачом, я знал, видел собственными глазами, что меня ожидает в подобном случае). Я просто ответил на вопрос. Ведь мы действительно не успели помыться, старослужащие мылись все отведенное время.

«Кто не успел... Еще кто... Может, еще кто-то...»

«Нет, помылись. Все помылись», — ответил стройный хор молодых голосов.

После этого старшина ушел завтракать, подошел Бык, его кровать была под моей, и он почему-то ненавидел меня.

«Что, стукач...»

Бык обладал огромным авторитетом. С ним никто[9] не стал спорить.

«Нет, я не стукач, разве я кого-нибудь назвал». Я начал оправдываться. Куда там. Ярлык был готов. Этого было уже достаточно. С этого все началось.

---

[8] Сапоги и ремень, остальное на себе, спали-то не раздеваясь.

[9] Дембеля относились ко мне хорошо, после этого случая я как-то слышал разговор: «А он мне нравился. Я от него не ожидал». Но дембеля не дедушки. Дембеля уже уходили домой.

Молодые начали меня сторониться, их на меня натравливали, всяческие унижения и насмешки надо мной со стороны моего призыва поощрялись дедушками. Это был беспроигрышный вариант.

ГЛАВА 17. СТИРКА

Стирать мы ездили сами, возили белье и стирали. Солдаты должны были сами стирать.

Загружали белье в стиральные машины. Доставали. Вешали сушить. Работы хватало.

Я всегда изъявлял желание — всего несколько человек, все молодые и подальше от роты.

В этот раз со мной ездил шустрый паренек из Молдавии. Гуцул. На обеденном перерыве жгли костер, грелись, приходили дедушки из других частей и посылали нас за досками, ящиками. Чтоб жарче было.

Съели припасы, привезенные старшиной. Рядом — хлебозавод. У молдаванина там земляк был. И он принес булку хлеба. Целую булку.

По пути я внимательно следил за местным пейзажем. На улицах бачата [10] обстреливали нас гнилыми фруктами, объедками, иногда мелкими камнями — и матерились. Матерились они хорошо, у них врожденная способность к языкам.

Возле маленького дуканчика [11] остановились, старшина что-то себе купил.

Ехали на открытой машине, и я простудился, уже в дороге почувствовал слабость, жар, глотать было трудно. Приехали, старшина отправил меня в санчасть.

ГЛАВА 18. САНЧАСТЬ

Санчасть была маленькая. Всего четыре койки. А через перегородку жили прапорщик и младший сержант. У них был магнитофон. И я впервые услышал все эти блатные песни. Еще прапорщик играл на баяне и пел: «Как у нас на озере лилии цветут, и мою любимую Лилией зовут. Уплыву на озеро и цветов нарву и тебе, любимая, я их подарю». У него хорошо получалось. От души.

Болеть мне нравилось. Температура у меня несколько дней держалась 39,5 (чуть в госпиталь не отправили). Но чувствовал я себя хорошо, и когда спа́ла температура, я расстроился.

Получку, 9 чеков, мне прямо в палату принесли. И сразу же гонцы от дедушек прибежали: «Отдай!» Я не отдал и попросил прапорщика, чтобы он на все сладостей набрал. Сгущенка. Печенье. Si-Si. Пир горой. Дни быстро шли, я уже выздоровел, а уходить не хотелось. Прапорщик все понимал и не выписывал. Я каждый день делал генеральную уборку. Все чистил, мыл и был тише воды, ниже травы.

Но потом приехал капитан, начальник медслужбы. Я пробовал просить у него, чтобы навсегда остаться. Помогать буду сержанту. А после армии в мединститут поступать.

Не помогло. Но капитан был не виноват, штатной единицы такой нет.

И отправился я снова в роту. Там меня уже ждали... По ночам я мечтал заболеть. И еще раза два попадал в санчасть.

ГЛАВА 19. АВТОМАТ

«Добрый день. Обращаюсь к Вам с просьбой. Во время службы в ДРА я потерял друга. Помогите мне разыскать его...» Это я после армии обращался в адресный стол Донецкой области, хотел найти Саню Ткаченко.

Но оказалось, «без отчества справку навести невозможно», а отчества я не помнил.

С Саней мы вместе были в учебке, вместе приехали, и когда от меня

---

[10] Мальчишки.

[11] Дукан — магазин.

все отвернулись, он — единственный, кто со мной общался. Он сразу устроился хорошо, он располагал к себе, с открытым лицом и обаятельной улыбкой. Саня был почтальон. У него была своя каптерка, я приходил к нему, он меня угощал чаем и говорил, что все равно, несмотря на случившееся, он уважает меня больше всех.

Саня хотел, чтоб после армии мы вместе с ним жили у него в Донецке. «На сестре моей женишься, она такая красивая. Купим черную «Волгу» и будем все вместе на ней ездить».

Я не знаю, как так получилось, что Саня похитил у комбата автомат и продал [12] его Фариду [13], а Фарид проболтался. Под трибунал Саню не отдали (автомат был не зарегистрирован, это было личное оружие комбата, поэтому комбат все замял). Саню отправили в другую часть, в Газни, с тех пор я ничего о нем не слыхал.

ГЛАВА 20. «ПОМПА-27»

На узле не хватало телефонистов, вспомнили, что я механик дальней связи, и перевели меня на коммутатор. Я был — за!

Мне нравилось соединять, делать кому-то приятное. Все начальники служб, зам. командующего называли меня просто — сынок, некоторые даже имя спрашивали, для таких я все предоставлял в первую очередь.

Иногда (ночью) я подслушивал. Однажды подслушал разговор командующего с нашим комбатом, оказалось, что комбат пьяница и алкоголик, а начальник штаба тоже развратник. Еще звонил в Москву, знакомился с телефонистками, договаривался о встрече. Мечтал: как я в форме десантника гордо вышагиваю по улицам Москвы, все на меня глазеют, а телефонистка, симпатичная милая девушка, влюбляется в меня.

Для поддержания своего «авторитета» Шурику Шелковникову обещал дозвониться домой — в Новосибирск (до Новосибирска я дозвонился, а дальше...).

На обед я ходил редко, часто не ел по два дня, и когда Новиков или мой дедушка приносили мне хлеба (причем дедушка говорил при этом: «На, жуй, а то сдохнешь от голода. Сходил бы пожрать»), я впивался в хлеб и моментально его съедал. Хотел есть медленно, чтобы растягивать удовольствие, но у меня не получалось. А в столовую я боялся ходить, потому что меня там всячески унижали, сперва свои ротные, а потом кухонный наряд припахивал.

Иногда я сбегал, и мне передавали ультиматум, чтобы я больше не появлялся на обеде.

Я приходил на узел, а мой дедушка упрекал меня — почему так долго обедал. Правда, он меня не трогал. Он был лояльным.

ГЛАВА 21. МИНЫ

На коммутаторе нас было трое: я, дедушка и еще один молодой, миной ему оторвало ногу. Он выносил бачки с мусором и высыпал их вблизи минного поля. Были сильные дожди, все размыло.

Потом еще одна мина разорвалась. Недалеко от казармы, там камни были и ручеек бежал. По утрам все здесь умывались. Дедушка меня послал за мылом, я взрыв слышал. Пришел, а дедушки [14] нет.

ГЛАВА 22. ЧИСТКА КАРТОШКИ

Больше всего я боялся чистки картошки. Один раз в неделю наша рота чистила картошку, выделялись молодые, ни один черпак туда не ходил. Ни одному из офицеров или прапорщиков никогда и не пришло бы в голову послать старослужащего. Это были неписаные армейские законы.

Людей не хватало, чистка картошки обычно растягивалась с 6 вечера до 3 часов ночи. Естественно, привлекали и духов с узла.

---

[12] За 20 тысяч афгани.

[13] См. главу 34.

[14] Не моего дедушки, другого (из роты).

Для меня это было настоящее мучение. Я ведь находился между двух огней. Мой непосредственный начальник, прапорщик, запрещал мне участвовать в чистке, собирался наказывать.

А за мной приходили молодые с моей роты, просили моего дедушку, чтобы он посидел [15] (он всегда им уступал), и забирали меня насильно. У меня не было выбора: они всегда оказывались сильнее и влиятельнее прапорщика.

Мой призыв приближался к черпакам, некоторые уже собирались ушиваться. А тут на тебе — картошка.

Как-то застучал Кораблик. Его все избивали и меня ставили в пример. «Вон, смотри, — показывал на меня пальцем Шелковников, — даже он не застучал».

И я был рад, что бьют не меня, а его и что хоть сегодня меня не трогают, не до меня. Сегодня Кораблик — козел отпущения. Меня тоже заставляли его бить. Чтобы отстали, пришлось один раз изобразить что-то наподобие удара. После меня вызывал замполит: «Как, и ты тоже?»

Я молчал.

ГЛАВА 23. «ОПЕРА»

Наш узел связи присоединили к общеармейскому, и «Помпу» переводили на «Оперу».

Я радовался, сидел и мечтал. Новая часть. Меня никто не знает, я уже черпак [16], ушьюсь — и начнется новая жизнь, без издевательств и унижений.

Но на «Помпе» я ушиться не мог. «Не дай бог, ушьешься» — предупредили меня в роте.

И я пришел в новую часть в форме не по размеру, без кожаного ремня, правда, я его спустил ниже, чем обычно. Меня спросили: «Ты кто?»

Я сказал: «Черпак».

«А почему не ушит?»

«А неохота». — Я постарался быть как можно естественнее, но мне не удалось.

«Чарс будешь, или тоже неохота? Или, может, не положено?» [17].

Я уже собирался уходить, но мне сказали: «Подожди, ремешок поправь».

У Валеры Копьеноса [18] навели справку.

«Да нет, он никого не застучал, так просто — чмо».

Мы с Валерой не переносили друг друга. Он был под два метра, и над ним тоже здорово потешались, авторитетом на «Помпе» он не пользовался.

Вместе с местными духами мне пришлось мыть полы, и т. д. и т. п. — параллельно я пытался улизнуть.

Ходил в гарнизонную поликлинику, на прием к невропатологу. Говорил ему, у меня — нервы, но он не реагировал. Предлагал свои услуги в качестве уборщика — не взяли. Снова, как и в помповской санчасти, мечтал попасть в госпиталь, а после службы поступить в мединститут. Ходил в особый отдел, хотел устроиться туда. Начальник был мой земляк (телефонный знакомый). Не вышло. Даже садовником в Сад Амина хотел. Прапорщик Сосков, мой прямой начальник, тоже — земляк, и я хотел с ним искренне поговорить. А он сказал: «Товарищ солдат, почему у вас подворотничок неправильно пришит [19] и ботинки почему не блестят?»

---

[15] За коммутатором.

[16] Двенадцать ударов ремнем ниже спины разделили мою армейскую жизнь на две части.

[17] Духам и стукачам запрещалось употреблять наркотики.

[18] Валеру перевели вместе со мной.

[19] За все два года я так и не научился орудовать иголкой.

ГЛАВА 24. БЭТЭЭРЫ

С Заса [20] меня перевели на простой коммутатор, а там всего два человека вместе со мной, теперь хоть на смене я мог расслабиться и отдохнуть.

Мне было девятнадцать, водки я никогда не пил, курить не пробовал, женщин не было, ни одной.

Я был мальчиком во всех отношениях, писал мамочке письма, заверял ее в своей любви.

И делал заметки в своей тетради: «...я никогда не смогу что-нибудь уворовать у государства и в то же время не только не помешаю другим это сделать, но даже могу косвенно помочь. Возьмем, к примеру, сегодняшний день. Кто-то, с риском для себя, пошел в столовую, принес икру, консервы, хлеб; заскочил в сад [21], набрал полную сумку яблок. Как охарактеризовать его поступок и общественное мнение о нем?

Я бы никогда не пошел на это (хотя словами я подталкивал), и, конечно, не из-за своих принципов, может быть, из-за трусости... я тоже в числе первых с жадностью ел...»

Еще я мучился: «...какую лично мне занять позицию в борьбе с пьянкой, курением, наркотиками?.. Возможно ли введение сухого закона? Созреет ли человечество? Если нет, то что же будет впереди, например, при коммунизме?..»

Ночью звонили мало, времени было много, дедушка спал, а я читал. У меня нашелся родственник. Советник. Целый полковник. Он был недавно в отпуске и привез мне передачу из дому — яблок и книгу стихов Баратынского.

И еще я попросил у одного прапорщика две фотографии с видом дворца Амина и отправил их маме и брату.

Когда дедушка садился за коммутатор, я закрывался в туалете и выбирал бельевую вошь. Мандавошки. Их называли бэтээрами. Они были крупные, жирные. Селились в складках.

Я несколько раз кипятил ХБ, с трудом от них избавился.

ГЛАВА 25. ВТОРОЙ ПОЦЕЛУЙ

Один прапорщик начал почему-то читать лекцию о вреде рукоблудия. Рассказывал о своей жене: «Вот приду (ему было за сорок), еще ребенка заведу».

С чего это он вдруг?

Скоро у нас на коммутаторе появились женщины.

У нее были такие красивые ноги. Потом мы остались одни (случайно, один раз). Она поцеловала меня и сказала: «Бедный мальчик».

А первый... В школе нас выпускали на перемену по очереди, сперва выходили отличники.

Я выходил самым первым и становился в коридоре возле стены. А она подошла ко мне, наклонилась и поцеловала прямо в губы. Ей тоже было семь лет.

ГЛАВА 26. КОРЕННОЙ ПЕРЕЛОМ

Дембеля ушли, мой призыв стал дедушками, теперь верховодить стали Гена Грозин и Дима.

Дима ходил по казарме и размахивал унчаками. Его слово было закон.

Гена — высокий, стройный, красивый. Мы часто втроем беседовали на всякие эстетские темы. Диму призвали с юрфака, а Гена, как и я, пробовал писать рассказы, стихи, на этой почве мы подружились. Все это знали, наши койки стояли рядом.

И сейчас все поспешили изменить отношение ко мне. Я стал уважаемым дедушкой. Третьим человеком в части. Привилегии посыпались на

---

[20] Засекреченная связь. У меня допуска не было, и как появилось кем заменить, меня сразу же и заменили.

[21] Сад Амина.

меня, как из рога изобилия. Я стал хорошо питаться, нам троим приносили пищу из офицерской столовой.

За коммутатором я почти не сидел, брал с собой книги и читал. После смены часто ходил заниматься в полковую библиотеку, меня охватила жажда знаний. После нескольких дней такой жизни я даже постель перестал заправлять.

А когда меня назначили дневальным (дежурным по части был молодой лейтенант, недавно прибывший из Союза), к тряпке я не притронулся, на тумбочке не стоял. И ночью стал убеждать лейтенанта в необходимости дедовщины, так должно быть, говорил я, ничего не поделаешь.

ГЛАВА 27. ТИШИНА

За все время в нашей части не было ни одного ЧП. Никого не убили, никого не ранили.

Одного сержанта (он собирался в военное училище) комбат представил к медали «За боевые заслуги».

Сам комбат получил орден Боевого Красного знамени. Жизнь текла тихая, в столовой давали сушеную картошку и мясо кенгуру из Новой Зеландии.

На ужин — рыбные консервы из Темрюка [22]. Сигареты выдавали «Охотничьи» из Краснодара. И в магазинах сок яблочный тоже из Краснодарского края. Приятно [23].

На смену мы ходили строем. Узел связи находился в бывшем дворце Амина. И кроме пейзажа, который открывался по дороге, на глаза ничего не попадалось. В Кабуле я был всего три раза — по приезде, по дороге в госпиталь и по дороге на дембель.

Экскурсий никаких не проводилось, ни лекций, ни бесед. На смене делать было нечего.

Ходили смотреть на кроликов, комбат их держал для себя. Как-то за этим занятием он нас и застал.

— Что, юннаты не вы...н-ные.

Самым острым ощущением был сбитый над штабом армии советский вертолет, который распадался на части, прямо на наших глазах.

ГЛАВА 28. ПИСЬМО

Гена Грозин перехватил у Тимашова [24] письмо, где он описывал матери свои подвиги: «...пробираюсь с донесением в штаб, везде духи, отстреливаюсь. Уже 18 убил. Еще одного убью, и орден дадут...»

Вот за это историческое послание Гена с Димой и решили его наказать. Как раз вечером принесли спирт, они были навеселе и послали за Тимой.

Я с трудом удержал их. Тима был беззащитный. Типичный маменькин сынок, призвался со второго курса института. Интеллигент в очках.

С этого дня Тима пытался быть поближе ко мне. И в строю рядом стать, и в столовой на одну лавочку сесть.

ГЛАВА 29. ЗЛОСТНЫЙ ДЕДУШКА

Духов я не бил, но заставлял учить наизусть Гимн Советского Союза и Интернационал.

И дошел до того, что перестал сам стирать себе ХБ. Как-то на дежурстве припахал одного молодого. Он, постирав, повесил его [25] сушиться на железной вешалке у дизеля. Чтоб быстрей высохло. Но, видно, слишком близко повесил, вешалку затянуло. Дизель сломался, и весь узел связи пришел в бездействие на целый час. Маленькое ЧП.

---

[22] Краснодарский край.
[23] Я тоже из Краснодара.
[24] Дедушка нашего призыва.
[25] ХБ.

Было расследование. Замполит сказал: «Ну что, под суд тебя... или 30 тысяч будешь платить» [26].

Но все обошлось, у комбата было хорошее настроение — орден, скоро полковника получит, а замполиту досрочно — капитана. Меня даже не наказали.

ГЛАВА 30. ГЕПАТИТ

В начале зимы я заболел, попал в инфекционный госпиталь (где и проторчал полмесяца).

Госпиталь занимал обширную территорию, несколько одноэтажных модулей. Желтуха... Брюшной тиф... Мест не хватало, развернули палаточный городок. Двое десантников в теплых бушлатах повели на карантин. Душ. Горячей воды не было. Дедушки и черпаки не мылись, духи обязаны были мыться.

Затем все проходили через каптерку, маленький толстенький солдат с гнилыми зубами требовал деньги, часы...

У меня ничего не было. У рядом стоящего каптерщик забрал ручку [27].

«Я дед», — возмутился тот.

«Ну и что, я собираю коллекцию», — объяснил каптерщик.

Сдали обмундирование, сапоги.

Узкие проходы разделяли двухъярусные койки, нижние были заняты. Я взобрался наверх и лежал, ни с кем не вступая в разговор.

Кто-то бесцеремонно подергал меня за ногу.

«Пошли за картошкой».

«Я дед», — произнес я тихим голосом, вышло не очень уверенно. Но молодой отстал, ушел доставать картошку сам. В конце коридора стоял телевизор, я тоже пристроился, немного постоял.

Даже без ХБ нетрудно было определить, кто сколько прослужил, — по прическе, манере себя держать и по пижаме, которая сразу же ушивалась. Один дух объявил себя черпаком, но был разоблачен и жестоко наказан.

Кроватей не хватало, одеял тоже. Столовая-палатка валилась, все не вмещались, было три смены. Смены ели из одной и той же посуды. Ложек вообще не было. Все жили надеждой попасть в Союз и ждали отправки.

ГЛАВА 31. КРАСНОВОДСК

Нас прибыло шестнадцать человек, по дороге нас встретил один щупленький чеченец и нагло заявил: «План [28], деньги сюда». И все, в том числе и дедушки, послушно полезли в карманы.

С нами был один десантник. Герой Баграма. Чеченец его выделил особо, начал выворачивать у него карманы, и десантник сам помогал ему в этом, оправдываясь: «Да разве я б не дал. Ну, честное слово, нет».

Мне повезло еще в первый день, рядом лежал дедушка с разведроты. Мой земляк. Он пользовался авторитетом. Имел награды. Я с ним повспоминал родные места и постарался, чтобы на наш разговор все обратили внимание. И все пошло как по маслу.

ГЛАВА 32. ЛАДА

Лечили — капельницы ставили. Ничего не болело. Аппетит зверский, кормили хорошо, но, несмотря на это, мы с Лешей питались в нескольких столовых одновременно. В двух своих — и еще ходили в столовую для раненых. Я весил всего 58 кг, а до армии 67 было.

Фильмы показывали, на экскурсии возили, на Каспийское море. Библиотека была, и все ходили записываться, книги выдавала девушка со звучным именем — Лада.

---

[26] Рублей, не афгани.
[27] Не простую, а гонконговскую ручку с часами.
[28] Наркотик, то же, что чарс.

ГЛАВА 33. БАГРАМ[29]

Я рассчитывал, что удастся протянуть до дембеля, возвращаться не хотелось, оставалось всего два месяца до приказа. Но отправили. На реабилитацию.

И началась тоскливая жизнь. Кормили плохо. На работу гоняли. Снаряды грузили, килограммов под сто ящики. Строевым заставляли заниматься. Песни петь. А замполит будил всех в 6 утра и бегать заставлял. Все просились в свои части. Не отпускали. Положена реабилитация — месяц.

Я позвонил комбату (нас, связистов, собралось человек шесть), и за нами приехал старлей. Мы сбежали.

ГЛАВА 34. ТОРГОВЫЕ КОНТАКТЫ

Торговля процветала, афганцы люди добродушные, брали все. Колеса, кондиционеры[30], сигареты, сгущенку, консервы, соки, печенье и даже солдатское обмундирование, начиная с шапок и ремней, и до нижнего белья включительно.

В основном торговля велась через водителей и наряд ВАИ[31] (на «Помпе», напротив казармы,— кишлак, в кишлаке жил местный купец Фарид, с ним и имели дело, вещи и деньги перебрасывались через минное поле).

За всю службу я так ничего и не продал, хотя пытался вместе с Геной сбыть колесо. В торговый контакт я вступил только один раз, когда возвращался с реабилитации. У развилки мы остановились.

Там как раз наши танк делали[32] (я тогда впервые побывал внутри танка). Рядом была целая стая мальчишек. У меня было несколько чеков, и я купил у них открытки[33] с изображением девушек.

Потом я надел шинель старшего лейтенанта. Подходили местные афганцы. Сорбосы[34] с нашими ППШ. Хлопали по плечу: «Командор-командор, чарс нужен».

ГЛАВА 35. ДОМОЙ

Альбомов[35] я не готовил, фотографий у меня было всего пять штук, и то снялся случайно, на одной фотографии — с собакой. Пса, как и большинство армейских собак, звали Дембелем.

Никаких аксельбантов, подставок под погоны, значков, ничего этого я тоже не делал.

Только тетрадь с армейским фольклором. «...почему до сих пор никто не собрал солдатский фольклор и не издал книгу? Это нужно сделать...»,— записал я в своем дневнике.

Билетов на Краснодар не было, и Тима[36] пригласил меня к себе в Темиртау.

Спустя два года мама мне писала: «... ты сразу не поехал домой, где тебя так ждали, ты поехал к другу... прежде чем сказать: «мама, здравствуй»... ты мне свою одежду вручил и сказал: все спалить...»

От друга[37] я, примерно в это же время, тоже получил письмо: «...мы не писали[38] друг другу, и между нами не существует общих тем и понятных слов... Будешь в Питере, заходи, поговорим. Привет, Тим»,— и фотографию зачем-то прислал, лежит на пляже в солнцезащитных очках. Фотографию я нзорвал вместе с письмом.

1988/1989 — Керчь; Москва 15—18 января 1991 года

---

[29] Город в ДРА.
[30] Кондиционер стоил 25 тысяч афгани (за эту сумму можно было купить двадцать пар джиисов).
[31] Военная автоинспекция.
[32] Ремонтировали.
[33] Не порнографические.
[34] Воины.
[35] Дембельских.
[35] Это тот Тима, за которого я заступался.
[37] От Тимы.
[38] Я ему первый написал.

Артур Хейли

ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ

РОМАН

9

Напряжение в кабинете Альберто Годоя постепенно спадало...

— Мистер Годой,— сказал Партридж,— несмотря на небольшое недоразумение в начале нашей встречи, вы все же очень нам помогли. Как бы вы восприняли наше предложение повторить все, что вы нам рассказали, перед видеокамерой?..

Годой отрицательно помотал головой.

— Нет, спасибо.

Как будто читая его мысли, Партридж продолжал настаивать:

— Нам незачем называть ваше имя или показывать лицо. Мы можем сделать так называемое силуэт-интервью, дав свет сзади, так что зрители увидят лишь ваши очертания. Мы можем даже изменить ваш голос...

— Ну что ж...— Гробовщик заколебался...

И Минь Ван Кань приготовился записывать интервью, которое Дон Кеттеринг должен был взять у Альберто Годоя.

Это предложил Партридж: он видел, что Кеттеринг хочет и дальше участвовать в расследовании... А кроме того, сам Партридж намеревался заняться другим.

Он уже знал, что при первой же возможности вылетит в Боготу. Партридж был убежден: настало время начинать самостоятельный поиск в Латинской Америке, и, разумеется, отправной точкой должна стать Колумбия.

На обратном пути из Куинса Дон Кеттеринг объявил:

— Пожалуйста, высадите меня, как только вы въедем на Манхэттен. Я попробую напасть на след меченых денег...

Партридж не возражал, и, миновав мост Куинсборо, они разделились. Джип продолжал путь к телестанции Си-би-эй, а Кеттеринг и Мони поймали такси и отправились в брокерскую контору, находившуюся чуть в стороне от Лексингтон-авеню, рядом с отелем «Саммит».

Помещение, куда они вошли, было просторное...

Секретарша, сидевшая в дальнем конце комнаты, увидела двух телекорреспондентов, улыбнулась в знак того, что узнала Кеттеринга, и сняла телефонную трубку...

Дверь, перед которой сидела секретарша, открылась, и из нее вышел толстяк с густыми бровями; он тепло поздоровался с Кеттерингом:

— Рад тебя видеть, Дон... Чем мы можем быть полезны?

— Спасибо, Кевин... Можешь на полчаса усадить меня за какой-нибудь стол с телефоном?

— Стол с телефоном — не проблема... В твоем распоряжении мой кабинет — там тебе никто не будет мешать...

Когда они остались одни, Кеттеринг сказал Мони:

— Еще студентами мы с Кевином во время летних каникул подрабатывали посыльными на нью-йоркской фондовой бирже и с тех пор не теряем друг друга из виду. Хочешь профессиональный совет?

Мони кивнул.

— Конечно.

Окончание. Начало см. «Знамя» №№ 10, 11, 1991.

— Корреспондент, — а похоже, ты можешь им стать, — должен иметь много знакомых, причем не только среди элиты, но и таких, что попроще; время от времени надо наведываться к своим знакомым, как мы сейчас, иначе их можно потерять. Это способ получения информации, подчас самой неожиданной. И еще запомни: люди с радостью помогают телерепортерам; даже если кто-то позволяет тебе пользоваться своим телефоном, ему уже кажется, что он к тебе приблизился, и почему-то бывает за это благодарен.

Говоря это, Кеттеринг извлек из внутреннего кармана несколько стодолларовых банкнот, позаимствованных у Альберта Годоя, и разложил на столе.

— Сначала попытаем счастья с бумажками, на которых написаны фамилии. Затем, если потребуется, перейдем к номерам счетов. — Взяв со стола купюру, он прочел: — Джеймс У. Мортелл. — И добавил: — Попробуй отыскать его в телефонном справочнике Манхэттена, Джонатан.

Через две-три минуты Джонатан объявил:

— Есть.

Он диктовал номер телефона, а Кеттеринг нажимал на соответствующие кнопки на телефонном аппарате. После двух гудков приятный женский голос ответил:

— Слесарно-водопроводная фирма Мортелла.

— Доброе утро. Вас беспокоит Дон Кеттеринг. Корреспондент по экономическим вопросам Си-би-эй.

Пауза, затем удивленно и недоверчиво:

— Это розыгрыш?

— Вовсе нет, мэм. — Кеттеринг говорил непринужденно и приветливо. — Мы тут на Си-би-эй кое-что выясняем... По правде говоря, это имеет отношение к стодолларовой купюре, на которой значится фамилия вашего мужа.

— Знаете, — задумчиво произнесла женщина, — некоторые клиенты платят наличными, в том числе и сотенными купюрами... Когда мы кладем деньги на счет в банке, кассиры иной раз пишут на них нашу фамилию. Наверно, это не положено, но некоторые так делают...

— А вы не будете возражать, миссис Мортелл, если я попрошу вас назвать банк?

— Отчего же не назвать. Это Сити-банк. — И она продиктовала адрес филиала в центре города.

— Спасибо. Это меня как раз и интересовало...

Он выбрал еще одну стодолларовую купюру. Оказалось, она из кондитерского магазина на Третьей авеню. Мужчина, снявший трубку, заподозрил что-то неладное и после первых вопросов явно собирался нажать на рычаг... В конце концов прозвучало название банка, куда владелец магазина регулярно сдавал свою выручку, в том числе и крупные купюры. Это был банк Америкен-Амазонас на Даг-Хаммершельд-плаза.

Следующая купюра познакомила их со словоохотливым управляющим в магазине мужской одежды. Он откровенно признался, что магазин имеет счет в отделении банка Ломи на углу Третьей авеню и Шестьдесят седьмой улицы...

Повесив трубку, Кеттеринг сгреб стодолларовые купюры и сказал Мони:

— У нас на руках козырной туз. Больше не надо никуда звонить. Трое человек из пяти назвали один и тот же банк — слишком много для простого совпадения. Фамилии на купюрах, попавших в Сити-банк и Ломи, скорее всего были написаны раньше, затем эти деньги вновь поступили в обращение и наверняка опять же прошли через Америкен-Амазонас...

— Значит, едем на Даг-Хаммершельд-плаза, — догадался Мони.

— А куда же еще, черт возьми! Вперед.

10

В Америкен-Амазонас сразу же узнали Дона Кеттеринга — чутье подсказало ему, что его появление в этом банке не было неожиданностью.

Они вошли в кабинет, управляющий двинулся им навстречу, протянув руку для рукопожатия. Судя по табличке на его столе, это был Эмилиано В. Армандо-младший.

— Очень рад познакомиться, мистер Кеттеринг. Я часто вас вижу и почти всегда восторгаюсь вашими передачами. Я в общем-то поджидал вас или ваших коллег с минуты на минуту. Мы переживаем тяжелое, смутное время, впрочем, я уверен, вы и сами это понимаете.

Кеттеринг подался вперед. Управляющий, видимо, считал, что тот что-то знает, а он об этом понятия не имел. Кеттеринг осмотрительно заметил:

— Да, к сожалению, так слишком часто бывает.

— Просто из любопытства — как вы узнали? Я подумал, не из сообщения ли в «Пост»? — спросил Армандо.

Кеттеринг наморщил лоб.

— Возможно, я его и читал. У вас, случайно, не найдется экземпляра?

Армандо открыл ящик письменного стола и достал газетную вырезку, вложенную в папку из пластика. Заголовок гласил: «ДИПЛОМАТ ООН УБИВАЕТ ЛЮБОВНИЦУ И КОНЧАЕТ С СОБОЙ В ПРИСТУПЕ РЕВНОСТИ». Когда Кеттеринг прочел, кем были двое погибших — Хельга Эфферен, служащая банка Америкен-Амазонас, и Хосе-Антонио Салаверри, сотрудник постоянного представительства Перу при ООН, — стало понятно, чем расстроен управляющий.

Пытаясь нащупать возможную связь между этим событием и тем, что их интересовало, Кеттеринг спросил:

— Вы, конечно же, были знакомы с женщиной, которая у вас работала. А мужчину, Салаверри, вы знали?

— Я склонен говорить с вами начистоту, мистер Кеттеринг — ведь шила в мешке не утаишь. Однако у меня есть обязательства перед банком. Мы являемся крупным и уважаемым заведением в Латинской Америке, в то же время у нас есть целый ряд других филиалов в Соединенных Штатах. Не могли бы вы подождать пару дней, чтобы я успел проконсультироваться со старшим управляющим, который находится в другой стране?

Так значит **есть** связь! Повинуясь интуиции, Кеттеринг решительно мотнул головой.

— Под угрозой находятся безопасность и жизнь людей. Возникает вопрос: а не связана ли с похищением семьи Слоуна смерть Эфферен и Салаверри?

Если до сих пор Армандо был только встревожен, то слова Кеттеринга возымели эффект разорвавшейся бомбы. Он был совершенно ошеломлен и, положив локти на стол, уронил голову на руки. Через несколько секунд он взглянул на Кеттеринга.

— Да, возможно, — прошептал он...

— Крупная сумма денег — как минимум десять тысяч долларов наличными, а может быть, и значительно больше — была передана похитителям через посредство вашего банка.

Управляющий мрачно кивнул:

— Различные сотрудники миссий при ООН имеют доступ к нашим счетам, в частности, один из них полностью контролировался мистером Салаверри.

— Этот счет принадлежал постоянному представительству Перу?

— Да, он имел отношение к перуанской миссии. Хотя я не уверен, что другие дипломаты знали о его существовании, так как только Салаверри имел полномочия ставить подпись и снимать деньги... В течение последних нескольких месяцев на этот счет поступали, а затем изымались крупные суммы денег — все совершенно законно, банк проделывал свои обычные операции; вот только одно было несколько странно. Мисс Эфферен из кожи вон лезла, чтобы самой заниматься этим счетом, в то же время она скрывала сведения о положении дел и операциях, производимых в рамках этого счета.

— Другими словами, источник поступления и лицо, которому выплачивались деньги, хранились в тайне.

Армандо кивнул:

— Совершенно верно.

— А кто снимал деньги?

— Всякий раз, судя по подписи, это был Хосе-Антонио Салаверри. Других подписей на бланках нет; каждая выплата производилась наличными.

— Вы отрицаете версию полицейских относительно смерти Эфферен и Салаверри. Почему?

— Я подумал: тот, кто пропускал деньги через этот счет, — если исходить из предположения, что Салаверри является посредником, в чем я не сомневаюсь, — скорее всего и совершил оба убийства, обставив их как убийство-самоубийство. Но сейчас, когда вы сообщили мне, что здесь замешаны похитители семьи Слоуна, я почти уверен, это их рук дело... Наверно, эти двое знали слишком много...

— Имена похитителей, к примеру?

— Допускаю и это.

— А что вы думаете насчет источника поступления средств, которыми распоряжался Салаверри? Откуда шли деньги?

Армандо вздохнул:

— Мистер Кеттеринг, доводилось ли вам слышать об организации под названием «Сендеро луминосо» или...

— «Сияющий путь»? — закончил за него Мони.

Кеттеринг насупился и мрачно бросил:

— Доводилось.

— Мы до конца не уверены, — сказал управляющий, — но не исключено, что именно эти люди переводили деньги на счет.

Расставшись с Кеттерингом и Мони на манхэттенской стороне моста Куинсборо, Гарри Партридж и Минь Ван Кань решили выкроить время и пообедать пораньше в «Вольфе деликатессен» на углу Пятьдесят седьмой улицы и Шестой авеню...

Там Партридж поведал Миню о намерении вылететь в Колумбию, может быть, завтра. Он добавил, что сомневается, стоит ли ему брать с собой кого-нибудь — он поговорит на эту тему с Ритой. Но если возникнет необходимость в съемочной группе — завтра или позднее, — ему бы хотелось, чтобы Минь был с ним.

Ван Кань помолчал, обдумывая свое решение. Потом кивнул.

— Хорошо, Гарри, ради тебя и Кроуфа я на это пойду. Но в последний раз — с приключениями покончено...

В комнате для совещаний Рита подозвала Партриджа, помахав рукой.

— Тебя пытается застать какой-то человек. Звонил трижды, пока тебя не было. Имя назвать отказался, уверяет, что ему надо срочно сегодня с тобой поговорить...

В следующее мгновение в комнату влетел Дон Кеттеринг, за ним — Джонатан Мони.

— Гарри! Рита! — вскричал Дон Кеттеринг прерывающимся от быстрой ходьбы голосом. — По-моему, мы вскрыли банку с червями!

За двадцать минут Кеттеринг изложил все, что они узнали за сегодняшний день...

— Перу — вот где собака зарыта.

— Согласен, — сказал Партридж, — к тому же, Перу упоминалось и раньше.

Он вспомнил свой разговор с Мануэлем-Леоном Семинарио, владельцем и редактором выходящего в Лиме журнала «Эсцена». Семинарио не сказал тогда ничего конкретного, однако заметил: «Сейчас похищение стало в Перу почти образом жизни».

Партридж повернулся к Рите:

— Я хотел бы оказаться в Перу за двадцать четыре часа до выхода в эфир нашей информации, — потом туда нагрянет армия корреспондентов. Начнем работать прямо сейчас и будем сидеть всю ночь до тех пор, пока не составим передачу. Собери совещание группы в полном составе к пяти часам вечера.

— Слушаюсь, сэр! — с улыбкой произнесла Рита, любившая действовать, а не сидеть сложа руки.

В этот момент на ее столе зазвонил телефон. Сказав: «Алло!», — она зажала трубку ладонью и прошептала Партриджу:

— Это тот самый человек, который пытается дозвониться до тебя целый день.

Партридж взял трубку.

— Не обращайтесь ко мне по имени в течение всего разговора. Ясно? — Голос на другом конце провода звучал приглушенно — наверняка специально, — но Партридж узнал своего знакомого адвоката, связанного с кругами организованной преступности. — Если когда-нибудь вы вздумаете ссылаться на меня, я под присягой покажу, что вы лжете, и буду все отрицать... Я рисковал шкурой, чтобы раздобыть эти сведения, и это может стоить мне жизни. Посему, когда наш разговор закончится, мой долг будет оплачен сполна. Понятно?

— Совершенно понятно.

— Некоторые из моих клиентов имеют связи в Латинской Америке... Людей, которых вы разыскиваете, вывезли из Соединенных Штатов в прошлую субботу, сейчас их содержат под охраной в Перу.

— Усвоил. Можно один вопрос?

— Нет.

— Назовите имя, — взмолился Партридж. — Кто за этим стоит?

— До свидания.

— Подождите, ради Бога, подождите! Хорошо, не называйте имени. Я сам произнесу имя, и если я ошибаюсь, дайте мне каким-то образом это понять. Если я прав, промолчите. Согласны?

Пауза. Затем:

— Только быстро.

Партридж набрал полные легкие воздуха и выдохнул:

— «Сендеро луминосо».

На другом конце провода — ни звука. Потом раздался щелчок: абонент повесил трубку.

11

Вскоре после того, как в темном сарае к Джессике вернулось сознание, а затем выяснилось, что ее, Никки и Энгуса держат заложниками в Перу, она решила взять на себя руководство их троицей и не позволять никому пасть духом... Если они потеряют надежду и дадут волю отчаянию, то могут сломаться и в конце концов погибнут.

Джессика была преисполнена решимости воспрепятствовать этому во что бы то ни стало.

И она знала, как этого добиться. Она закончила специальные курсы — некоторые из ее друзей отнеслись к этому как к глупой причуде...

«Спасибо вам, бригадир Уэйд, и да хранит вас Бог! Когда я посещала тренировки и слушала лекции, думала ли я, что ваша наука пригодится мне в жизни...»

Сержант Уэйд был захвачен в плен в 1951 году в Корее... Во время своего заточения он лишь изредка перебрасывался словом с охранниками, был лишен возможности читать и видел только небо над головой.

Он спокойно и просто рассказывал о своих испытаниях в лекции, которую Джессика до сих пор помнила слово в слово: «С самого начала я понял, что они хотят сломить меня морально. Я внушил себе — им это не удастся; как бы тяжело мне ни было, пусть даже я обречен умереть в этой дыре, я ни в коем случае не должен потерять уважение к себе...»

Бригадир Уэйд обучил Джессику еще одному искусству — искусству ближнего рукопашного боя. Она оказалась восприимчивой, способной ученицей.

В первые жуткие минуты, когда их бросили в разгороженные клетки, Джессика расплакалась, услышав рыдания Никки, — мозг ее отказывался работать, и она находилась в состоянии психического шока. Но недолго. Не прошло и десяти минут, как Джессика тихо окликнула Никки:

— Никки, ты меня слышишь?

Последовало молчание, затем Никки сдавленным голосом произнес:

— Да, мам. — И подошел к перегородке между камерами. Несмотря на полутьму, мать с сыном уже могли увидеть друг друга, хотя не могли друг до друга дотронуться.

— С тобой все в порядке? — спросила Джессика.

— Кажется, да.— Затем, дрогнувшим голосом: — Мне здесь не нравится.

— Милый, мне тоже. Но придется потерпеть. Все время тверди себе, что папа и много других людей нас ищут.— Джессика надеялась, что ее голос звучал ободряюще.

Не успела она договорить, как послышались шаги и из тени появилась фигура. Это был один из вооруженных охранников, сопровождавших их в поездке,— коренастый, усатый мужчина по имени Рамон.

В хижине постоянно дежурил часовой — смена караула происходила раз в четыре часа.

Пленники быстро поняли, что не все часовые одинаково строги. Проще всего было с Висенте, который помог Никки в грузовике и по приказу Мигеля перерезал веревки у них на руках. Висенте разрешал им разговаривать сколько угодно, лишь время от времени жестами приказывая говорить тише. Самым непреклонным был Рамон, категорически запрещавший любые разговоры; остальные стражники представляли собой нечто среднее...

Прошло несколько дней, и у них сложился определенный, однообразно тягостный распорядок жизни. Три раза в день им приносили поесть — пища была жирной и невкусной: в основном, маниока, рис и лапша. Питьевую воду в пластиковых бутылках подавали в каждую камеру, иногда ставили ведро с водой для умывания. Охранники жестами предупреждали пленников, что эту грязно-коричневую воду пить нельзя.

Никки держался если и не очень бодро, то по крайней мере стабильно... Он начал пытаться завязывать разговоры с охранниками. Никки знал испанский на уровне азов, но если собеседник проявлял терпение и доброжелательность, ему удавалось обменяться с ним парой реплик и кое-что узнать. Самым общительным был Висенте.

От Висенте они узнали о предстоящем отъезде «доктора»... Однако «медсестра» оставалась с ними.

Джессика сказала Никки — пусть спросит Висенте, разрешается ли им выходить из камер подышать воздухом. В ответ Висенте лишь помотал головой. Тогда Джессика попросила передать Сокорро, что они хотят ее видеть. Никки старался изо всех сил, но опять Висенте только помотал головой — вероятно, это означало, что их просьба вряд ли будет передана...

Однако в тот день Сокорро все же появилась.

Сморщив нос от едкого запаха, она остановилась у входа в сарай и внимательно оглядела камеры — ее изящная, маленькая фигурка отчетливым силуэтом вырисовывалась в дверном проеме.

— Мы знаем, что вы медсестра, Сокорро,— поспешила сказать Джессика.— Если мы не выйдем отсюда на свежий воздух, хотя бы ненадолго, мы все тяжело заболеем.

— Вы должны оставаться в помещении. Они не хотят, чтобы вас видели.

— Но почему? И кто такие «они»?

— Это не твое дело, и ты не имеешь права задавать вопросы.

— Но у меня есть право матери заботиться о моем сыне,— запальчиво возразила Джессика,— а также об отце моего мужа, старом человеке, с которым обращаются по-скотски.

— И поделом. Болтлив не в меру. Да и ты тоже.

Интуиция подсказывала Джессике, что неприязнь Сокорро во многом напускная. Она решила сделать ей комплимент:

— У вас прекрасный английский. Вы, должно быть, долго прожили в Америке.

— Не твоего ума...— Сокорро замолчала и пожала плечами.— Три года. Ненавижу Америку. Порочная, гнилая страна.

— Мне кажется, на самом деле вы так не думаете,— осторожно сказала Джессика.— Я полагаю, к вам хорошо там относились, а сейчас вам приходится через силу нас ненавидеть.

— Думай, как хочешь,— бросила Сокорро, выходя из сарая; в дверях она обернулась.— Постараюсь, чтобы у вас было больше воздуха.— Ее губы скривились в подобие улыбки.— А то еще охранники разболеются.

На следующий день пришли двое мужчин с инструментами. Они вырезали несколько квадратов в стене напротив камер. Помещение залил яркий свет, и трое пленников теперь хорошо видели друг друга и могли рассмотреть часового. В сарай ворвался свежий воздух, чувствовалось даже легкое дуновение, благодаря которому зловоние почти выветрилось.

Но отвоеванные свет и воздух были пустяком по сравнению с теми мучениями, которые ждали их впереди. Джессика и не подозревала, сколь тяжелое испытание уже нависло над ними.

12

Через шесть дней после того, как пленники были под охраной доставлены в Нуэва-Эсперанцу, Мигель получил несколько письменных приказов от «Сендеро луминосо» из Аякучо.

Самая важная инструкция касалась видеозаписи. К инструкции прилагался сценарий, отступать от которого категорически запрещалось. За выполнением задания обязан был лично проследить Мигель.

Другая инструкция подтверждала, что в услугах Бауделько больше не нуждаются. Он должен вместе с курьером отбыть на грузовике в Аякучо, а оттуда вылететь в Лиму. Грузовик вернется в Нуэва-Эсперанцу через несколько дней, чтобы привезти новые запасы продовольствия и забрать видеокассету с записью.

Сообщение о том, что Бауделько возвращается в Лиму, не было неожиданностью для Мигеля, однако не понравилось ему. Во-первых, бывший доктор слишком много знал. Во-вторых, он, конечно, опять запьет, а спиртное развязывает язык. Стало быть, Бауделько ставил под угрозу не только существование их малочисленного гарнизона, но — что было гораздо важнее для Мигеля — его собственную безопасность.

В другой ситуации он бы велел Бауделько пойти с ним в джунгли, откуда вернулся бы один. Однако «Сендеро луминосо», славившаяся своей беспощадностью, могла жестоко расправиться с чужаком, убившим ее человека, каковы бы ни были на то причины.

Мигель все-таки отправил с курьером секретную депешу, где в самых прямых выражениях объяснил, какими последствиями чревато возвращение Бауделько в Лиму. «Сендеро» быстро примет решение. Мигель почти не сомневался, что оно будет однозначным.

Теперь Мигель стал осматривать аппаратуру для видео- и звукозаписи, доставленную из Аякучо, и решил, что сеанс видеозаписи состоится завтра утром.

С рассветом Джессика принималась за работу.

Вскоре после того как она, Энгус и Никки пришли в сознание, уже будучи в Перу, они обнаружили, что почти все содержимое их карманов, включая деньги, изъято. При них осталось лишь несколько канцелярских скрепок, расческа Джессики и маленькая записная книжка Энгуса, которая лежала в заднем кармане его брюк и при обыске просто не была замечена.

Вчера к Джессике перекочевали записная книжка Энгуса и шариковая ручка Никки. Перегородки между клетками не позволяли пленникам что-либо передавать друг другу, однако Висенте, дежуривший в этот день, услужливо взял книжку с ручкой и отдал Джессике.

Джессика намеревалась набросать портреты тех, с кем ей за это время пришлось столкнуться, пока в памяти были еще свежи их черты. Она не была профессиональной художницей, но неплохо рисовала и не сомневалась, что ее портретные наброски будут более или менее соответствовать оригиналу, если, конечно, ей когда-нибудь доведется использовать их для опознания похитителей и остальных негодяев, так или иначе причастных к их нынешней беде.

Первый рисунок, над которым она трудилась со вчерашнего дня, изображал высокого, лысеющего, самоуверенного человека,— Джессика видела его, придя в сознание в первой темной хижине.

Кто он такой? И почему там оказался? Раз он там был, значит он связан со всей этой историей, и Джессика была уверена, что он американец.

Даже если она ошиблась, все равно в один прекрасный день ее рисунок поможет его отыскать.

Когда набросок был закончен, на нем можно было узнать пилота «лирджета» капитана Дениса Андерхилла.

Заслышав звуки шагов снаружи, Джессика поспешно сложила листок с рисунком и сунула его в лифчик. Ручку и записную книжку она спрятала под тонким матрацем на своих нарах.

Почти в ту же секунду появились Мигель, Густаво и Рамон. Все трое несли аппаратуру, которую Джессика сразу узнала.

— О, нет! — крикнула она Мигелю.— Вы напрасно потеряете время, если станете это устанавливать. Никакой видеозаписи не будет — на наше содействие можете не рассчитывать.

Мигель не обратил на ее слова никакого внимания. Он не спеша установил «камкордер» на треножник и расставил лампы, подключив их через удлинитель. Шнур удлинителя тянулся из двери наружу, откуда донеслось тарахтение генератора. В следующее мгновение пространство перед тремя камерами ярко осветилось — лампы были направлены на стул, стоявший напротив «камкордера».

Все так же неторопливо Мигель подошел к клетке Джессики. Голос его был холоден и тверд.

— Ты точно выполнишь все, что я тебе прикажу, сука.— И он протянул ей три написанные от руки странички.— Здесь то, что ты должна сказать, не убавляя, не прибавляя и не перевирая ни единого слова.

Джессика взяла листки, пробежала их глазами и, разорвав на мелкие кусочки, выбросила обрывки в щели между бамбуковыми прутьями.

— Сказала — не буду, значит, не буду.

Мигель ничего не ответил — лишь посмотрел на Густаво, стоявшего рядом. И кивнул.

— Давай сюда мальчишку.

Джессика, еще секунду назад преисполненная решимости, при этих словах содрогнулась от страшного предчувствия.

Она увидела, как Густаво открыл замок, висевший на клетке Никки. Войдя внутрь, он схватил Никки за плечо и за руку, вывернул ему руку, вытолкал мальчика из клетки и подвел к камере Джессики. Никки, хоть и был явно напуган, молчал.

Джессику охватила паника, с нее полил пот.

— Что вы задумали? — спросила она звенящим голосом.

Ответа не последовало.

Рамон принес стул из другого конца сарая, где обычно сидел вооруженный караульный. Густаво пихнул Никки на стул, и двое мужчин стали привязывать его к стулу веревкой. Перед тем как связать Никки руки, Густаво расстегнул ему рубашку, обнажив детскую грудку. Рамон тем временем раскуривал сигарету.

Поняв, что сейчас произойдет, Джессика закричала, обращаясь к Мигелю:

— Подождите! Наверно, я поторопилась. Пожалуйста, подождите! Давайте поговорим!

Мигель не ответил. Наклонившись, он поднял с пола несколько клочков бумаги, которые бросила Джессика.

— Целых три страницы,— сказал он.— К счастью, я предвидел, что ты можешь выкинуть какой-нибудь идиотский фокус, поэтому дал тебе копию. Однако ты сама определила число.— Он подал знак Рамону, показав ему три пальца.

— Quéme lo bien... tre veces *.

Рамон затянулся, докрасна раскуривая сигарету. Затем, как будто отрепетировав заранее, быстрым движением вынул сигарету изо рта и прижал горящий конец к груди Никки. На мгновение мальчик онемел от неожиданности. Потом завопил от обжигающей, нестерпимой боли.

Джессика тоже закричала — диким голосом, со слезами, умоляя прекратить пытку, уверяя Мигеля, что она сделает все, что он скажет...

Рамон наблюдал за происходящим с легкой усмешкой. Он снова взял

* Прижги его как следует... три раза (исп.). (Здесь и далее прим. переводчиков.)

сигарету в зубы и сделал несколько глубоких затяжек, опять раскуривая ее докрасна. Когда сигарета как следует разгорелась, он еще раз прижег Никки грудь — уже в другом месте. И проделал то же в третий раз — Никки кричал уже во весь голос. Теперь его вопли и рыдания сопровождались запахом паленого мяса.

Мигель оставался холодно безучастным и внешне безразличным.

После третьего прижигания, выждав, чтобы шум немного утих, он объявил Джессике:

— Сядешь перед камерой и по моему сигналу начнешь говорить. Я переписал твою речь на карточки. Там то же, что ты только что прочла; карточки будут держать у тебя перед глазами. И чтобы все точно — слово в слово. Поняла?

— Да,— тупо ответила Джессика,— поняла.

Мигель метнул взгляд в сторону тихонько всхлипывавшего Никки.

— Заткнись! — Мигель повернул голову.— Рамон, держи наготове покер *.

— Si, jefe **,— кивнул Рамон. Он затянулся, и конец сигареты вновь стал ярко-красным.

Джессика закрыла глаза. Она думала о том, к чему привела ее несговорчивость. Возможно, когда-нибудь Никки простит ее. И тут ее внезапно осенило.

Дома в Ларчмонте, во время их разговора в тот вечер накануне похищения, Кроуф рассказал про сигналы, которые заложник, если его записывают на видео, может тайно передать. Теперь она изо всех сил пыталась восстановить в памяти эти сигналы, зная, что Кроуф увидит запись... Что же там было?

Она начала вспоминать разговор в Ларчмонте — а она всегда отличалась хорошей памятью... Кроуф говорил: «Если я оближу губы, это значит: то, что я делаю, я делаю против воли. Не верьте ни единому моему слову... Если я потру или просто дотронусь до мочки правого уха, значит: похитители хорошо организованы и отлично вооружены... До левой мочки — охрана здесь не всегда на высоте. Неожиданное нападение может увенчаться успехом...»

Густаво открыл дверь в клетку Джессики и знаком велел ей выходить.

По указанию Густаво она опустилась на стул, стоявший под софитами, лицом к «камкордеру». Густаво дал ей воды, и она покорно отпила несколько глотков.

Заявление, которое ей предстояло зачитать, было написано крупными буквами на двух карточках — их держал перед ней Густаво. Мигель подошел к «камкордеру» и наклонился к глазку.

— Когда я махну рукой, начинай,— приказал он.

Он подал сигнал, и Джессика заговорила, стараясь, чтобы голос звучал ровно:

— С нами обращаются хорошо, по справедливости. Сейчас, когда нам объяснили причину нашего похищения, мы понимаем, что оно было действительно необходимо. Кроме того, нам сказали, как легко наши американские друзья могут способствовать нашему благополучному возвращению домой. Для того чтобы нас отпустили...

— Стоп!

Лицо Мигеля пылало, каждая черта выражала злость.

— Сука! Читаешь, будто это список белья из прачечной — без всякого выражения, специально, чтоб тебе не поверили, поняли, что тебя принудили; думаешь, я тебя не раскусил...

— Но меня же действительно принудили! — Вспышка гнева, в которой Джессика в следующую секунду уже раскаивалась.

Мигель подал знак Рамону, и горящая сигарета прижгла грудь Никки — тот снова взвыл.

Почти теряя рассудок, Джессика вскочила со стула.

— Нет! Не надо больше! — взмолилась она.— Я постараюсь получше!.. Так, как вы хотите!.. Обещаю!

Слава Богу, на этот раз второго прижигания не последовало. Мигель

* Покер — прибор для прижигания.
** Да, шеф. (исп.).

вставил в «камкордер» чистую кассету и указал Джессике на стул. Густаво дал ей еще воды. Минуту спустя она начала все сначала.

Собравшись с силами, она постаралась, чтобы первые фразы прозвучали как можно убедительнее, затем продолжала:

— Для того, чтобы нас отпустили, вам надлежит выполнить — быстро и точно — инструкции, прилагаемые к этой записи...

После слова «инструкции» Джессика облизнула губы. Она понимала, что подвергает опасности не только себя, но и Никки, однако уповала на то, что движение выглядело естественно и осталось незамеченным. Судя по тому, что возражений не последовало, так оно и было; теперь Кроуф и остальные поймут, что она произносит чужие слова. Несмотря на только что пережитое, она почувствовала удовлетворение и продолжала читать текст по карточкам, которые держал Густаво:

— ... но помните, если вы нарушите эти инструкции, никого из нас вы больше не увидите. Никогда. Умоляем вас, не допустите этого...

Интересно, что там за инструкции — какую цену запрашивают за их свободу похитители? Однако времени у нее остается совсем мало — как же быть со вторым сигналом? Какую мочку теребить — левую или правую?.. Какую? И приняв решение, Джессика подняла руку и как бы невзначай почесала левую мочку. Удалось! Никто не обратил внимания!

Через несколько секунд запись была окончена. Джессика с облегчением закрыла глаза, а Мигель выключил лампы и направился к двери — легкая улыбка удовлетворения играла на его лице.

Сокорро появилась только через час — час физических мучений для Никки и моральных — для Джессики и Энгуса: они слышали, как стонет на своих нарах Никки, а подойти к нему не могли. Джессика и словами, и жестами умоляла охранника выпустить ее из клетки и позволить быть рядом с Никки, и тот, хоть и не говорил по-английски, понял, о чем она просит. Он помотал головой и твердо ответил: «No se permite» *.

Наконец появилась Сокорро, как видно, по своей воле.

— Пожалуйста, помогите Никки, — попросила ее Джессика. — Ваши друзья сожгли ему грудь.

— Значит, сам напросился.

Сокорро знаком велела охраннику открыть клетушку Никки и вошла туда. Увидев четыре ожога, она поцокала языком, затем повернулась и вышла из клетушки; охранник запер за ней дверь.

— Вы вернетесь? — крикнула Джессика.

Сокорро хотела было по своему обыкновению сказать что-то грубое. Но передумала — коротко кивнула и ушла. Через несколько минут она вернулась, неся ведро, кувшин с водой и сверток, в котором оказались тряпки и марля...

— Спасибо, — с опаской сказала Джессика. — Вы все сделаете, как надо. Могу я спросить...

— Ожоги второй степени — они заживут.

— Пожалуйста, можно мне к нему? Ему всего одиннадцать лет, я же его мать. Можно нам побыть вместе, хотя бы два-три часа?

— Я спрашивала Мигеля. Он сказал — нет.

И Сокорро удалилась.

Какое-то время все молчали, затем Энгус ласково сказал:

— Я бы очень хотел сделать что-нибудь для тебя, Никки. Жизнь несправедлива. Ты этого не заслужил.

Пауза. Потом:

— Дед!

— Да, мой мальчик?

— Ты можешь кое-что сделать.

— Для тебя? Что, скажи.

— Расскажи мне про песни второй мировой войны. А одну какую-нибудь спой, пожалуйста...

---

* Не разрешается (исп.).

13

Как только — в среду днем — Гарри Партридж объявил о своем решении вылететь в Перу на следующий день рано утром, в группе поиска началась лихорадочная деятельность.

Решение Партриджа — открыть шлюзы информации примерно через тридцать шесть часов после его отъезда — повлекло за собой совещания и консультации, во время которых был выработан и одобрен приоритетный план телепередач на следующие три дня.

Однако прежде чем начать подготовительную работу, Гарри Партридж зашел к Кроуфорду Слоуну в его кабинет на четвертом этаже.

Похищение произошло тринадцать дней назад — все это время Кроуфорд Слоун продолжал работать, хотя порой казалось, что он просто механически выполняет работу, в то время как его душа и мысли поглощены совершенно другим. Сегодня он выглядел более изможденным, чем когда-либо.

— Я тебе нужен, Гарри? Ты какой-то очень сосредоточенный. Плохие вести?

— Боюсь, что да. Как мы выяснили, твою семью вывезли из страны. Их держат в Перу.

Слоун резко подался вперед, положив локти на стол; он провел рукой по лицу и проговорил:

— Я ожидал, вернее, боялся чего-то подобного. Ты знаешь, в чьих они руках?

— Мы думаем, в руках «Сендеро луминосо».

— О, Господи! Этих фанатиков!

— Кроуф, утром я вылетаю в Лиму.

— Я с тобой!

Партридж отрицательно покачал головой.

— Ты не хуже меня знаешь, что это невозможно, ничего хорошего не получится. Кроме того, телестанция на это никогда не пойдет.

Слоун вздохнул, но спорить не стал.

— Есть предположения, чего хотят эти шакалы из «Сендеро»? — спросил он.

— Пока нет. Но я уверен, они дадут о себе знать. — Оба помолчали, затем Партридж сказал: — Я назначил совещание группы на пять часов. Наверно, ты тоже захочешь присутствовать. После совещания большинство из нас будут работать всю ночь...

— Я приду на совещание, — подтвердил Слоун, — и спасибо тебе. — Партридж встал, чтобы идти. — У тебя уже нет ни минуты?

Партридж заколебался. У него было полно дел и мало времени, но он чувствовал, что Слоуну необходимо поговорить. Он пожал плечами.

— Несколько минут погоды не сделают.

— Я толком не знаю, как это выразить, и вообще, стоит ли затевать этот разговор, — после непродолжительной паузы смущенно сказал Слоун. — В общем, Гарри, я все пытаюсь понять, какие чувства ты испытываешь к Джессике. В конце концов, когда-то вы были близки.

Вот оно что: тайная мысль все-таки была высказана после стольких лет. Понимая всю важность этого разговора, Партридж тщательно взвешивал каждое слово:

— Да, Джессика мне небезразлична — отчасти потому, что когда-то, как ты выразился, мы были близки. Но главным образом я беспокоюсь о ней потому, что она твоя жена, а ты мой друг. Что касается наших давних отношений, они окончились в день вашей свадьбы.

— Наверно, сейчас случившееся побудило меня произнести это вслух, но я и раньше над этим задумывался.

— Я знаю, Кроуф, а мне иногда хотелось сказать тебе то, что я только что сказал; кроме того, я никогда не таил на тебя обиды — ни за то, что ты женился на Джессике, ни за то, что сделал карьеру. Да и с какой стати? Но я всегда опасался, что если я тебе в этом признаюсь, ты все равно не поверишь.

— Скорее всего ты был прав. — Слоун задумался. — Но если это имеет для тебя какое-то значение, Гарри, сейчас я поверил.

К пяти часам на совещание группы собрались все...

Партридж начал с подведения итогов дня, затем сообщил о своем намерении вылететь в Перу завтра на рассвете и о решении включить всю новую информацию в выпуск «Вечерних новостей» в пятницу.

— Я согласен со всем, что ты говоришь, Гарри,— прервал его Лэс Чиппингем,— но мне кажется, нам стоит пойти еще дальше — подготовить часовой спецвыпуск «Новостей» — в продолжение вечерней программы в пятницу,— где изложить всю историю похищения, включая последние материалы.

Из уже принятых решений вытекали и другие.

Партридж объявил, что Минь Ван Кань и звукооператор Кен О'Хара будут сопровождать его в Перу.

— Лэс,— сказала Рита, глядя на Чиппингема, сидевшего на другом конце стола,— для Гарри и остальных забронирован самолет компании «Лир», вылетающий завтра из Тетерборо в шесть утра чартерным рейсом. Требуется твое согласие.

— Вы проверили...— Видя, как растут расходы, Чиппингем собирался спросить: «...а рейсового самолета точно нет?»,— но поймал на себе немигающий взгляд стальных глаз Кроуфорда Слоуна.— Я одобряю.

Было решено, что Рита останется в Нью-Йорке для координации работы по подготовке «Вечерних новостей» (выпускающая Айрис Иверли) и часового спецвыпуска (выпускающие — Джегер и Оуэнс), запланированных на пятницу. В пятницу ночью Рита последует за Партриджем и другими членами группы в Лиму, а ее место в Нью-Йорке займет Норман Джегер.

Партридж, обсудивший этот вопрос с Чиппингемом накануне, сообщил, что после его отъезда нью-йоркскую группу поиска возглавит Дон Кеттеринг. Обязанности корреспондента по экономическим вопросам временно перекладываются на его помощника.

Однако, подчеркнул Партридж, ни в «Вечерних новостях» в пятницу, ни в часовом спецвыпуске, который покажут в тот же день позже,— а в обеих передачах он будет на экране,— не должно содержаться и намека на то, что он уже отбыл в Перу. Более того: если удастся выдать его выступление за «прямой эфир» — без явного обмана, разумеется,— тем лучше.

— Все, что будет происходить в течение этой ночи и последующих двух дней,— предупредил Лэс Чиппингем,— не должно обсуждаться ни с кем, даже с другими сотрудниками Отдела новостей, не говоря уже о посторонних и членах семей. И это не просьба, это приказ.— Глядя по очереди на каждого из сидевших за столом, шеф Отдела новостей продолжал: — Давайте воздержимся от действий или разговоров, которые могут повлечь за собой утечку информации и таким образом лишить Гарри тех двадцати четырех часов форы, которые ему явно необходимы. Но главное — следует помнить о том, что на карту поставлены жизни,— он бросил взгляд на Кроуфорда Слоуна,— особо близких и дорогих всем нам людей.

Были предусмотрены и другие меры предосторожности.

Завтра и послезавтра во время подготовки часового спецвыпуска перед студией и аппаратной выставят пост охраны, который будет пропускать людей строго по списку, составленному Ритой. Более того, будет отключена обычная линия связи со студией, чтобы никто, кроме работающих в студии и аппаратной, не мог по монитору наблюдать за тем, что творится внутри.

Решено было несколько ослабить режим секретности в пятницу утром — ровно настолько, насколько этого потребует предварительная реклама в течение дня. Зрителям сообщат, что в «Вечерних новостях» и в часовом спецвыпуске будет передана новая важная информация относительно похищения семьи Слоуна. В соответствии с профессиональной этикой другим теле- и радиостанциям, а также органам печати будет сообщено то же самое в течение дня.

— Еще одна деталь,— произнесла Рита; в голосе ее звучали озорные нотки.— Лэс, я должна заручиться твоим согласием еще на один чартерный рейс, когда наступит моя очередь лететь в Перу в пятницу ночью. Я беру с собой редактора Боба Уотсона и монтажную аппаратуру. Кроме того, при мне будет большая сумма наличными.

В такой стране, как Перу, где местные деньги практически ничего не

стоят, без твердой валюты не обойтись — за доллары там можно купить почти все, включая особые услуги, а они, безусловно, понадобятся.

Чиппингем вздохнул про себя. Он подумал, что Рита, несмотря на их продолжавшийся бурный роман, неосмотрительно загнала его в угол.

— Хорошо,— сказал он.— Заказывай.

Через несколько минут после того, как закончилось совещание, Партридж уже сидел перед компьютером, составляя свое выступление для выпуска «Вечерних новостей» в пятницу.

Часть четвертая

1

Около шести часов утра по времени Восточного побережья было еще темно и лил дождь; самолет компании «Лир» вылетел из аэропорта Тетерборо, штат Нью-Джерси, в Боготу. На борту самолета находились Гарри Партридж, Минь Ван Кань и Кен О'Хара.

Самолет был недостаточно мощным для беспосадочного перелета в Лиму, но они сделают посадку в Боготе для заправки и, по их расчетам, прибудут в столицу Перу в 13.30.

Партридж и двое его коллег приехали в Тетерборо на служебной машине прямо из Си-би-эй. Этой сумасшедшей ночью Партриджу удалось на полчаса вырваться в «Интер-Континентл» и уложить сумку. Он не стал тратить время на то, чтобы выписываться из отеля — утром кто-нибудь из сотрудников телестанции сделает это за него...

Самолет только успел взлететь и взять курс на Боготу, как Партридж уже спал. Проспал он три часа.

Партридж взглянул на часы: 9 часов утра по нью-йоркскому времени, то есть 8 часов утра в Лиме. Взяв план полета, которым второй пилот снабдил его перед взлетом, Партридж высчитал, что до посадки в Боготе осталось еще два часа.

К нему подкрался сон.

Когда он опять проснулся, самолет уже подлетал к Боготе.

2

Контрасты Лимы, по мнению Партриджа, были столь же разительны и неприглядны, как и политические и экономические кризисы и конфликты, раздиравшие Перу — мучительно, а подчас просто страшно.

Расползшаяся на огромное расстояние столица была разделена на несколько районов, каждый из которых поражал либо баснословным богатством, либо невероятной нищетой,— между этими двумя полюсами, подобно отравленным стрелам, скрещивалась ненависть. Здесь, в отличие от большинства городов, где бывал Партридж, золотая середина практически отсутствовала. Роскошные особняки, утопавшие в зелени ухоженных садов, были выстроены на лучших земельных участках Лимы, с ними соседствовали омерзительные барриадас — перенаселенные трущобы...

Партридж, Минь Ван Кань и Кен О'Хара приземлились в аэропорту Хорхе Чавеса в 13.40. Когда они сошли с самолета, их встретил Фернандес Пабур, постоянный хроникер Си-би-эй в Перу.

Миновав очередь, он быстро провел их через паспортный контроль и таможню — по-видимому, в какой-то момент из рук в руки перекочевала пачка денег,— а затем препроводил к «форд-универсалу», за рулем которого сидел шофер.

Фернандес был приземистый, темноволосый, смуглый и энергичный, с пухлым ртом и торчащими вперед белыми зубами, которые он обнажал каждые несколько секунд, считая, что блещет ослепительной улыбкой. Однако из-за бросавшейся в глаза фальши его улыбка никого не ослепляла — впрочем, Партриджу это было безразлично. Он ценил в Фернандесе, к чьей помощи неоднократно прибегал и раньше, безошибочную интуицию, неизменно помогавшую ему добиваться того, что нужно.

И первым в этой серии был «люкс» для Партриджа и отличные номера для двух его коллег в элегантном пятизвездном отеле «Сесар» в Мирафлоресе.

Пока Партридж приннмал душ и переодевался у себя в номере, Фернандес по его просьбе договорился по телефону о первой встрече. Партридж собирался увидеться со своим старым знакомым Серхио Хуртадо, редактором и корреспондентом Радио Анд.

Через час Партридж сидел в маленькой студии звукозаписи, которая одновременно служила Хуртадо кабинетом.

— Гарри, друг мой, не могу сообщить тебе ничего утешительного,— начал Серхио в ответ на вопрос.— В нашей стране закон перестал быть законом. Демократией уже даже не прикрываются — ее больше просто не существует. Мы обанкротились по всем статьям. Массовые убийства стали нормой, они инспирируются политическими деятелями. Партия президента имеет свои отряды смерти — люди просто исчезают, и все...

Они условились, что содержание их разговора будет оставаться в тайне до завтрашнего вечера, и Партридж, кратко изложив хронологию событий, связанных с похищением семьи Слоуна, спросил:

— Серхио, может быть, посоветуешь что-нибудь? Или, может, тебе известна какая-нибудь полезная для нас информация?

Хуртадо отрицательно покачал головой.

— Ничего такого я не знаю, и удивляться тут нечему. «Сендеро» умеет хранить свои секреты, они убивают всех, кто ведет себя неблагоразумно; хочешь оставаться в живых — держи язык за зубами. Но я постараюсь тебе помочь — попробую позондировать почву.

— Спасибо.

— Что до ваших завтрашних «Вечерних новостей», я достану кассету для передачи через сателлит и запишу за собой. Должен сказать, что у нас тут и собственных трагедий хватает.

— До нас доходят разноречивые сведения о «Сендеро луминосо». Эта организация в самом деле набирает силу?

— Да, не только набирает силу день ото дня, но и контролирует все большую территорию в стране, вот почему задача, которую ты перед собой поставил, трудновыполнима, многие сочли бы ее просто неосуществимой. Предположим, ваши похищенные находятся здесь — есть тысяча укромных уголков, где их могут прятать. Ты правильно сделал, что пришел сначала ко мне, я дам тебе пару советов.

— Каких?

— Не ищи официальной помощи — я имею в виду перуанскую армию и полицию. Наоборот, старайся избегать любых контактов с ними — им больше нельзя доверять. Когда надо кого-нибудь убрать или избить, они ничуть не лучше «Сендеро».

— Есть тому свежие доказательства?

— Сколько угодно. Если хочешь, приведу парочку примеров.

Партридж уже начал мысленно составлять репортаж для «Вечерних новостей».

Еще до приезда в Перу Партридж пришел к выводу, что у него есть только один путь отыскать похищенных. Действовать так, как действовал бы телекорреспондент в обычных обстоятельствах: использовать налаженные контакты и устанавливать новые; ездить, куда возможно; охотиться за новостями; расспрашивать, расспрашивать и никогда не терять надежды, что вдруг всплывет какой-то факт, который может стать ключевым и привести в то место, где прячут пленников.

Тогда, конечно, возникнет более сложная проблема — как их вызволить. Но всему свое время...

Следуя своему плану — действовать как телекорреспондент,— Партридж отправился на Энтель-Перу, национальную теле- и радиокомпанию со штаб-квартирой в центре Лимы. Энтель станет для него связующим звеном с Си-би-эй в Нью-Йорке, включая передачи через сателлит. Когда прибудут бригады других американских телекомпаний, что, по всей вероятности, произойдет через пару дней, они пойдут по тому же пути.

Виктор Веласко, с которым Фернандес Пабур договорился заранее, занимал пост заведующего Отделом международной информации в Энтель-Перу — человек он был деловой и замотанный. Хотя ему было лишь сорок с небольшим, он уже начал седеть, и сейчас его обычно озабоченное лицо указывало на то, что его волнуют никак не связанные с Партриджем проблемы.

— Трудно было найти для вас помещение,— сказал он Партриджу,— но все-таки у вашего редактора будет свой закуток, где он сможет разместить монтажную установку; кроме того, мы подвели туда две телефонные линии. Вашим людям понадобятся специальные пропуска...

Партридж достал конверт, в который заранее положил тысячу долларов, и учтиво протянул его Веласко.

— Небольшое вознаграждение за ваши хлопоты, сеньор Веласко. Мы с вами еще увидимся перед отъездом.

Веласко смутился, и Партридж испугался, что он откажется. Заглянув в конверт и увидев американские доллары, Веласко кивнул и сунул конверт в карман.

— Спасибо. Если будут какие-то проблемы...

— Уж будьте уверены,— сказал Партридж,— что-что, а проблемы будут обязательно.

— Почему ты так задержался, Гарри? — поинтересовался Мануэль-Леон Семинарио, когда Партридж позвонил ему, вернувшись в отель из Энтель-Перу в начале шестого.— Я жду тебя со времени нашего последнего разговора.

— У меня были кое-какие дела в Нью-Йорке... Я хотел спросить, Мануэль, ты сегодня где-нибудь ужинаешь?

— Разумеется. Я ужинаю в «Пиццерии» в восемь часов с единственным гостем — Гарри Партриджем.

В 8.15 они уже потягивали популярный перуанский коктейль «Горький писко», забористый и приятный на вкус. Владелец журнала, изящный щеголь с аккуратно подстриженной бородкой клинышком, был в модных очках от Куртье и в костюме от Бриони. Он принес с собой тонкую папку из вишневой кожи.

К концу ужина Семинарио откинулся на спинку стула.

— Ты должен быть готов к тому, что «Сендеро луминосо» уже знает о твоем приезде. Или узнает в ближайшее время, скажем, после завтрашней передачи Си-би-эй. Так что для начала надо обзавестись телохранителем, особенно если ты выходишь на улицу вечерами.

Партридж улыбнулся:

— Кажется, он у меня уже есть.

Фернандес Пабур настоял на том, чтобы заехать в отель за Партриджем и проводить его сюда. С ними вместе в машину сел молчаливый, могучий малый, похожий на борца-тяжеловеса. Судя по оттопыренному карману пиджака, он был вооружен. Когда они подъехали к ресторану, незнакомец вышел первым, Фернандес и Партридж оставались в машине, пока им не был подан знак. Так что, по всей вероятности, эскорт все еще был на месте.

— Отлично,— сказал Семинарио.— Твой человек знает, что делает.

Когда они закончили разговор, в ресторане почти никого не осталось и его собирались закрывать.

Фернандес и телохранитель ждали на улице.

По дороге в отель «Сесар» Партридж спросил Фернандеса:

— Можете добыть мне оружие?

— Конечно. Какое предпочитаете?

Партридж задумался. Благодаря своей профессии он хорошо разбирался в оружии и умел с ним обращаться.

— Мне бы хотелось девятимиллиметровый браунинг с глушителем.

— Завтра вы его получите. Кстати, о завтрашнем дне: что мне надлежит знать относительно ваших планов?

— То же, что и сегодня: встречи, встречи, встречи.— А про себя Партридж добавил: «И в последующие дни та же программа, пока с неба не свалится удача».

3

Для телестанции Си-би-эй пятница, как и следовало ожидать, оказалась жарким деньком — помимо запланированной работы, обрушилась груда непредвиденных дел.

Как обычно, в 6 часов утра программу открыла передача «Для тех, кто рано встает». В этом, как и в других выпусках в течение дня, реклама Си-би-эй чередовалась с коммерческими роликами. А реклама Си-би-эй на этот раз представляла собой записанное на пленку выступление Партриджа:

«Сегодня вечером... в выпуске „Вечерних новостей" Си-би-эй вы услышите исчерпывающий рассказ о неожиданном новом повороте в развитии событий, связанных с похищением семьи Кроуфорда Слоуна. В 21.00 по времени Восточного побережья и в 19.00 по времени Срединной полосы в эфир выйдет часовой Спецвыпуск новостей „Угроза телевидению: похищение семьи Слоуна"».

Лэс Чиппингем прослушал эту рекламу за завтраком, который соорудил на скорую руку в своей квартире на Восемьдесят второй улице. Шеф Отдела новостей спешил, зная, что сегодня целый день придется крутиться; в окно кухни он увидел лимузин Си-би-эй с шофером, который ждал его у дома. Лимузин напомнил ему об указании Марго Ллойд-Мэйсон, когда они впервые встретились и она рекомендовала ему ездить на такси,— плевать он хотел на ее рекомендации. Однако он обязан ставить Марго обо всем в известность — на это уже не наплюешь,— а она скорее всего тоже слышала рекламу; он сразу же позвонит ей из своего кабинета.

Но Марго его опередила. Как только он сел в машину, шофер протянул ему телефонную трубку, в которой тут же раздался ее лающий голос:

— Что это за новый поворот в развитии событий, и почему мне ничего не известно?

— Все это свалилось как снег на голову. Я собирался позвонить вам из своего кабинета.

— Позвоните сразу, как придете.

Примерно через пятнадцать минут, вновь связавшись с президентом телекомпании и членом совета директоров концерна «Глобаник», Чиппингем начал:

— Кое-кому из наших сотрудников удалось вытащить на свет несколько потрясающих фактов. К сожалению, для Кроуфа их не назовешь утешительными.

— Где его семья?

— В Перу. В руках «Сендеро луминосо».

— В Перу?! Вы абсолютно уверены?

— Как я только что сказал, над этим работали самые опытные из наших сотрудников, в первую очередь я имею в виду Гарри Партриджа,— и то, что они выяснили, выглядит убедительно.

Однако реакция Марго при упоминании о Перу — испуг, смешанный с удивлением,— насторожила Чиппингема, натолкнув его на мысль, что это неспроста.

Она резко сказала:

— Я хотела бы поговорить с Партриджем.

— Боюсь, это невозможно. Он в Перу со вчерашнего дня. Мы надеемся получить от него свежие новости для передачи в понедельник.

— К чему такая спешка?

— Это телестанция новостей, Марго. Мы всегда так работаем.— Вопрос его озадачил. Как, впрочем, и нотки неуверенности, даже нервозности в голосе Марго. Поэтому он спросил: — Мне показалось, вас встревожило упоминание о Перу. Не могли бы вы объяснить, в чем дело?

Марго замолчала, она явно колебалась — отвечать или нет.

— Совсем недавно «Глобаник индастриз» заключил в Перу крупную сделку. На карту поставлено многое, поэтому очень важно, чтобы наш союз с перуанским правительством оставался прочным.

— Смею заметить, что телестанция Си-би-эй не заключала никакого союза — прочного или зыбкого — с правительством Перу, равно как и с любым другим правительством.

— Си-би-эй — это «Глобаник»,— раздраженно парировала Марго. Раз «Глобаник» имеет обязательства перед Перу, значит, их имеет и Си-би-эй. Когда вы уясните эту простую истину?

Чиппингему хотелось воскликнуть: «Никогда!» Но он знал, что не может себе этого позволить, и потому сказал:

— Прежде всего мы являемся службой новостей, и наша задача правдиво освещать события. Замечу также, что правительство Перу здесь ни при чем — семью нашего ведущего похитила организация «Сендеро луминосо».

— Держите меня в курсе дела,— сказала Марго.— В случае любых изменений, особенно если речь идет о Перу, докладывайте незамедлительно, не дожидаясь, пока пройдут сутки.

Чиппингем услышал щелчок, и связь прервалась...

Марго Ллойд-Мэйсон сидела в задумчивости в своем элегантном кабинете в Стоунхэндже. Как ни странно, на сей раз она не знала, как быть дальше. Стоит ли звонить председателю правления «Глобаник» Тео Эллиоту или нет? В конце концов она решила, что должна поставить его в известность. Лучше, чтобы он услышал новости из ее уст, чем из телепередачи.

Эллиот отнесся к ее рассказу на удивление спокойно.

— Ну что ж, если похищение совершила эта шайка «Сияющий путь», по-моему, умолчать об этом невозможно. Но не забывайте, что правительство Перу здесь совершенно ни при чем: «Сияющий путь» — его злейший враг. Проследите за тем, чтобы эта мысль отчетливо прозвучала в ваших передачах. Это происшествие дает возможность показать правительство Перу в выгодном свете, так пусть Си-би-эй не упустит этой возможности.

Слова Эллиота привели ее в замешательство.

— Каким образом?

— Правительство Перу сделает все возможное, чтобы найти и освободить похищенных американцев. Их усилиям следует воздать должное — пусть репортажи нашего телевидения будут оптимистическими. Я позвоню президенту Кастаньеде и скажу: «Смотрите, как мы превозносим вас и ваше правительство!»,— что поможет нам, когда дело дойдет до последних деталей в сделке между «Глобаник файнэншл» и Перу.

Здесь даже Марго засомневалась:

— Тео, я не уверена, что стоит заходить так далеко.

— Я знаю, о чем вы подумали: мы-де оказываем нажим на средства массовой информации.— Голос председателя «Глобаник» зазвенел.— Господи. Боже мой! Разве не мы владельцы этой чертовой телестанции?! Не мешает напомнить вашим подчиненным, что телевидение — это бизнес, а значит, никуда не денешься ни от конкуренции, ни от погони за прибылями, по душе им это или нет; кстати, именно поэтому они получают свои баснословно высокие гонорары. Не нравится — убирайтесь, третьего не дано.

— Я поняла вас, Тео,— сказала Марго.

Лэс Чиппингем начал привыкать к непредсказуемости Марго, поэтому он не удивился, когда она позвонила ему. Предмет беседы оказался, однако, неприятно-тягостным, так как речь шла о прямом вмешательстве корпорации в содержание передач — время от времени такое случалось на всех телестанциях, но никогда не распространялось на освещение крупного события. К счастью, в данном случае уступка оказалась возможной.

— Никто из нас и не думает сомневаться в том, что правительство Перу здесь совершенно ни при чем,— сказал шеф Отдела новостей.— Разумеется, это будет ясно из сегодняшнего выпуска.

— «Будет ясно» меня не устраивает. Я хочу, чтобы об этом было четко заявлено.

— Я должен пролистать сценарий,— сказал Чиппингем.— Позвоню вам через пятнадцать минут.

Чиппингем позвонил через десять.

— Вот что написал Гарри Партридж: «Правительство Перу и „Сендеро луминосо" уже много лет ведут друг с другом непримиримую войну. Президент Кастаньеда заявил: „Существование „Сендеро" ставит под угрозу существование Перу. Эти преступники — нож, вонзенный в мое сердце"». Мы берем «картинку» из библиотеки и даем в звукозаписи слова Кастаньеды. — В голосе Чиппингема слышались облегчение и легкая насмешка. — Гарри как будто угадал ваши мысли, Марго.

— Годится. Прочтите еще раз. Я хочу записать.

Повесив трубку, Марго вызвала секретаршу и продиктовала текст записки для Тео Эллиота...

Специальный курьер лично доставит записку в «Глобаник индастриз».

Следующий телефонный звонок был в Вашингтон — государственному секретарю.

Всю пятницу, до выхода в эфир первого блока «Новостей» в 18.30, на Си-би-эй соблюдались особо строгие правила безопасности...

После того как последние известия были переданы, их повторили во всем мире со ссылкой на Си-би-эй как на источник информации...

Тем временем произошло новое важное событие.

Дон Кеттеринг, возглавивший группу поиска на Си-би-эй, услышал о нем около десяти вечера, когда подходил к концу часовой спецвыпуск «Новостей». Норман Джегер сообщил ему новость по телефону во время короткого перерыва на рекламу.

— Дон, надо срочно созвать совещание группы. Только что звонил Лэс. Похитители прислали в Стоунхендж свои требования и видеокассету с записью Джессики Слоун.

4

Свет в просмотровом зале медленно погас. И почти сразу же на большом, высоко поднятом телеэкране замелькали белые крупинки на черном фоне — как всегда бывает, когда пускают пустую пленку. Но оказалось, что кассета озвучена — внезапно раздались душераздирающие крики.

Крики оборвались так же внезапно, как и начались. И сразу появилось изображение — голова и плечи Джессики на гладко-коричневом фоне, каковым, очевидно, служила стена.

Джессика начала: «С нами обращаются хорошо и справедливо... Для того чтобы нас отпустили, вам лишь надлежит выполнить быстро и точно инструкции, прилагаемые к этой записи, но помните...»

При словах «но помните» Кроуфорд Слоун резко втянул в себя воздух и что-то пробормотал.

«...если вы нарушите эти инструкции, никого из нас вы больше не увидите. Никогда. Умоляем вас, не допустите этого...»

И снова Кроуфорд Слоун вдруг прошептал:

— Вот!

«Мы будем ждать, рассчитывая на вас, в надежде, что вы примете правильное решение, и нас благополучно доставят домой».

Джессика замолчала, еще секунду ее изображение оставалось на экране — лицо безучастное, глаза смотрят прямо перед собой. Затем одновременно пропали и звук, и изображение. В зале зажгли свет.

— Джессика подала два сигнала, — сказал Слоун. — Она облизнула губы, что означает: «Я делаю это против воли. Не верьте ни одному моему слову...» Мы говорили об этих сигналах вечером накануне несчастья.

— Что еще она сумела тебе передать? — спросил Чиппингем.

— Мы теряем время, — нетерпеливо сказала Айрис Иверли. — Миссис Слоун упомянула о каких-то инструкциях. Они у нас? — Айрис, невзирая на молодость — она была самой младшей из присутствующих, — никогда не робела перед начальством.

Марго, по-прежнему в лавандовом шифоновом платье от Оскара де ла Рента, в котором она встречала президента Франции, ответила:

— Они у нас... Я думаю, следует прочесть их вслух.

Один из ее заместителей взял с полдюжины скрепленных вместе листков, надел очки со срезанными до половины стеклами и придвинулся к свету...

— Называется этот документ — или, я бы сказал, эта невероятная диатриба — так: **«Время, озаренное светом, настало».**

«В истории просвещенных революций бывали периоды, когда их вожди и вдохновители избирали уделом молчание, терпение и страдание, иногда — смерть в безвестности, но эти люди никогда не теряли надежды и не опускали рук. На смену таким временам приходили другие — то были моменты торжества и победы восставшего большинства, притесняемого и угнетаемого; моменты, когда рушились системы империализма и тирании; ниспровергался насквозь прогнивший класс буржуев-капиталистов.

Для „Сендеро луминосо" время молчания, терпения и страдания кончилось. Настало время, озаренное светом Сияющего пути. Мы готовы к наступлению.

Так называемые супердержавы, заигрывая друг с другом и притворяясь миротворцами, на самом деле готовятся к гибельной для человечества войне между империализмом и социал-империализмом, так как каждая из двух систем претендует на мировое господство. В этой войне пострадают угнетенные и порабощенные массы. Если кучке денежных мешков, помешанных на власти, позволить и дальше эксплуатировать мир, они в погоне за собственным возвышением подчинят себе все человечество.

Но во всех странах, подобно вулкану накануне извержения, готова вспыхнуть революция. Возглавит эту революцию партия „Сендеро луминосо". У нее есть знания и опыт. В мире все сильнее чувствуется ее возрастающее влияние.

Пришло время, чтобы нас лучше узнали и поняли.

Долгие годы лживые капиталистические и империалистические средства массовой информации печатали и передавали лишь то, что им приказывали их жадные до денег хозяева, клевеща или умалчивая о героической борьбе „Сендеро луминосо".

Сейчас все изменится. Вот почему мы захватили и держим заложниками капиталистов.

Настоящий документ предписывает американской телевизионной станции Си-би-эй следующее: 1. Начиная со второго понедельника после получения данных требований отменить программу Си-би-эй «Вечерние новости» (оба блока) на пять дней, то есть на полную рабочую неделю. 2. Вместо этой программы передавать другую, пять кассет с видеозаписью которой будут доставлены на Си-би-эй. Название программы: „Мировая революция: „Сендеро луминосо" указывает путь". 3. Во время передачи программы „Сендеро луминосо" запрещается показ коммерческой рекламы. 4. Си-би-эй, как и все другие службы новостей, не предпримет попыток выяснить, откуда поступили кассеты. Первая же попытка выяснить происхождение кассет приведет к неминуемой гибели одного из трех находящихся в Перу заложников. Любой другой неразумный шаг окончится тем же. 5. Наши приказы не подлежат обсуждению — они должны быть точно выполнены.

Если Си-би-эй и другие телестанции будут неукоснительно следовать приказам, изложенным в настоящем документе, трое похищенных будут освобождены через четыре дня после показа пятой кассеты „Сендеро луминосо". В случае нарушения приказов заложников никто больше не увидит, и их тела никогда не будут найдены»...

Наступило молчание. Казалось, никто не хотел нарушать его первым. Некоторые посматривали на Кроуфорда Слоуна — тот сидел, сгорбившись, лицо его было мрачно.

Наконец Лэс Чиппингем произнес:

— Все это время мы ломали голову, чего они добиваются. Мы предполагали, что им нужны деньги. Как выясняется, они хотят гораздо большего.

— Действия революционеров редко бывают осмысленными — иначе думают только сами революционеры, — заметил Норм Джегер. — Однако это не значит, что их не следует принимать всерьез. Таков урок, преподанный нам Ираном. — Джегер взглянул на стенные часы над головой — 22.50 — и обратился к Чиппингему: — Лэс, если сработаем быстро, мы сможем включить в почасовой выпуск часть видеозаписи с миссис Слоун.

Если другие телестанции тоже получили кассету, они могут дать эту информацию а любой момент.

— Пусть дают,— твердо сказал шеф.— Сейчас мы играем в новых условиях, и давайте не будем пороть горячку. В полночь выйдем в эфир с бюллетенем — таким образом, у нас есть еще час на то, чтобы продумать способ подачи материала и, что гораздо важнее, наш ответ.

— Ни о каком ответе не может быть и речи,— заявила Марго Ллойд-Мэйсон.— Мы не сможем принять эти дурацкие условия.

— Решать, какова будет наша дальнейшая стратегия, должен Отдел новостей, потому что мы знаем всю подоплеку, а один из наших лучших корреспондентов, Гарри Партридж, уже находится в Перу, и нам необходимо посоветоваться с ним.

— Советуйтесь и изощряйтесь сколько угодно,— резко прервала его Марго.— Здесь затронуты интересы корпорации, и решение должна принимать администрация.

— Нет! Нет, черт побери! Корпорация не имеет к этому никакого отношения! — выкрикнул Кроуфорд Слоун.— Мы только что были свидетелями, к чему такое приводит: служащие корпорации не обладают ни знаниями, ни опытом, которые позволили бы им принимать компетентные решения. Мнение администрации мы только что слышали... Я знаю, мы не можем закрыть программу Си-би-эй и отдать ее на откуп «Сендеро» на целую неделю. Я под этим подписываюсь. При свидетелях.— Слоун замолчал, сглотнул и продолжал: — Но в Отделе новостей мы можем потянуть время, опираясь на свою компетентность и знание дела. А сейчас время для нас самое главное. Кроме того, у нас есть Гарри Партридж — наша самая большая надежда, моя самая большая надежда...

Марго, получив шанс не потерять лицо, после некоторых колебаний решила им воспользоваться.

— Очень хорошо,— сказала она, обращаясь к Чиппингему.— Можете пойти на дипломатическую уловку.

— Спасибо,— поблагодарил Чиппингем.— Надо уточнить одну деталь. Наше окончательное решение должно в течение некоторого времени сохраняться в тайне.

— Вы бы лучше заручились обещанием прочих присутствующих помалкивать.

Все напряженно слушали. Чиппингем встал лицом к залу и спросил:

— Можете дать мне слово?

Каждый по очереди подтвердил — да.

Когда Чиппингем вернулся к себе в кабинет, было 23.25. А в 23.30 он получил распечатку с сообщением агентства Рейтер из Лимы, в котором излагались требования, выдвинутые организацией «Сендеро луминосо». Через несколько минут вашингтонское отделение АП передало более подробное сообщение, в котором полностью приводился документ «Время, озаренное светом, настало».

В течение следующих пятнадцати минут Эй-би-си, Эн-би-си и Си-би-эс вышли в эфир с информационными бюллетенями, включавшими фрагменты видеозаписи Джессики... Несмотря на это, Чиппингем не изменил своего первоначального намерения: программу не прерывали, а в полночь решено было зачитать тщательно подготовленный бюллетень.

В 23.45 Чиппингем вышел из кабинета и направился на «подкову», где кипела работа.

— Мы сделаем чисто информационный выпуск,— сказал Джегер Чиппингему,— без каких-либо комментариев.

Чиппингем одобрительно кивнул.

Джегер указал на Карла Оуэнса, сидевшего по другую сторону «подковы».

— Между прочим, у него есть идея насчет того, какова должна быть наша реакция.

— Интересно послушать.

Оуэнс, младший выпускающий, добросовестный трудяга, который выдвинул уже целый ряд идей и чьи скрупулезные изыскания помогли установить личность Улисеса Родригеса, заглянул в свою карточку с записями.

— Из документа «Сендеро луминосо» явствует, что пять кассет, которые мы должны показывать вместо «Вечерних новостей», будут доставлены на Си-би-эй поочередно: первая в следующий четверг, остальные потом — по одной в день. В отличие от пленки с записью миссис Слоун, просмотренной сегодня вечером, эти кассеты попадут только на Си-би-эй. Так вот, я предлагаю не объявлять до вторника о решении Си-би-эй. В понедельник, для поддержания интереса, можно сообщить, что заявление будет сделано на следующий день. Во вторник же дать такой текст: мы воздерживаемся от комментариев до получения первой кассеты, то есть до четверга, и только тогда объявим о своем решении. Это даст нам шесть дней до четверга. Теперь давайте представим себе, что мы получаем кассету «Сендеро».

— Ну, представили. Дальше что?

— Мы прячем ее в сейф и сразу выходим в эфир с сообщением, что мы получили кассету, но она бракованная. То же самое мы дадим проглотить прессе и радио и проследим, чтобы это известие было непременно передано в Перу и достигло ушей «Сендеро луминосо».

— Кажется, до меня дошло,— сказал Чиппингем.— Но все-таки поясни.

— Банда «Сендеро» не будет знать, врем мы или нет. Но они так же, как и мы, понимают, что в принципе такое возможно. Они могут пойти на уступку и послать новую кассету, что даст нам еще несколько дней...

— Идея блестящая,— сказал Чиппингем.

Весь уик-энд требования «Сендеро луминосо» и видеозапись Джессики стояли в центре программы «Новостей», и весь мир с возрастающим интересом следил за развитием событий. На Си-би-эй непрерывно звонили телефоны. Большинство говорило: «Держитесь! Не сдавайтесь!»

Но, как ни странно, оказалось много и таких, кто не видел никакой беды в том, чтобы — ради освобождения заложников — выполнить требования похитителей; услышав подобное, Норм Джегер с отвращением заметил:

— Неужели они не могут понять, что, создав прецедент, мы поощрим всех фанатиков похищать людей с телевидения?..

Сотрудники Си-би-эй, давшие слово Лэсу Чиппингему не разглашать решения о неприятии условий «Сендеро луминосо», видимо, сдержали его. Нарушила обещание лишь Марго Ллойд-Мэйсон, которая в воскресенье рассказала по телефону Теодору Эллиоту обо всем, что произошло накануне вечером.

5

«Глобаник индастриз» занимал особняк, окруженный собственным парком, в Плезантвилле, штат Нью-Йорк, милях в тридцати от Манхэттена. Здесь работали — вдали от атмосферы повседневного прессинга, которая преобладала в промышленных и финансовых ответвлениях «Глобаник»,— высокопоставленные администраторы и умы, делающие в концерне политику.

Тем не менее, немало всяких дел, затеянных представительствами «Глобаник» в разных странах, стекалось в штаб-квартиру в Плезантвилле. Вот почему в понедельник, в 10 часов утра, Глен Доусон, репортер-стажер «Балтимор стар», дожидался главного инспектора «Глобаник», чтобы взять у него интервью по поводу ситуации с палладием. Сообщение о бунтах среди рабочих, добывающих этот ценный металл, появилось недавно в «Новостях», а компании «Глобаник» принадлежали копи палладия и платины в Бразилии — в Минас-Гераис.

Доусон сидел возле кабинета инспектора в элегантном круглом холле, куда выходили двери кабинетов двух других высокопоставленных чиновников «Глобаник». Внезапно дверь одного из кабинетов отворилась, и оттуда вышли двое. Одним из них был Теодор Эллиот, которого Доусон тотчас узнал по фотографиям. Другой тоже показался Доусону знакомым, хотя он и не мог сказать, кто это. Они продолжали начатый ранее разговор, и говорил сейчас второй мужчина.

— ...я слышал, в какую сложную ситуацию попали вы на Си-би-эй. Эти требования перуанских повстанцев ставят вас в тяжелое положение.

Председатель правления кивнул.

— Мы приняли решение, хотя еще не объявляли о нем. Мы не позволим кучке психопатов-коммунистов командовать нами — этому не бывать.

— Значит, Си-би-эй не отменяет «Вечерних новостей»?

— Безусловно, нет. Что до передачи пленок «Сендеро луминосо», черта с два мы это сделаем...

Голоса замерли в отдалении.

Прикрыв журналом блокнот, Глен Доусон наскоро записал все услышанное. Сердце у него так и колотилось. Он понимал, что обладает информацией, которую бесчисленное множество журналистов тщетно пытаются получить с субботы.

— Мистер Доусон, — окликнула его сидящая в приемной секретарша, — мистер Ликата готов вас принять.

Проходя мимо ее столика, Доусон приостановился и, улыбнувшись, спросил:

— Тот джентльмен с мистером Эллиотом... я уверен, что видел его, но никак не могу вспомнить, кто он.

Секретарша молчала; Доусон почувствовал ее нежелание отвечать и улыбнулся шире. Сработало.

— Это мистер Олден Родс, заместитель государственного секретаря.

— Конечно! Как я мог забыть?

Интервью с инспектором «Глобаник» казалось Доусону бесконечным, он пытался как можно быстрее его завершить. Наконец, сославшись на то, что ему к определенному времени надо представить материал, репортер сбежал.

Усевшись перед компьютером в скромном кабинете на Рокфеллер-плаза, Глен Доусон быстро отстучал статью про палладий. А затем взялся за вторую, более интересную. Пальцы его танцевали по клавишам, создавая вводку. Тут Доусону пришел в голову этический вопрос, который, он понимал, скоро будет задан и на который придется давать ответ: не повредит ли публикация этой информации жертвам похищения, находящимся в Перу?

Точнее: не пострадает ли семья Слоуна, когда станет известно о решении Си-би-эй отклонить требования «Сандеро луминосо» — решении, которое пока явно не собирались раскрывать?

А с другой стороны, разве публика не имеет права знать то, что сумел откопать предприимчивый репортер, независимо от того, каким путем он получил информацию?

Такие вопросы, естественно, возникали, однако Доусон знал, что это не его забота. На этот счет существовали четкие правила, и они были известны всем заинтересованным сторонам.

Репортер обязан писать обо всем, стоящем внимания. Написанное пойдет к редактору. И уже дело редактора или редакторов решать этические проблемы...

Дописав до конца, он нажал на клавишу, чтобы получить копию текста. Однако чья-то рука опередила его и вытащила из машины бумагу. Это был заведующий отделением Сэнди Сефтон, который только что вошел в помещение. Прочитав репортаж, он легонько присвистнул и поднял на Доусона глаза.

— Горячий материальчик — ничего не скажешь. Эти слова Эллиота — ты их записал сразу, как он сказал?

— Через несколько секунд. — И Доусон показал записи.

— Отлично! А ты говорил с тем, другим — с Олденом Родсом?

Доусон помотал головой.

— В Балтиморе, по всей вероятности, захотят, чтобы ты это сделал. — Зазвонил телефон. — Спорим, что это звонят из Балтимора?

Алларгис Фрэйзер был ответственным редактором «Балтимор стар». Он без обиняков начальственным тоном спросил:

— Ты ведь не говорил непосредственно с Теодором Эллиотом. Верно?

— Верно, мистер Фрэйзер.

— Так поговори. Скажи ему, что́ тебе известно, и спроси, что он может по этому поводу сказать. Если он станет отрицать, что говорил такое, напиши и об этом. Если же он будет стоять на своем и все отрицать, попытайся получить подтверждение от Олдена Родса. Ты знаешь, какие вопросы задавать?

— Думаю, что да.

Доусон набрал номер телефона «Глобаник». На коммутаторе ответил женский голос. Репортер назвался и попросил соединить его с мистером Теодором Эллиотом.

— Мистер Эллиот сейчас занят, — любезно ответили ему. — Меня зовут миссис Кесслер. Может быть, я могу вам помочь?

— Возможно. — И Доусон пояснил, зачем он звонит.

— Подождите, пожалуйста. — Тон сразу стал прохладным.

Прошло несколько минут. Доусон уже собрался повесить трубку, как вдруг линия ожила. На этот раз тон был ледяной:

— Мистер Эллиот доводит до вашего сведения, что вы слышали конфиденциальный разговор, на который нельзя ссылаться.

— Я же репортер, — сказал Доусон. — Если я что-то слышу или о чем-то узнаю, то, хотя это и не было сказано мне лично, я имею право это использовать.

— Мистер Доусон, я не вижу необходимости продолжать разговор.

— Одну минуту, пожалуйста. Мистер Эллиот отрицает, что говорил те слова, которые я вам зачитал?

— Мистер Эллиот от дальнейших высказываний воздерживается.

Доусон записал вопрос и ответ.

— Миссис Кесслер, а вы не скажете мне ваше имя?

— Зачем, собственно... Хорошо: Дайана.

Доусон усмехнулся, догадавшись, что Кесслер решила: если уж ее имя все равно появится в печати, пусть лучше появится полностью. Он не успел сказать «спасибо», как связь прервалась.

Только Доусон положил на рычаг телефонную трубку, как заведующий отделением протянул ему бумажку.

— Родс едет сейчас в аэропорт Ла-Гардия в машине госдепартамента. Это номер телефона в машине.

Доусон снова поднял трубку.

На этот раз на звонок ответил мужской голос. Доусон попросил: «Мистера Олдона Родса, пожалуйста»; в ответ прозвучало: «Он самый»...

— Мистер Родс, можете ли вы прокомментировать заявление мистера Теодора Эллиота о том, что Си-би-эй отклоняет требования «Сендеро луминосо», так как, по словам мистера Эллиота, «мы не позволим горстке психопатов-коммунистов командовать нами».

— Тео Эллиот сказал вам это?

— Я сам слышал это из его уст, мистер Родс.

— Я считал, что он говорил конфиденциально. — Пауза. — Стойте, стойте: это вы сидели там, в приемной, когда мы, разговаривая, проходили через нее?

— Да, я.

— Я требую, чтобы весь этот разговор остался между нами.

— Мистер Родс, я ведь в самом начале назвался вам, и вы ни слова не сказали, что разговор будет между нами.

— Пошел ты к черту, Доусон!

— Вот это останется между нами, сэр. Потому что теперь вы мне об этом сказали.

Заведующий отделением, широко осклабясь, поднял вверх большой палец.

В любой организации, имеющей отношение к средствам массовой информации, всегда наблюдается склонность публиковать материал, а не задерживать его. Однако некоторые материалы — а это был как раз такой — вызывают вопросы и требуют ответов. И ответственный редактор, а также редактор внутриамериканских новостей, в чьем разделе пойдет материал, задали их друг другу.

Под конец ответственный редактор заключил:

— Никакой этической проблемы тут нет. Даем материал!

И репортаж был напечатан в главном дневном выпуске «Балтимор стар» под крупным заголовком: СИ-БИ-ЭЙ ГОВОРИТ «НЕТ» ПОХИТИТЕЛЯМ СЛОУНОВ.

Еще до того как «Балтимор стар» появилась на улицах, о решении Си-би-эй знали уже все телеграфные агентства. Вечером газету цитировали во всех теле- и радионовостях, включая Си-би-эй, где эта преждевременная публикация была встречена чуть ли не с отчаянием.

А на другое утро в Перу в газетах, по радио и по телевидению особый упор был сделан на словах Теодора Эллиота насчет «горстки психопатов-коммунистов» применительно к «Сендеро луминосо».

6

— Мне нравится Висенте, — сказал Никки. — Он наш друг.

— Я тоже так думаю,— отозвался Энгус из своего угла. Он лежал на раскладной кровати на тонком грязном матрасе и от нечего делать следил за передвижениями двух большущих жуков по стене.

— Перестаньте вы так думать,— резко сказала Джессика.— Он такой же глупый и наивный, как и все тут.— И умолкла, жалея, что не может взять свои слова обратно. Ни к чему быть такой резкой.

Беда была в том, что после двухнедельного заключения в узких и тесных клетках нервы у всех начали сдавать, а настроение падать.

Да, конечно, думала Джессика, бригадный генерал Уэйд, чьи лекции по антитерроризму она посещала, настрадался много больше: он дольше них сидел в земляной яме в Корее. Но Седрик Уэйд — человек незаурядный и страдал он за то, что служил своей родине во время войны. А сейчас никакой войны нет. И они — обычные граждане, захваченные... с какой целью? Джессика до сих пор этого не знала...

Как обычно в Перу, весть о похищении семьи Слоуна дошла по радио до самых дальних уголков страны.

Во вторник утром, после того как «Балтимор стар» опубликовала понедельник заявление Теодора Эллиота об отклонении требований похитителей и его презрительный отзыв о «Сендеро луминосо», об этом услышали по радио в высокогорном городке Аякучо и в деревеньке Нуэва-Эсперанца, в сельве.

В Аякучо сообщение услышали вожди «Сендеро луминосо», а в Нуэва-Эсперанце — террорист Улисес Родригес, он же Мигель.

Вскоре между Мигелем и одним из вождей «Сендеро луминосо» состоялся телефонный разговор. Оба понимали, что телефонная линия проходит через другие селения, где кто угодно, включая армию и полицию, может услышать их разговор. Поэтому они обменивались общими фразами и завуалированными намеками, на что перуанцы большие мастаки.

Разговор сводился к следующему: что-то надо предпринять — и притом немедленно,— чтобы показать этой американской телестанции Си-би-эй, что она имеет дело не с идиотами и не со слабаками. Можно убить одного из заложников и бросить труп в Лиме, чтобы его там нашли. Мигель согласился, что это произвело бы впечатление, но предложил, однако, держать пока всех троих заложников живыми — как-никак это капитал. Он рекомендовал поступить иначе... С Мигелем тотчас же согласились, и поскольку для выполнения его затеи требовался транспорт — легковая машина или пикап,— решено было немедленно выслать первую попавшуюся машину из Аякучо в Нуэва-Эсперанцу.

На глазах у Джессики, Никки и Энгуса маленькая процессия остановилась у клеток. Это были Мигель, Сокорро, Густаво, Рамон и еще один из охранников. Шли они настолько целеустремленно, что ясно было: что-то должно произойти, и Джессика, Никки и Энгус с опаской ждали, что будет дальше.

Прошло шесть дней с тех пор, как она записалась на видеопленку, а перед этим — из-за ее отказа выступать — Никки прижигали сигаретой грудь. Ожоги уже начали подживать, так что Никки теперь уже не страдал. Но Джессика, чувствуя себя виноватой, решила ни за что больше не причинять сыну боли.

Поэтому, видя, что террористы вошли в клетку к Никки, Джессика в тревоге воскликнула:

— Что вы собираетесь делать? Умоляю, только не причиняйте ему боли. Он уже достаточно настрадался. Возьмитесь лучше за меня! Да что же вы хотите с ним сделать?

Джессика увидела, что Мигель внес в клетку Никки деревянный столик, а Густаво и четвертый человек схватили Никки и крепко держали его, чтобы он не мог шевельнуться. Джессика снова закричала:

— Это же несправедливо! Отпустите его, ради всего святого!

Не обращая внимания на Джессику, Сокорро объявила Никки:

— Сейчас тебе отрежут два пальца.

При слове «пальцы» Никки, который и так уже находился на грани истерики, отчаянно закричал и забился.

Сокорро продолжала:

— Эти люди отрубят тебе пальцы — так решено. Но тебе будет только больнее, если ты станешь отбиваться, так что сиди смирно!

Невзирая на ее слова, Никки что-то забормотал, глаза его дико вращались, и он еще отчаяннее принялся вырываться.

— Нет! — пронзительно закричала Джессика. — Только не пальцы! Он же пианист! Вы всю жизнь ему загубите...

— Я знаю. — И Мигель повернулся к ней с легкой улыбочкой. — Я слышал, как ваш супруг, отвечая на вопрос, говорил об этом по телевидению. Теперь он об этом пожалеет — когда получит пальцы сына.

— Возьмите мои! — воскликнул Энгус и протянул им руки.— Какая вам разница? Зачем портить мальчику жизнь?

Мигель вскипел, лицо его исказилось от злости.

— Какое значение имеют два пальца ублюдка-буржуя, когда каждый год шестьдесят тысяч перуанских детей умирают, не дожив до пяти лет?!

— Но мы же американцы! — возразил Энгус. — Мы не виноваты в этом!

— Виноваты! Капиталистическая система — ваша система — эксплуатирует народ, делает его нищим, губит. Вот кто виноват...

Все произошло очень быстро.

Столик, принесенный Густаво, придвинули к Никки. Невзирая на сопротивление мальчика, который брыкался, и плакал, и жалобно молил, Густаво положил указательный палец его правой руки на край стола. Рамон достал охотничий нож. И провел большим пальцем по острию, проверяя, хорошо ли нож заточен.

Убедившись, что все в порядке, Рамон приложил нож ко второй фаланге пальца Никки и быстро, всею силой своей мускулистой руки нажал сверху. Брызнула кровь. Никки пронзительно вскрикнул, но палец был отрезан лишь наполовину... Рамон вторично взмахнул ножом и довершил дело...

Не обращая внимания на хлынувшую кровь, террористы положили теперь мизинец правой руки мальчика на край стола. На этот раз Рамон одним махом отрезал его...

Сокорро, уже бросившая первый палец в полиэтиленовый мешочек, добавила к нему второй и передала мешочек Мигелю. Она побледнела, губы у нее были плотно сжаты. Она метнула взгляд на Джессику — та сидела, закрыв лицо руками, сотрясаемая рыданиями.

А Никки, побелев, упал почти без сознания на узкие нары и уже не кричал, а душераздирающе стонал. Как только Мигель, Рамон и четвертый мужчина вышли из клетки, унося с собой залитый кровью стол, Сокорро знаком велела Густаво остаться.

— Agarra el chico. Sientalo *.

Густаво приподнял Никки и, посадив его, поддержал, пока Сокорро не принесла с улицы миску с теплой мыльной водой. Она взяла правую руку Никки и, подняв ее кверху, тщательно обмыла окровавленные обрубки.

* Подержи мальчика. Посади его (исп.).

чтобы предотвратить инфекцию. Вода сразу стала ярко-красной. Затем Сокорро положила на обе раны по несколько тампонов марли и забинтовала всю руку...

Никки явно находился в шоке, он весь дрожал.

Пока Мигель еще не ушел, Джессика подошла к двери своей клетки и, обливаясь слезами, взмолилась:

— Пожалуйста, разрешите мне пойти к сыну! Пожалуйста, ну пожалуйста!

Мигель отрицательно помотал головой.

— Нечего нянчиться с трусливым щенком! Пусть mocoso * становится мужчиной!

— Да он в большей мере мужчина, чем ты. — В тоне Энгуса звучали ярость и ненависть. Он напряг память, вспоминая испанское ругательство, которому учил его неделю тому назад Никки. — Ты... ¡Maldito hijo de puta!.. **.

Мигель медленно повернул голову. Он посмотрел в упор на Энгуса ледяными, злобными, ничего не прощающими глазами. Затем, с каменным лицом, повернулся и вышел.

Густаво, как раз выходивший из клетки Никки, слышал эти слова и заметил реакцию Мигеля. Он покачал головой и сказал Энгусу на ломаном английском:

— Плохую ошибку ты сделал, старик. Он не забывайт.

По мере того как шли часы, Джессику все больше и больше беспокоило моральное состояние Никки. Она пыталась разговаривать с ним, стараясь хотя бы словами как-то утешить сына, но безуспешно: Никки не откликался. Большую часть времени он лежал неподвижно. Только иногда постанывал. Потом его вдруг словно подбрасывало в воздух, он начинал отчаянно кричать и весь трясся. Джессика была уверена, что и эти конвульсии, и крики были вызваны поврежденными нервами и сопутствующей ампутации болью. Насколько ей было видно, Никки лежал с открытыми глазами, но по лицу его ничего нельзя было понять.

— Да скажи же хоть слово, Никки, миленький! — молила его Джессика. — Ну, одно слово! Скажи, пожалуйста, что-нибудь!

Но Никки молчал...

Пытался заговорить с ним и Энгус, но результат был тот же.

Принесли еду и поставили каждому в клетку. Никки — что было, в общем, естественно — внимания не обратил на пищу. А Джессика, зная, что нельзя терять силы, попыталась поесть, но аппетита у нее совсем не было, и она отодвинула миску...

Спустилась темнота. К ночи охрана сменилась. На дежурство заступил Висенте. Жизнь снаружи стала замирать, и когда в воздухе остался лишь звон насекомых, пришла Сокорро. Она принесла миску с водой, несколько марлевых тампонов, бинт и керосиновую лампу. Посадив Никки на нарах, она принялась перебинтовывать ему руку.

Боль у Никки, видимо, поулеглась, и он теперь реже вздрагивал.

Немного погодя Джессика тихо позвала:

— Сокорро, пожалуйста...

Сокорро тотчас обернулась. И, приложив палец к губам, дала понять Джессике, чтобы та молчала...

Перебинтовав руку Никки, Сокорро вышла из его клетки, но не заперла ее, а подошла к клетке Джессики и ключом отперла замок... Затем знаком указала Джессике на открытую дверь Никки.

— Только уйди до рассвета, — шепнула Сокорро. И, кивком указав на Висенте, добавила: — Он скажет, когда.

Джессика пошла было к Никки, остановилась и обернулась. Под влиянием порыва она шагнула к Сокорро и поцеловала женщину в щеку.

— Ох, мам! — вздохнул Никки, когда Джессика обняла его. И почти сразу уснул.

---

* Сопляк (исп.)
** Проклятый выродок, сын проститутки! (исп.)

7

Прошло четыре дня с пятницы, когда Си-би-эй сообщила все, что ей было известно о похищении, о похитителях и о том, что узники находятся в Перу... За это время было опубликовано неосторожное высказывание Теодора Эллиота. От Эллиота по этому поводу не поступило ни объяснений, ни извинений.

А в Перу к Гарри Партриджу, Минь Ван Каню и звукооператору Кену О'Харе присоединились в субботу Рита Эбрамс и редактор видеозаписей Боб Уотсон. Свой первый репортаж они передали через сателлит из Лимы в понедельник, и в тот же день он открыл «Вечерние новости» Си-би-эй.

Главный упор в нем Гарри Партридж сделал на резко ухудшавшемся положении в Перу — как экономическом, так и в области закона и порядка. Это подтверждали снимки разъяренных обитателей барриадас, грабивших, невзирая на присутствие полиции, магазин; звуковую дорожку к «картинкам» предоставил перуанский радиожурналист Серхио Хуртадо, а также владелец и издатель «Эсцены» Мануэль-Леон Семинарио...

«Отчего мы, латиноамериканцы, хронически неспособны иметь стабильное правительство?» — спрашивал Семинарио, сознавая, что на этот вопрос нет ответа. «Какой печальный мы являем собой контраст, — продолжал он, — с нашими prudente * соседями на севере. Канада и США сумели разумно договориться о свободе торговли, тем самым создав условия для прочного и стабильного мира на многие поколения вперед, а мы у себя на юге по-прежнему раздираем и истребляем друг друга...»

Группа, находившаяся в Лиме, поддерживала связь с нью-йоркской штаб-квартирой Си-би-эй, и Партридж с Ритой знали о развитии событий в Штатах, включая видеопленку с Джессикой, требования «Сендеро луминосо» и промашку Эллиота... Тем не менее Партридж решил придерживаться начатой тактики.

Теперь инициатива из Нью-Йорка перешла к Лиме — этим, очевидно, и объяснялось то, что во вторник, на собрании группы поиска, такое большое внимание было уделено пустяковому вопросу о розыске объявлений в прессе.

В итоге обсуждения решено было на следующий день прекратить розыски.

А тремя часами позже — словно по велению судьбы — произошел прорыв, и надежды группы поиска увенчались успехом.

В 14.00 в комнате для совещаний Тедди Купер подошел к телефону — звонил Джонатан Мони... Голос у него был задыхающийся, взволнованный.

— Я почти уверен, что мы нашли то место, где скрывались похитители. Это — в Хакенсаке, штат Нью-Джерси. Мы обнаружили объявление в местной газете «Рекорд» и поехали по следу.

Уже через час машина Си-би-эй остановилась перед домом в Хакенсаке — из нее вышли Дон Кеттеринг, Норм Джегер, Тедди Купер и двое операторов...

— Можно я покажу вам кое-что? — спросил Мони.

— Валяй, — сказал Кеттеринг. — У тебя было время тут оглядеться.

Они вошли в маленькую пристройку, и Мони указал на железную печь, полную золы.

— Здесь много чего жгли. Хотя до конца не все сгорело. — И он вытащил полуобгоревший журнал, на котором еще можно было прочесть название: «Каретас».

— Это перуанский журнал, — сказал Джегер. — Я хорошо его знаю.

— Тут есть еще кое-что, — сказал Мони. — Коки нашла.

Теперь все внимание обратилось на хорошенькую рыжеволосую женщину. Она повела мужчин к купе деревьев, стоявших в стороне от дома и других строений.

---

* Осторожные, осмотрительные (исп.).

— Кто-то копал тут землю, причем совсем недавно, — пояснила она. — Потом пытались все заровнять, но не сумели.

Все старались отвести глаза. Купер уже не был уверен, что стоит идти до конца; Джегер смотрел в сторону. Если тут что-то зарыто, то — что? Труп или трупы? Все понимали, что любое возможно.

— Конечно, мы сообщим ФБР, — сказал Кеттеринг. — Но сначала я хотел бы взглянуть, что там, под этой землей.

— В бойлерной есть лопаты, — сказал Мони.

— Принеси-ка их, — велел ему Кеттеринг. — Все мы ребята здоровые. Давайте покопаем.

Довольно скоро стало ясно, что раскапывают они не могилу. Недавние обитатели дома закопали разные предметы, которые им, видимо, хотелось спрятать. Были тут вещи вполне безобидные — остатки продуктов, одежда, предметы туалета, газеты. А было и кое-что посущественнее: запасы медикаментов, карты, книги на испанском языке в бумажном переплете, инструменты для ремонта автомобилей.

Мони уже собирался вылезать из вырытой им ямы, как вдруг нога его уперлась во что-то твердое, и он поддел предмет лопатой.

— Эй, — окликнул он остальных, — взгляните-ка на эту штуку.

Перед ними был радиотелефон в парусиновом футляре.

Передавая телефон Куперу, Мони сказал:

— По-моему, тут есть еще один.

Там оказался еще не только один, но и еще четыре. Скоро все шесть аппаратов выстроились в ряд.

— А переговоры по радиотелефонам фиксируются? — спросил Джегер.

— Конечно, — уверенно ответил Кеттеринг. — Фиксируется и многое другое: фамилия абонента и адрес, на который посылают счета. Для этого гангстерам нужен был местный человек. — Он повернулся к Куперу. — Тедди, на каждом аппарате должен быть код района и номер, как на обычных телефонах в доме или на работе.

— Понял, — сказал Купер. — Вы хотите, чтобы я составил список?..

Прежде чем уехать, они вызвали местную полицию и попросили поставить обо всем в известность ФБР.

До того как «Вечерние новости» пошли в эфир, Кеттеринг позвонил знакомому высокопоставленному чину в НИНЕКС корпорейшн, обслуживающей телефонные системы Нью-Йорка и Нью-Джерси. Держа перед собой список номеров, выписанных Тедди Купером, Кеттеринг пояснил, что хотел бы знать имена и адреса людей, за которыми записаны эти шесть телефонов, а также список всех звонков, которые были сделаны по этим телефонам на протяжении последних двух месяцев...

На другом конце провода раздался вздох.

— Давай эти чертовы номера. — И, выслушав Кеттеринга, его приятель добавил: — Ты сказал, ФБР запросит меня завтра. Значит тебе, видимо, надо знать сегодня.

— Да, в любое время, но до полуночи. Можешь позвонить мне домой. У тебя есть мой номер телефона?

— К сожалению, да.

Звонок раздался в 22.45, когда Дон Кеттеринг только что вошел в свою квартиру на Семьдесят седьмой улице Восточной стороны Нью-Йорка.

— Я смотрел сегодня вечером твои «Новости», — сказал ему приятель из НИНЕКСа. — Насколько я понимаю, ты дал мне номера радиотелефонов, которыми пользовались похитители.

— Вроде — да, — признался Кеттеринг.

— В таком случае, жаль, что я могу сообщить тебе лишь очень немногое. Для начала — все телефоны зарегистрированы на имя Хельги Эфферен. У меня есть адрес.

— Боюсь, адрес у нее уже не тот. Дамочка умерла. Ее убили. Надеюсь, она не осталась тебе должна.

— Господи! Ну и хладнокровные же вы, журналисты, люди. —

И после паузы вице-президент НИНЕКСа продолжал: — Насчет денег все обстоит как раз наоборот. Сразу после того как этим телефонам были даны номера, кто-то внес на каждый счет по пятьсот долларов — три тысячи долларов в целом... Истрачено меньше трети, потому что все переговоры — за одним исключением — велись между этими телефонами и никуда больше никто не звонил. А местные переговоры, конечно, стоят не так уж дорого.

— Все указывает на то, что похитители были хорошо организованы и дисциплинированны, — сказал Кеттеринг. — Но ты упомянул об одном исключении.

— Да, тринадцатого сентября был звонок в Перу.

— Это накануне похищения. И у тебя есть номер?

— Конечно. Сначала 011 — это выход на международные линии, затем код Перу — 51, затем: 14-28-9427. Мне сказали, что 14 — это код Лимы. А куда был звонок — это уж ты сам выясняй.

— Конечно. Спасибо тебе!

— Надеюсь, это поможет. Желаю удачи!

Несколько мгновений спустя Кеттеринг, заглянув в свою записную книжку, набрал номер: 011-51-14-44-1212.

Раздался голос:

— Buenos tardes *, отель «Сесар».

И Кеттеринг попросил:

— Мистера Гарри Партриджа, por favor **.

8

Для Гарри Партриджа этот день был неудачный. Он устал и еще до десяти вечера лег у себя в гостинице в постель. Но мысли не давали ему заснуть. Он размышлял о Перу.

Не страна, а парадокс, думал он: противоречивое смешение деспотизма военных и свободной демократии...

Эта тема возникла у Партриджа в разговоре с генералом Раулем Ортисом, начальником полицейского управления по борьбе с терроризмом...

Свое интервью с Ортисом Партридж начал с наиболее интересовавшего его вопроса: имеет ли полиция хоть какое-то представление о том, где похитители содержат Слоунов?

— Я полагал, что **вы** скажете мне это, судя по тому, со сколькими людьми вы успели встретиться со времени вашего приезда, — ответил генерал.

Значит, подумал Партридж, генерал открыто признает, что за его передвижениями следят, а пожалуй, и недвусмысленно предупреждает. Догадывался Партридж и о том, что его передачи через сателлит в Нью-Йорк прослушиваются и записываются перуанским правительством вопреки широковещательным утверждениям о свободе печати.

Услышав, что Партридж, несмотря на все свои старания, ничего не знает о местонахождении американцев, Ортис сказал:

— Вот теперь вы понимаете, насколько изощренно и тайно действуют враги нашего государства, в частности, «Сендеро луминосо». А кроме того, у нас огромные необитаемые пространства, где можно укрыть не одну армию. Однако есть предположение, в каких районах могут содержать ваших друзей, и наши силы ведут там поиск.

— А вы не скажете мне, какие это районы? — спросил Партридж.

— В любом случае вам туда не добраться. Или, может быть, у вас есть какой-то план?

У Партриджа действительно был план действий, но он ответил отрицательно...

Более удачным оказался разговор с Сесаром Асеведо, давним другом Партриджа и одним из деятелей католической церкви в миру...

Асеведо был ответственным секретарем Католической комиссии по работе в социальной сфере и занимался программами оказания медицинской помощи в дальних уголках страны.

---

* Добрый вечер (исп.).
** Пожалуйста (исп.).

— Насколько я понимаю, — заметил Партридж вскоре после начала их встречи, — вам время от времени приходится иметь дело с «Сендеро луминосо».

Асеведо усмехнулся:

— «Иметь дело» — абсолютно точное выражение. Церковь, конечно, не одобряет «Сендеро» — ни ее целей, ни методов. Тем не менее мы поддерживаем отношения с этой организацией.

По каким-то своим соображениям, пояснил Асеведо, «Сендеро луминосо» не хочет враждовать с церковью и редко выступает против нее как института. Однако бандиты не доверяют священнослужителям, и, когда банды предпринимают какие-либо антиправительственные акции или устраивают бунты, они требуют, чтобы священники и все, кто связан с церковью, покинули район, где они что-то затевают, не желая иметь свидетелей...

У Партриджа тотчас мелькнула мысль:

— А есть сейчас места, откуда вашим людям предложено уехать?

— Один такой район есть, и это создает для нас изрядную проблему. Я покажу вам его на карте. — И Асеведо указал на часть провинции Сан-Мартин, обведенную красным. — Три недели тому назад там находилась большая группа медиков, осуществлявшая программу помощи, главным образом — прививки детям. Прививки необходимы, потому что здесь сельва и распространены болезни джунглей, которые часто приводят к фатальному исходу. Недели три тому назад «Сендеро луминосо» потребовала, чтобы наши люди уехали.

Партридж внимательно смотрел на обведенный красным район: он оказался удручающе большим. Партридж прочел названия селений, разбросанных далеко друг от друга: Токаче, Учица, Сион, Нуэва-Эсперанца, Пачица. Он записал их — на всякий случай...

— Мне кажется, я знаю, о чем вы думаете, — сказал Асеведо. — Вам пришло в голову, не находятся ли ваши похищенные друзья где-то в этом районе.

Партридж молча кивнул.

— Не думаю. Будь так, наверняка прошел бы слушок. А я ничего не слышал. Но у нашей церкви есть контакты. Я сделаю запрос и сообщу вам, если что-то узнаю.

Партридж понимал, что на большее нельзя надеяться. Но он знал, что время истекает, а со дня приезда в Перу он ничуть не продвинулся в своих розысках.

Эта мысль угнетала его еще во дворце архиепископа, где он встречался с Асеведо, и потом, в номере гостиницы, когда он вспомнил этот разговор и остальные события дня, им овладели досада и чувство поражения.

Внезапно возле кровати зазвонил телефон.

— Гарри, это ты? — Партридж сразу узнал голос Дона Кеттеринга. Они поздоровались, и Кеттеринг сказал: — Есть новости, и мне б хотелось, чтобы ты о них знал.

9

Только к середине дня в среду удалось выяснить, кому принадлежит номер в Лиме, сообщенный Доном Кеттерингом...

— Дело в том, — сказал Виктор Веласко, объясняя задержку Партриджу и Рите, находившимся в монтажной, которую Энтель выделила Си-би-эй, — что эти данные могут получить далеко не все. Мне пришлось изрядно потрудиться, чтобы убедить одного из моих коллег добыть эту информацию...

— С помощью денег? — спросила Рита и, когда он кивнул, добавила: — Мы вам все возместим.

На листке, вырванном из блокнота, значилось: **«Г. Кальдерон — ул. Хуанкавелика 547, кв. 10-Ф».**

— Нам нужен Фернандес, — сказал Партридж.

— Он уже едет сюда, — сообщила Рита, и смуглый энергичный хроникер появился через несколько минут...

Ему назвали адрес на улице Хуанкавелика и рассказали, что с ним связано; хроникер отрывисто кивнул.

— Я знаю, где это. Это старый многоквартирный дом возле пересечения с авенидой Такна, в общем... — Он помолчал, подыскивая английское слово. — ...не дворец.

«Универсал», который нанял Фернандес и которым они теперь вовсю пользовались, стоял на улице у здания Энтель. Разместиться там семерым, считая шофера, было трудновато, но ехать пришлось всего десять минут.

Улица Хуанкавелика пересекала авениду Такна, широкий, шумный проспект, под прямым углом. Район этот, хоть и не был беспросветно мрачным, как барриадас, явно переживал плохие дни. Дом № 547 был большой и ветхий, с облупившейся краской и осыпающейся штукатуркой. Несколько мужчин сидели на ступеньках у входа, другие болтались рядом. Партридж, Фернандес и Томас вылезли у них на глазах из «универсала», оставив Риту, Минь Ван Каня и звукооператора Кена О'Хару дожидаться в машине вместе с шофером.

Заметив, как недружелюбно, с какой прикидкой оглядели их зеваки, Партридж порадовался, что идет в дом не один.

В вестибюле пахло мочой и запустением. Пол был усыпан отбросами. Лифт, как и ожидалось, не работал, поэтому пришлось лезть на девятый этаж по грязной цементной лестнице.

Квартира 10-Ф находилась в конце мрачного голого коридора. Партридж постучал в деревянную дверь. Дверь приоткрылась на два-три дюйма, придерживаемая цепочкой. И одновременно раздался пронзительный женский голос, выкрикивавший что-то по-испански, но так быстро, что Партридж сумел уловить лишь отдельные слова:

— ¡Animales!.. ¡Asesinos!.. ¡Diabolos! *

Партридж почувствовал на плече руку Фернандеса, отстранявшую его. Пригнув к щели голову, Фернандес заговорил так же быстро, как женщина, но рассудительно и спокойно. Постепенно женский голос утратил свою пронзительность, и женщина умолкла; затем сняла цепочку и открыла дверь.

Женщине было лет шестьдесят. Когда-то она, наверное, была хороша собой, но время и тяжелая жизнь огрубили и сморщили кожу, нечесаные крашеные волосы стали пегими. Глаза под выщипанными, нарисованными карандашом бровями были красны и опухли от слез. Фернандес прошел мимо нее в квартиру, остальные — следом за ним. Женщина, явно успокоившись, закрыла дверь.

Партридж быстро огляделся. Комната была маленькая, бедно обставленная — несколько деревянных стульев, диван с рваной обивкой, простой захламленный стол и примитивный книжный шкаф, сооруженный из кирпичей и досок. Как ни странно, шкаф был полон книг в твердых переплетах.

— Судя по ее словам, всего несколько часов назад здесь убили ее сожителя, — сказал Фернандес Партриджу. — Она выходила из квартиры, а вернувшись, обнаружила его мертвым; полиция забрала труп. Она решила, что мы убийцы, которые вернулись, чтобы прикончить ее.

— Мы очень сожалеем о смерти вашего друга, — заверил ее Партридж. — А есть у вас предположение, кто его убил?

Женщина отрицательно покачала головой и что-то пробормотала.

— Она почти не говорит по-английски, — сказал Фернандес, и перевел ей то, что сказал Партридж.

Женщина энергично закивала и исторгла поток слов, кончавшийся: ...«Сендеро луминосо».

Это подтверждало опасения Партриджа. Человек, которого они надеялись увидеть, был каким-то образом связан с «Сендеро», но теперь до него уже не доберешься. Однако оставалось выяснить, знает ли эта женщина что-то про похищенных. Скорее всего едва ли.

Партридж обратился теперь уже прямо к Долорес:

— Le daré dinero si Ud. tiene la información que estoy buscando **.

Долорес и Фернандес обменялись репликами, и Фернандес сказал:

— Она говорит: задавайте ваши вопросы...

— Ваш приятель, которого убили, чем он занимался?

— Он был доктор. Специальный доктор.

---

* Звери!.. Убийцы!.. Черти!.. (исп.)

** Я дам денег, если у вас есть сведения, которые я ищу (исп.).

— Вы хотите сказать — специалист?

— Он делал так, чтоб люди засыпали.

— Анестезиолог?

Подойдя к шкафу, Долорес вытащила потрепанный чемоданчик. Открыла его, вынула папку и принялась листать лежавшие в ней бумаги. Затем выбрала две из них и передала Партриджу. Он увидел, что это медицинские дипломы.

Первый диплом давал право Хартли-Хэролду Госсейджу, выпускнику Медицинской школы Бостонского университета, практиковать в качестве медика. Второй подтверждал, что все тот же Хартли-Хэролд Госсейдж является «профессиональным специалистом-анестезиологом».

Несколько документов были чисто медицинского характера и не представляли интереса. Затем было письмо со штампом Массачусетского бюро регистрации медиков. Оно было адресовано «Х. Х. Госсейджу, доктору медицины» и начиналось так: «Настоящим извещаем, что выданное Вам разрешение практиковать медицину пожизненно аннулируется...»

Партридж положил на стол письмо. Картина прояснялась... По всей вероятности, этот бывший врач — Госсейдж — усыплял похищенных. На лице Партриджа заходили желваки. Жаль, что он не смог встретиться с этим человеком, пока тот был жив... С помощью Фернандеса Партридж возобновил допрос Долорес.

— Вы сказали, что «Сендеро луминосо» убила вашего приятеля доктора. Почему вы так думаете?

— Потому что он работал на этих bastardos *.— Она помолчала и вдруг вспомнила: — «Сендеро» дала ему другое имя — Бауделько.

— А Бауделько последнее время уезжал из Лимы?

Она усиленно закивала.

— Надолго уезжал. Я по нему скучала. - Помолчала и добавила: — Он мне звонил из Америки.

— Да, мы знаем. — Всё сходится, подумал Партридж. Бауделько, безусловно, присутствовал при похищении.— А когда он вернулся?

Долорес подумала, прежде чем ответить.

— Да с неделю будет. Так он был рад... Но боялся, что его убьют.

Оставалось выяснить еще один важный вопрос. Партридж намеренно медлил задавать его и чуть ли не со страхом задал сейчас.

— После того как Бауделько прилетел из Америки и до того, как вернулся сюда, он нигде больше не был?

Долорес кивком дала понять, что был.

— Он не говорил, где именно?

— Говорил. В Нуэва-Эсперанце.

Партридж с трудом мог поверить своему неожиданному везению... Узнал! Наконец-то он знает, где содержат Джессику, Никки и Энгуса Слоунов.

Все-таки Партридж прежде всего был телекорреспондентом, и он принялся обсуждать с Ритой, Минем и О'Харой, что следует тут заснять... Когда съемка и запись были окончены, Фернандес сказал Партриджу:

— Она напоминает вам, что вы обещали ей деньги.

Партридж поговорил с Ритой, и та выдала тысячу долларов...

Теперь Партридж уже мог продумать главное — как провести побыстрее спасательную экспедицию в Нуэва-Эсперанцу. Намечая план действий, он разволновался — любовь к борьбе и опасности вновь проснулась в нем, горяча кровь.

10

Кроуфорда Слоуна каждый день тянуло позвонить Партриджу в Перу и спросить: «Есть что новое?» Но он сдерживался, понимая, что малейшая новость в развитии событий тотчас будет ему сообщена. А кроме того, он понимал, что не надо дергать Партриджа: пусть делает все, как считает нужным.

Со времени последнего звонка из Перу прошло, правда, несколько дней, но Кроуфорд Слоун, хоть и огорчался, решил, что, видимо, Партриджу нечего сообщить

---

* Мерзавцы (исп.).

И был не прав.

Слоун не знал, да и не мог знать, что Партридж решил прекратить всякую связь с Нью-Йорком, будь то по телефону, через сателлит или письменно, так как после интервью с генералом Ортисом не был уверен в ее надежности...

Объяснялась осторожность Партриджа и тем, что в Лиме полно было журналистов, в том числе и съемочных групп других телестанций, и все они состязались в том, кто раньше осветит историю похищения Слоунов, все искали новые факты.

Вот почему Партридж решил не обсуждать — особенно по телефону — своего посещения улицы Хуанкавелика и того, что он там узнал. Он и остальным членам команды велел придерживаться того же правила и предупредил их, что экспедиция в Нуэва-Эсперанцу должна готовиться в полнейшей тайне. Даже Си-би-эй в Нью-Йорке не сразу об этом узнает.

Поэтому Кроуфорд Слоун, ничего не зная о новой информации, появившейся в Лиме, отправился в четверг утром в главное здание Си-би-эй и приехал туда чуть позже обычного, в 10.55.

Слоуна сопровождал молодой агент ФБР по имени Айвен Унгар. ФБР все еще охраняло Слоуна от возможного похищения...

А Отис Хэвелок, после того как во вторник было обнаружено логово похитителей в Хакенсаке, возглавил обыск там. Заинтересовалось ФБР, как выяснил Слоун, и аэропортом Тетерборо — из-за близости его к убежищу в Хакенсаке.

Войдя в здание Си-би-эй, Слоун обнаружил в главном вестибюле лишь охранника в форме, который небрежно поздоровался с ним, нью-йоркской же полиции, дежурившей здесь всю неделю после похищения, не было видно. Здесь вливался и выливался обычный поток посетителей, и хотя они должны были регистрироваться у стойки приема, Слоун подумал, что охрана в Си-би-эй снова стала хромать.

Из вестибюля Слоун с Унгаром поднялись на лифте на четвертый этаж, и там Слоун прошел в свой кабинет, примыкавший к «подкове», где уже сидело несколько человек. Дверь в кабинет Слоун оставил открытой. Унгар уселся на стул рядом с нею.

Повесив плащ, Слоун заметил на столе коробку из белого пенопласта, в каких из ресторанов обычно присылают еду. Рядом с Си-би-эй было несколько такого рода заведений, где по телефону можно заказать еду или даже целый обед с доставкой. Но Слоун ничего не заказывал и обедал обычно в кафетерии, а потому он решил, что коробка попала к нему по ошибке.

Однако, к своему изумлению, он увидел на приклеенной к пенопласту наклейке фамилию — «К. Слоуну». Он машинально вынул из ящика ножницы и разрезал белую веревку, которой была перевязана коробка. Внутри лежали комья белой бумаги — Кроуфорд вынул ее.

Две-три секунды, не веря глазам своим, он смотрел на содержимое коробки, затем раздался крик — крик нестерпимой, режущей ухо боли. Все, кто работал поблизости, подняли голову. Унгар вскочил со стула и кинулся в кабинетик, на ходу вытаскивая оружие. Но, кроме Слоуна, в помещении никого не было, а он стоял, побелев как полотно, уставясь на коробку широко раскрытыми, обезумевшими глазами и кричал — снова и снова.

Сбежались и остальные сотрудники...

Унгар заглянул в коробку, увидел в ней два пальца с запекшейся кровью и, подавив тошноту, принял на себя командование.

— Прошу всех выйти! — обратился он к людям, сгрудившимся в двери. Затем схватил телефонную трубку, нажал на кнопку «телефонистка» и крикнул: — Охрану — быстро! — Когда ему ответили, он отбарабанил: — Говорит специальный агент ФБР Унгар, слушайте мой приказ. Всем охранникам — никого не выпускать из здания. Никаких исключений — в случае необходимости применять силу. Отдадите это указание, сразу вызывайте городскую полицию. Я спускаюсь в главный вестибюль. Пусть кто-то из охраны встретит меня там.

Тем временем Слоун рухнул в кресло. Кто-то потом скажет — он выглядел, как сама смерть.

Сквозь толпу протиснулся Чак Инсен.

— Что случилось? — спросил он.

Унгар, узнав его, указал на белую коробку и сказал:

— Только ничего здесь не трогать. Я бы предложил увести мистера Слоуна и запереть дверь, пока я не вернусь.

Инсен кивнул — к этому времени он уже заглянул в коробку и заметил, как и остальные, что пальцы в ней лежат маленькие и тоненькие, явно пальцы ребенка. Повернувшись к Слоуну, он взглядом задал ему неизбежно напрашивавшийся вопрос. Слоун кивнул и шепотом сказал:

— Да.

— О, Иисусе Христе! — пробормотал Инсен.

Казалось, Слоун сейчас потеряет сознание.

Инсен повел Слоуна к себе в кабинет, по дороге отдавая приказания.

— Заприте кабинет мистера Слоуна, — велел он секретарше, — и никого туда не пускайте, кроме этого агента ФБР. Затем попросите телефонистку вызвать врача...

В кабинете Инсена было большое окно, выходившее на «подкову», — при необходимости оно закрывалось жалюзи. И сейчас Инсен, усадив Слоуна в кресло, опустил жалюзи.

К Слоуну постепенно возвращалось самообладание, хотя он и сидел согнувшись, закрыв лицо руками.

— Эти люди знали про Никки и про то, что он пианист, — пробормотал он, обращаясь то ли к себе, то ли к Инсену. — А как они узнали? **Я же сам им это преподнес! Я, и никто другой! На пресс-конференции после похищения.**

— Помню, Кроуф, — мягко произнес Инсен. — Но ты же отвечал на вопрос, ты не сам поднял эту тему. В любом случае, кто мог предположить... — И он умолк, понимая, что никакими рассуждениями тут не поможешь.

Временный запрет на выход из здания был снят, как только всех проверили и выяснили, зачем каждый находится тут. По всей вероятности, коробку принесли много раньше, а так как по зданию то и дело шныряла ресторанная прислуга, никто не обратил на это внимания. И хотя охрана в здании Си-би-эй обязана была проверять каждого посыльного, однако выяснилось, что проверка проводилась от случая к случаю, и то весьма поверхностно.

Сомнения насчет того, что пальцы принадлежали Никки, быстро исчезли, после того как ФБР обследовало спальню мальчика в Ларчмонте. Там сохранилось множество отпечатков, и они в точности соответствовали тем, которые были сняты с пальцев, лежавших в коробке у Кроуфорда Слоуна на столе.

В здании Си-би-эй царили мрак и уныние, и тут прибыл еще один пакет — на сей раз в Стоунхендж. В четверг утром он был обнаружен в кабинете Марго Ллойд-Мэйсон. В пакете оказалась видеокассета, отправленная «Сендеро луминосо».

Эту кассету ждали; сейчас Марго дала указание, чтобы пленка была немедленно переправлена шефу Отдела новостей. Как только Лэс Чиппингем узнал, что пленка поступила, он вызвал Дона Кеттеринга и Нормана Джегера, и они втроем просмотрели ее в кабинете Чиппингема.

Все трое сразу отметили высокое качество записи — как подачи материала, так и технического исполнения. Начиналась она с титров: «Мировая революция „Сендеро луминосо" указывает путь»; буквы шли на фоне красивейших ландшафтов Перу — величественных высоких Анд, мрачных гор и ледников, захватывающего дух красавца Мачу Пику, бесконечных просторов зеленых джунглей, прибрежной пустыни и высоких валов Тихого океана. Джегер сразу узнал торжественные аккорды сопровождения — это была Третья, Героическая, симфония Бетховена.

— Тут поработали люди, знающие свое дело, — пробормотал Кеттеринг. — Я ожидал чего-то более примитивного.

— Собственно, удивляться особенно нечему, — заметил Чиппингем. — Перу не какая-нибудь отсталая страна, у них есть талантливые люди, прекрасное оборудование.

— А у «Сендеро» — толстая мошна, и они могут все купить, — добавил Джегер. — Прибавьте к этому лисье умение пролезать во все щели.

Текст экстремистов, который шел далее, был по большей части наложен на сцены бунтов в Лиме, забастовки промышленных рабочих, схватки полиции с демонстрантами, кровавые последствия вторжения правительственных войск в горные деревни. «Мы — это часть мира, — разглагольствовал невидимый комментатор, — а мир сегодня готов к революционному взрыву».

Затем шло большое интервью якобы с Абимаелем Гусманом, основателем и лидером «Сендеро луминосо». Полной уверенности в этом не было, так как камера показывала человека, сидящего к ней спиной. Комментатор пояснил: «У нашего лидера много врагов, которые хотели бы его убить. Если мы покажем его лицо, тем самым мы поможем им осуществить свои преступные цели».

Предполагаемый Гусман произнес по-испански: «Compañeros revolucionarios, nuestro trabajo y objectivo es unir los creyentes en la filosofia de Marx, Lenin y Mao *... Дальнейшее было замикшировано, и уже новый голос продолжал: «Товарищи, мы должны уничтожить во всем мире общественный строй, который нельзя дальше терпеть...»

В заключение получасовой записи снова послышался Бетховен, снова были показаны красивые пейзажи, и комментатор воскликнул: «Да здравствует марксизм — ленинизм — маоизм, доктрина, которой мы следуем!»

— Прекрасно, — сказал Чиппингем, когда пленка кончилась, — я кладу ее, как мы условились, в сейф. Видели ее только мы трое. Предлагаю ни с кем не обсуждать то, что мы видели.

— Ты по-прежнему считаешь, что надо поступать, как предлагал Карл Оуэнс, а именно: заявить, что мы получили подпорченную кассету? — спросил Джегер.

— Ради всего святого!.. Мы же не собираемся давать ее вместо «Новостей» в понедельник!

— По-моему, ничего другого мы не придумаем, — заметил Джегер.

— Пока будем считать, — сказал Кеттеринг, — что нам едва ли поверят — особенно после слов Тео Эллиота, напечатанных в «Балтимор стар».

Шеф Отдела новостей взглянул на часы: 15.53.

— В четыре часа, Дон, врежешься в программу с бюллетенем. Скажешь, что мы получили пленку, но она подпорчена. Если «Сендеро луминосо» хочет, пусть шлет нам другую. А пока, — продолжал Чиппингем, — я вызову службу связи с прессой и сделаю заявление для радио — попрошу передать его на Перу.

Дезинформация, сочиненная на Си-би-эй, мгновенно получила широкое распространение. Поскольку в Перу было на час раньше, чем в Нью-Йорке, заявление Си-би-эй было передано по вечернему радио и в теленовостях, а также напечатано на другой день в газетах.

А в дневных «Новостях» появился репортаж о том, как безутешный отец обнаружил в коробке отрезанные пальцы сына.

Лидеры «Сендеро луминосо» в Аякучо приняли к сведению оба сообщения. Что до второго — насчет поврежденной пленки, — они этому не поверили. И решили, что надо срочно совершить новую акцию, которая произвела бы большее впечатление, чем пальцы мальчишки.

11

Джессика вспомнит потом, что в то утро, как только она проснулась на заре, у нее возникло дурное предчувствие. Большую часть ночи она провела без сна: ей не давали спать мысли, что помощь может вообще не прийти. За последние три дня первоначальная уверенность в том, что рано или поздно их освободят, стала постепенно покидать Джессику, хотя она и пыталась скрыть от Энгуса и Никки, что теряет надежду. Ну, разве сможет,

---

* Товарищи революционеры, мы поставили себе целью и все делаем, чтобы объединить тех, кто верит в философию Маркса, Ленина и Мао... (исп.).

думала она, чья-то дружеская рука протянуться к ним в эту глушь, в далекой чужой стране и помочь выбраться отсюда и вернуться домой? По мере того как шли дни, это казалось все менее вероятным.

Особенно повлияло на моральное состояние Джессики жестокое обращение с Никки. Пальцы Никки отрубили во вторник. Сейчас была пятница. Вчера мальчик уже меньше страдал благодаря Сокорро, которая ежедневно меняла ему повязки, но он по-прежнему молчал, замкнувшись в себе, и никак не реагировал на попытки Джессики вытащить его из глубины отчаяния.

Поэтому сегодня будущее представлялось Джессике мрачным, безнадежным и страшным.

Совсем рассвело, и Джессика услышала на дворе движение, а затем и приближающиеся шаги. Первым вошел Густаво, начальник охраны: он направился прямо к клетке Энгуса и открыл ее.

Следом за ним появился Мигель. Морда у него была зверская, он тоже направился к клетке Энгуса, в руке у него был автомат.

Все стало ясно. При виде страшного оружия у Джессики забилось сердце и перехватило дыхание. «О, нет! Только не Энгус!»

Густаво вошел в клетку Энгуса и рывком поднял старика на ноги. Затем Энгусу связали за спиной руки.

— Послушайте! — воскликнула Джессика. — Что вы делаете? Зачем?

Энгус повернул к ней голову.

— Джесси, дорогая, не расстраивайся. Мы ничего не можем изменить. Это же дикари, они понятия не имеют о порядочности и чести.

Джессика увидела, как крепко стиснул Мигель ствол автомата, так что побелели костяшки рук. И нетерпеливо бросил Густаво:

— ¡Dese prisa! ¡No pierdas tiempo! *

Никки, в свою очередь, вскочил с нар. Он тоже понял, что означал автомат в руке Мигеля.

— Мам, что они собираются делать с дедом? — все же спросил он.

— Не знаю, — сказала Джессика, хотя прекрасно понимала, что́ будет.

— Времени у нас совсем немного, — сказал Энгус. — Не падайте духом! Помните, что там, в нашей стране, Кроуфорд делает все, что может. Помощь придет!..

Теперь никто из них уже не сомневался, что Энгуса ждет смерть...

Его вывели из сарая...

Прошло несколько секунд. Время тянулось бесконечно долго, затем тишину разорвали выстрелы — четыре выстрела, один за другим. Короткая пауза и второй залп...

На дворе, на краю джунглей, Мигель стоял над мертвым Энгусом. Первые четыре выстрела мгновенно убили старика. Но тут Мигель вспомнил, как оскорбил его старик во вторник. Да и сейчас презрительно назвал их «дикарями»; и его затопила такая ярость, что он выпустил в недвижное тело еще одну очередь.

Он выполнил инструкции, полученные поздно ночью из Аякучо. Теперь малоприятное задание ждало Густаво, и он с помощью остальных членов команды мог к нему приступать.

Маленький самолет, находящийся в распоряжении «Сендеро луминосо», прилетит на площадку, расположенную неподалеку в джунглях, — туда можно добраться из Нуэва-Эсперанцы на лодке. Лодка скоро отчалит, и самолет доставит в Лиму плод деятельности Густаво.

В то же утро в Лиме перед американским посольством на авенида Гарсиласо-де-ла-Вега на всем ходу остановилась машина. Из нее выскочил мужчина с довольно большой картонкой в руке. Мужчина поставил картонку у барьеров, преграждающих вход в посольство, бегом вернулся в машину, и автомобиль умчался.

Охранник в штатском, видевший это, тотчас подал сигнал тревоги, и

* Поторапливайся! Не теряй времени! (исп.).

все выходы из посольства, построенного в виде крепости, временно перекрыли. И вызвали взвод перуанской армии по обезвреживанию бомб.

Когда проверка установила, что в картонке нет взрывчатки, ее осторожно открыли и внутри обнаружили окровавленную голову пожилого мужчины лет семидесяти. Рядом с головой лежал бумажник, в котором была карточка социального обеспечения США, водительские права с фотографией, выданные во Флориде, и прочие документы, подтверждавшие, что голова принадлежала Энгусу Макмаллану Слоуну.

В этот момент в посольстве находился репортер «Чикаго трибюн». Он первым передал сообщение о случившемся, включая имя жертвы. Сообщение это было мгновенно подхвачено телеграфными агентствами, телевидением, радио и другими газетами — сначала в Соединенных Штатах, затем во всем мире.

12

План освобождения узников из Нуэва-Эсперанцы был готов.

В пятницу днем обговорили последние детали, собрали последнее необходимое оборудование. В субботу на рассвете Партридж и его команда вылетят из Лимы в район джунглей в провинции Сан-Мартин, неподалеку от реки Хуальяга.

Уже со среды, когда вечером стало известно, где находятся узники, Партриджу не сиделось на месте. Он хотел тут же лететь к ним, но доводы Фернандеса Пабура, равно как и собственный жизненный опыт, убедили Партриджа повременить.

— Джунгли могут быть другом, могут быть и врагом, — сказал Фернандес. — В них нельзя пойти прогуляться, как, скажем, по другому району города. Надо тщательно подобрать того, кто нас туда поведет, — это должен быть человек надежный. Нужна координация действий и удачный выбор времени для полета туда и обратно. — Это «нас» ясно указывало на то, что изобретательный хроникер намерен участвовать в экспедиции. — Я вам понадоблюсь, — просто сказал он. — Я много раз бывал в сельве и знаю все ее штучки.

Главной их заботой был транспорт. В четверг утром Фернандес исчез, затем вернулся и, забрав Партриджа с Ритой, отвез их в одноэтажное кирпичное здание, недалеко от аэропорта Лимы. В здании было несколько небольших контор. Они подошли к двери, на которой значилось: «АЛЬСА-АЭРЕОЛИБЕРТАД». Фернандес вошел первым и представил своих спутников владельцу чартерной службы, а также старшему пилоту Освальдо Зилери.

Зилери было лет под сорок; это был красивый, ладно скроенный малый со стройным телом атлета. Держался он несколько настороженно, но деловито.

— Насколько я понимаю, — без обиняков сказал он Партриджу, — вы намерены явиться сюрпризом в Нуэва-Эсперанцу.

Партридж кивнул.

— В таком случае я рекомендую приземлиться вот тут. — И Зилери карандашом поставил точку на карте.

— Разве это не дорога?

— Да, это главная дорога через джунгли, но по ней мало ездят — по сути, движения там не бывает. В нескольких местах — как, например, вот здесь — дорога расширена и на ней сделано новое покрытие, так что самолет может сесть. Я тут уже и раньше садился.

Интересно, для чего, подумал Партридж. Перевозил наркотики или людей, которые ими торгуют? Он слышал, что в Перу почти все авиаторы связаны с торговлей наркотиками — хотя бы косвенно.

Договорившись насчет самолета, Партридж вернулся в отель «Сесар» и вызвал к себе в номер всех членов группы, чтобы решить, кто поедет в Нуэве-Эсперанцу. Кандидатуры трех участников были намечены сразу: Партридж, Минь Ван Кань, так как нужно сделать видеозаписи, и Фернандес Пабур. Поскольку обратно полетят еще трое, в группе спасения мог быть лишь еще один человек.

Выбирать надо было между редактором видеозаписи Бобом Уотсоном, звукооператором Кеном О'Хара и Томасом, молчаливым телохранителем.

В конце концов Партридж выбрал О'Хару, так как это был человек ему известный, изобретательный и доказавший, что не теряет голову в сложной ситуации...

Партридж предоставил Фернандесу закупить все необходимое, и в отель начали прибывать: легкие гамаки, противомоскитные сетки и жидкости, консервы на два дня, бутылки с водой, таблетки для стерилизации воды, мачете, маленькие компасы, бинокли, листы пластика. Фернандес сказал также, что каждый должен быть вооружен, и Партридж с этим согласился... В данном случае потребность в оружии была бесспорна, к тому же все четверо умели с ним обращаться...

Со среды, когда Партридж узнал, что конечным пунктом экспедиции является Нуэва-Эсперанца, он не раз задавался вопросом, не следует ли сообщить об этом перуанским властям, в особенности полиции, которая занимается борьбой с терроризмом. В четверг он даже отправился за советом к радиокомментатору Серхио Хустадо, который убеждал его ранее не обращаться за помощью к армии и полиции.

Предупредив, что разговор будет доверительный, Партридж рассказал Серхио о развитии событий и спросил, подтверждает ли он свой прежний совет.

— Не только подтверждаю, но настаиваю, — ответил Серхио. — Правительственные войска славятся тем, что как раз в такого рода ситуациях действуют главным образом огнем. Чтобы неповадно было. Они уничтожают всех — как невиновных, так и виновных, а вопросы задают потом.

Партридж вспомнил, что генерал Рауль Ортис говорил ему примерно то же самое.

— С другой стороны, — добавил Серхио, — если вы будете действовать по собственному плану, вы будете уже сами отвечать за свою жизнь.

— Я знаю, — сказал Партридж. — Но другого выхода я не вижу.

День был еще в разгаре. Последние несколько минут Серхио вертел в руках какую-то бумагу. И сейчас спросил:

— До того, как приехать ко мне, Гарри, вы не получали никаких дурных вестей? Я имею в виду — сегодня.

Партридж отрицательно помотал головой.

— Тогда, как ни жаль, мне придется вас кое с чем ознакомить. — И Серхио передал Партриджу через стол листок. — Это поступило незадолго до вашего приезда ко мне.

«Это» было сообщением агентства Рейтер о том, как сраженный горем отец получил в Нью-Йорке пальцы своего сына Николаса.

— И раз уж вы, Гарри, здесь, я хочу задать вам один вопрос, — сказал Серхио. — Ваша компания — Си-би-эй — принадлежит теперь «Глобаник индастриз»?

— Да.

Радиокомментатор выдвинул ящик стола и достал несколько скрепленных вместе листов бумаги.

— Я получаю информацию из разных источников и из «Сендеро луминосо» тоже. Они меня терпеть не могут, но используют. У «Сендеро» есть сочувствующие и информаторы во многих местах, и один из них недавно прислал мне вот это в надежде, что я передам по радио.

Партридж взял листки и начал читать.

— Как видите, — заметил Серхио, — речь идет о соглашении между финансовой службой «Глобаник» и перуанским правительством. Такое соглашение в финансовом мире называется бартерным.

Партридж покачал головой.

— Боюсь, я тут профан.

— Не так уж это и сложно. «Глобаник» получает огромные земельные пространства, в том числе два крупных курорта, по цене, которую можно назвать только «бросовой». В обмен будет списана часть международного долга Перу, обеспечиваемая «Глобаник».

— И это все по-честному, вполне законно?

Серхио передернул плечами.

— Скажем так — на грани. Куда важнее то, что эта сделка чрезвычайно обогащает «Глобаник» и ведет к еще большему обнищанию народа Перу.

— Если вы так считаете, — сказал Партридж, — почему же вы не выступили с этим по радио?

— По двум причинам. Я никогда не принимаю информации «Сендеро» на веру — но я проверил, все так. И другое: чтобы «Глобаник» мог получить такую конфетку, кому-то в правительстве заплатили — или заплатят. Над этим-то я сейчас и бьюсь.

Партридж похлопал пальцами по листам, которые держал в руке.

— А мог бы я иметь копию?

— Можете оставить эту себе. У меня есть другая.

В тот же день они узнали по перуанскому радио мрачное и трагическое известие о смерти Энгуса Слоуна и о том, что его отрезанная голова была обнаружена у входа в американское посольство в Лиме. Партридж тотчас отправился на место происшествия с Минь Ван Канем и отослал репортаж через сателлит для «Вечерних новостей». К тому времени в Лиму уже прибыли съемочные группы других телестанций, а также газетные репортеры, но Партридж умудрился избежать разговоров с ними.

Дело в том, что страшная кончина отца Кроуфа, как и отрезанные пальцы Никки, тяжелым грузом лежали на его совести. Он ведь прилетел в Перу в надежде спасти всех трех заложников и не сумел это выполнить.

Справившись с репортажем, он вернулся в отель «Сесар» и весь вечер провалялся в постели без сна — он чувствовал себя одиноким и никому не нужным.

На утро за час до рассвета он уже был на ногах: надо было сделать два дела. Во-первых, написать от руки завещание; во-вторых, послать телеграмму. Вскоре, когда они ехали в аэропорт в арендованном «универсале», он попросил Риту засвидетельствовать подлинность завещания и оставил у нее экземпляр. Он попросил ее также послать телеграмму в Оукленд, штат Калифорния.

Поговорили они и о соглашении между «Глобаник» и перуанским правительством, про которое Партридж узнал от Серхио Хустадо.

— Когда ты его прочтешь, я думаю, нам следует показать копию Лэсу Чиппингему, — сказал он Рите. — Но в общем-то это не имеет никакого отношения к нашему пребыванию тут, и я не собираюсь использовать эту информацию, хотя Серхио на будущей неделе и обнародует ее. — Он улыбнулся. — Я полагаю, это самое малое, что мы можем сделать для «Глобаник», который дает нам хлеб да еще с маслом.

Самолет «чиенн-II» без всяких осложнений вылетел из Лимы перед самым рассветом. Семьюдесятью минутами позже он достиг той части пересекающего джунгли шоссе, где должны были высадиться Партридж, Минь, О'Хара и Фернандес.

К этому времени уже достаточно рассвело и земля была хорошо видна. На шоссе никого не было — ни машин, ни грузовиков, ни какой-либо человеческой деятельности. По обе стороны от него на многие мили простирались джунгли, словно накрыв землю зеленым стеганым одеялом. На секунду отвернувшись от контрольных приборов, Освальдо Зилери сказал своим пассажирам:

— Садимся. Будьте наготове, чтоб быстро выйти. Я не хочу задерживаться на земле ни на секунду дольше, чем нужно.

Затем, развернув самолет, он круто повел машину вниз и, выровняв ее над шоссе, посадил на наиболее широкую его часть; самолет пробежал совсем немного и остановился. Четверо пассажиров, прихватив свои рюкзаки и оборудование, быстро вылезли, и «чиенн-II» через несколько мгновений покатил по шоссе и поднялся в воздух.

— Быстро — в укрытие! — скомандовал Партридж, и все четверо углубились по тропе в джунгли.

13

Тем временем в Нью-Йорке над головой Партриджа — неведомо для него — разразилась гроза.

В пятницу утром Марго Ллойд-Мэйсон завтракала у себя дома, когда ей сообщили по телефону, что Теодор Эллиот хочет видеть ее «немедленно» в Плезантвилле, в здании «Глобаник индастриз». Когда она спросила, что значит «немедленно», выяснилось — в 10 часов утра.

Не успела Марго войти в кабинет президента компании, как Эллиот, не теряя времени, напрямик спросил:

— Какого черта ты не контролируешь, чем занимаются твои журналисты в Перу?

— Что значит — не́ контролирую? — спросила пораженная Марго. — Нас же хвалили за то, как мы освещаем тамошние события.

— Я говорю об очернительных, удручающе мрачных репортажах. — И Эллиот тяжело ударил ладонью по столу. — Вчера вечером мне позвонил из Лимы по прямому проводу президент Кастаньеда. Он утверждает, что все материалы Си-би-эй о Перу негативны и наносят ущерб его стране. Он возмущен до предела вашей телестанцией, и я тоже!

— Другие телестанции и «Нью-Йорк таймс», — рассудительно сказала Марго, — занимают ту же позицию, что и мы, Тео.

— Нечего говорить мне про других! Я говорю про **нас**! К тому же президент Кастаньеда считает, что Си-би-эй в этом деле задает тон, а другие только следуют ее примеру. Он мне так и сказал.

Оба стояли. Эллиотт в гневе даже не предложил Марго сесть.

— Есть что-то конкретное? — спросила она.

— Конечно, черт подери, есть! — Президент «Глобаник» указал на пять-шесть видеокассет, лежавших у него на столе. — После звонка президента вчера вечером я послал одного из моих людей принести пленки ваших вечерних программ за эту неделю. Теперь я понимаю, что имел в виду Кастаньеда: они полны безнадежности и мрака — словом, как все плохо в Перу. Ни звука о том, что перед Перу — большое будущее или что это чудесное место для отдыха, или что этих чертовых бунтарей из «Сияющего пути» скоро прижмут к ногтю!

— Многие считают, что это не удастся, Тео.

— Я понимаю, почему президент Кастаньеда в ярости, — продолжал бушевать Эллиот, будто и не слышал ее, — а «Глобаник» просто **не может** с ним рассориться, и ты знаешь, почему. Я ведь предупреждал тебя, но ты меня явно не слушала. И еще одно: Фосси Ксенос тоже кипит. Он даже думает, что ты намеренно срываешь его бартерную сделку.

— Какие глупости, и я уверена, ты прекрасно знаешь, что это не так. Но наверняка можно что-то сделать, чтобы выправить положение. — Марго быстро соображала, понимая, что дело куда серьезнее, чем она полагала сначала. Ее собственное будущее в «Глобаник» могло оказаться под угрозой.

— Я сейчас **скажу**, что ты должна сделать. — В голосе Эллиота звучали стальные нотки. — Я хочу, чтобы этот репортер, который сует нос не в свои дела, этот Партридж, был немедленно отозван и уволен.

— Вернуть мы его, конечно, можем. Но я куда менее уверена, что мы можем его уволить.

— А я сказал: **уволить!** Ты что, плохо сегодня слышишь, Марго?

Предвидя, с какими трудностями ей предстоит столкнуться в Си-би-эй, Марго сказала:

— Тео, я должна обратить твое внимание на то, что Партридж давно работает на телестанции. Должно быть, около двадцати пяти лет, и у него хороший послужной список.

Эллиот позволил себе криво усмехнуться.

— Тогда подари этому сукиному сыну золотые часы. Я не возражаю. Но избавься от него, чтобы я мог позвонить президенту Перу в понедельник. И я хочу кое о чем предупредить тебя, Марго.

— О чем, Тео?

Эллиот обошел стол и сел за него. Жестом указав Марго на кресло, он сказал:

— Все происходит от того, что журналистов и репортеров принято считать людьми особыми. На самом же деле их на свете хоть пруд пруди. Сними одного, тут же, как сорняки, появятся двое других. — И постепенно заводясь, Эллиот продолжал: — Кто действительно имеет в этом мире значение, Марго, это люди вроде тебя и меня. Мы занимаемся **делом!** Мы те, благодаря кому каждый день что-то происходит. Поэтому мы можем покупать журналистов пачками и — никогда этого не забывай! — по два пенни за штуку, как говорят англичане. Так что когда расстанешься с этой старой клячей Партриджем, возьми кого-нибудь новенького, какого-нибудь мальчика прямо из колледжа, — словом, поступи так, как если бы ты выбирала капусту для супа... И еще одно: не думай, что люди в «Глобаник» не видят, как ты, Леон Айронвуд и Фосси Ксенос боретесь за место под солнцем. Так вот, если взять тебя и Фосси, то на сегодняшнее утро Фосси на несколько ноздрей впереди тебя. — И взмахом руки дав понять, что разговор окончен, произнес: — Это все. Позвони мне сегодня в конце дня, когда эта история с Перу будет в ажуре.

Было около полудня, когда Марго, вернувшись в свой кабинет в Стоунхэндже, послала вызов Лэсли Чиппингему. Заведующий Отделом новостей должен явиться к ней немедленно.

Не очень ей понравилось, когда ее вызвали на ковер утром, — она предпочитала вызывать сама. И сейчас получала удовольствие от того, что ситуация перевернулась.

Не понравилось Марго и упоминание Эллиота о том, что Фосси Ксенос «на несколько ноздрей впереди нее». Если это так, надо быстро принять меры, чтобы выправить положение. Марго не имела ни малейшего желания видеть крах своей карьеры из-за какой-то, как она считала, организационной ерунды, — этот узел можно быстро, одним махом разрубить.

Поэтому, когда вскоре после полудня в ее кабинете появился Чиппингем, она, следуя примеру Тео Эллиота, сразу приступила к делу.

— То, что я сейчас скажу, обсуждению не подлежит, — заявила Марго. — Это приказ. — И, помолчав, продолжала: — Работа Гарри Партриджа у нас в штате прекращается. Я хочу, чтобы завтра его уже не было на Си-би-эй. Я знаю, у него с нами контракт, так что делай все в соответствии с условиями контракта. Кроме того, Партридж должен покинуть Перу — желательно завтра, но не позднее воскресенья. Если для этого потребуется специальный самолет, — найми.

Чиппингем смотрел на нее, раскрыв рот, не веря ушам своим. Наконец, с трудом подобрав слова, он сказал:

— Ты это, конечно, несерьезно.

— Совершенно серьезно, — решительно заявила Марго, — и я ведь сказала, что обсуждению это не подлежит.

— Ну и что, что сказала! — Голос у Чиппингема зазвенел от волнения. — Я не собираюсь быть безучастным свидетелем того, как безо всяких оснований выбрасывают за дверь одного из наших лучших корреспондентов, человека, который прослужил в Си-би-эй более двадцати лет.

— Основания есть, но тебя они не касаются.

— Как-никак я заведующий Отделом новостей, верно? Скажи мне, что натворил Гарри?

— Ну, если ты так уж хочешь, то речь идет о том, как он освещает события.

— Наилучшим образом! Честно. Со знанием дела. Непредубежденно. Спроси любого!

— В этом нет необходимости. Во всяком случае, не все с тобой согласны.

Чиппингем с сомнением посмотрел на нее.

— Это придумано в «Глобаник», да? — Интуиция подсказала ему ответ. — Твоим дружком, этим бесчувственным тираном Теодором Эллиотом!

— Поосторожнее! — осадила его Марго, решая, что разговор зашел слишком далеко. — Я не намерена ничего больше объяснять, — холодно продолжала она, — но если мой приказ не будет выполнен к концу сегодняшнего трудового дня, ты сам лишишься работы.

— Ты это действительно сделаешь? — Он смотрел на нее со смесью изумления и ненависти.

Можешь не сомневаться. Если ты решаешь остаться на своем месте, будь любезен доложить мне к концу дня, что мое желание выполнено. А сейчас убирайся отсюда.

После ухода Чиппингема Марго с удовлетворением подумала, что когда нужно, она может быть не менее жесткой, чем Тео Эллиот.

Вернувшись к себе, в главное здание Си-би-эй, Лэс Чиппингем вместо того, чтобы выполнить приказ Марго, занялся всякими мелкими делами, а затем, около 3 часов дня, сказал секретарше, чтобы его не тревожили и ни с кем не соединяли по телефону, пока он не скажет. Ему требовалось время, чтобы все обдумать.

Заперев изнутри дверь своего кабинета, он сел не за стол, а напротив своей любимой картины — безлюдного пейзажа Эндрю Уайета. Однако сегодня Чиппингем едва ли видел картину — он был всецело занят тем решением, которое ему предстояло принять.

Он понимал, что в жизни его наступил критический момент.

Если он выполнит приказ Марго и безо всякой видимой причины уволит Гарри Партриджа, он потеряет уважение к себе. Он совершит позорный и несправедливый поступок в отношении порядочного, высокопрофессионального и всеми уважаемого человека, друга и коллеги ради чьей-то прихоти. Чьей именно и чего этим хотели добиться, — Чиппингем не знал, хотя не сомневался, что и он сам и другие со временем это узнают. А пока он был совершенно убежден, что Теодор Эллиот как-то с этим связан...

Сможет ли он, Чиппингем, жить дальше, если совершит такое? Принципы, которым он до сих пор пытался следовать, не дадут ему жить спокойно.

С другой стороны, если он этого не сделает, приказ выполнит кто-то другой. На этот счет Марго не оставила ни малейших сомнений. И она без труда такого человека найдет. Слишком много вокруг честолюбцев — в том числе и в Отделе новостей Си-би-эй.

Словом, с Гарри Партриджем так или иначе все равно разделаются во всяком случае, на Си-би-эй.

Вот это важно — на **Си-би-эй.**

Стоит распространиться слуху, — а это произойдет достаточно быстро, — что Гарри Партридж уходит из Си-би-эй и свободен, он и пятнадцати минут не останется без работы. Другие телестанции из кожи вон полезут, чтобы заполучить его...

Словом, Гарри Партридж ни в коем случае не потонет. Более того, на новой телестанции он может получить более выгодный контракт.

А что будет с заведующим Отдела новостей, если его уволят? Ситуация будет совсем иная, и Чиппингем знал, что его ждет, если Марго сдержит слово, — а он понимал, что она свое слово сдержит, если он не поступит так, как она требует.

У Чиппингема тоже был контракт с телестанцией, и по этому контракту он получит около миллиона, что звучит внушительно, но только звучит. Немалая сумма уйдет на налоги. Затем, поскольку он по уши в долгах, кредиторы набросятся на него. А на то, что останется, постараются наложить руку адвокаты Стаси, ведущие развод. Так что он немало удивится, если под конец у него останется достаточная сумма, чтобы поужинать вдвоем в ресторане «Четыре времени года».

Ну, а кроме того возникнет проблема работы. За ним, как за Партриджем, телестанции гоняться не будут. И объясняется это тем, что на каждой телестанции может быть только один заведующий Отделом новостей, а Чиппингем не слышал, чтобы где-то открывалась вакансия...

Следовательно, ему придется согласиться на менее высокий пост, не столь хорошо оплачиваемый, а Стася будет требовать с него прежние деньги.

Словом, перспектива получалась пугающая.

Если... **если** он не поступит так, как хочет Марго...

«Я это делаю против воли, Гарри, — произнес он про себя, — но выбора у меня нет».

Через четверть часа Чиппингем перечитал письмо, которое напечатал на старом «ундервуде», стоявшем — в память о былых временах — на столе у него в кабинете.

Оно гласило: **«Дорогой Гарри! С великим сожалением извещаю, что с данного момента твоя работа на Си-би-эй окончена. Согласно контракту, который Си-би-эй заключила с тобой...»**

Это письмо он решил отправить в Лиму телефаксом. Машина находилась в приемной, и Чиппингем решил сам передать на ней текст...

Он только собрался подписать письмо, как в дверь постучали и она приоткрылась. Чиппингем инстинктивно перевернул листок текстом вниз.

Вошел Кроуфорд Слоун. В руке он держал ленту телетайпа.

— Лэс, — произнес Слоун сдавленным голосом. По щекам его текли слезы. — Мне необходимо тебя видеть. Это только что поступило.

Он протянул Чиппингему распечатку телетайпа. Это было сообщение «Чикаго трибюн» из Лимы, где говорилось о том, как была обнаружена голова Энгуса Слоуна.

— О, господи! Кроуф, я...

— Только ничего больше не говори, — сказал Слоун. — Я не уверен, что смогу выдержать. Я не в силах вести сегодня «Новости». Я попросил вызвать Терезу Той...

— Не забивай себе голову, Кроуф! — сказал Чиппингем. — Этим мы займемся.

— Да нет! — Слоун потряс головой. — Я о другом, о том, что́ я должен сделать. Мне нужен самолет в Лиму. Пока еще есть шанс... спасти Джессику и Никки... я должен быть там. — И, помолчав, пытаясь совладать с собой, добавил: — Я еду сначала в Ларчмонт, затем в Тетерборо.

— Ты уверен, Кроуф, что правильно поступаешь? — с сомнением спросил его Чиппингем. — Это разумно?

— Я еду, Лэс, — сказал Слоун. — Не пытайся меня остановить. Если Си-би-эй не оплатит мне проезд, я заплачу сам.

— В этом нет необходимости. Я закажу самолет, — сказал Чиппингем.

И заказал. Самолет вылетит ночью из Тетерборо и к утру будет в Лиме.

Неожиданная трагическая весть про Энгуса Слоуна помешала Чиппингему подписать письмо Партриджу, и оно было передано по телефону в Лиму лишь в конце дня. После того как секретарша ушла, Чиппингем сам передал его... К письму была добавлена приписка — Чиппингем просил положить бумагу в конверт и надписать: «Мистеру Гарри Партриджу. Лично».

Чиппингем хотел было сказать Кроуфорду Слоуну про письмо, но потом решил, что у Кроуфа и так достаточно потрясений. Он понимал, что письмо возмутит Кроуфорда — как оно возмутит и Партриджа, — и не сомневался, что ему станут звонить с требованием объяснений. Но это будет уже завтра...

Наконец Чиппингем позвонил Марго Лллойд-Мэйсон, которая все еще находилась на работе, хотя было уже 18.15.

— Я сделал то, о чем ты просила, — сказал он ей и затем сообщил про смерть отца Кроуфорда Слоуна.

— Я слышала об этом, и мне очень жаль, — сказала она. — Что же до другого предмета, то ты позвонил в последний момент, а то я уже начинала думать, что ты вообще не позвонишь. Так или иначе, спасибо.

14

Путь через джунгли по тропе, ответвлявшейся от шоссе, где приземлился самолет «чиенн-II», оказался нелегким, и Партридж вместе со своими тремя компаньонами медленно продвигался вперед.

Тропу часто перекрывали разросшиеся заросли, а то она и вовсе исчезала. Приходилось с помощью мачете разрубать переплетение ветвей и стволов в надежде выбраться из чащобы...

Партридж хорошо запомнил одно обстоятельство, о котором сумела сообщить Джессика во время съемки на видеопленку. Кроуфорд Слоун пи-

сал ему в письме, которое Рита привезла в Перу, что Джессика во время съемки потеребила мочку левого уха и это означало: «Охрана здесь не всегда строгая. Нападение извне может удаться». Теперь пришло время проверить на деле эту информацию.

А пока они с трудом продирались сквозь джунгли.

Далеко за полдень, когда все уже почти совсем выдохлись, Фернандес предупредил, что Нуэва-Эсперанца, по всей вероятности, близко.

Фернандес при помощи контурной карты и компаса вел группу — все чувствовали, что идут постепенно в гору. Через час они вышли на поляну и увидели за ней среди деревьев хижину... Обследовав поляну и хижину, Фернандес убедился, что там никого нет. И тогда снова повел их на восток, через джунгли... Минуту спустя он раздвинул папоротники и знаком предложил остальным взглянуть. Они по очереди заглянули в просвет и увидели в полумиле и в двухстах футах ниже себя несколько ветхих строений. Десятка два хижин стояли на берегу реки. Проселочная дорога вела от них к грубо сколоченному причалу, где было на приколе несколько лодок.

— Хорошо все поработали ногами! — тихо произнес Партридж. И с чувством облегчения добавил: — По-моему, мы нашли Нуэва-Эсперанцу.

Теперь Гарри снова принял на себя командование.

— У нас осталось не так много дневного времени, — сказал он. Солнце уже клонилось к горизонту: путешествие заняло больше времени, чем они рассчитывали. — Минь, возьми еще один бинокль... Фернандес и Кен, установите наблюдательный пост и по очереди следите, не подходит ли кто к нам сзади. Сами разработайте очередность и, если кого увидите, тут же зовите меня.

Партридж подошел к самому краю джунглей, скрывавших их от чужих глаз, лег на живот и пополз вперед, держа в руке бинокль. Минь полз рядом с ним...

Медленно передвигая бинокль, Партридж изучал картину внизу.

Там почти никого не было. У причала двое мужчин снимали с лодки мотор. Из хижины вышла женщина, обошла ее, вылила помои из ведра и вернулась. Из джунглей появился мужчина и, направившись к другой хижине, вошел в нее. Два тощих пса рылись в помойке... Вообще Нуэва-Эсперанца производила впечатление трущобы в джунглях.

Партридж принялся изучать строения — одно за другим. По всей вероятности, узников держали в одном из них, но ничто не указывало, в каком именно. Теперь уже Партриджу было ясно, что по крайней мере день придется провести в наблюдениях: не может быть и речи о том, чтобы попытаться вызволить узников ночью и завтра утром улететь. Он устроился поудобнее и стал ждать, а свет тем временем угасал.

Как всегда в тропиках, темнота наступила очень быстро... Партридж опустил бинокль и потер глаза, уставшие от часового наблюдения. Он был уверен, что сегодня им больше уже ничего не удастся узнать.

В этот момент Минь дотронулся до его руки и указал вниз. Партридж поднес к глазам бинокль. И сразу заметил в сумеречном свете фигуру мужчины, шедшего по дорожке между двумя рядами домов. В противоположность другим шел этот человек целенаправленно. И что-то еще отличало его — Партридж напрягся... ага, увидел: у мужчины было ружье. Партридж и Минь следили за ним в бинокли.

В стороне от других строений одиноко стоял сарай. Партридж уже видел его, но как-то не обратил внимания. А сейчас вооруженный мужчина вошел туда. В стене сарая была дыра, и сквозь нее виден был слабый свет внутри.

Через несколько минут из сарая кто-то вышел и пошел прочь. Даже в темноте видно было, что это уже другой человек и что за плечом у него тоже ружье.

Шли часы. Партридж сказал своей группе:

— Нам необходимо выяснить, что происходит ночью в Нуэва-Эсперанце, когда и на сколько часов все замирает и огни в основном гаснут. Прошу все записывать, отмечая время.

По просьбе Партриджа Минь пробыл еще час на наблюдательном пункте, а потом Кен О'Хара сменил его.

— Всем как можно больше отдыхать, — приказал Партридж. — Но на наблюдательном пункте и на поляне все время должны быть люди, а это значит, что одновременно спать могут только двое. — Они решили, что будут сменяться каждые два часа.

Фернандес уже повесил в обнаруженной ими хижине гамаки с противомоскитными сетками. Гамаки были крайне неудобны, но люди настолько устали за день, что мигом заснули в них. Они правильно поступили, прихватив с собой листы пластика, так как ночью пошел сильный дождь и крыша стала протекать. Фернандес ловко установил щиты над гамаками, чтобы спящие не чувствовали дождя...

Общей кухни у них не было. Каждый получил свою долю пищи и воды, причем все знали, что сухие продукты надо расходовать бережно. Воду, привезенную накануне из Лимы, они уже выпили, и Фернандес наполнил фляги водой из ручья, добавив в нее стерилизующие таблетки. Он всех предупредил, что местная вода, как правило, заражена химикалиями от обработки наркотиков. Теперь у воды во флягах был жуткий вкус, и все пили как можно меньше.

К следующему утру Партридж уже знал ответы на все вопросы о ночной ситуации в Нуэва-Эсперанце: жизнь там замирает — разве что время от времени слышатся звуки гитары, чьи-то громкие голоса и пьяный смех. Продолжается это часа три с половиной после наступления темноты. К 1.30 ночи весь поселок погружается во тьму и тишину.

Теперь требовалось еще выяснить, — если считать, что Партридж правильно определил, где содержатся узники, — как часто сменяется охрана и когда. К утру ясной картины на этот счет не было. Если охрана и сменялась ночью, они этого не заметили.

Наблюдение продолжалось весь день...

Ближе к вечеру Гарри Партридж, лежа в гамаке, думал о том, в какую ситуацию они попали, — да неужели все это происходит в действительности?.. Через какие-то несколько часов им, по всей вероятности, придется убивать или быть убитыми...

С наступлением сумерек Партридж собрал своих коллег и заявил:

— Мы достаточно понаблюдали. Сегодня ночью идем вниз. — И, обращаясь к Фернандесу: — Ты поведешь нас. Я хочу подойти к тому сараю в два часа ночи. Если необходимо что-то сообщить, говорите шепотом. Я подойду поближе к сараю и первым войду туда. Я бы хотел, Минь, чтобы ты шел следом и прикрывал меня со спины. Фернандес остается сзади, чтобы следить, не выйдет ли кто из других домов, и присоединится к нам в случае необходимости.

Фернандес кивнул.

— А ты, Кен, — повернулся Партридж к О'Харе, — пойдешь сразу к причалу. Я решил, что уходить мы будем на лодке.

— Понял! — откликнулся О'Хара. — Я полагаю, ты хочешь, чтобы я захватил лодку.

— Да, и если сможешь, выведи из строя остальные, но помни: без шума!

— Шум все равно будет, когда мы запустим мотор.

— Нет, — сказал Партридж. — Мы пойдем на веслах, а когда выведем лодку на середину реки, нас понесет течением. Мотор включим, только когда будем уже достаточно далеко.

Еще произнося это, Партридж подумал, что ведь он исходит из того, что все пройдет гладко. Ну, а если нет, придется соображать на ходу, а может быть, даже пустить в ход оружие.

Вспомнив о том, что на 8 часов утра у них запланирована встреча с «чиенн-II», Фернандес спросил:

— А мы решили, к какой площадке будем прорываться — к Сиону или к другой?

— Я приму решение в лодке — в зависимости от того, как все пройдет и сколько у нас будет времени. А сейчас, — заключил Партридж, — надо проверить оружие и избавиться от ненужных вещей, чтобы идти налегке и быстро.

Смесь волнения и страха владела всеми.

15

Когда Рита Эбрамс, проводив в субботу утром «чиенн-II», вернулась в Лиму, ее ждало два сюрприза.

Во-первых, она никак не ожидала появления Кроуфорда Слоуна. В Энтель-Перу ее ждало сообщение, что Слоун прилетает в Лиму рано утром, а это значило, что, возможно, он уже прилетел. Рита тотчас позвонила в отель «Сесар», где, судя по этому сообщению, должен был остановиться Слоун. Она попросила портье передать Слоуну, чтобы он ей позвонил.

Вторым — и еще бо́льшим — сюрпризом было письмо Лэса Чиппингема, отправленное накануне вечером по факсу Гарри Партриджу. Указание о том, чтобы положить письмо в конверт с надписью «Лично», явно было не замечено, и письмо пришло вместе с остальной почтой, открытое для всех. Рита прочла его и глазам своим не поверила...

Чем больше она об этом думала, тем более нелепым и возмутительным ей это казалось, особенно сейчас. Кроуф, что же, прилетает в Лиму в связи с этим? Рита была убеждена, что — да, и с нетерпением стала ждать Слоуна; возмущение ее тем временем все росло и росло.

К тому же она не могла передать содержание письма Партриджу, который уже находился в джунглях.

А Слоун не стал звонить. Приехав в отель и получив записку Риты, он взял такси и тотчас отправился в Энтель. Он раньше уже приезжал с заданиями в Лиму и знал город.

— Где Гарри? — первым делом спросил он Риту.

— В джунглях, — сухо ответила она, — рискует жизнью, пытаясь вызволить твою жену и сына. — И сунула Слоуну под нос полученное по факсу письмо. — Это что за чертовщина?

— Ты о чем? — Кроуфорд Слоун взял письмо и на глазах у Риты прочел его. Затем прочел еще раз и покачал головой. — Тут какая-то ошибка. Этого не может быть.

— Ты, что же, хочешь сказать, что ничего об этом не знаешь? — все так же резко спросила его Рита.

— Конечно, нет. — Слоун энергично потряс головой. — Гарри же мой друг. И сейчас он нужен мне больше всех на свете. Скажи, пожалуйста, что он все-таки делает в джунглях — по-моему, ты сказала, что он там? — Слоун явно тут же выкинул из головы письмо, сочтя его нелепицей, на которую не стоило тратить время.

Рита судорожно глотнула. В глазах ее появились слезы...

— О, Господи, Кроуф! Извини, ради Бога. — Она впервые увидела, как он постарел за эти восемь дней, сколько в его глазах было тревоги.

— Мне хотелось бы поговорить с летчиком, — произнес Слоун, выслушав ее рассказ. — Как его имя?

— Зилери. — Рита взглянула на свои часики. — Он, наверное, еще не вернулся, но я скоро позвоню, и мы с тобой к нему съездим. Ты завтракал?

Слоун отрицательно покачал головой.

— Тут есть кафетерий. Пошли вниз.

Когда им подали кофе и круасаны, Рита мягко произнесла:

— Я знаю, Гарри винил себя за то, что недостаточно быстро действовал, но у нас же не было никакой информации...

Слоун жестом остановил ее.

— Я никогда и ни в чем не буду винить Гарри — что бы ни случилось, даже сейчас. Ни один человек на свете не мог бы сделать больше.

— Я согласна, — сказала Рита, — потому-то эта штука так и невероятна. — И она вытащила из сумочки письмо Лэса Чиппингема. — И это не ошибка, Кроуф. Это вполне осознанная штука. Таких ошибок не бывает.

Кроуфорд снова перечел письмо.

— Как только поднимемся наверх, я позвоню Лэсу в Нью-Йорк.

— Прежде чем звонить, давай вот о чем подумаем: за этим что-то кроется, чего мы с тобой не знаем. Вчера в Нью-Йорке ничего необычного не произошло?

— По-моему, нет... — подумав, сказал Слоун. — Правда, я слышал, что Лэса вызывала Марго Ллойд-Мэйсон — как будто бы в страшной спешке. Но я понятия не имею, в чем было дело.

— А не может это быть как-то связано с «Глобаник»? — пришла вдруг Рите в голову мысль. — Быть может, с вот этим. — И, открыв сумочку, она достала несколько листов бумаги, которые Гарри Партридж дал ей утром.

Слоун пробежал листы глазами.

— Любопытно! Действительно, большие деньги! Где ты это взяла?

— Мне дал Гарри... Он говорил, что не намеревается это использовать. Сказал, что это самое малое, что мы можем сделать для «Глобаник», который дает нам хлеб, да еще с маслом.

— А ведь между этой историей и увольнением Гарри может быть связь, — задумчиво произнес Слоун. — Я такую возможность вижу. Пошли-ка наверх и позвоним сейчас же Лэсу.

— Прежде чем мы туда пойдем, мне надо кое-что сделать, — сказала Рита.

Под «кое-что сделать» подразумевалось послать за Виктором Веласко.

Когда заведующий международным отделом Энтель заглянул к ним через несколько минут, Рита сказала ему:

— Мне нужна линия на Нью-Йорк, которая не прослушивается.

Веласко смутился.

— Пройдемте, пожалуйста, в мой кабинет. Можете позвонить оттуда.

Рита и Кроуфорд Слоун прошли вслед за Веласко в уютный кабинет на том же этаже, застланный ковром.

— Садитесь, пожалуйста, за мой стол. — И, указав на красный телефон, Веласко добавил: — Эта линия надежная. Я гарантирую. Можете прямо набирать.

Веласко вежливо поклонился, вышел из кабинета и закрыл за собой дверь.

Слоун попытался сначала связаться напрямую с Лэсом Чиппингемом. Телефон молчал — ничего удивительного, так как была суббота и утро. Зато удивительным было то, что заведующий отделом не оставил у телефонистки номера, по которому его можно разыскать. Заглянув в записную книжку, Слоун набрал еще один номер — квартиры Чиппингема на Манхэттене. Опять никакого ответа. Был у Слоуна еще номер в Скарсдейле, где Чиппингем иногда проводил уик-энды. Там его тоже не оказалось.

Тогда Слоун набрал номер Стоунхэнджа. Ему ответила телефонистка:

— Миссис Ллойд-Мэйсон сегодня на работе нет.

— Говорит Кроуфорд Слоун. Дайте мне, пожалуйста, ее домашний номер.

— Этого номера нет в справочнике, мистер Слоун. Мне не разрешено его давать.

— Но у вас же он есть?

Телефонистка помедлила.

— Как вас зовут?

— Норин.

— Красивое имя — мне оно всегда нравилось. Теперь выслушайте меня внимательно, Норин. Кстати, вы узнали мой голос?

— О да, сэр. Я каждый вечер смотрю «Новости». Но последнее время я так волнуюсь...

— Спасибо, Норин. Я тоже. Так вот, я звоню сейчас из Лимы — это в Перу, и мне просто необходимо переговорить с миссис Ллойд-Мэйсон. Если вы дадите мне ее номер, обещаю: ни слова не скажу, как я его добыл, вот только в следующий раз, когда буду в Стоунхэндже, зайду к вам и лично поблагодарю.

— Ох, правда, мистер Слоун? Мы будем так рады!

— Я всегда выполняю обещания. Так какой же номер, Норин?

Она сказала, и он записал.

На сей раз трубку подняли после второго звонка, и раздался мужской голос — по всей вероятности, говорил дворецкий. Слоун назвался и попросил к телефону миссис Ллойд-Мэйсон.

Через несколько минут послышался голос Марго, которую ни с кем нельзя было спутать.

— Да? — сказала она.

— Это говорит Кроуф. Я звоню из Лимы.

— Мне так и сказали, мистер Слоун. И мне хотелось бы знать, поче-

му вы звоните мне — тем более домой. Правда, сначала мне хотелось бы выразить сочувствие по поводу смерти вашего отца.

— Благодарю вас...

По тону Марго Слоун догадался, что прямым вопросом ничего не добьешься. И он решил прибегнуть к старому, как мир, журналистскому трюку, который часто срабатывал даже с самыми высокоинтеллектуальными людьми.

— Миссис Ллойд-Мэйсон, когда вы решили вчера уволить Гарри Партриджа из Си-би-эй, я не уверен, что вы подумали о том, сколько он приложил усилий, чтобы найти и освободить моих жену, сына и отца.

Она мгновенно взорвалась:

— Кто вам сказал, что это было мое решение?

Слоуну очень хотелось ответить ей: «Да вы сами только что!» Но он сдержался и сказал:

— На телевидении в Отделе новостей все становится известно. Потому-то я вам и звоню.

— Я не желаю обсуждать это сейчас, — отрезала Марго.

— А жаль, — сказал Слоун и скороговоркой продолжал, боясь, что она повесит трубку: — Мне подумалось, что вы, наверно, согласитесь поговорить о связи между увольнением Гарри Партриджа и бартерной сделкой, которую затевает «Глобаник» в Перу. Гарри, что же, задел своими честными репортажами кого-то, кто очень заинтересован в этой сделке?

На другом конце провода долго молчали — Слоун слышал только, как дышит Марго. Затем уже гораздо спокойнее она спросила:

— Где вы все это слышали?

Значит, есть связь!

— Ну, видите ли, — сказал Слоун, — Гарри Партридж узнал об этой сделке. Так вот, Гарри решил не пускать в ход этой информации, он сказал так: «Это самое малое, что я могу сделать для ,,Глобаник'', который дает нам хлеб, да еще с маслом».

Снова молчание. Затем Марго спросила:

— Значит, это не будет опубликовано?

— Ага, вот это уже другой разговор... Дело в том, что в Лиме есть радиорепортер, который раскопал всю эту историю, у него есть экземпляр соглашения, и он намерен передать об этом по радио на будущей неделе. Я думаю, это сообщение подхватят за пределами Перу. А вы как думаете?

Марго не отвечала.

— Вы случайно не пожалели, что приняли такое решение по поводу Гарри Партриджа? — спросил Кроуфорд.

— Нет... Я думала о другом.

— Миссис Ллойд-Мэйсон, — Кроуфорд Слоун произнес это самым своим язвительным тоном, каким говорил иногда в «Новостях» о чем-то уж очень мерзком, — вам никто последнее время не говорил, что вы бессердечная сука?

И он положил на рычаг трубку красного телефона.

Марго тоже повесила трубку. Настанет день — и скоро, решила она, — когда она найдет способ разделаться с этим самовлюбленным Кроуфордом Слоуном. Но пока время еще не пришло.

Известие насчет «Глобаник» и Перу серьезно потрясло ее. Но с такими вещами ей приходилось сталкиваться и в прошлом, и она довольно быстро овладевала ситуацией.

Надо сообщить Тео Эллиоту, что в Перу стало известно насчет сделки с «Глобаник»... Си-би-эй никакого отношения к этому не имеет — как вообще ни одна американская телестанция или газета: просочилось это там, в Перу, что скверно.

Это крайне неприятно, скажет она Тео, и она не собирается никого осуждать, но не может не подумать о том, не сказал ли что-то лишнее Фосси Ксенос — в частности, когда был в Перу. Восторженность Фосси ведь широко известна, и он вполне мог проболтаться.

Она скажет также Тео, что перуанская пресса подняла вокруг этого дела шум, потому Отдел новостей Си-би-эй просто не мог не узнать о соглашении. Однако она, Марго, категорически приказала, чтобы Си-би-эй об этом помалкивала.

При удаче, думала она, с начала будущей недели все внимание переключится на Фосси. Вот и прекрасно!

Во время этих размышлений Марго не обошла вниманием и Гарри Партриджа. Не следует ли его восстановить? Потом решила — нет. Партридж не такая уж важная шишка, так что оставим решение без изменений. А кроме того, Тео, конечно же, захочет позвонить президенту Перу в понедельник и сказать, что смутьян уволен и отозван из Перу.

Уверенная в том, что ее стратегия сработает, Марго улыбнулась, подняла трубку телефона и набрала незарегистрированный домашний номер Тео Эллиота.

Владелец и пилот «Аэролибертад» Освальдо Зилери слышал о Кроуфорде Слоуне и был соответственно почтителен с ним.

— Когда ваши друзья договаривались о чартере, мистер Слоун, я сказал, что не желаю знать, для чего им это нужно. А сейчас я вот увидел вас и догадываюсь, в чем дело, и желаю вам успеха и им тоже...

— Спасибо, — сказал Слоун. Они с Ритой находились в скромном кабинетике Зилери возле аэропорта Лимы. — Когда вы сегодня расстались с мистером Партриджем и остальными, как там все было?

Зилери передернул плечами.

— Джунгли как джунгли — зеленые, непроходимые, бесконечные. Кроме ваших друзей — никого и ничего...

— Я подумал, что теперь, когда их там осталось двое...

Зилери докончил за него:

— ...сможете ли вы с мисс Эбрамс слетать туда?

— Да.

— Вполне. Ведь одним из пассажиров будет мальчик, да и никакого багажа не предвидится, так что с весом проблемы не будет. Приезжайте сюда завтра до зари.

Рита должна была еще кое-что сделать. Не говоря ничего Кроуфу, она составила факс Лэсу Чиппингему, который ляжет к нему на стол в понедельник утром. Текст она намеренно передала не на факс заведующего Отделом новостей, а на «подкову». Там он не останется в тайне, а будет прочитан всеми — как было прочитано письмо Чиппингема по поводу увольнения Гарри Партриджа...

Рита не питала иллюзорных надежд по поводу своей записки. На доску для объявлений она не попадет. Но коллеги, сидящие за «подковой», поймут желание Риты, чтобы текст получил широкое распространение. Кто-то размножит ее послание, оно начнет циркулировать, будет прочитано и скорее всего снова и снова размножено.

Она писала: **«Ах ты, мерзкий трусливый эгоист, сволочь! Увольнением Гарри Партриджа — без всяких оснований, без предупреждения или даже объяснения, как это сделал ты, чтобы угодить своей разлюбезной приятельнице, этой женщине-айсбергу Ллойд-Мэйсон, — ты предал все, что было у нас на Си-би-эй справедливого и порядочного. Гарри выйдет из этой передряги, благоухая, как ,,Шанель № 5''. А от тебя уже разит, как от помойной крысы. Просто не понимаю, как я могла спать с тобой. Но теперь — все! Даже если ты будешь последним мужчиной на земле, я тебя и близко к себе не подпущу. Что же до работы с тобой — брр! С глубокой грустью по поводу того, каким ты был, в сравнении с тем, каким ты стал.**

Твоя бывшая приятельница, бывшая поклонница, бывшая любовница, бывшая выпускающая

Рита Эбрамс».

После того, как это будет получено и переварено, подумала Рита, не только Гарри придется искать новую работу. Но ей было наплевать. Она чувствовала себя много лучше, наблюдая за тем, как факс уходил из Энтеля, и зная, что через несколько мгновений он будет в Нью-Йорке.

16

В Нуэва-Эсперанце было 2.10 ночи.

Последние несколько часов Джессика не раз то просыпалась, то снова погружалась в сон, и снились ей кошмары, смешанные с реальностью...

Две-три секунды тому назад Джессика лежала, глядя — явно не во сне — в отверстие, служившее окном и находившееся напротив ее клетки, и ей показалось, что она увидела в полумраке лицо Гарри Партриджа. Лицо исчезло так же внезапно, как и появилось. Она действительно не спала? Или ей это приснилось? А может быть, у нее галлюцинация?

Джессика потрясла головой, стараясь прочистить мозги, как вдруг лицо появилось снова и на этот раз уже не исчезло. Рука подала Джессике сигнал, которого она не поняла, но продолжала смотреть на лицо. Неужели?.. И сердце у нее подпрыгнуло от радости. Да, конечно! Это был Гарри Партридж.

Губы его что-то беззвучно произносили... Джессика напряглась, пытаясь понять, и уловила слово «охранник». Он спрашивал: «Где охранник?»

А охранником был Висенте. Он заступил примерно час тому назад — видимо, сильно запоздав, — и между ним и Рамоном, дежурившим раньше, возник горячий спор. Рамон что-то в ярости ему кричал. А Висенте отвечал как бы спьяну... Джессика не вслушивалась в спор — ее, как всегда, прежде всего радовало, что Рамон уходит: уж очень он был жестокий и непредсказуемый...

Сейчас, повернув голову, Джессика увидела Висенте. Он сидел на стуле в конце клеток, и из окна его не было видно. Джессике показалось, что глаза его закрыты. Автомат стоял с ним рядом, прислоненный к стене.

Осторожно, чтобы Висенте, вдруг очнувшись, ничего не заметил, Джессика в ответ на молчаливый вопрос Партриджа мотнула головой в сторону охранника.

Рот в окне тотчас заработал. Джессика снова напряглась. И на третий раз поняла: «Позови его!»

Джессика слегка кивнула, показывая, что поняла. Сердце у нее усиленно билось. Раз Гарри тут, подумала она, значит помощь, на которую они так долго надеялись, все-таки пришла. В то же время Джессика сознавала, что выполнить намеченный план, каким бы он ни был, будет не просто.

— Висенте! — достаточно громко, чтобы он проснулся, позвала она. И чуть погромче повторила: — Висенте!

На этот раз он шевельнулся. Открыл глаза и посмотрел на Джессику. Встретившись с ним взглядом, она поманила его...

Надо придумать какую-то причину, рассудила Джессика и решила, что жестами попросит Висенте разрешения зайти в клетку к Никки. Он, конечно, откажет, но это не имеет значения.

Она понятия не имела, что задумал Гарри. Чувствовала только, как нарастает в ней волнение и напряжение — момент, о котором она так мечтала, наступил, а она боялась, что он никогда не наступит.

Партридж стоял под окном, пригнувшись, сжимая в руке браунинг с глушителем. Пока все шло по плану, но он знал, что самая трудная и решающая часть операции еще впереди.

Ближайшие секунды поставят перед ним необходимость выбора и решать придется мгновенно. Похоже, что он сумеет обезопасить охранника, пригрозив ему браунингом, а затем либо крепко свяжет его и сунет ему кляп в рот, либо возьмет с собой в качестве пленника. Второе менее желательно. Есть и третья возможность — убить охранника, но Партридж предпочел бы этого не делать.

Одно хорошо: Джессика действует умело, быстро все понимает и соображает...

Он услышал, как она дважды окликнула охранника, в глубине сарая зашуршало и раздались шаги. Партридж затаил дыхание, готовясь нырнуть под амбразуру, если охранник посмотрит в его сторону.

Но тот не посмотрел. Он стоял спиной к Партриджу, лицом к Джессике, позволяя таким образом Партриджу лучше оценить ситуацию.

Первое, что он заметил: у охранника был автомат и, судя по тому, как охранник держал оружие, ясно было, что он умеет им пользоваться. Браунинг Партриджа был игрушкой в сравнении с автоматом.

Вывод напрашивался неизбежный: придется убить охранника, причем, надо успеть выстрелить первым.

Однако на пути к цели стояло препятствие. Джессика... Выстрел в охранника мог задеть Джессику.

Партридж вынужден был рискнуть. Другого шанса у него не будет и другого выбора тоже. Все зависит от сообразительности и быстроты реакции Джессики. И, набрав в легкие воздуха, Партридж громко, отчетливо крикнул:

— Джессика, падай на пол!

Охранник мгновенно повернулся, поднял автомат. Но браунинг Партриджа был уже нацелен на него...

Партридж нажал на спусковой крючок, и браунинг издал легкое «пфт»!.. Партридж посмотрел в видоискатель, готовый выстрелить еще раз, но этого не потребовалось... Выстрел попал охраннику в грудь, как раз в область сердца... На лице его на секунду появилось изумление, и он упал вместе с автоматом — стук автомата об пол был единственным звуком, раздавшимся в ночи...

Джессика поднялась с земли...

Мимо Партриджа мелькнула тень. Это был Минь Ван Кань, стоявший, как было велено, за его спиной... Минь кинулся к охраннику, держа наготове свой «узи», и кивком подтвердил Партриджу, что тот мертв. Затем Минь подошел к клетке Джессики и, увидев замок, спросил:

— Где ключ?

— Где-то там, где сидел охранник, — сказала ему Джессика.

Тем временем Никки зашевелился в соседней клетке. И сел рывком.

— Мам, что происходит?

— Все хорошо, Никки. Все хорошо!

Тут Никки увидел лежащую на земле фигуру, расползающуюся лужу крови и воскликнул:

— Это же Висенте! Они убили Висенте! Зачем?

— Тихо, Никки! — сказала Джессика.

— Мне вовсе не хотелось это делать, Николас, — негромко произнес Партридж. — Но иначе он пристрелил бы меня. А в таком случае я уже не смог бы забрать отсюда тебя и твою маму — мы ведь за этим сюда прилетели.

Никки вдруг узнал его:

— Вы мистер Партридж, да?

— Да... Еще далеко не все в порядке, и нам предстоит долгий путь. Действовать надо быстро.

Тем временем Минь принес ключи и стал их пробовать один за другим, пытаясь открыть клетку Джессики. Наконец замок подался. Дверь широко распахнулась, и Джессика вышла на волю... А через несколько секунд свободен был и Никки, и они с Джессикой кинулись друг другу в объятья...

— Помоги-ка мне! — сказал Партридж Миню.

Они вдвоем подняли труп охранника и положили его на деревянные нары. Это, конечно, не помешает бандитам узнать, что их пленники сбежали, подумал Партридж, но может немного задержать преследование. В этих же целях он прикрутил фитиль в керосиновой лампе...

А Никки, подойдя к Партриджу, ровным голосом произнес:

— Правильно вы сделали, что застрелили Висенте, мистер Партридж. Он нам, конечно, иногда помогал, но он же из ихних. А они убили дедушку и отрезали мне два пальца, так что теперь я уже не смогу играть на рояле...

Партридж молча, внимательно смотрел на Никки. Он и раньше уже видел людей в состоянии шока, а тон, каким мальчик все это произнес, и подбор слов указывали на то, что он находится в шоке. И ему очень скоро потребуется помощь. Партридж обнял Никки за плечи. И почувствовал, как мальчик прижался к нему...

— Пошли, — приказал Партридж.

Свободной рукой он взял автомат... И положил в карман две обоймы, которые нашел у мертвого охранника.

Минь уже стоял в дверях. Он взял свою камеру и запечатлевал сейчас их уход из сарая на фоне клеток. Минь пользовался специальными ночны-

ми линзами, и «картинки» получатся вполне приемлемые даже при таком свете...

В этот момент к ним подскочил Фернандес, наблюдавший за другими строениями. И, задыхаясь, предупредил Партриджа:

— Сюда идет... женщина! Одна. По-моему, вооружена.

И тут же раздался звук приближающихся шагов.

Времени на размышления не было. Все застыли на месте. Джессика находилась ближе всех к двери, хотя и немного в стороне. Минь стоял прямо напротив двери, остальные — в тени. Партридж поднял автомат. Хотя он понимал, что если выстрелит, то разбудит всю деревню, до браунинга с глушителем он добраться не мог, так как для этого пришлось бы опустить автомат на землю. А времени на это уже не было.

Сокорро быстро вошла в сарай. Она была в халате и держала наготове «смит-энд-вессон». Джессика и раньше видела у Сокорро оружие, но револьвер всегда был в кобуре...

Однако Сокорро явно не ожидала ничего необычного, хоть и держала оружие наготове; при сумеречном свете она сначала приняла Миня за охранника.

— Pensé que escuche *...— Тут она поняла, что перед ней вовсе не охранник, а, взглянув налево, увидела Джессику. Вздрогнув, она воскликнула: — ¿ Qué haces? ** — И умолкла.

То, что последовало, произошло так быстро, что никто потом не мог воспроизвести цепь событий.

Сокорро нацелила револьвер на Джессику и, держа палец на спусковом крючке, шагнула к ней. Впоследствии решили, что она, по всей вероятности, хотела взять Джессику заложницей...

А Джессика, заметив жест Сокорро, так же быстро вспомнила приемы борьбы, которым она училась, но которые ни разу за время своего плена не применяла. Хотя порой ее так и подмывало их применить, она понимала, что в конечном счете сделает себе только хуже, и решила, что воспользуется своими знаниями лишь в действительно нужный момент...

С молниеносной быстротой Джессика подскочила к Сокорро и левой рукой изо всей силы ударила снизу по правой руке женщины. Рука Сокорро невольно взлетела вверх, пальцы раскрылись, и пистолет выпал из них. Все это заняло не более секунды — Сокорро и опомниться не успела, как оказалась без оружия.

Джессика же крепко обхватила двумя пальцами шею Сокорро под подбородком, сдавливая трахею, затрудняя ей дыхание. Одновременно она выставила ногу сзади Сокорро и изо всей силы толкнула ее — та потеряла равновесие... После этого — будь они на войне — Джессика должна была бы переломить Сокорро шею и убить ее.

А Джессика никогда в жизни никого не убивала и потому медлила довести дело до конца. Она почувствовала, что Сокорро пытается что-то сказать, и слегка разжала пальцы.

— Отпусти меня... я вам помогу... пойду с вами... я знаю дорогу.

— Ты можешь ей поверить? — спросил Партридж, подошедший к ним и слышавший, что говорит Сокорро.

Джессика снова помедлила. Ей вдруг стало жалко Сокорро: не такая ведь она была и злая...

Но разум взял все же верх, Джессика покачала головой и сказала Партриджу:

— Нет!

Их взгляды встретились... Ее глаза спрашивали его. Он кивнул. И, не желая быть свидетелем того, что произойдет, отвернулся.

Джессика крепко сжала пальцы и переломила Сокорро шею. Раздался легкий звук, словно лопнула резинка, и тело в руках Джессики осело. Она опустила его на землю.

Группа во главе с Партриджем тихо прошла через темную деревню, никого не встретив на своем пути.

---

* Я думала, что ты услышишь (исп.).

** Что ты делаешь? (исп.).

У причала их ждал Кен О'Хара.

— Все на борт! — скомандовал Партридж.

Ранее луна на три четверти была скрыта облаками, но за последние несколько минут облака передвинулись. Теперь стало намного светлее — особенно на воде.

Фернандес помог Джессике и Никки залезть в лодку. Джессика мелко дрожала, ее мутило, что было вполне естественно после убийства Сокорро. Минь, снимавший все происходящее, вскочил в лодку, когда О'Хара, отвязав веревки, уже отталкивался веслом. Фернандес схватил второе весло. И они с О'Харой направили лодку к середине реки.

Окидывая взглядом реку, Партридж увидел, что О'Хара зря времени не терял. Несколько лодок уходили под воду около берега, другие уносило течением...

Правильно он поступил, подумал Партридж, что взял с собой О'Хару: он уже несколько раз хвалил себя за это.

На их моторке сидений как таковых не было. Пассажиры, как и в той лодке, на которой везли сюда Джессику, Никки и Энгуса, сидели прямо на дощатом днище. Гребцы изо всех сил старались вывести лодку на середину реки. Там ее подхватило течением и понесло вниз по реке, и Нуэва-Эсперанца стала растворяться в лунном свете.

Когда они отчаливали, Партридж посмотрел на часы: было 2.35 ночи. В 2.50 Партридж велел О'Харе запускать моторы.

О'Хара резко дернул за трос. Мотор мгновенно заработал... То же проделал он и со вторым мотором. Лодка рванулась вперед.

Небо было ясное. Яркая луна, отражаясь в воде, помогала им держать путь по извилистой реке.

— Вы уже решили, к какой посадочной площадке мы двигаемся? — спросил Фернандес.

Партридж прикинул, представив себе крупномасштабную карту Фернандеса, которую он к этому времени уже знал наизусть.

Выбрав путь по реке, Партридж тем самым исключал встречу на шоссе, куда они прилетели. Теперь выбирать надо было между посадочной площадкой, которой пользовались торговцы наркотиками и куда Партридж и его группа могли прибыть через полтора часа, и более удаленной взлетно-посадочной полосой в Сионе, куда плыть по реке придется часа три, да потом еще три мили идти по джунглям.

Добраться до Сиона к восьми утра, когда туда прилетит «чиенн-II», будет трудновато. С другой стороны, на площадку, используемую торговцами наркотиками, они прибудут за несколько часов до самолета, и если погоня застигнет их там, придется принимать бой, который они наверняка проиграют, так как у противника будет больше людей и оружия.

Поэтому лучше и разумнее, пожалуй, избрать тот путь, который позволит им как можно дальше уйти от Нуэва-Эсперанцы.

— Двигаемся на Сион,— сказал Партридж всем остальным.— Как только высадимся, придется быстро идти через джунгли — это задача нелегкая, а потому постарайтесь по возможности отдохнуть.

По мере того, как шло время, Джессика постепенно успокаивалась — ее перестало трясти, тошнота исчезла. Она, правда, сомневалась, что когда-либо обретет спокойствие духа. Воспоминание о том, как Сокорро в отчаянии шепотом молила ее, еще долго-долго будет с нею.

Но главное — Никки в безопасности...

Сейчас Никки, казалось, спал, притулившись к Партриджу. Осторожно переложив мальчика, Партридж пересел к Джессике. Фернандес, заметив это, тоже пересел, чтобы не нарушилось равновесие в лодке.

Как и Джессика, Партридж думал о прошлом... Даже за то короткое время, пока они были вместе, он увидел, что она не изменилась. Все, что так восхищало его в ней,— смекалка, воля, тепло, ум и изобретательность,— все эти качества по-прежнему присутствовали. Партридж чувствовал, что, побудь он с Джессикой подольше,— и старая любовь оживет...

Джессика повернулась к нему лицом, как бы прочтя его мысли. Он еще с тех далеких дней помнил, что так часто бывало.

— Тебе случалось терять надежду, пока ты была там? — спросил он.

— Временами я была близка к этому, хотя совсем никогда не теряла,— ответила Джессика. И улыбнулась.— Конечно, если бы я знала, что ты взялся нас спасать, я бы чувствовала себя иначе.

— Мы же все-таки одна команда,— сказал он.— И Кроуф — часть ее. Он пережил ад, как и ты. Вы оба будете очень нужны друг другу дома.

Она поняла и подтекст: Партридж вернулся в ее жизнь лишь ненадолго, он скоро исчезнет из нее опять.

— Эта мысль греет меня, Гарри. А что ты станешь делать?

Он передернул плечами.

— По-прежнему буду заниматься репортажами. Где-нибудь ведь непременно будет идти война. Войны все время идут.

— А между войнами?

Есть вопросы, на которые нет ответа. Партридж переключил разговор на другое:

— Славный у тебя Никки — такого мальчика и я бы хотел иметь.

«И вполне мог бы,— подумала Джессика.— Много лет тому назад у нас мог бы быть общий ребенок»...

Оба молчали, слушая рокот моторов и плеск волны за кормой. Затем Джессика протянула руку и сжала его пальцы.

— Спасибо, Гарри,— сказала она.— Спасибо за все — за прошлое, за настоящее... дорогая моя любовь.

17

Мигель трижды выстрелил в воздух, разрывая тишину.

Он знал, что это самый быстрый способ поднять тревогу.

Всего минуту назад он обнаружил трупы Сокорро и Висенте и понял, что пленники исчезли.

Было 3.15 ночи и, хотя Мигель этого не знал, прошло ровно сорок минут с тех пор, как лодка с Партриджем и остальными отъехала от причала Нуэва-Эсперанцы.

Ярость Мигеля была дикой и неуемной. Он схватил стул, на котором сидел охранник в сарае, и швырнул его об стену,— стул разлетелся на куски. С какой радостью он убил бы кистенем и потом разрубил бы на части всех, кто повинен в том, что пленники бежали.

К сожалению, двое из них были уже мертвы. И Мигель сознавал, что вина в известной мере лежит и на нем.

Он, конечно же, недостаточно следил за дисциплиной. Сейчас, когда было уже поздно, он ясно это понял. С тех пор, как они сюда прибыли, он поубавил бдительности... Ночью поручал другим оберегать пленников, в то время как должен был следить за этим сам.

Причиной была его слабость к Сокорро. Он еще в Хакенсаке воспылал к ней — и до похищения, и после.. Но в ту пору у Мигеля были другие заботы и обязанности, и он сурово подавлял в себе всякие мысли о Сокорро. А в Нуэва-Эсперанце дело обстояло иначе..

Дни тут тянулись медленно, как и ночи, и Сокорро, уступив его домогательствам, открыла ему дверь в рай.

С тех пор они много времени проводили вместе, иногда и днем, а ночью — всегда, и она оказалась самой изощренной и совершенной любовницей, какую он когда-либо знал Под конец он стал ее рабом и, словно наркоман, живущий от укола до укола, не думал ни о чем другом.

И теперь он за это расплачивался.

Сегодня ночью, ублаготворенный, как никогда, он заснул глубоким сном. Затем минут двадцать тому назад проснулся с намерением снова овладеть Сокорро, но, к своему огорчению не обнаружил ее рядом. Какое-то время он ждал ее. И поскольку она не возвращалась, вышел посмотреть, где она, прихватив с собой пистолет-автомат, с которым никогда не расставался.

То, что он увидел, сразу вернуло его в мрачный мир реальности.

Мигель с горечью подумал, что, по всей вероятности, заплатит за это жизнью, когда «Сендеро луминосо» узнает про исчезновение пленников, особенно если не удастся их вновь захватить. Значит, главное — захватить их, любой ценой!

Сейчас, разбуженные его выстрелами, из домов выскочили охранники во главе с Густаво...

Выбрав в качестве мишени Густаво, Мигель рявкнул:

— Ах, ты чертов идиот! Паршивый пес, и тот сумел бы лучше поставить дело! Пока ты дрых, сюда явились люди, и ты стал их пособником! Тотчас выясни, откуда они пришли и как ушли. Должны же остаться следы!

Густаво вернулся с донесением буквально через несколько минут.

— Они ушли по реке! — объявил он.— И несколько лодок исчезли, а другие затонули!

Мигель в ярости кинулся к причалу. То, что он там обнаружил, довело его ярость до кипения. Тем не менее он понимал, что если не остынет и не возьмет себя в руки, ему не удастся спасти дело. И усилием воли он заставил себя спокойно подумать.

— Нужно выбрать две наилучшие лодки из тех, что еще на плаву, с двумя моторами каждая,— сказал он Густаво по-испански.— И чтоб они были готовы не через десять минут, а сейчас! Возьми всех! И чтоб работать быстро, быстро, быстро! Потом всем собраться на причале, с оружием и амуницией, и быть готовым к отплытию.

Взвесив все возможности, он решил, что люди, вызволившие пленников, прибыли, безусловно, по воздуху — это самый скорый и наиболее подходящий вид транспорта. Следовательно, покидать страну они будут так же, и едва ли они успели это сделать.

Рамон только что сообщил, что Висенте сменил его вскоре после часа ночи,— тогда все было в порядке и пленники находились в своих клетках. Таким образом, даже если их освободили сразу после этого, «незваные гости» опережали Мигеля максимум на два часа. А инстинкт — подкрепленный тем обстоятельством, что тела Сокорро и Висенте, когда их нашли, были еще теплые,— подсказывал Мигелю, что даже меньше того.

Дальнейшие рассуждения привели его к следующему выводу: если ехать из Нуэва-Эсперанцы для встречи с самолетом по реке, то в джунглях есть лишь две посадочные площадки. Одна — совсем рядом, безымянная; ею обычно пользуются самолеты для перевозки наркотиков. Другая — в Сионе, это в два раза дальше; туда «лирджет» привез Мигеля со всей компанией и с пленниками немногим более трех недель тому назад.

«Освободители» могут воспользоваться любой из этих площадок, поэтому Мигель решил послать одну лодку с вооруженными людьми к ближайшей площадке, а вторую — в Сион. Сам он решил сесть в лодку, направлявшуюся в Сион...

А тем временем на причале закипела жизнь... К группе «Сендеро» присоединились жители деревни. Все они знали, что если руководство «Сендеро луминосо» разозлится на деревню, все население ее будет уничтожено. Подобные вещи уже случались.

Сколько ни спешили работавшие, они не смогли выехать в срок, намеченный Мигелем. Но за несколько минут до 4 часов утра обе лодки уже двигались по течению на северо-запад, подгоняемые запущенными на всю мощь моторами. Лодка Мигеля была более быстроходной и, после того как они отчалили от Нуэва-Эсперанцы, скоро ушла вперед. У руля сидел Густаво...

18

Самолет «чиенн-II» компании «Аэролибертад» поднялся в воздух из аэропорта Лимы с первым проблеском зари...

Рита со Слоуном сидели во втором ряду. Впереди них сидели пилот Освальдо Зилери и молодой второй пилот Филипе Герра...

Светало, и «чиенн-II», набрав высоту, полетел над пиками центральной гряды Кордильер. Затем он начал медленно спускаться к сельве и верхней части долины Хуальяга.

19

Партридж понимал, что просчитался. Они намного запаздывали.

Выбирая Сион, он не подумал о том, что лодка может подвести их. Беда случилась через два часа после того, как они вышли из Нуэва-Эсперанцы и им оставалось плыть еще час до места, где они бросят лодку и пойдут пешком.

Оба мотора работали, хоть и громко, но ровно, как вдруг один из них пронзительно взвыл. Кен О'Хара тотчас сбавил скорость и выключил мотор. Вой и шум мотора сразу прекратились.

Второй мотор продолжал работать, но лодка продвигалась теперь значительно медленнее.

Перейдя на корму, Партридж спросил О'Хару:

— Это исправимо?

— Боюсь, едва ли.— О'Хара, сняв крышку с мотора, обследовал его внутренности.— Мотор перегрелся, потому так и взвыл. Несомненно, отказало охлаждающее устройство. Даже если бы у меня были инструменты и я мог разобрать мотор, потребовались бы новые детали, а поскольку у нас ни того, ни другого нет...

— Значит, мы никак не можем его починить?

О'Хара отрицательно помотал головой...

— А что будет, если мы все же его запустим?

— Какое-то время он поработает, а потом снова перегреется. После этого мотор надо выбрасывать на свалку.

— Запускай,— сказал Партридж.— Другого выбора у нас нет.

Как и предсказывал О'Хара, мотор несколько минут поработал, потом взвыл, возник запах гари, мотор заглох и завести его больше уже не удалось. Лодка снова поплыла медленнее — Партридж в тревоге то и дело поглядывал на часы.

Насколько он мог судить, скорость их продвижения сократилась вдвое. Значит, остаток пути они проделают не за час, а за два.

Проделали же они его за два с четвертью часа и теперь, в 6.50 утра наконец увидели причал. Партридж и Фернандес определили его местоположение по карте, а также по тому, что на берегу валялись банки из-под содовой воды и прочий мусор. Теперь им придется за час проделать по джунглям три мили пути до взлетно-посадочной полосы в Сионе. Времени на этот путь у них оказалось куда меньше, чем они предполагали. Сумеют ли они дойти?..

Через несколько минут дно лодки царапнуло по песчаному берегу, и они прошлепали по воде к суше. Прямо перед ними в плотной стене джунглей был просвет.

Будь у них больше времени, Партридж попытался бы спрятать лодку или вытолкнуть ее на середину реки, чтобы она уплыла. Но времени у них не было, и они бросили лодку на берегу.

Прежде чем войти в джунгли, Фернандес вдруг остановился и знаком велел всем молчать. Он стоял, пригнув к земле голову, прислушиваясь... Он знал джунгли лучше всех остальных, и его слух острее воспринимал звуки.

Партридж тоже прислушался, и ему показалось, что как бы легкий стрекот доносился с той стороны, откуда они приплыли.

— Что это? — спросил он.

— Лодка,— ответил Фернандес.— Она еще далеко, но идет быстро.

Они мгновенно нырнули в джунгли.

Тропа оказалась не такой трудной, как та, по которой Партридж и его команда шли в Нуэва-Эсперанцу три дня тому назад. Было ясно, что этой тропою чаще пользовались, так как она была лишь слегка заросшей и всюду проходимой.

Однако ловушки подстерегали их на земле. Почва была неровная, из нее торчали корни и то и дело попадались такие места, где нога проваливалась в тину или в воду.

— Внимательно следите, куда шагаете,— предупредил их Фернандес, шедший впереди...

Как и на пути туда, жара стояла удушающая, а дальше будет еще жарче. Да и насекомые не ленились.

Главное, что тревожило Партриджа,— сколько протянут Джессика и Никки при такой нагрузке? Он все же решил, что Джессика выдержит... А вот Никки сникал.

Вначале Никки шел сзади, явно желая быть поближе к Партриджу. Но Партридж настоял на том, чтобы они с Джессикой шли впереди, сразу за Фернандесом...

Партридж снова взглянул на часы: 7.35 утра. Они шли почти сорок минут. Памятуя о том, что встреча с самолетом назначена на восемь, он надеялся, что они уже покрыли три четверти пути.

Через несколько минут им пришлось остановиться.

По иронии судьбы именно Фернандес, предупреждавший остальных о том, что надо идти осторожно, попал ногой в переплетение корней и упал. Партридж кинулся к нему, но Минь уже поднял Фернандеса, а О'Хара пытался высвободить его ногу; лицо Фернандеса было перекошено от боли.

— Что-то я себе, видно, повредил,— сказал он Партриджу.— Вы уж меня извините. Подвел я вас.

Когда ногу высвободили, оказалось, что Фернандес не может на нее ступить — такая при этом возникает боль. У него была явно сломана или сильно растянута лодыжка.

— Неправда, ты никогда нас не подводил,— сказал Партридж.— Ты был нашим гидом и хорошим товарищем, и мы тебя понесем.

Фернандес покачал головой.

— На это нет времени. Я не говорил вам, Гарри, но я слышу: преследователи идут за нами, они недалеко. Уходите, а меня бросьте.

К ним подошла Джессика.

— Не можем мы оставить его тут,— сказала она Партриджу.

— Один из нас может взвалить его на спину,— сказал О'Хара.— Попробую я.

— В такую-то жару? — Фернандес явно начинал злиться оттого, что они не уходят.— Да вы и сотни ярдов со мной не пройдете.

Партридж собрался было возражать, но понял — Фернандес прав.

— Мы вернемся за тобой — если это в человеческих силах и на посадочной площадке будет самолет,— сказал Партридж.

— Не теряйте времени, Гарри. Мне еще надо быстро кое-что вам сказать.— Фернандес сидел рядом с тропой, привалившись к дереву. Партридж опустился перед ним на колени. Джессика — тоже.— У меня жена и четверо детей,— сказал Фернандес.— Мне будет легче, если я буду знать, что кто-то о них позаботится.

— Ты же работаешь на Си-би-эй,— сказал Партридж,— и Си-би-эй все сделает для твоей семьи. Даю тебе слово — это официально. Дети получат образование и вообще все, что нужно.

Фернандес кивнул, затем указал на ружье, которое он нес и которое теперь лежало рядом с ним.

— Возьмите-ка это. Оно может вам понадобиться. Но я не хочу, чтоб меня брали живым. Так что дайте мне револьвер.

Партридж дал ему браунинг, предварительно сняв глушитель.

— Ох, Фернандес! — Голос у Джессики прервался, глаза наполнились слезами.— Мы с Никки стольким вам обязаны.— Она нагнулась и поцеловала его в лоб.

— Идите же!.. Не тратьте зря время, не теряйте то, что нам удалось выиграть!..

Как только Мигель увидел лодку возле тропы, ведущей в джунгли, он сразу признал в ней моторку из Нуэва-Эсперанцы и порадовался, что решил поехать с группой, направлявшейся в Сион.

Еще больше порадовался он, когда Рамон, выскочив из их лодки, кинулся к той, другой, и объявил:

— Un motor está caliente, el otro — frio, fundido *.

Горячий мотор указывал на то, что дичь не так давно ушла в джунгли...

Группа бандитов из «Сендеро луминосо» состояла из семи хорошо вооруженных людей. Мигель сказал им по-испански:

* Один мотор еще горячий, другой холодный — скукожился (исп.).

— Эти подонки-буржуи не могут далеко уйти. Мы их нагоним и хорошенько проучим! Обрушимся на них, как гнев Гусмана!..

Раздалось нестройное «ура», и они быстро двинулись в джунгли.

— Мы прилетели на несколько минут раньше,— сказала Рита Эбрамс пилоту, когда внизу показалась взлетно-посадочная полоса в Сионе, первый пункт их воздушного маршрута. Рита только что смотрела на часы: было 7.55 утра.

— Покружим и понаблюдаем,— сказал он.— Во всяком случае, это наименее вероятное место встречи с вашими друзьями.

Как и накануне, все четверо — Рита, Кроуфорд Слоун, Зилери и второй пилот Фелипе — впились взглядом в простиравшийся под ними зеленый ковер. Они выискивали малейшие признаки движения — особенно возле короткой, обрамленной деревьями взлетно-посадочной полосы... И снова, как накануне,— никаких признаков жизни.

А на тропе в джунглях Никки все труднее было идти. Джессика и Минь помогали ему, подхватив под руки и приподнимая над наиболее труднопроходимыми местами. Всем было ясно, что Никки скорее всего придется нести, но пока они берегли силы.

Прошло минут десять с тех пор, как они оставили Фернандеса. Теперь впереди шел Кен О'Хара. Партридж снова шел сзади и время от времени оглядывался. Пока ничего заметно не было.

Листва над их головой стала вроде бы редеть, больше света проникало сквозь ветки, и тропа стала шире. Партридж надеялся, что это указывало на близость взлетной полосы. В какой-то момент ему даже показалось, что он слышал гул самолета, но не был в этом уверен. Он снова взглянул на часы: было почти 7.55.

В этот момент сзади послышался короткий резкий треск — бесспорно, звук выстрела. Должно быть, это Фернандес, подумал Партридж. Даже браунингом, с которого Партридж намеренно снял глушитель, Фернандес воспользовался так, чтобы в последний раз оказать им услугу: предупредить, что погоня близко. И, как бы в подтверждение, раздалось еще несколько выстрелов.

Наверное, преследователи, увидев Фернандеса — по всей вероятности, уже мертвого,— решили, что и другие где-то близко, и на всякий случай выпустили несколько очередей...

Партридж чувствовал, что силы его подходят к концу. Последние пятьдесят часов он почти не спал и довел себя до точки. Ему трудно было держать внимание на нужном уровне.

В один из таких моментов, когда мысль его унеслась далеко, он подумал, что больше всего ему хочется сбросить с себя все обязанности... Когда эта история окончится, он продолжит отпуск, который только что начался, и уж так скроется, чтобы никто не мог его найти... И, куда бы он ни поехал, надо будет взять с собой Вивиен... Пожалуй, до сих пор он вел себя с нею не вполне честно, надо все-таки жениться на ней... Ведь еще не поздно... А он знал, что Вивиен хотела бы этого...

Усилием воли Партридж вернулся в настоящее.

Они внезапно вышли из джунглей. Перед ними была взлетно-посадочная полоса! В небе кружил самолет — явно «чиенн-II»! Кен О'Хара,— на которого всегда можно положиться, подумал Партридж,— уже вставлял зеленую капсулу в ракетницу, которую все это время нес. Зеленая ракета значила: **«Садитесь спокойно, все в порядке».**

Тут сзади раздалось два выстрела — на сей раз совсем близко.

— Давай красную ракету, не зеленую! — крикнул Партридж О'Харе.— И быстро!

Красная ракета означала: **«Садитесь, как можно быстрее, мы в опасности!»**

Было начало девятого. В самолете, над сионской взлетно-посадочной полосой, Зилери повернул голову к Рите и Слоуну. И сказал:

— Никаких признаков. Полетели в два других места.

Он развернул самолет. В этот момент Кроуфорд Слоун воскликнул:

— Стой! Кажется, я что-то видел.

Зилери повернул самолет в обратном направлении.

— Где? — спросил он.

— Где-то там.— Слоун показал, где именно.— Я не уверен, что показываю точно. Просто мне... мне показалось...— В голосе его звучала неуверенность.

Зилери сделал круг. Снова все они вглядывались в землю. Завершая круг, пилот сказал:

— Ничего не вижу. По-моему, надо лететь дальше.

В этот момент в воздух взлетела красная ракета.

О'Хара выпустил вторую красную ракету.

— Хватит. Они нас видели,— сказал Партридж.

Самолет уже повернул к ним. Теперь Партриджу необходимо было знать, где будет нос самолета, когда он приземлится. Тогда они сумеют занять нужную позицию, чтобы отстреливаться от преследователей, пока Никки и Джессика будут садиться в самолет.

Ответ на этот вопрос стал скоро ясен. «Чиенн-II» круто спускался, быстро теряя высоту,— значит, самолет пролетит над их головой. И сядет хвостом к тропе, откуда доносилась стрельба.

Партридж оглянулся. Никого не было видно, хотя стрелять продолжали. Он мог лишь догадываться, почему. По всей вероятности, преследователи шли и стреляли вслепую в надежде, что пуля кого-нибудь настигнет.

— Веди Джессику и Никки на полосу — быстро! — и оставайся с ними! — сказал он О'Харе.— Когда самолет докатит до конца дорожки, он повернет назад. Бегите к нему и садитесь. Ты меня слышал, Минь? — Минь прилип глазом к камере, и, как ни в чем не бывало, продолжал снимать... Партридж решил больше не думать о Мине. Он сам о себе позаботится.

— А как же ты, Гарри? — с тревогой спросила Джессика.

— Я буду отстреливаться, чтобы прикрыть вас,— сказал он ей.— Как только вы сядете в самолет, я присоединюсь к вам. Идите же!..

Не успели О'Хара, Джессика и Никки отойти от Партриджа, как он увидел несколько фигур, продвигавшихся по джунглям с ружьями наперевес.

Партридж залег за маленьким бугорком. Растянувшись на животе, он нацелил автомат на движущиеся фигуры. И, нажав на спусковой крючок, увидел, как упал один из наступающих; остальные кинулись в укрытие. В тот же момент он услышал, как «чиенн-II» пронесся над самой его головой. Хотя Партридж и не проследил за ним взглядом, он знал, что самолет садится.

— Вот они! — воскликнул чуть ли не истерически Кроуфорд Слоун.— Я их вижу! Джессику и Никки!

Самолет бежал на большой скорости, подскакивая на неровной земле. Конец полосы приближался, и Зилери изо всех сил нажал на тормоза. В самом конце полосы пилот затормозил, выключил один мотор, развернул самолет, и они покатились назад, к противоположному концу.

«Чиенн-II» остановился как раз возле того места, где ждали Джессика, Никки и О'Хара. Второй пилот встал со своего места и открыл дверь.

Сначала Никки, затем Джессика и О'Хара залезли в машину... За ними следовал Минь.

Кроуфорд, Джессика и Никки кинулись друг другу в объятья, а О'Хара воскликнул:

— Там, впереди, Гарри. Надо взять его. Он сдерживает террористов.

— Я вижу его,— сказал Зилери.— Держись! — Он снова включил дроссели, и самолет рванулся вперед.

В дальнем конце взлетно-посадочной полосы Зилери снова развернул самолет. Теперь он стоял в том же положении, в каком сел,— готовый

к взлету, но со все еще открытой дверью. Сквозь нее слышны были выстрелы.

— Не мешало бы вашему другу поспешить. Я хочу побыстрее убраться отсюда.— Голос у Зилери звучал взволнованно.

— Сейчас прибежит,— сказал Минь.— Он видел нас и мигом будет тут.

Партридж не только слышал, но и видел самолет. Бросив взгляд через плечо, он понял, что самолет подкатил к нему совсем близко — ближе некуда. Их разделяло всего сто ярдов. Он побежит быстро, пригнувшись. Но сначала надо дать залп по джунглям, чтобы приостановить наступление группы «Сендеро». За последние несколько минут он видел, как появилось еще несколько фигур, дал по ним очередь и видел, что еще один упал. Остальные спрятались за деревьями. Огневой залп удержит их в укрытии, пока он добежит до самолета.

Партридж вставил в автомат новую обойму. Нажал на спусковой крючок и держал автомат, сея смерть по обе стороны тропы...

Расстреляв всю обойму, он бросил автомат, вскочил на ноги и побежал, пригнувшись вдвое. Самолет был перед ним. Он знал, что добежит!

Партридж пробежал треть пути, когда пуля попала ему в ногу. Он тотчас упал. Все произошло так быстро — он не сразу осознал, что случилось.

Пуля вошла сзади в правое колено и раздробила чашечку. Идти он не мог. На него накатила страшная, непредставимая боль. И он понял, что никогда ему не добраться до самолета. Понял он и то, что время истекло. Самолету надо улетать. А ему придется поступить так, как поступил Фернандес.

Собрав последние силы, Партридж приподнялся и махнул самолету— улетай. Главное сейчас, чтобы они поняли.

Минь стоял в двери самолета и снимал. Он держал Патриджа в объективе и засек тот момент, когда в него попала пуля. Второй пилот Фелипе стоял рядом с Минем.

— Его подстрелили! — воскликнул Фелипе.— По-моему, худо дело. Он машет, чтоб мы улетали.

Услышав это, Слоун кинулся к двери.

— Мы должны его забрать!..

— Пожалуйста, не улетайте без Гарри,— взмолился Никки.

Минь, бывавший на войне, реалистичнее всех смотрел на вещи.

— Не можем мы это сделать. Нет времени,— сказал он.

Минь видел в свой объектив приближавшуюся группу «Сендеро». Они уже достигли периметра взлетно-посадочной полосы и бежали, стреляя на ходу. Как раз в этот момент несколько пуль попало в самолет.

— Я улетаю,— сказал Зилери. Он уже раньше опустил подкрылки и теперь двинул вперед дроссели.

Минь вместе с камерой рухнул на спину. Филипе быстро закрыл и запер дверь...

«Чиенн-II» оторвался от земли и пошел вверх.

Джессика и Никки, обхватив друг друга, громко рыдали. Слоун сидел, прикрыв глаза, медленно покачивая головой, словно не веря тому, что он видел.

Минь, прижав камеру к окну, снимал последние кадры того, что происходило внизу.

А на земле Партридж увидел, что самолет улетает...

И у него потекли долго сдерживаемые слезы. Еще несколько пуль вошли в его тело, и он был мертв.

20

Глядя на труп Гарри Партриджа, Мигель дал себе слово, что никогда больше не допустит такого провала.

На первой стадии похищения, сложной и требовавшей максимума изобретательности, ему грандиозно везло. А на второй стадии, когда все, казалось бы, должно было пройти легко и без осложнений, он так же грандиозно оплошал.

Следовавший из этого урок был ясен: ничто не бывает легко и несложно. Ему следовало понять это уже давно...

Что же теперь?

Во-первых, надо уезжать из Перу. Если он останется, его жизнь гроша ломаного не будет стоить — уж «Сендеро луминосо» позаботится об этом.

Даже в Нуэва-Эсперанцу ему возвращаться нельзя.

По счастью, в этом не было надобности. Перед отъездом, предвидя возможность того, что произошло, он запрятал все свое достояние — включая большую часть пятидесяти тысяч долларов, полученных от Хосе-Антонио Салаверри во время последнего посещения ООН,— в пояс, который сейчас был на нем.. Этих денег вполне достаточно, чтобы перебраться из Перу в Колумбию.

А сейчас он намеревался вернуться в джунгли. В двадцати пяти километрах отсюда есть взлетно-посадочная полоса, на которую часто прилетают самолеты с колумбийскими пилотами, перевозящими наркотики. Мигель знал, что сможет заплатить за то, чтобы они взяли его с собой в Колумбию, а там он будет в безопасности.

Если кто-то из группы попытается остановить его, Мигель этого человека убьет...

Даже в Колумбии репутация Мигеля несколько потускнеет из-за провала в Нуэва-Эсперанце, но продлится это недолго. В противоположность «Сендеро луминосо», колумбийские картели по торговле наркотиками не отличаются фанатизмом. Люди, ими руководящие, безжалостны,— да, но они прежде всего прагматики и бизнесмены. А Мигель располагал для продажи талантом анархиста-террориста...

21

На борту «Чиенн-II» несколько минут все молчали, не в силах говорить... Наконец Слоун поднял опущенную голову и спросил Минь Ван Каня:

— Я насчет Гарри... ты что-нибудь еще видел?

Минь удрученно кивнул.

— В него попало еще несколько пуль. Так что никаких сомнений.

Слоун вздохнул.

— Он ведь был у нас лучшим...

— Самым лучшим,— поправил его Минь, неожиданно твердым голосом.— И как корреспондент. И как человек...

— Можно посмотреть кое-что из твоих снимков? — спросила Рита, в которой заговорил профессионал. Она знала, что, невзирая на смерть Гарри, должна сделать в Лиме передачу, которая уйдет где-то через час. Знала она и то, что в их распоряжении уникальный материал.

Минь немного перекрутил пленку и передал свой «бетакам» Рите. Она прижала глаз к видоискателю: Минь, как всегда, сумел схватить главное. Снимки были великолепные...

— У Гарри был кто-нибудь — какая-нибудь девушка? — спросил Слоун.

— Да, была, вернее, есть,— сказала Рита.— Ее зовут Вивиен. Она медицинская сестра, живет в местечке Порт-Кредит — это около Торонто.

— Надо ей позвонить. Я поговорю с ней, если хочешь.

— Да, я бы хотела, чтобы поговорил ты,— сказала Рита.— И скажи ей, что Гарри перед отъездом на задание составил завещание — оно у меня. Он оставил ей все. Вивиен этого не знает, но теперь она миллионерша. Похоже, Гарри солил свои деньги в банках всего мира. Вместе с завещанием он оставил и список банков.

А Минь, пока они говорили, незаметно снимал на видеопленку Джессику и Никки. И сейчас Рита увидела, что камера нацелена на завязанную правую руку Никки. Это напомнило ей о том, что она привезла из

Лимы, и, порывшись в сумке, она вытащила телетайпную ленту, поступившую на Энтель.

— До своего отъезда, — сказала Рита, обращаясь ко всем окружающим, — Гарри просил меня послать телеграмму одному из его друзей — хирургу в Оукленде, штат Калифорния. Гарри говорил, что его приятель — один из самых известных в мире специалистов по искалеченным рукам. В телеграмме Гарри спрашивал насчет Николаса. И вот ответ.

Она передала отпечатанный листок Слоуну, и тот прочел вслух: ОЗНАКОМИЛСЯ ПРИСЛАННЫМИ ТОБОЙ ДАННЫМИ ТАКЖЕ ЧИТАЛ ГАЗЕТАХ ПРО ТВОЕГО ЮНОГО ДРУГА тчк ПРОТЕЗ НЕ РЕКОМЕНДУЮ тчк ЭТО НЕ ПОМОЖЕТ НЕ ПОЗВОЛИТ ИГРАТЬ тчк ОН ДОЛЖЕН И СМОЖЕТ НАУЧИТЬСЯ ВЫВОРАЧИВАТЬ РУКУ ЛАДОНЬЮ КВЕРХУ КОГДА НАДО УДАРЯТЬ УКАЗАТЕЛЬНЫМ ПАЛЬЦЕМ И МИЗИНЦЕМ ПО КЛАВИШАМ тчк ЕМУ ПОВЕЗЛО ПОДОБНАЯ ПРАКТИКА БЫЛА БЫ НЕВОЗМОЖНА ПРИ ПОТЕРЕ ДРУГИХ ПАЛЬЦЕВ тчк ПОЛУЧАЕТСЯ ТОЛЬКО С ЭТИМИ ДВУМЯ тчк У МЕНЯ ЕСТЬ ПАЦИЕНТКА КОТОРАЯ ПОТЕРЯЛА ЭТИ ЖЕ ПАЛЬЦЫ ТЕПЕРЬ ИГРАЕТ НА РОЯЛЕ тчк ЕСЛИ ХОЧЕШЬ МОГУ ИХ СВЕСТИ тчк БЕРЕГИ СЕБЯ ГАРРИ тчк НАИЛУЧШИМИ ПОЖЕЛАНИЯМИ ДЖЕК ТАППЕР Д-Р МЕД.

Все молчали. Потом Никки спросил:

— Можно мне взглянуть, пап?

Слоун передал ему бумагу...

Никки стал читать телеграмму, держа ее в левой руке и уже выворачивая забинтованную правую.

— Похоже, мы всю жизнь будем за что-то благодарить Гарри, — заметил Кроуфорд Слоун.

— И Фернандеса, — напомнила Джессика... И рассказала Кроуфорду и Рите об обещании, которое Гарри дал Фернандесу, прежде чем оставить его на тропе...

— Когда мы вернемся, — сказал Слоун, — я прослежу за тем, чтобы обещание Гарри было выполнено. Ведь это все равно, что юридический документ, который он выдал от имени Си-би-эй.

— Есть только одна загвоздка, — заметила Рита. — Гарри обещал это, когда был уже уволен, хотя он этого еще и не знал.

Услышав эти слова, Минь в изумлении посмотрел на нее.

— Это не имеет значения, — сказал Слоун. — Обещание, данное Гарри, будет выполнено.

— Но нам в связи с этим предстоит кое-что решить, — заметила Рита. — Будем мы говорить в сегодняшнем репортаже, что Гарри уволен?

— Нет, — убежденно заявил Слоун. — Это наше грязное белье. Не будем полоскать его на людях.

«Но правда все равно вылезет, — подумала Рита. — В конце концов она всегда вылезает».

Кроуфорд еще не знал про записку, которую она отправила по факсу Лэсу Чиппингему... Через какую-нибудь неделю это наверняка выплывет в «Таймс» или в «Вашингтон пост»... Ну и пусть!

Рита подумала, что в результате этой записки она теперь тоже, наверное, уже безработная. Она ведь и подписалась «бывшая выпускающая». Ну, как бы там все ни разрешилось, это задание она доведет до конца.

— Мне не дает покоя одна мысль, — произнесла вдруг Джессика. — Насчет этой взлетно-посадочной полосы, откуда мы взлетели.

— В Сионе, — подсказала Рита.

Джессика кивнула.

— У меня такое чувство, что я уже видела и эту тропу через джунгли, и эту взлетно-посадочную полосу. По-моему, они нас туда привезли, и мы как раз там начали просыпаться... И еще одно... В том сарае, где нас держали, был еще один человек. Я не знаю, кто он, но уверена, что это был американец. Я умоляла его помочь нам, но он ничего не сделал. Я, правда, сохранила вот это.

Накануне Джессика вытащила из-под матраса в своей клетке сделанный ею набросок. Сложила его и спрятала в лифчик. Теперь она протянула листок Рите.

На них смотрел пилот «лирджета» Денис Андерхилл.

— Мы сегодня вечером, — сказала Рита, — прокрутим это в «Вечерних новостях» и спросим, не может ли кто-нибудь опознать его. Из двадцати миллионов телезрителей наверняка кто-то найдется.

Самолет гудел, продолжая набирать высоту, — он перелетит через пики Анд и начнет снижение к океану и Лиме. Рита отметила, что часы показывают несколько минут десятого.

Она понимала, что им с Кроуфом надо составить жесткий план на день. Кое-какие наметки она уже сделала...

Драматическая история вызволения похищенных пока была исключительно в распоряжении Си-би-эй. Следовательно, до тех пор, пока первый блок «Новостей» не пройдет в Нью-Йорке, — а это будет в 17.30 по времени Перу, — Джессику и Никки надо держать вне досягаемости прессы. Рита была уверена, что Кроуф поймет такую необходимость...

И Рита договорилась с Освальдо Зилери, который жил на окраине Мирафлорес, что они поедут к нему. Они пробудут у него до 17.30, когда уже и пресса, и телевидение обо всем узнают и Джессику с Никки можно будет показать им. Через это испытание им придется пройти.

Вести передачу «Вечерних новостей» и выступать в дальнейших передачах будет Кроуф. Это будет наверняка ему нелегко. Ведь ему придется говорить о смерти отца, Гарри Партриджа и Фернандеса и о том, как покалечили Никки. Кроуфу случается расчувствоваться, и тогда у него от волнения прерывается голос. Неважно, подумала Рита. Это только придаст больше убедительности рассказу, а Кроуф совладает с собой и продолжит. Он же профессионал, как и Рита, и все остальные.

Но одну новость — Рита это понимала — не надо, да и нельзя держать в тайне до вечера. То, что похищенных вызволили и что Никки с Джессикой живы и здоровы. Надо дать бюллетень. Как только на Си-би-эй в Нью-Йорке получат его, они моментально прервут программу. И Си-би-эй снова обойдет своих конкурентов.

Рита опять взглянула на часы: 9.23. Оставалось еще минут двадцать пёта. Да еще им надо добраться из аэропорта в Лиму, следовательно, бюллетень они передадут только в 10.30. Они пошлют лишь несколько сделанных вчерне «картинок», как поступили она, Гарри, Минь и Кен О'Хара меньше месяца тому назад в далласском аэропорту Форт-Уорт, когда загорелся аэробус.

Неужели это было так недавно? А казалось — прошли века.

Для передачи бюллетеня в 10.30 потребуется сателлит. Рита нагнулась и постучала Зилери по плечу. Он обернулся, и она указала на радиопередатчик.

— Можете связаться по этой штуке с определенным телефоном? Мне нужно вызвать Нью-Йорк.

— Конечно, могу.

Она написала номер телефона и передала Зилери. Чуть ли не тотчас в громкоговорителе раздалось: «Редактор международных новостей Си-би-эй слушает».

Филипе передал Рите микрофон.

— Валяйте, — сказал он ей.

— Говорит Рита Эбрамс, — сказала она, нажав на кнопку передачи. — Устройте мне птичку из Лимы для передачи бюллетеня в десять тридцать по времени Лимы. Оповестите «подкову».

— Все в порядке. Будет сделано, — ответил лаконично голос.

— Спасибо. До свидания. — И Рита вернула пилоту микрофон...

Придется им с Кроуфом поработать в полете. К сожалению, для этого надо оторвать его от Джессики и Никки. Но он поймет, как и они. Люди, имеющие отношение к «Новостям», понимают, что все отступает перед передачей.

— Кроуф, — тихо сказала Рита, — нам с тобой надо поработать. Пора за дело.

Перевод с английского Т. Кудрявцевой и Н. Изосимовой

Мемуары. Архивы. Свидетельства

Владислав Ходасевич

ПИСЬМА М. В. ВИШНЯКУ

Дорогой Марк Веньяминович,
поэма сия[1] писана бойким ямбом, «легко», т. е. дешево. Отставные полковники и уездные предводители дворянства (большие любители поэзии) думают, что так писывал и «А. С. Пушкин», но они ошибаются.

Это — рубленая проза, банальная по архитектонике, грошевая по стилю, избитая по ходу действия и персонажам.

«Идея» высказана в начальных строках на стр. 23-й. Это — эмигрантско-уличное большевикоедство, достойное «Руля» и Сергея Горного. Печатать сие в «С. З.» было бы непристойно.

Вообще, если мне позволено высказаться, я очень против Саши Черн[ого], Lolo, Лери[2] и всего подобного *. Впрочем, один мой родственник не может читать их без слез: он потерял фабрику.

Всего хорошего.

В. Х.

27 июня 924.

Вишняк Марк Вениаминович (1883—1977) — один из редакторов журнала «Современные записки», выходившего в Париже в 1920—1940 гг.

М. Вишняк писал: «Наши отношения начались с заочного знакомства, на расстоянии. <...> Появившийся в 1922 году в Берлине Ходасевич предложил журналу стихи, которые стали печататься на страницах «С. З.» из номера в номер, приобретая все большую внутреннюю убедительность и бесспорность даже в глазах не-поэтов.

Мы встретились с Владиславом Фелициановичем впервые в 1924 году в Париже. Поразил внешний его облик — крайняя моложавость, не шедшая к представлению, которое составилось по его стихам. Его ответная реплика была как всегда, когда он хотел быть любезным,— полуиронической:

— Я тоже представлял себе Вас с бородой, таким вот — Михайловским! — Михайловским! — и он покрутил в воздухе, на некотором расстоянии от своего подбородка тремя пальцами, явно обнаруживая неверное представление о физическом облике покойного Михайловского и его подлинной бороде.

Общение наше возникло на деловой почве, обычной между сотрудниками журнала и членом редакции...» («Новый журнал», 1944, № 7, с. 280).

Первую встречу с Вишняком Ходасевич отметил в «камер-фурьерском» журнале: 1924 г., апрель, «**14, понед.** В 6½ утра в Париже... В Совр. Зап. (Вишняк, Алданов)» (Бахметьевский архив, ф. Карповича).

Подробнее об отношениях М. В. Вишняка и В. Ф. Ходасевича см. Послесловие.

[1] О какой поэме идет речь, неизвестно, т. к. после отзыва Ходасевича она не была опубликована.

[2] Сергей Горный — псевдоним Александра-Марка Оцупа, старшего из трех братьев-поэтов Оцупов; Лоло — псевдоним Мунштейна Леонида Григорьевича — сатирика и драматурга, Лери — псевдоним Клопотковского Владимира Владимировича — все они печатали фельетоны, часто политического содержания, в газетах: «Руль», «Дни», «Последние новости» и «Возрождение».

* Это — Демьяны Бедные для эмигрантов (здесь и далее подстрочные примечания — В. Ходасевича).

Дорогой Марк Веньяминович,
6 числа я послал Вам воспоминания о Брюсове[1]. Ответьте, пожалуйста на два вопроса: 1) получили ли их, 2) — не слишком ли ужасно.

Я **не мог послать** стихов, потому что есть разрозненные клочья, в отдельности ничего не стоющие. А связать не могу, п. ч.— скажу Вам, **только Вам,** под великой тайной — я все это время обдумывал нечто прозаическое[2], первый раз в жизни, и теперь сел писать.

Пока — будьте здоровы.

Жму руку. Нина Николаевна кланяется.

Ваш **Владислав Ходасевич.**

Sorrento, 10 февраля 925.

P. S. А стихи Оцупа, с нестерпимыми опечатками, все же хорошие. Бальмонт — ужасен. Господи, как я люблю Бор. Зайцева, но зачем он разводит такую скуку? Я еще больше люблю Федора Августовича[3],— должно быть, поэтому он еще скучнее. Бунин — и тут плоховат. Мережковский смешон, п. ч. серьезен. Но таков и должен быть настоящий юморист: ведь его роман — шутка, правда? Это еще лучше «Вампуки». Муратов на сей раз что-то напутал. Во всем номере мне понравились только статья Гиппиус и Ваша.— Не сердитесь на эту рецензию[4]. Она — от желания добра.

В. Х.

---

[1] См. очерк «Брюсов» в «Некрополе». Впервые был опубликован в 23-ей книге «Современных записок».

[2] Речь идет о повести, которой Ходасевич был очень увлечен, писал о ней М. М. Карповичу 3 июня 1925 г.; А. И. Ходасевич: «Для себя пишу повесть, но очень туго» (22 июня 1925 г.); московскому приятелю Борису Диатроптову: «Для души — стихи (мало, как всегда) и повесть, которую начал, которую наполовину уже проел, а продолжать мешает каждодневная работа» (получено 15 ноября 1925 г.).

[3] Федор Августович Степун (1884—1965) — философ и публицист, прозаик, вел в «Современных записках» литературно-художественный отдел. «Когда говорят о Степуне, первое, что приходит на ум <...> это — **блестящий:** блестящий лектор, блестящий публицист, блестящий критик, блестящий собеседник»,— писал М. Вишняк в кн. «Современные записки». Воспоминания редактора». Индиана, 1957, с. 110.

[4] Мини-рецензия Ходасевича охватывает содержание 22-й книги журнала, в которую вошли роман Б. Зайцева «Золотой узор» и окончание романа Д. Мережковского «Рождение богов (Тутанкомон на Крите)»; «Николай Переслегин» Ф. Степуна и рассказы Бунина «Товарищ дозорный» и «Красный генерал»; стихи Бальмонта «Русский язык», «Отчего?», «Заветная рифма»; «Отрывок из поэмы» Н. Оцупа; статья П. Муратова «Искусство и народ». Одобрил Ходасевич статьи З. Гиппиус «Оправдание добра» и М. Вишняка «Оправдание равенства».

16 февр. 925
Sorrento.

Дорогой Марк Веньяминович,
очень рад, что «Брюсов» пришелся Вам по вкусу. Я боялся, что Вам все это покажется слишком ужасно. Меж тем, о гораздо более жутких вещах я умолчал.

Теперь дело вот в чем. Нельзя ли мне прислать корректуру? (Кажется, я Вам уже писал об этом). **Я верну ее буквально в тот же день.** Если же **никак** невозможно это, то, пожалуйста, сделайте хоть одно, важное, изменение. В том месте, где описываются проводы N.[1] на вокзале, а потом вечер у матери Брюсова,— у меня нет точной даты. Сказано — «осенью 1911 года» или что-то в этом роде, не знаю, ибо я Вам послал черновик (он же беловик). Так вот, нельзя ли мое неточное обозначение времени заменить вполне точным: **«9 ноября 1911 года».** Мне, по ряду обстоятельств, необходимо закрепить эту дату, которую восстановил только несколько дней тому назад, получив письмо от самой N.

Черкните, пожалуйста. Но лучше всего — корректуру!

Ваш **В. Ходасевич.**

---

[1] Нина Ивановна Петровская — новеллистка, приятельница Ходасевича. Ее историю он рассказал в очерке «Конец Ренаты» («Некрополь»).

Sorrento, 5 марта 925.

Дорогой Марк Веньяминович,
хоть и лучше было бы для меня явиться не в одиночестве, а в соседстве с Шестовым или, б. м., с Фед. Авг. (которому самый сердечный привет) — но будь по Вашему. О размере статьи сейчас не могу поручиться ни за что,— но думаю, что листа с четвертью довольно. Если превышу,— то, вероятно, на какой-нибудь пустяк. Выяснится это для меня одновременно с вопросом о сроке. Дело в том, что я написал в Россию, чтобы мне выслали старые письма Г<ершензо>на ко мне. Жду их числа 19—20. Следовательно, числу к 1-му думаю статью написать. Кроме этих писем, жду еще ответа от Марии Борисовны Гершензон, которую просил написать мне о последних днях М. О-ча [1].

Однако, возможно, что я ничего этого не получу *. Дело в том, что мои «отношения» с Кремлем испортились вдребезги. Я уже получаю из России шифрованные просьбы не надписывать на конвертах своего имени, писать письма под псевдонимом и проч. Статья о Родове в «Днях» подлила много масла в огонь [2], статья о Брюсове в «Совзапах», как Вы изволите выражаться, подольет еще. Есть и ощутимые признаки: некто по моему поручению должен был продлить мой советский паспорт в Риме; ему отказали, сказав, что по настоящему должны бы мне предписать ехать в Россию. Все это пока между нами — но из этого возникает реальная просьба. Я в Россию не собираюсь, но собираюсь в Париж. Узнайте, пожалуйста, не будет ли тут препятствий. Дело в том, что теперь у меня паспорта нет, но есть франц. carte d'identité и есть certificat d'identité [3], сроком по 28 июля, с обратной визой на въезд во Францию. Так вот, не вышла ли в тираж эта виза в связи с новым декретом? Думаю, даже уверен, что не вышла, но хотел бы, чтобы Вы меня на сей счет успокоили. В Париж собираюсь в середине апреля. Пожалуйста, ответьте на сию тему, не на открытке.

За предложение аванса — большое спасибо. Пожалуйста, положите его в конверт, но не посылайте, а храните на груди до моего приезда.

О стихах всячески постараюсь.

Нина Николаевна шлет привет. Ваш В. Ходасевич

---

[1] Ходасевич собирал материал для статьи на смерть М. О. Гершензона: А. И. Ходасевич он просил выслать письма Гершензона, оставшиеся в России. Написал Марии Борисовне Гершензон: «Михаил Осипович был для меня человеком, к которому за последние десять лет я к первому шел делиться всеми радостями и горестями. И в писаниях, и в жизни (а это — важнее и труднее) был он для меня таким умным, таким безжалостно строгим и таким бесконечно доброжелательным судьей, какого уж больше я не найду,— да и искать не стану. Если бы Вы оказались так добры, и написали бы мне, как отчего он скончался, долго ли хворал,— я бы Вам был глубоко благодарен. <...> Хочу попробовать написать для журнала о том, каким знал и любил Михаила Осиповича» (ГБЛ, ф. 746, карт. 48, ед. хр. 46).

[2] В 1923 г., в № 2—3 журнала «На посту» напечатана статья С. Родова «Оригинальная поэзия Госиздата», в которой, разбирая произведения М. Цветаевой, М. Волошина, В. Ходасевича, автор спрашивал: «До каких пор мы будем оплачивать, печатать и распространять произведения чуждые, а зачастую и враждебные всем нашим идеалам?» В ответной статье «Господин Родов» Ходасевич назвал ее «доносительской» («Дни», 1925, 22 февраля).

[3] carte d'identité — вид на жительство для иностранцев, проживающих во Франции, выдавался на два года; certificat d'identité — удостоверение о месте жительства.

Дорогой Марк Веньяминович,
во-первых, спасибо за сведения о визе;
во-вторых, статья о Герш<ензоне> и стихи для 24 книги будут [1];

---

* Что, конечно, отразится на составе статьи о Гершензоне, на ее размерах и проч.

в-третьих, писомое в тайне к 25 книжке вряд ли будет кончено,— да и вообще неизвестно, «увидит ли свет»;
в-четвертых,— 6-го числа Вы писали, что статью Белого о Гершензоне (необходимую спешно!) [2] Вы высылаете «завтра», т. е. 7-го; после этого пришло от Вас еще письмо, от 9-го марта,— а статьи все нет; если пропала — умоляю выслать еще экз., обязательно заказной бандеролью, ибо все печатное пропадает, если не заказное; если просто еще не выслали — пожалуйста, пошлите,— без нее не могу сесть за статью;
в-пятых, пришлите, пожалуйста, 23 книжку как только выйдет;
в-шестых — всего Вам хорошего;
в-седьмых — Нина Ник. Вам кланяется;
в-восьмых — Владислав Ходасевич;
в-девятых — Сорренто, 12 марта 1925.

---

[1] В 24-ую книгу «Современных записок» Ходасевич дал стихотворение «Перед зеркалом».

[2] Статья А. Белого о Гершензоне опубликована в журнале «Россия», 1925, № 5 (14); в № 4 того же журнала — очерк А. Белого «Валерий Брюсов».

Sorrento, 27.III.925

Carissimo e gentilissimo [1]
Марк Веньяминович,
Вы угадали: и статью Белого, и 23-ю кн. «С. З.» я получил. Спасибо. Статью Шестова читать не хочу [2]. Бог с ней. Смущает меня только то, что о Г<ершензо>не-писателе будет, как Вы пишете, тысяч 15 букв, а я вряд ли умещусь (вместе с письмами) меньше, чем на 50—55 тысячах. Ну, да в крайнем случае — не беда. Я постараюсь сократиться.

Теперь вот что. Вчера приехал Муратов и рассказал, будто кто-то (не помню, кто) писал ему, что Зайцевы переезжают в Прагу. Правда ли это? Меня это очень тревожит, ибо переезд в сию европейскую столицу означал бы, что они переживают крайний, предельный денежный кризис [3]. А я хочу им добра. Сообщите, правда ли это.

Второе. Где Федор Августович? Застану ли я его в Париже, если приеду около 25 апреля? Это спрашиваю из чистого гурманства: хотел бы с ним посидеть вечерок-другой. Я его вообще очень люблю и ценю (можете프 просплетничать), а его статья в 23 книжке — просто чудесная, особенно первая, общая часть.

Вот рецензия на 23 книжку [4]: хорошо 2-е стих. Гиппиус; Цветаева — вывихнутая бабенка; у нее неправильное положение матки, это можно вылечить; напишите ей, чтобы не носила высоких каблуков; Бунин — хорошо, при условии, если не окажется сделанным по рецепту:

Крейцерова Соната — 1,00
Aquae destill. — 100,—

24-я книга это выяснит; Зайцев — безнадежно; Ремизов — Ремизов; Ходасевич — хорошо, но злобно. Прочего еще не читал.

Жму Вашу руку.

Владислав Ходасевич.

---

[1] (итал.) — Милейший и любезнейший.

[2] В 24 книге «Современных записок» печаталась статья Л. Шестова «О вечной книге (Памяти Гершензона)».

[3] Зайцев Борис Константинович (1881—1972) — прозаик, один из самых старых литературных приятелей Ходасевича, знакомство с которым относится к 1906 г. С 4 ноября по 6 декабря 1923 г. Ходасевич и Н. Н. Берберова провели в Праге, оставившей впечатление литературного захолустья. Из Праги Ходасевич писал А. В. Бахраху: «Что касается здешних русских, то — случалось ли Вам ездить по России в спальном вагоне 3-го класса? Так вот, представьте, что все пассажиры оного (бухгалтеры, земские статистики, учителя, чиновники контрольной палаты, землемеры) — вылезли на станции «Прага» и закусывают в буфете.

Колбаса, сыр, чай («свой кипяток») — и просаленная бумага» (7 ноября 1923 г., Бахметьевский архив).

[4] В кн. 23-й «Современных Записок» опубликованы статья из цикла Ф. Степуна «Мысли о России»; 1-я часть рассказа И. Бунина «Митина любовь»; прод. романа Б. Зайцева «Золотой узор»; «Esprit (сказ-вяканье)» А. Ремизова; цикл стихов М. Цветаевой «Двое». Отмечает Ходасевич стихотворение З. Гиппиус «Ключ»; «хорошо, но злобно»,— пишет о своем очерке «Брюсов».

Sorrento, 14 апреля 925.

Дорогой Марк Веньяминович,
вот статья.

Мы надеемся, с Божьей помощью, выехать отсюда 18 числа, в субботу. Дня 2—3 пробудем в Риме и числа, значит, 23—24 явимся в Париж.

Стихи привезу с собой: надеюсь до тех пор что-нибудь написать или привести в порядок написанные, ибо они мне крепко не нравятся.

Статью посылаю, так как ее набирать дольше. Корректуру непременно должен прочитать сам.

Итак, до скорого, надеюсь, свидания.

Как видите, я все надеюсь. Жму руку.

Неунывающий Дачник.

Предупреждение врагу.

Будут ли ясно сиять небеса,
Иль вихорь подымется дикий,—
В среду, как только четыре часа
Пробьет на святом Доминике,—

Бодро вступлю я в подъезд «Родника»,
Две пули запрятавши в дуле,
Мимо Коварского[1], в дверь Вишняка
Войду — и усядусь на стуле.

Если обещанных франков пятьсот
Тотчас из стола он не вынет,
Первая пуля — злодею в живот,
Меня же вторая не минет.

2 мая 1925.
Париж.

Чугунная Маска.

---

[1] Коварский Илья Николаевич — владелец книжного магазина «Родник» и издательства, находившихся в одном помещении с редакцией «Современных записок».

Дорогой Марк Веньяминович,
вот корректура. Отдаю Вам, ибо не знаю, в которую типографию послать. Пожалуйста, напомните им, что они должны мне доставить еще и гранки писем: их мне еще не давали.

Встреченный на лестнице Руднев[1] возвращает прилагаемую статью Нольде[2] и просит сказать:

«Это не то, чего мы ожидали».

Первоначально он сказал: «дрянь».

Будьте здоровы.

В. Х.

9 мая [1925].[3]

---

[1] Руднев Вадим Викторович (1879—1940) — один из соредакторов «Современных записок», по образованию — врач, видный деятель эсеровской партии, в 1917 г. избран московским городским головой, делегат Учредительного собрания. В журнале ведал «технической» стороной: организация типографии, добывание денег и т. д.

[2] Речь идет о статье Б. Нольде «Советская дипломатия», опубликованной в 24-й кн. «Современных записок», там же, где печатался очерк Ходасевича «Гершензон» и письма М. О. Гершензона.

[3] В квадратные скобки заключены даты, установленные по содержанию письма или по почтовому штемпелю.

24 авг. 1925.

Милый Марк Веньяминович, я написал о Есенине так бездарно, что не решился печатать, особенно в журнале[1]. Зато написал очень хорошие стихи[2], которые и пойдут в ближайшем номере вместе с Гиппиус и Берберовой. «То в Вышнем решено Совете», т. е. Фондаминским[3] и мною, и Вы не рвите и не мечите. Я писал о Есенине в Париже, в жаре, в духоте, под уличный шум. Затем — сбежал и ныне проживаю: 28, rue Alexandre Guilmant, Meudon (S et o). Здесь тихо + 2 комнаты.

Вчера поладил с «Днями» — Вашими молитвами и так, как Вы говорили[4]. Будьте здоровы. Сердечный привет Марии Абрамовне. Берберова тоже всячески кланяется.

Знаете что? Передайте-ка от меня поклон Вышеславцеву[5]: он со мной нежен, даже весьма, а я — пень бесчувственный. Так вот, хочу это компенсировать через Вас. Жму руку. Ваш **В. Х.**

---

[1] О причинах недовольства очерком Ходасевич писал Ю. Терапиано 12 февраля 1926 г.: «Как мне ни стыдно,— я должен сказать, что обещание читать в Союзе о Есенине останется неисполненным. Статья вышла в значительной мере политической, а Вы согласитесь, что для политических выступлений перед случайной публикой да еще столь недисциплинированной, как нынешняя — надобно иметь толстую кожу и любовь к скандалам. У меня нет ни того, ни другого, а скандал, как я вижу, оказался бы неизбежен.

Подождем лучших времен» (ф. Ю. Терапиано. Байнеке). «Есенин» напечатан в 26 кн. «Современных записок».

[2] Ходасевич пишет о «Балладе» («Мне невозможно быть собой...»). «Я написал «Балладу», которая мне очень нравится»,— сообщал он А. И. Ходасевич 17 октября 1925 г. Опубликована в 25-й кн. «Современных записок».

[3] Фондаминский Илья Исидорович (псевд. И. Бунаков, 1879—1942) — близкий друг М. Вишняка и один из соредакторов журнала. Вишняк писал о нем: «В его задание входило держать связь с сотрудниками, согласившимися участвовать в журнале, и с авторами, в сотрудничестве которых «Современные записки» были заинтересованы, но которые относились недоверчиво, а то и враждебно, к начинанию «этих эсеров», «погубивших Россию», «двоюродных братьев большевиков» и т. п. Фондаминский был лично связан с рядом выдающихся писателей, раньше или позже оказавшихся в эмиграции» (с. 99—100).

[4] Вишняк рассказал в воспоминаниях, как осенью 1925 г. к нему явился Ходасевич, «взволнованный и мрачный» и «сообщил, что, не будучи больше в силах существовать, он решил покончить с собой! <...> Я упросил Ходасевича отложить свое решение на 2—3 дня, пока я не попытаюсь приискать ему постоянный заработок в «Днях»...» («Новый журнал», с. 282). В газете «Дни», выходившей под ред. А. Ф. Керенского, Ходасевич вместе с Алдановым вел литературный отдел в 1925—1926 гг.

[5] Вышеславцев Борис Петрович (1877—1954) — юрист, философ, публицист, высоко ценил стихи Ходасевича, писал о его сб. «Путем зерна» («Жизнь искусства», 1922, № 1).

Chaville, 21 ноября 925.

Дорогой Марк Веньяминович,
два дела:

1) Некто А. Д. Семенов-Тянь-Шанский с месяц тому назад послал в «Совр. Зап.» свои стихи. Пожалуйста, не возвращайте их полностью,— а что-нибудь от-

берите и напечатайте. Он человек не бездарный, чудовищно голодный и нуждается в моральной поддержке. Если хотите, я помогу Вам в выборе.

2) Посылаю стихи Д. Кнута[1]. На Вашем месте, я бы их напечатал. Один отрывок я давно уже поместил в «Днях». Поместил бы и эти — но они связаны, их надо напечатать вместе все три — а в «Днях» это невозможно по техническим причинам.

Право, было бы хорошо, если бы «Совр. Зап.» приоткрыли свои врата для молодежи.

Будьте здоровы.

Ваш Владислав Ходасевич.

Привет Марии Абрамовне.

Получили ли номер «Дней» с фельетоном Алданова? Я его послал вчера, но не верю, чтоб бандероль могла дойти.

К-О-Р-Р-Е-К-Т-У-Р-А.

---

[1] Стихотворение А. Д. Семенова-Тянь-Шанского «Купание» напечатано в 27 кн. журнала за 1926 г., а два стихотворения Довида Кнута «Тишина» — в кн. 29.

Дорогой Марк Вениаминович,

вот что. Во-первых, на этот раз я надеюсь — Вы мне дадите несколько оттисков статьи о Пролетарских поэтах. Нужно. Не отдавайте другим, как в прошлый раз.

Во-вторых. В 26 книжке «С. З.» вступительную свою заметку к «Казакам» Хирьяков кончает такою фразой: «Сохранившиеся стихотворные отрывки «Казаков» не представляют интереса»[1]. Это, конечно, простите,— глупо. Но дело не в том. А дело вот в чем. Кроме севастопольской песни (стилизации, в сущности) да еще одного шуточного письма к Фету (да и того никто не помнит), стихов Толстого доныне не существовало в печати. Они, разумеется, представляют колоссальный интерес. Так не похлопочет ли ред. «Совр. Зап.», не добудет ли из-под Хирьякова этих отрывков, буде они у Хирьякова. Мы бы их напечатали с послесловием Ходасевича, которому любопытно, как Толстой «вертит стихом». Ах, как я бы засел за такую штуку! Этому самому Хирьякову, которому царствие небесное обеспечено, скажите или напишите: что есть — давайте, хоть 10 строчек! Мы и в десяти разберемся. Ах, батюшки мои, до чего любопытно и до чего не терпится. Умоляю — ответьте, можно ли это дело сварганить. Стихи Толстого! Да ведь это все равно что... да нет, это и сравнить не с чем! «Не представляют интереса!» Ах, олух!

Но дело вот в чем: Вы это дело держите в тайне, и даже самому Х<ирья-ко>ву не говорите, что это так важно и интересно. А то он сам вздумает высказаться. Т. е. я ничего не имею, пусть выскажется, даже нужно: когда найдены, когда писаны и т. д. А по существу — я бы. А? Как думаете? Поклон Марии Абрамовне. Жму руку, пàдам дò ног, заклинаю.

Неизвестный-из-Шавиля

P. S. Это только письмо дурашное, а дело серьезное.

22 дек. 925.

P. P. S. Баба моя земно кланяется.

---

[1] Статья Ходасевича «Пролетарские поэты» появилась в 26 кн. Там же А. М. Хирьяков опубликовал неизданные варианты повести Толстого «Казаки», упомянув о попытках писать ее в стихах. Это вызвало у Ходасевича нетерпеливое желание исследовать стихи Толстого, но нужных материалов не оказалось. Главу «Толстой-стихотворец» включил в свою книгу «О Толстом» В. Ф. Булгаков (Тула, 1964).

4 мая 926

Дорогой Марк Вениаминович,

Вашу открытку от 30-го получил сейчас. Вы 3 дня носили ее в кармане — знак похвальной бережливости.

Это вступление. Главная часть: я уже 2 недели лежу в постели. Заключение: было бы очень хорошо, если б вы заехали сегодня или завтра вечером ко мне (Metro Daumesnil). Я бы и Вам был рад, и поговорили бы о разном, и выяснили бы дело с моим товаром для след. книжки. Жму руку.

Ваш Ходасевич.

Привет М. А.

Не сердитесь, милый Марк Вениаминович, я не напишу о «Кюхле». Обыскав всю квартиру, вспомнил, что выбросил листок с заметками и цитатами,— сызнова перечитывать 400 страниц нет сил. Да и понадобилось бы тащить из Парижа еще кой-какие книги, нужные для этой работы. Ей-Богу, не могу. Хочу отдыхать. Я Вам напишу для след. или через-след. книги о романах Белого[1]. Оставьте эту тему за мной (тут вышел его «Московский чудак»). Привет Марии Абрамовне. Пошлите Берберовой мои оттиски. Жму руку. Ваш В. Х. 9 сент. 926.

---

[1] Ходасевичу принадлежит блестящий цикл статей о прозе А. Белого, в которых он открыл связь творчества с биографией писателя, его детскими впечатлениями, конфликтом в семье. Статьей, начавшей серию, была «Аблеуховы-Летаевы-Коробкины», опубликованная в 31 кн. «Современных записок», 1927 г. «Неверность», «предательство» А. Белого, о которых писал Ходасевич, больно били по тому чувству влюбленной дружбы, которое он к Белому испытывал. Перед отъездом из России он писал П. Н. Зайцеву: «Он один из самых важных людей в моей духовной биографии и один из самых дорогих мне людей вообще» (ИМЛИ, ф. 15, оп. 2, ед. хр. 146). Н. Н. Берберова в статье «Памяти Ходасевича» («Современные записки», 1939, кн. 69) называла его любовь к А. Белому «непрерывным восторгом, непрестанным восхищением, которое дошло всей своей силой до последних бредовых ночей Ходасевича, когда он говорил с Белым сквозь муку своих физических страданий и с ним предвкушал какую-то неведомую встречу». Письма его к М. О. Гершензону разных лет наполнены восхищением, заботой и жалостью к А. Белому. Вот он пишет из Петербурга 24 июля 1921 г.: «В последние дни стал часто заходить Белый. Я этому очень рад. Написал он поэму (точнее — первую часть трилогии) «Первое свидание», четырехстопным ямбом, без нарочитых хитростей, но каким-то необычайно летучим. В поэме — первая любовь, и ранняя мистика, и «Летаевская» Москва. Кроме самого начала, как бы дающего каталог тем, которым предстоит развернуться,— все чудесно, и сам он чудесный. Пришел, прочитал, наговорил — и опять столько наколдовал вокруг себя, сколько он один умеет» (ГБЛ, ф. 746, карт. 43, ед. хр. 5). Это в самую счастливую пору их дружбы, когда А. Белый писал свою статью «Рембрандтова правда наших дней (о стихах В. Ходасевича)» («Записки мечтателей», 1922, № 5). Позже, в «Современных записках», кн. 15, 1922, он опубликовал статью «Тяжелая лира» и русская лирика». 14 ноября 1922 г. Ходасевич писал: «Белый очень страдал и страдает. Прибавьте к этому расхождение если не с антропософией, то со Штейнером — и Вы поймете, как плохо бедному Б. Н. Он много пил и пьет. Только невероятное здоровье (внутреннее и физическое) дает ему силу выносить все это. Однако я, повторяю, пытаюсь увезти его на чистый воздух — от кабаков и плохих поэтов, которые изводят его вконец. Вообще же он чудесный, как всегда, и сейчас, измученного, хочется любить его еще больше». Он опекал А. Белого, проводил с ним ночи в Берлине, приехал за ним, когда тот «сподколесничал» и отказался ехать в Сааров, увез с собой праздновать 1923-й Новый год. Даже последняя ссора, о которой подробно рассказала Н. Берберова в кн. «Курсив мой», не разрушила духовного родства Ходасевича с А. Белым.

Тот, кто на дверь наклеил объявленье, что каждую среду
Он принимает от трех до пяти,— непременно
Должен и каждую среду от трех до пяти находиться
Лично на славном посту, чтоб сотрудникам мудрым, но бедным
Чеки на триста монет раздавать благотворною дланью.
С почтением —

Дудкин.

3 дек. 926.

Дорогой Марк Вениаминович,

спасибо за 200 фр., которые получил сегодня. Расписку прилагаю. Эти деньги

мне приятны, как знак дружбы со стороны «С. З.». Потому и не возвращаю их: это было бы «жестом», отчасти даже неблагодарным.

Я болен, лежу с утра понедельника. Попробовал в среду съездить к Мережковским — и снова слег. Статьи я Вам не могу написать, лежа в постели.

Жму руку. Ваш **В. Ходасевич.**

Привет М. А.

4 дек. 926.

Дорогой Марк Вениаминович,

вот Вам доказательство моей доброй воли: я придумал отнять у Нового Дома статью «Глуповатость поэзии»[1] и отдать ее Вам. Вы получите ее во вторник или в среду. Ее легко будет набирать, ибо она не велика и будет представлена в виде гранок. Но ее лучше и желательнее тиснуть не в «Культ<уре> и Жизни»[2].

Пока — всего лучшего. Жму руку.

Ваш **В. Ходасевич.**

А в Нов. Дом даю то, что пришлось не по зубам Милюкову.

---

[1] «Глуповатость поэзии» появилась в 30-й кн. «Современных записок», во 2-м номере «Нового дома» — журнала, издаваемого молодыми: Н. Берберовой, Д. Кнутом, Ю. Терапиано, Вс. Фохтом — пошла статья Ходасевича «Цитаты».

[2] «Культура и жизнь» — отдел в журнале «Современные записки», где печатались рецензии, литературная хроника.

Дорогой Марк Вениаминович, если Вы свободны, в субботу вечером — не придете ли к нам с Марией Абрамовной (если она не плохо себя чувствует, я не знаю, как ее здоровье)?

Помимо других изумительных радостей, гостям будут предложены: 1) рецензия на Андрея Белого, 2) — надеюсь — стихи.

Так вот, что Вы обо всем этом думаете? Привет Вам обоим от нас обоих.

Ваш **В. Ходасевич.**

Среда.

Если на клетке слона прочтешь надпись «буйвол», не верь глазам своим.

Привет.

В. X. 29.IX.1927.

8 декабря 1927

Дорогой Марк Вениаминович,

вот что я бы просил Вас довести до сведения редакции.

1) Меня не было всего в двух книжках Совр. Записок: следовательно — не год, а полгода.

2) Вы пишете, что статью о Сологубе нельзя откладывать на шесть месяцев. Допустим. Но тут же прибавляете, что в крайнем случае редакция удовлетворится статьей о Случевском. Тут — «невязка», которую мне бы не хотелось объяснять ничем, кроме лестного для меня желания редакции получить любую мою статью. Но — вот что я должен сказать, и в чем мне бы хотелось быть, наконец, понятым.

Чтобы писать, писателю нужно быть сытым (хотя бы). Журнальная работа и впроголодь не кормит. Писатели вынуждены идти в газеты. Из всех писателей я — самый голодный, ибо не получаю помощи ниоткуда: ни от сербов, ни от чехов, ни от Розенталя, ни от большевиков, ни от французов и не устраиваю концертов, сборов и проч. (Не только не получаю, но имею официальное письменное сообщение о том, что чешской субсидии мне не дали ввиду доноса некоего «писателя» о том, что я слишком много зарабатываю в «Возрождении»).

Так вот, чтобы не голодать, я должен писать в газете всех больше. Газетная работа требует от меня:

1) Фельетона каждые две недели,— т. е. судорожной погони за темами (это труднее, чем самое писание).

2) Еженедельного чтения совет. журналов для составления изводящей меня хроники.

3) Бывания в редакции и «консультаций» по литературным делам (с голосом, увы, совещательным).

Писание газетных (т. е. неизбежно «общедоступных») статей меня изматывает душевно. Чтобы написать серьезную, журнальную статью — я должен не только выкраивать «свободное» время, но и мучительно собираться с духовными силами. Не знаю, поймет ли меня редакция. Боюсь, что не поймут и более благополучно устроившиеся писатели. Каторжники бы поняли, это наверняка.

Поэтому — что я могу ответить? Я приложу все старания к тому, чтобы написать **о Сологубе** как можно скорее. Но будет ли это к 25 янв. или февр. или марта — не знаю. Раз редакция не может поставить меня в человеческие условия работы, то она и не может назначать мне никаких сроков. Казалось бы — это логично и... человечно.

Наконец, буду откровенен и скажу вот что. В «Совр. Зап.» есть статья Вейдле обо мне. Вы слишком знаете, что я за рекламой не гонюсь и в этом направлении не прибегаю к мерам, которые, увы, слишком часто применяются. Но я считаю, что о книге, подводящей итог моей «взрослой» поэтической работе, «Совр. Запискам» было бы пристойно напечатать серьезную статью, которая и объективно украсила бы журнал. И я хотел бы, чтоб эта статья появилась в ближайшем номере, а не летом и не через год,— по многим причинам, хотя бы для того, чтобы литературное болотце не радовалось: Х<одасеви>ч работает в «С. З.» из книжки в книжку, вцепляется за них в горло «Верст»[1] — а «С. З.» приличной статьи о нем не хотят напечатать. Есть и другие причины. Между тем, дав сейчас статью о Сологубе, я рискую «выпереть» из ближайшей книжки статью Вейдле (кстати сказать — плод годичной работы, серьезной).

Вот на вопрос о статье Вейдле я хотел бы получить ответ, прежде чем сяду писать о Сологубе. Я напишу о Сологубе только в том случае, если это не помешает поместить в том же номере и статью Вейдле[2]. (О Сологубе, а не о Случевском, о кот. сейчас писать не хочу).

С прискорбием вижу, что научился здесь думать о вещах, самая мысль о которых раньше мне показалась бы постыдной. Но — всему научишься в нашем болоте, где Милюков разливается соловьем на юбилее Зайцева, а когда Зайцев переходит в «Возрождение» — напускает на него какую-то мразь: «ругать Зайцева»[3]!

Сердечно Ваш **Владислав Ходасевич.**

Искреннейший привет Марии Абрамовне и благодарность от нас обоих за ее привет.

---

[1] В статье «О «Верстах» (29-я книга «Современных записок») Ходасевич дал резкую отповедь изданию евразийцев «Версты» (вышло три сборника), авторы которого пытались показать, «до чего «жива» литература советская и «мертва» эмигрантская... и сколь благоприятны политические условия СССР для развития и процветания талантов». «После заключительного слова Ходасевича говорить о них больше нечего,— поддержала его З. Гиппиус.— Ходасевич не только сказал, но и доказал, что писательская группа «Верст» со своим руководителем «стоит не лицом к России, а лицом к ее мучителям» («Последние новости», 1926, 11 ноября).

[2] М. В. Вишняк так прокомментировал это письмо в своей книге: «Редакция была очень заинтересована в статье Ходасевича, а потому подчинилась ультиматуму» (с. 188). В ближайшей, 34 кн. «Современных записок» опубликованы и очерк Ходасевича «Сологуб» и портрет В. Вейдле «Владислав Ходасевич» — лучшее, что было написано о поэзии Ходасевича, статья, создававшаяся в разговорах с поэтом и при его активном участии. Вейдле Владимир Васильевич

(1895—1979) — поэт, литературный критик, искусствовед и близкий друг Ходасевича — писал: «Да, в России после Блока, Ходасевич наш поэт. Быть может, это теперь яснее, хоть именно потому, что это правда, это так трудно объяснить, именно потому, что мы все так близки к нему, нам трудно его показать друг другу. Пусть кажется одним, что его поэзия — слишком здравого ума, и другим, что она чересчур земная. Пусть нам самим это кажется иногда. Но если с нами этот бескрылый гений, то разве не нам он послан и не мы его лишили крыл? <...> У этого времени, кроме него, не было и нет поэта. Конечно, стихи о революции не лучшие в «Тяжелой лире», но ведь и дело совсем не в них. Дело в том, что все в поэзии Ходасевича: подавленность ее тона, ее голос, низкий и глухой, страшная вещественность мира, всегда присутствующего в ней и сквозь который она устремлена прорваться, все это вызвано Россией, Европой последнего века или последних лет, невыносимым временем, которое она выносила и выносит,— и за это одно надо было бы ей воздать хвалу» (с. 468—469). В 1928 году статья вышла в Париже отдельной книжкой тиражом в 100 экземпляров.

[3] 12 декабря 1926 года в Париже широко отмечался двадцатипятилетний юбилей Бориса Зайцева. Газ. «Дни» от 14 декабря сообщала список ораторов, выступивших на банкете, среди них был и П. Н. Милюков — редактор газ. «Последние новости». В октябре 1927 г. Б. Зайцев, который был сотрудником «Последних новостей», перешел в «Возрождение», и тут же в «Последних новостях» появилась рецензия на сб. его рассказов «Странное путешествие», где они были названы «газетными», а об авторе сказано, что он «ходит по одним и тем же местам». Подписана — М. Ю. Б-ов.

16 декабря 927.

Дорогой Марк Веньяминович,
Вы, к сожалению, не ответили на мое последнее письмо. Жаль, ибо ежели мне писать о Сологубе, то, чтобы поспеть к 25 января, надо сейчас же (благо я с понедельника на две недели свободен) садиться за чтение (а сперва заняться добыванием книг). «Факт присыла» Вашей открытки с указанием на ближайшую книжку толкую скорее в смысле того, что мое желание касательно статьи Вейдле будет исполнено (первая моя просьба за 5 лет!). Но все-таки жду ясного подтверждения. Если будете анонсировать статью — то просто: «Сологуб» (как было: «Брюсов», «Гершензон», «Есенин»: сделаем, таким образом, «серию»).

Статья об игроках: **«Игроки в литературе и в жизни»** [1].

Статья З. Н. очень интересна, но, к сожалению, написана не вполне обо мне: одна половина лица — моя, а другая приставлена по воле автора, признающего, что многим моим стихам он придал заведомо другой смысл,— не тот, что у меня [2].

Вашу статью не видел — мне перестали присылать «Дни».

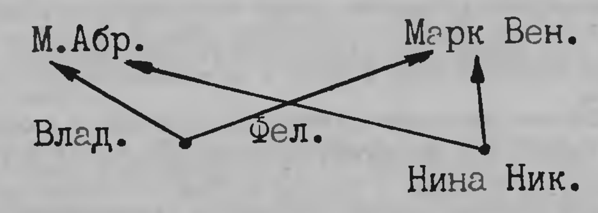
Статья Чебышева из рук вон плоха, но забавно, что к «С. З.» она благожелательнее, чем статья «Посл. Нов.» [3] — впрочем продиктованная соображениями, лежащими вне плоскости литературной порядочности. Когда я сказал в ред., чтобы поручить статью Ант. Кр<айнему>,— оказалось, что статья Чеб<ышева> уже написана.

Кажется, на все пункты Вашего письма я ответил. Жду ответа на свое предыдущее.

Всего Вам хорошего.

В. Ходасевич

Приветствия по схеме:



[1] Статья эта, объявленная журналом, так и не была написана. Как отголосок обширного замысла, как заявка на тему, в двух номерах «Возрождения» появилась статья «Пушкин, известный банкомет» (6 и 7 июня 1928 г.). Ходасевич несколько раз принимался за повесть об игроках: план повести находим мы в черновой тетради, начатой 12 января 1918 г. И последние прозаические наброски с характерным названием «Атлантида» (17—19 мая 1938 г.), посвящены игре, роли карточной игры в жизни эмигрантов (ф. Карповича, Бахметьевский архив).

[2] Статья З. Гиппиус «Знак (Владислав Ходасевич)» напечатана в газ. «Возрождение» 15 декабря 1927 г.

[3] Журналист Н. Чебышев написал о 33 кн. «Современных записок» в «Возрождении» (1927, 15 декабря), а в «Последних новостях» ее в тот же день рецензировал Г. Иванов, резко отозвавшийся о пьесе П. Муратова «Мавритания»: «...эстетизм 1910 года в 1927 году неуместен». С этой газетной «войной» связана, очевидно, пародия Ходасевича «Чужая ноздря», в которой редакторы и сотрудники газет «Последние новости» и «Дни» изображены героями воровской «малины». Одновременно это пародия на повесть из воровской жизни советских авторов. Ходасевич внимательно следил за советской литературой, каждый четверг — один, или с Н. Берберовой писал для «Возрождения» обзоры за подписью «Гулливер».

Чужая ноздря

Повесть *

. . . .

XIII.

Нас пятеро было: Васютка Рвач, Машка-Мышка, Андрей Безхвостый да я. А пятый — Милюков Пашка. Да он не в счет, потому что сопливый.

. . . .

XXI.

Литовцева Шлемку я первый раз бил за дело, а потом потому, что вошло в привычку:

— Шлемка, гони марафет!
— Нима.
— Гони, черт, а то перышком!

. . . .

XXX.

У Васьки Маклакова нос провалился. Пофартило ему: в солдаты не взяли.

. . . .

Керенский Шурка по мокрому делу в ящик сыграл.

(Окончание следует)

Петр Муругов.

25 декабря 927.

Милый Марк Веньяминович,
прилагаю Вашу статью. На словах при встрече поговорим о ней, писать — долго, сил нет. Я и то «записался».

Кстати — о моих писаниях. Я во вторник получу от Мих<аила> Ос<иповича> [1] кое-какие книги и засяду за Сологуба. Сделаю все, что в силах (и что не в силах), чтобы к 25 кончить.

Еще кстати. Умоляю Вас после моей смерти похлопотать, чтобы в Академическом издании моих сочинений не было ныне приписываемой мне заметки Возрождения по поводу истории с Ветлугиным [2]. Ей-Богу, я пишу лучше! Там, помнится, меня поразила какая-то фраза, которая дважды повторяется,— а и вся-то заметка строк в 20! Потомки будут думать, что это стилистический прием, что это «фигура повторения» — а это просто какая-то беспомощная фигура топчется на одном месте.

* Печатается в отрывках

Впрочем, говорят, что присутствие Ветлугина в «Возрождении» «Посл. Нов.» **угадали по стилю.** Кажется, пойду к Полякову[3] в ученики. Ведь если он Ветлугина умеет узнать, то уж, конечно, поможет нам, горемычным, найти в Литер. Газете все псевдонимные заметки Пушкина. А то мы сто лет бьемся, спорим, ошибаемся. А тут прямо не Поляков, а Лакмус.

Кажется, я Вам писал об уничтожении Зайцева в «Посл. Нов». Затем был уничтожен Муратов — прошу заметить. Теперь, значит, очередь за мной, потом за Берберовой. Это называется: «Пиши у нас, а то докажем, что твои писания ничего не стоят». Помните московских извозчиков? На одного садишься, а другой кричит: «Ен не довезет! У яво лошадь хромая!» Все повторяется.

Всего хорошего. Жму руку. **В. Ходасевич.**

---

[1] Цетлин Михаил Осипович (1882—1945) — поэт, прозаик, критик.
[2] «История с Ветлугиным» — эпизод все той же «войны» между «Возрождением» и «Последними новостями». Однажды «Последние новости» оповестили об участии в «Возрождении» журналиста-«большевика» А. Ветлугина (псевд. В. И. Рындзюна), который начал свою деятельность в эмиграции в «правом» бурцевском «Общем деле», затем стал печататься в сменовеховской газете «Накануне», собирался вернуться в Советский Союз, но уехал в Америку. Редактор «Возрождения» Ю. Ф. Семенов выступил в «Последних новостях» с резким протестом, назвав сообщение об участии А. Ветлугина «фантастическим» (20 декабря 1927 г.).
[3] Поляков Александр Абрамович — заместитель редактора газеты «Последние новости». «Милюков возглавлял. Поляков правил. Альбатрос парил в поднебесьи, рулевой стоял у руля».— писал поэт Дон-Аминадо, сотрудник «Последних новостей», в книге воспоминаний «Поезд на третьем пути» (М., «Книга», 1991, с. 289).

[до 25-го января 1928 г.]

Пролог.

I

— Скоро ли ты, старый хрыч, перестанешь корпеть над этой проклятой статьей! Пятый день от тебя слова не добьешься. Я хочу гулять по Шанзелизе в новой шубе! Идем в театр! В дансинг!

— Пойди к черту, Ниночка, не мешай.

— А, вот Вы как? Хорошо же! Я пойду в театр с Бахрахом! Я поеду в дансинг с Ладыженским! (Плачет).

— Отлично.

— О, изверг! Отдайте мое приданое! Я ухожу навсегда! Между нами все кончено! (Уходит).

Занавес.

II

— Дорогой Марк Веньяминович, вот статья о Сологубе. Как видите — раньше срока.

— Благодарю Вас, дорогой Владислав Фелицианович, от себя лично и от имени редакции.

— Пожалуйста, уважаемый М. В.,— я очень рад быть полезным уважаемой редакции.

— Ай, почтеннейший В. Ф.,— тут 20 страниц! Да еще с приклейкой,— всего, значит, 21!

— Ничего, почтеннейший М. В.,— тут получится всего 15, ну — 16 страниц Вашего почтеннейшего издания.

— Ну, Бог с Вами, любезнейший В. Ф., как-нибудь устроимся!

— Конечно, любезнейший М. В. Но — обязательно дайте мне корректуру. Любезнейшая г-жа Недошивина может ее не читать, а только просмотреть в верстке. Я же обязуюсь доставить корректуру в нашу милую типографию на протяжении одних суток, не по почте, а лично.

— А, ну, в таком случае, обожаемый В. Ф., вы получите корректуру непременно. Даю Вам мое честное слово.

— Я на него полагаюсь, обожаемый М. В.

— До свидания, высокочтимый В. Ф.

— До свидания, высокочтимый М. В.

— Прошу Вас передать привет обворожительной Нине Николаевне.

— Также прошу Вас передать привет очаровательной Марии Абрамовне.

(Целуются).

Занавес.

III

— Маркуша, иди чай пить.

— Не мешай, Манечка, я читаю чудесную статью В. Ф. Ходасевича.

— Потом дочитаешь. Иди обедать.

— Брысь, Манечка. Я никогда не читал ничего подобного. Я весь, решительно, во власти очарования.

— Иди ужинать, окаянный.

— Нет, не могу оторваться.

— Иди спать!

— Нет, я в шестой раз перечитываю статью нашего изумительного писателя.

— Чтоб вам лопнуть обоим с твоим изумительным писателем.

— А вот и не лопну!

— Лопнешь!

— Не лопну!

— О, моя страшная судьба! Прощай же! Я навсегда ухожу из этого дома.

— Уходи. Я смогу спокойно прочитать статью в седьмой раз!

— Все между нами кончено. Я не только ухожу,— я уезжаю. Я не беру с собой приданого, потому что вы его уже растратили.

(Уходит. Вишняк погружается в чтение).

(Ночь).

Занавес.

Четверг [26 января 1928 г.]

Милый Марк Веньяминович,

корректуру я получил сегодня и уже отвез ее обратно в типографию, о чем Вас извещаю.— Порядок статей я отнюдь не принимаю к сердцу, а лишь к разуму, из чего следует, что никаких и ничьих умыслов не усматривал. Вы меня на сей раз неверно поняли. Перед типографской диктатурой смиряюсь: типографии не людьми, а богами управляются, это мне, увы, известно.— Заметку о «Совр. Зап.» в Возр. напечатали, против моих ожиданий, безропотно,— тем лучше. Приветы.

Ваш **В. Ходасевич.**

P. S. Пусть Недошивина все же в верстке просмотрит мою статью. Я что-то стал рассеян. **В. Х.**

29.II.928.

Дорогой Марк Веньяминович,
дайте передохнуть, дел по горло,— к 12 числу опомнюсь и тогда все соображу.
Весь Ваш.

Спасибо за статью Бурцева. Он, м. б., и прав, но **доказательств** не приводит, кроме ничего не доказывающего письма Долгорукого. Об этом письме Б<урцев> пишет, что на него никто не обращал внимания,— а оно 12 лет тому назад приведено Щеголевым же в книге «Дуэль и смерть П<ушки>на»...[1]

Автор статьи в Monthly Criterion, конечно, не Святополк,— сужу по той же заметке «Дней»[2]. С<вятопол>ку «идеологически» не подходит она, да ему и нет надобности подписываться «У. С.» Да и писал бы **Свят<ополк>** о чем-нибудь **посвежее 31 книги!** А 32—33?

Кстати: Свят<ополк> и Сувчинский с месяц тому назад поехали к Горькому. Впрочем, они вряд ли поладят. Имею в виду **личный** контакт. А в смысле связи с Москвой — возможно, что они чего-нибудь и добьются. Говорю это вполне беззлобно. Как-то они меня сейчас не волнуют и даже не занимают. По-моему, это лимон выжатый. Меня даже мало занимает, какой трюк придумают на эту осень. В 1925 году было возвращенчество, в 1926 — евразийство, в 1927 — Сергий. Вероятно что-нибудь предпримут и в 1928, к началу осеннего сезона. Только мне стало все это по некоторым причинам нелюбопытно. Ну, да это материя длинная.

Поклонитесь Марии Абрамовне от нашего семейства. И себе.

Ваш **В. Х.**

P. S. Виноват я перед Вами, прошу прощения. В начале Вашей статьи, о столовке: «Тесно и **суетно**»[3]. Надо бы — **суетливо.** «Суетно» — это от «суета сует». Бейте меня!

---

[1] В газете «Общее дело» В. Л. Бурцев — публицист, известный своими разоблачениями агентов охранки, Евно Азефа в частности, опубликовал ряд заметок, в которых предлагал свою трактовку отдельных произведений и биографии Пушкина. В 1933 г. Ходасевич выступил с резкой статьей против статьи Бурцева «Изучайте Пушкина!», выпущенной также отдельной книгой. Статью «Домыслы В. Л. Бурцева» см. в «Возрождении» 30 ноября и 7 декабря.

[2] Речь идет о заметке в лондонском журнале «The Monthly Criterion», автор которой, скрывшийся за подписью «У. С.», рассказывал о русских журналах за рубежом с большим знанием дела. Это и заставило обозревателя газеты «Дни» предположить, что автором мог быть только Святополк-Мирский. Ходасевич считал, что статья «идеологически» Мирскому не подходит, т. к. в ней подробно пересказывался его очерк о Белом из 31 кн. «Современных записок». Д. П. Святополк-Мирский (1890—1939) — критик, профессор русской литературы в Лондонском университете, автор книг о русской литературе на русском и английском языках, в 1932 г. вернулся в Россию. В 1939 г. погиб в лагере.

[3] За статьей Ходасевича «Сологуб» в 34 кн. журнала следовал очерк М. Вишняка «Всероссийское Учредительное собрание», который и правит Ходасевич, извиняясь, что не заметил погрешности стиля в корректуре.

Версаль, 2 апр. 928

Милый Марк Веньяминович,
спасибо за статью Струве[1]. Получил ее вчера, выходя из дому, чтобы ехать в Версаль. Она уже у меня была — но «не дорог твой подарок, дорога твоя любовь».

А для «С. З.» я все-таки не смогу написать статью. **Я бежал** из Парижа, чтобы очухаться и написать о Нине Петровской для «Возр.» и для уплаты за квартиру.

Нина Ник. в Париже. В экстренных случаях пишите ей, она тотчас даст мне знать. Хотя случиться, кажется, нечему.

Вернувшись, начну «новую жизнь». Я думал — эмиграция хочет бороться с большевиками. Она не хочет. Быть так. Я не Дон-Кихот.

Я думал, эмиграция хочет **делать** литературу. Она **не хочет** — или не может. Опять же — я не Воронов[2]. И не обезьяна, это главное.

Я возился с «молодежью». Но вижу, что эмигркульт не лучше пролеткульта.

Я думал, что Мережковские... А вижу, что Мережковские... Каюсь: другие были прозорливее *.

Баста. Отныне живу и пишу **для себя,** а на чужие дела сил и жизни не трачу. Ей-Богу, одно хорошее стихотворение **нужнее** и Господу угоднее, чем 365 (или 366) заседаний «Зеленой Лампы»[3].

Словом — Вы теперь меня не узнаете. Говорю это очень серьезно.

Я здесь пробуду с неделю. А пишу это Вам потому, что чувства мои к Вам неизменно отличные. Передайте выражение таких же Марии Абрамовне.

Ваш **В. Ходасевич.**

---

[1] Рецензия Г. Струве «Тихий ад» на книгу Ходасевича «Собрание стихов» (Париж, 1927) напечатана в варшавской газете «За свободу» 2 марта 1928 г.

[2] А. С. Воронов — автор книги «О продлении жизни», вышедшей в Москве в 1923 г., рассказал об опытах пересадки желез обезьяны больным людям. Он видел в этом путь к продлению жизни, интеллекта и трудоспособности.

[3] «Зеленая лампа» — литературное общество, созданное в Париже по инициативе Д. С. Мережковского и З. Н. Гиппиус 5 февраля 1927 г. На первом заседании вступительный доклад делал Ходасевич. Рассказ о «Зеленой лампе» составил одну из глав книги Ю. Терапиано «Литературная жизнь русского Парижа за полвека» (1987).

Дорогой Марк Веньяминович,
статью Вы получите 20-го, как условлено, или 22, как не условлено, но могло бы быть условлено.

О, если бы «Возрождение» молчало о Совр. Зап., следуя «системе»! Я бы утешался тем, что хоть в чем-нибудь там имеется «система». Но и этого нет. Нольде не написал о 34 кн.— не знаю почему. Обещал и мне, и Вам, но не написал. О политике и общественности в 35 кн. не знаю и не представляю себе, кто будет писать, и даже — будут ли. По-моему — некому. О литературной же части написал Вейдле и четыре дня тому назад сдал статью Маковскому[1]. Но Маковский «исправил» Вейдле одно слово (специальный термин), получилась после исправления чушь, с которой Вейдле не мог согласиться. Кажется, все-таки, что статья пойдет в четверг, если Маковский возьмет свою поправку обратно, в противном случае В<ейдле> возьмет обратно всю статью, и что тогда будет — не знаю.

Я же статью о Шмелеве отложил из-за статьи для Вас, а также потому, что последней частью романа Шмелев заставил меня пересмотреть мои прежние мысли, а с новыми я еще не собрался[2].

Все это, разумеется, «кухня ведьмы» ** и должно остаться между нами.

Поклоны Марии Абрамовне. Берберова надеется получить ответ до нашего отъезда, т. е. до 1 числа.

Ваш **В. Ходасевич**
18 июня 928.

---

[1] Маковский Сергей Константинович (1877—1962) — поэт, редактор журнала «Аполлон», возглавлял в «Возрождении» литературно-художественный отдел. Статья Вейдле о 35 кн. «Современных записок» напечатана в газете 21 июня 1928 г.

[2] В №№ 30—35 «Современных записок» печатался роман И. Шмелева «История любовная (Роман моего приятеля)».

Милый Марк Веньяминович,
напоминаю Вам, что Вы обещали прислать корректуру статьи моей, при том — с **оригиналом**[1]. Умоляю не забыть об этом. Верну в тот же день.

---

* Хотя Блок, Белый, даже Бунин — сидели червяками на этой удочке, как и я.
** Чудесное заглавие для статьи о критике. Беру патент на него.

Мы только что начали понемногу приходить в себя. Пока что — еще белокожи и подвержены комарам. Ни Мережк<овских>, ни Буниных еще не видали: лень ездить[2].

Засим — всего хорошего. Поклонитесь от нас Марии Абрамовне, непременно.

Ваш **В. Ходасевич.**

6 июля 928.

---

[1] Речь идет о статье «В спорах о Пушкине», напечатанной в 37-ой кн. «Современных записок». В ней Ходасевич размышлял над связью биографии и творчества: «Да, не только нет ничего «уродливого» в том, что в изучении Пушкина столь огромное место заняло кропотливое жадное исследование его биографии,— но, напротив, это-то и свидетельствует об очень верном, очень глубоком «чувстве Пушкина», существующем в России и в русской литературе... Чем больше мы знаем о жизни, тем больше слышим о поэзии. И если настанет день, когда мы окончательно научимся разделять их,— в тот день мы утратим Пушкина» (с. 275). Ходасевич пишет о том, что события своей жизни Пушкин «преломлял в своем творчестве под различными углами». «Именно то, как, почему, под каким углом совершается преломление,— это и есть одно из самых волнующих наблюдений, нам доступных. Может быть, именно здесь творческая личность Пушкина выявляется всего непосредственней, вне воздействия внешних литературных влияний» (с. 277—278).

[2] Лето 1927—1928 гг. Ходасевич жил в Антибах, близко от Буниных и Мережковских, часто виделся с ними. 5 августа 1928 г. он писал В. Вейдле: «Вижу часто Мережковского и море. Реже — Бунина и сушу, на которой он живет» (ф. Вейдле, Бахметьевский архив).

Спасибо за сочувствие, дорогой Марк Веньяминович! Я действительно в нем нуждался и имел на него право: извелся вдребезги. Впрочем, сейчас мне лучше. Это письмо пишу уже собственноручно. Но я очень слаб, на ноге нарыв и т. д. Словом, нахожусь в таком состоянии, при котором обычно людей отправляют на юг, на поправку. А через две недели должен ехать в Париж. Вот тебе и поправка!

Пока что — у меня к Вам просьба. Не может ли мне дорогая редакция дать 300 франков? За мной уже имеется около 500, но, кажется, они покрываются моей грядущей статьей, рассказом Берберовой и еще чем-то, уже напечатанным в предыдущей книге. Впрочем, если нельзя мне дать аванс, то просто из собственных или казенных денег пришлите мне, умоляю, эти триста франков. 15 сентября они будут возвращены полностью, заверяю словом. Без них же мне, кажется, отсюда не выбраться. В крайнем случае, как уже бывало,— займите для меня у Коварского,— но вышлите деньги как только приедете в Париж, и не чеком, а почтовым переводом, по адресу: V. Hodassevitch. Mas Nicolas. Quartier Lauvert, avenue Paradis. Antibes (A. M).

Вчера получил первый кусок 36-й книги. Прочел пока только Алданова[1]. Вчера же были у нас Бунины, они благополучны. А засим — будьте здоровы. До скорого свидания. Простите, что утруждаю Вас. Привет обоим от обоих.

Ваш **В. Ходасевич.**

31 авг. 928.

---

[1] В 36 книге «Современных записок» печаталось продолжение романа М. Алданова «Ключ». М. Алданов (Марк Александрович Ландау, 1886—1957) — публицист, писатель, получивший известность как автор исторических романов. Рецензия Ходасевича на роман «Ключ» опубликована в газ. «Возрождение» 26 декабря 1929 г.

Милый Марк Веньяминович, я не пришел вчера в ред., п. ч. Зеелер[1] наговорил мне ужасов (и обещал пересказать Вам). Словом, пока я вынужден дело оставить в покое. У меня есть еще план, к<ото>рым поделюсь с Вами при свидании. Пока — еще и еще раз спасибо за Вашу заботу, такую дружескую. Сам не мог зайти еще потому, что прихворнул во вторник, а в среду и сегодня наверстывал Державина.

Исследование Берберовского письма привело к тому, что она говорит, будто Вы «сами собой подразумевались». **Она (и я) ждем Вас и М. А. в субботу непременно, в 4, в 5, в...**

А сейчас — пожалейте меня! — иду к Мережковским. Три месяца не видались, пневматички, ужимки.— надо идти! Воображаю упреки в «предательстве», в забвении и т. д. Интересно только, чего им нужно? Не может быть, чтобы ничего. Ну — пора! Присядем на дорогу. Тронулись. Ваш **В. Х.**

Четверг.
[26 апреля 1929 г.]

---

[1] Зеелер Владимир Феофилович — многолетний председатель Союза писателей и журналистов — отстаивал интересы Ходасевича в третейском суде. Судом кончилась тяжба между пушкинистом М. Л. Гофманом и Ходасевичем, который обвинял Гофмана в плагиате. После четырех заседаний Ходасевич отказался от дальнейшего и так объяснил свое поведение Зееллеру в письме от 14 апреля 1929 г.: «С самого начала г. Гофман стал передержками, кривотолками и ненужными отступлениями в область чистого пушкиноведения усложнять и затруднять дело. Но идя на суд, я, даже зная г. Гофмана, не смел допустить мысли, что перед **судом чести** он решится прибегать к таким приемам, как отрицание фактов, устанавливаемых из его собственных писем. Когда, в заседании 9 апреля, г. Гофман все же это сделал,— мое душевное равновесие было нарушено, и я, под влиянием минуты, заявил, что при таких условиях отказываюсь от продолжения суда» (ф. Зеелера, Бахметьевский архив). Спор Ходасевича с Гофманом на протяжении долгих лет продолжался в печати.

Дорогой Марк Веньяминович, вот конец «Державина»[1]. На первом листке (ненумерованном) найдете Вы предисловие, которое надо набрать другим шрифтом — лучше всего **курсивом** (а текст начнем с новой страницы — иначе выйдет некрасиво).

Нину Петровскую занесу в редакцию. Прочел ее до конца, много думал, прикидывал — и постепенно пришел к убеждению, что ее печатать не следует[2]. Причины объясню при свидании. Их много.

Привет М. А.

Ваш **В. Ходасевич.**

2 мая 929.

---

[1] Главы из книги «Державин» в 1929—1930 гг. печатались в «Современных записках». Там же, в кн. 46, появилась и рецензия М. Алданова: «С первых же страниц этой превосходной книги читателя охватывает очарование, в котором он не сразу отдает себе отчет<...> Это чисто пушкинская проза; последний отрывок, почти свободный от архаического оттенка, одной звуковой своей формой, вызывает в памяти читателя «Пиковую даму». Критик писал, что страницы о том, как была написана ода «Бог», должны войти в классическую хрестоматию, и кончал рецензию словами: «Лучше о Державине, вероятно, никто не напишет» (с. 496—497).

[2] Очерк «Конец Ренаты» опубликован в трех номерах «Возрождения» — 12, 13, 14 апреля 1928 г. Очевидно, был еще и журнальный, неизвестный нам вариант.

Милый Марк Веньяминович, спасибо Вам и Марии Абрамовне за память. Когда мы получили Ваше письмо, мы оба были в трансе: Берберова писала рассказ, а я писал и рвал, писал и рвал — статью о Бунине[1]. Теперь с этим покончено. 1/2 часа тому назад статья отнесена в редакцию, я сижу в кафе, чувствую, что гора свалилась с плеч и — как видите — первым делом пишу Вам. Берегите это письмо: со временем Вы получите за него бешеные деньги, когда человечество присудит мне титул **короля эвфемизмов.** Представьте себе, что Вам пришлось бы писать похвальное слово Струве. Это как раз была бы та ситуация, в какой находился я, пишучи о Бунине. Результаты предвижу: стихотворцы меня прокля-

иут за то, что я Буниина перехвалил; обыватели — за то, что недохвалил; Гиппиус — за то, что я припомнил, как она восхваляла Буиииа; Бунин — за то, что я не провозгласил его рнмским папой. Сегодня иочью Истина придет ко мне в пижаме (она больше не ходит голой), разбудит и скажет:

— Владислав Фелнцианович, Вы сделали все, чтобы против меня не погрешить — и чтобы не обидеть почтенного старика. Он в своей жизни написал несколько сот дрянных стихотворений н с десяток хороших. Ииые ие иаписали и этого. Спите спокойно.

Я протяну руку, чтобы пощекотать красотку, но она исчезнет,— мие останется безмятежно спать до утра.

А завтра я сяду за Державина, коего рукопись отнес в типографию две иедели тому назад. После этого, тьфу, тьфу, не сглазить, все пойдет обычным и нормальиым порядком, которым вообще все течет и благодаря которому не могу Вам сообщить ничего любопытиого.

Приехал Муратов, и я заставил его иаписать в «Возр.» об «Анне» Зайцева. Пишет.

На днях был у нас Илья Исидорович, пили чай, все по хорошему. Я сказал ему, что «Вишняк есть столп и утверждение истины»[2] и «краеугольный камень» — этого он Вам, вероятно, ие передаст.

Дьявольство! Зачем я пишу в кафе, раз у меия все равно иет Вашего адреса при себе? Конверт все равно придется надписывать дома, и письмо пойдет только завтра. Следовательно, зову гарсона, но до его прихода успеваю пожать руку Вам и поцеловать — Марии Абрамовие.

Ваш **В. Ходасевич.**

12 августа 929,
17 час. 45 мин.
Taverne Royce

Dernière heure[3]:
кофе обошлось 2 фраика, на
чай полтииник.

---

[1] Статья «О поэзии Бунина» опубликована в «Возрождении» 15 августа 1929 г. В 1988 г. перепечатана в № 2 журиала «Литературиая учеба».

[2] Ходасевич шутливо использует название книги П. Флоренского «Столп и утверждение истины».

[3] (фр.) Последние известия.

Поздравляю Вас с иовобрачными, дорогой Марк Веньяминович! Час тому иазад Державин женился. Могу сказать, что изрядно похлопотал, чтобы устроить этот брак: в два дня отмахал 20.000 зиаков. Вы, как редактор, конечно, предпочли бы, чтоб Гавриил Романович уже умер, но я доволен и тем, что он разделался, наконец, с холостой жизнью: довольно ему шататься по ресторациям; домашний стол — друг желудка, по себе знаю.— Оставив иовобрачных иаедине в зеленой папке, я отправился в кафе, но не могу сразу остановиться, рука разгулялась, и я пишу Вам.

Надеюсь, вернетесь же вы в Париж, и мне ие придется писать Вам ни в Биаррнц, ни в Довиль. Пока что — особых событий иет, но люди начали появляться. Приехал Дон-Аминадо,— но я не видел его. У него отец снова был при смерти, воспаление легких. Кажется, сейчас ему лучше. Еще приехал Добужиискнй[1], сегодня у нас завтракал и рассказывал грустные вещи о Станиславском. А вот Недошивиной нет, и нет корректуры. Кстати, прошу заметить: «Рукопись «Державииа» так же можно сказать, как «рукопись Обломова», «рукопись Рудина». Здесь Державин не Г. Р. Д.<ержави>и, а лишь заглавие книги. Поэтому, пожалуйста, в будущем, хвалите меня до одуреиия и даже «до слез напряженья».

Зииа, конечно, озвереет за «фишку»[2]. Вы правы. Но — между иами — год тому назад Бунин дал мие эти статьи (еще в Грассе), прося помянуть при случае. Я его просьбу исполнил, ибо — не дело лаять на человека, которого превозносил,— так, точно и всегда лаял (— а? — о? Как надо сказать о Зние?). Вейдле мне пншет, что я Бунина перехвалил, Демидов (по словам Фондаминского) находит, что статья хвалебиая.

Посылаю Вам в подарок страницу из Евразии[3]. Все прелести Вы оцените сами. Но обратите внимание на то, что редактор Верст разоблачает псевдоним своего сотрудника! (Пусть все это зиают — иикто не имеет права это делать печатно, а уж редактор...) Впрочем, я почти польщен: хоть и самым мертвым и трупным, но все же «из всех, когда-нибудь живших» писателей быть занятно. Четыре тысячи лет (на худой конец) человечество не производило ничего, подобного мне.

Ну-с, а за сим ничего мне не остается, как пожелать Вашему семейству всяческого благополучия. Приезжайте — я по вас соскучился. Жму руку. Берберова нынче в синематографе, но, разумеется, послала бы Вам всякне приветы, если бы знала, что я буду Вам писать.

21 авг. 929.

---

[1] С художником Добужинским Ходасевич близко знаком с лета 1921 г., когда они жили рядом в писательской колонии под Псковым. Добужинский рассказывал о тяжелой болезни Станиславского.

[2] Зина — З. Н. Гиппиус; «фишкой» Ходасевич шутливо называет слова в статье «О поэзии Бунина»: «Голос З. Н. Гиппиус в похвалах Бунину взял наиболее высокую ноту (я разумею статьи в бурцевском «Общем деле»)». В 1921 г. Гиппиус выступила с двумя статьями: «Тайна зеркала. Иваи Бунин» и «Бесстрашная любовь. Русский народ и Ив. Буиин» (16 мая и 23 октября), в которых Бунин назван «замечательным писателем», «современным бойцом», оружие которого — «зрячая любовь» и «волшебное слово». Но к 1925 г. ее мнение переменилось: она видела в Бунине художника, «ие склонного к обобщениям и ие ищущего смысла явления» и признавала в нем только «талант изобразительиый» («Последние новости», 1925, 25 июня). Это утверждение З. Гиппиус Ходасевич вспомнил в статье «Бунин, собрание сочинеиий»: «замечательных художников незамечательные критики порой обвиняют в «безыдейности». «В его голове ие зародилась ни одна идея». Читатель может подумать, что это из Антона Крайнего. Но иет. Это пишет Фаддей Булгарии о Пушкине». («Возрождение», 1934, 29 ноября). Свои критические статьи, как правило, З. Гиппиус подписывала псевдонимом Антон Крайний.

[3] «Евразия» (1928—1929) — еженедельник по вопросам культуры и политики. 10 августа 1929 г., в № 33 Д. Святополк-Мирский, анализируя 39-ю книгу «Современных записок», писал: «Конечно, Ходасевич иастоящий писатель, по уму и литературному умеиию превосходящий всех представленных в этом номере... Но какая утонченная извращенность, граничащая с саднзмом, нужна была, чтобы самому мертвому и «трупному» из всех, когда-нибудь живших писателей, выбрать своей жертвой насквозь живого и здорового Державина».

Милый Марк Веньяминович, я получил от Чериихoвского нужиое письмо с согласием[1], о чем и доношу Вам всеподданиейше. Так что теперь надо действовать, дабы не опоздать. Привет М. А.

Ваш **В. Х.**

---

[1] 10 апреля 1930 г. отмечалось 25-летие литературной деятельности Ходасевича. Друзья его хотели выпустить к юбилею поэму Саула Черниховского — еврейского поэта — «Свадьба Эльки» в переводе Ходасевича. Издание предполагалось «роскошное», набранное ручным способом, с иллюстрациями художника Маие-Каца. Книга ие вышла, т. к. состоятельная русская эмиграция не поддержала подписку. Призыв И. Буиина, Б. Зайцева, М. Вишняка, М. Цетлина остался иеуслышанным.

6 нояб. 930

Ничего, кроме скуки и Державина! А потому — ничего, кроме привета Вам и Марии Абрамовне.

Ваш **В. Х.**

Милый Марк Веньяминович, пишу потому, что не иадеюсь Вас застать. Не браните меня за Державнна и потерпите еще 3—4 дня! Поверьте, я угнетен, но

нельзя же плохо сделать и испортить важное и потенциально выигрышное место. Работаю до смешного много, но много и рву.

Спасибо по части 4 числа!

Привет Марии Абрамовне.

Ваш **В. Х.**

Парижский оракул

№ 1

12 февраля 1931.

Сегодня состоится концерт Игоря Северянина [1].

Северянин будет изруган кем-нибудь из компании Чисел (в Числах или в другом месте). Причина: в конце 1925 г. или в 1926 в «За Свободу» напечатана статья Северянина о Г. Иванове: «Шепелявая тень» [2].

Возможно, что поручение будет выполнено Ю. Поплавским. Причина: Поплавский отчасти подражает Северянину, и ему выгодно Северянина ругать — чтобы отвести подозрение в подражании.

---

[1] В феврале 1931 года все русскоязычные парижские газеты объявили о приезде из Югославии Игоря Северянина и предстоящем вечере 12 февраля. Этому и посвящен «Парижский оракул». Ярче всего разочарование от вечера выразил Дон-Аминадо в газете «Последние новости». В фельетоне «Без заглавия» он писал: «Как будто взяли пятьдесят две губернии за коллективный шиворот, подняли их по мановению волшебного жезла на прохладные воздуси и опустили из всей силы на набережную Сены, которая чуть-чуть из берегов от неожиданности вышла. ...Вот тебе и широкая русская масленица, с блинами и расстегаями.

И суд над Катюшей Масловой, с присяжными поверенными.

И вечер Игоря Северянина как ни в чем не бывало» (1931, 22 февраля).

А 26 февраля Дон-Аминадо поместил стихотворный фельетон «Подражание Игорю Северянину»: «...Ананасы в шампанском окончательно скисли. / А в таком состояньи их немыслимо есть».

«Числа», напротив, верность себе поэта оценили положительно: «Появление Северянина в Париже оказалось нужным, именно потому, что в сущности он нисколько не изменился, то есть не утратил своего непосредственного дарования» (1931, № 5).

[2] В варшавской газете «За свободу», 1925, 8 ноября публиковалось эссе И. Северянина «Успехи Жоржа», посвященное Георгию Иванову, в котором он вспоминал о первой встрече с «юным кадетиком», о том, как похожи его стихи были на стихи Анны Ахматовой: «Я сразу заметил, что в стихах юного Жоржа или, как его называли друзья,— «Баронессы», много общего,— правда, трудно уловимого — со стихами новой поэтессы». Затем он писал, как «Жорж превратился в Георгия, фамилия — в имя, ребенок — в мудреца». Возможно, сюсюкающе-сентиментальная интонация, излишне подчеркиваемая «юность», «ребячливость» героя эссе и вызвали к жизни образ «Шепелявая тень», а возможно,— была и еще какая-то статья Северянина об Г. Иванове, нам неизвестная: подшивка газет «За свободу» в московских библиотеках неполная.

Суббота

Дорогой Марк Веньяминович,

вся история задела меня только потому, что перед некот. людьми (как на зло — из «Возрождения»!) вышел я чем-то вроде Хлестакова. Но успокоило меня именно то, что Вы в ней технически замешаны. Раз сам список действительно переписывали Вы, то, конечно, я понимаю отлично, что просто черт толкнул Вас под руку. Следственно, все в порядке и мне остается только пожалеть, что Вам пришлось ездить в Boulogne, да еще не застать меня дома.

Как раз сегодня получил Вашего «Ленина» [1] и очень благодарю.

Всего хорошего

Ваш **В. Ходасевич.**

Кого я «хвалил»

1) Цветаева 1, 2, 3, 4
2) Муратов 1, 2
3) Алданов 1, 2, 3, 4, 5
4) Оцуп 1, 2, 3, 4
5) Злобин
6) Божнев 1, 2
7) Бальмонт
8) Гингер
9) Блох 1, 2
10) Терапиано
11) Сухотин
12) Адамович
13) Гиппиус 1, 2
14) Мережковский
15) Кожемякина
16) Шах
17) Айхенвальд
18) Ремизов
19) Бунин 1, 2, 3, 4
20) Бицилли 1, 2
21) Вейдле 1, 2
22) Кульман
23) Раевский 1, 2
24) В. Познер 1, 2, 3
25) Зайцев 1, 2
26) Маклаков
27) Кузнецова
28) Вишняк
29) Осоргин (?)
30) Сирин
31) Кнут
32) Стоянов
33) Снесарева-Казакова
34) Поплавский 1, 2, 3
35) Зензинов
36) Гансон
37) Софиев
38) Ир. Кнорринг
39) Смоленский
40) Рощин
41) Лукаш
42) Присманова (?)

Кого я «бранил» [2]

1) Куприн х
2) Резников
3) Гр. Бобринский х
4) Евангулов (без имени)
5) Святополк-Мирский х
6) Купчинский
7) Лурье
8) Талин х
9) Кнорринг (Н.)
10) Д-ская
11) В. Андреев 1, 2
12) Пронин
13) Щербаков (?)
14) Цветаева 1, 2
15) Кускова
16) Гофман 1х, 2х (В ответ на 4).
17) Гингер
18) Мамченко 1, 2 (Второй раз — без имени).
19) Кобяков
20) Дряхлов
21) Очередин
22) Митрополит Антоний

— Речь идет только об эмигрантах и о живых.

— х означает лишь **ответ** на полемику, начатую не мной и к кот. я не давал **никакого** личного повода.

— ? означ. не полную похвалу или не полное осуждение.

— Само собой, Алданова я хвалю не так, как Снесареву-Казакову. Но **степени** похвал и брани учету не поддаются.

— Упоминания в перечнях и т. д. не приняты во внимание, если без оценок и эпитетов.

Оставлены без ответа непристойные личные выходки:

1) **Осоргина** («донос направо», основанный на легком подлоге или передержке: цитируя мои слова, напечатанные в газете **Мельгунова**, Осоргин не говорит об этом, но по контексту у чит. создается впечатление, что это я писал в **большевицкой** какой-то газете!). Учинено **под псевдонимом.**

2) **Две** пакости **Бальмонта.**

3) Пакость **Н. Бережанского.** (С легкими намеками на мое жидовское происхождение и с обещанием, что русский народ со мною в свое время расправится не словами, а действиями; это — за статью о карточной игре Пушкина).

4) **3 выходки** Куприна.

---

[1] О выходе книги М. Вишняка «Ленин» газеты объявили 24 ноября 1932 г., следовательно и письмо нужно датировать ноябрем 1932 г. Вышла она на французском, в известном изд-ве «Колэн». В 52 кн. «Современных записок», 1933 г., Ходасевич поместил рецензию о ней. «Почти всегда исторический человек оказывался повернут к нам, как луна, одною лишь «официальной» своей стороной. Перед нами проходили не люди, а деятели, то есть как бы воплощенные карьеры или идеи. Нынешнее тяготение читателей к биографиям более или менее «интимным» далеко не есть просто мода, и за ним скрывается вовсе не только низменное желание «толпы» заглянуть в частную жизнь замечательного человека.

<...>Можно изобразить внешие течение ленинской жизни, но как раз душу его и лицо представить наглядно почти невозможно, потому что именно у него, как ни у кого другого, на месте души и лица находим бездушие и безличие: бездушие и безличие не в ходячем, поверхностном смысле этих слов, а в очень глубоком, может быть, даже мистическом.

Ленин остался в истории образцом человека, сыгравшего огромную роль, не принеся собственной идеи. Его деятельность была лишь упорным стремлением осуществить на практике теорию, не им созданную. Он популяризировал, даже корректировал, и приспособлял к обстоятельствам, но не изобретал. Это был практик, а не теоретик, вожак, а не учитель. Отсюда его демагогизм, цинизм, неразборчивость в средствах,— все качества, полезные политическому дельцу, спекулянту, но невозможные для философа или социолога. Его мысль упряма, но не оригинальна. Еще в юности он уверовал в Маркса, и всю жизнь, как верный мулла, долбил свой Коран, в котором так отрицаются существование души и значение личности» (с. 467).

[2] К сожалению, нам ничего не удалось выяснить об истории списка :«Кого я «хвалил» и «Кого я «бранил», но он дает краткое содержание того, о ком писал Ходасевич в период 1927—1932 гг.

Дорогой Марк Веньяминович,

есть что-то роковое (или идиотское) в том, как я всякий раз забываю номер дома, где живет Вадим Викторович[1] (а не записываю, п. ч. «не стоит записывать — так легко запомнить»). Будьте добры — передайте ему прилагаемое письмо, прочтя оное, как соредактор, и потому что оно Вас отчасти касается.

Привет.

В. Ф. Ходасевич.

19 апр. 933.

---

[1] В кн. «Современные записки». Воспоминания редактора» М. В. Вишняк пишет, что по прошествии десяти лет сотрудничества в журнале, Ходасевич перешел в «ведение» В. В. Руднева, принявшего на себя секретарские обязанности.

ИЗ НЕОКОНЧЕННОЙ ПОВЕСТИ

Тащитесь, траурные клячи!
Блок

Человек хоронит отца, через погребальную контору Быстрова, за восемьдесят рублей — и все очень прилично. А через два года, когда приходится хоронить мать, тот же Быстров, за такой же гроб, такие же свечи, дроги и прочее берет уже девяносто. Помилуйте, с какой стати? А с такой стати, что человек, ну, скажем, помощник податного инспектора Копылов,

от похорон отца до похорон матери жил два года, нисколько не думая ни о Быстрове, ни об Александрове, даже едва замечая их просторные витрины, сияющие такою важною, такою непроходящею красотой гробов. А меж тем съезд пчеловодов поднял цены на воск, и оттого вздорожали свечи; вздорожала парча, вздорожали шнуры и кисти, потому что с канительницами нет никакого сладу; овес — и тот вздорожал, а помощник податного инспектора Копылов за эти два года и не подумал ни разу, что ведь Быстрову-то надо все это время кормить своих лошадей, которые тогда отвезли на Миусское кладбище отца помощника податного инспектора, а теперь — его мать. И не знал помощник податного инспектора, что за эти два года старший приказчик Быстрова не раз побывал в конторе у Александрова, что не раз сам Быстров и сам Александров совещались друг с другом и с поставщиками считали, прикидывали, ломали головы — и в конце концов погребение по второму разряду силою вещей стало на десять рублей дороже. Пока податные инспектора, их помощники, их письмоводители жили своей жизнью, определяемой сменой чинов, окладов, циркуляров и всего прочего до их относящегося,— погребальные конторы жили своей, столь же закономерной жизнью, имеющей собственную историю. И как события этой истории представали сознанию Копылова лишь в исключительные моменты, когда приходилось ему хоронить родных,— так и сам Копылов являлся в контору Александрова или Быстрова лишь раз в два года, как бы восставая из небытия. И сам помощник податного инспектора, и его жена, и сын-студент, и еще кое-какие за гробом идущие родственники — все это были только скоротечные образы, проплывавшие в сознании быстровских факельщиков, облаченных в долгополые кафтаны и с зажженными фонарями шагавших по сторонам катафалка. Зато, подходя к кладбищу, быстровские служащие уже издали распознавали стоящие у ворот александровские второго разряда дроги и сытых александровских лошадей, с которых знакомые факельщики снимали попоны, собираясь рысью возвращаться домой.

Подобно пласту податной инспекции, жившему своей жизнью, и пласту погребального промысла, жившему жизнью своей, был в Москве пласт докторов, из которых один вызван был к умиравшей старухе Копыловой, и пласт священников, из которых один ее отпевал, напутствуя в жизнь вечную, хотя о ее существовании временном узнал лишь после того, как оное пресеклось.

И как от ее могилы священник отправился в консисторию, где знал он все входы и выходы, так тремя днями раньше от ее смертного одра доктор поехал в игорный дом, где встречались люди многих других пластов: адвокаты, портнихи, зубные врачи, актеры, актрисы, купцы, игроки, инженеры, лошадники, литераторы.

Люди всех этих пластов соприкасались друг с другом (например, за картами, или когда лошадник судился с купцом, или когда у литератора болели зубы), но главная жизнь у каждого лежала в его пласте, и каждый пласт составлял как бы город в городе, и Москва была совокупностью множества таких городов или городишек. Жили они, конечно, и некоей общей жизнью, жизнью даже России. История совершалась, не ощущаясь.

Если бы студент, сын помощника податного инспектора, стал писать стихи или повести, и если бы эти стихи или повести понравились какому-нибудь редактору или критику, а главное — если бы сам студент тоже понравился редактору или критику,— то стал бы он обитателем того града, города, городка или городишки, которому имя — литература. Подобно Москве чиновной, духовной, рабочей, воровской и всем прочим, была и литературная, со своими рождениями и смертями, со своей знатью и мелюзгой, с богатством и нищетою, с борьбой, сплетнями, подвигами. Но сын помощника податного инспектора Копылов не сочинял ничего, он был усердным естественником. Читая время от времени книги, написанные писателями, и глядя в театре их драмы, он не задумывался, откуда сваливаются к нему эти книги и драмы. Точно так же, бросая горсть мокрой земли на гроб бабушки, не думал он о могильщиках, стоящих тут же наготове со своими лопатами.

. . . .

Стоя у стены, сбоку эстрады, и посмотрев на ноги сидящих в первом ряду, Соня Мамонова заметила в середине, возле прохода, три широких атласных юб-

ки: темно-лиловую, темно-зеленую и темно-синюю. Но, взглянув повыше, она увидела, что две боковые, темно-лиловая и темно-синяя,— вовсе не юбки, а рясы и принадлежат двум священникам, с гладкими маслянисто зачесанными волосами и золотыми крестами. Только средняя, темно-зеленая юбка облегала колени женщины, пожилой, дородной, с тремя нитями крупного жемчуга на груди. Заседание Христианского Кружка происходило у нее в доме, в зале с белою и голубою лепкою на стенах и на потолке. Народу сошлось человек полтораста, заседание было открытое. Знаменитый писатель перед отъездом в Крым делал доклад. Он сидел на паркетной эстраде, за длинным столом, среди молодых и старых членов Кружка и, постукивая желтым карандашом, говорил уже больше часа. Священники слушали, вытянув шеи и глядя на писателя, а хозяйка дома — опустив голову и закрыв глаза. Заметив, что дело идет к концу, она встала и тихо прошла мимо Сони Мамоновой в боковую дверь, откуда слышались осторожные шаги слуг и звяканье чашек. Между докладом и прениями предстоял чай.

Действительно, вскоре писатель заговорил громче, стал реже и тверже постукивать карандашом, а порыкивания, которыми в сильных местах он сопровождал свою речь, перешли в сплошной рык. Наконец, он ударил ладонью по черной папке с тесемками, вскочил (причем оказалось, что ростом он меньше, чем можно было подумать пока он сидел) и глядя серыми, выпуклыми глазами на священников, почти закричал:

— А я вам говорю: горе Церкви, если она меня не услышит!

И стал собирать листочки доклада в папку, слегка втянув голову в плечи и не глядя на публику. Он делал это с нарочитой кропотливостью, как бы говоря: «Нет, нет, не зовите меня пророком. Вы же видите, я простой бренный человек, собирающий свой посильный труд в эту простую папку».

Все, кроме священников, захлопали, зашумели стульями. Седой председатель, размахивая руками, крикнул с эстрады, что он кладет на стол бумагу и карандаш для записи желающих высказаться. Лектора обступили и повели пить чай. Он шел, стараясь быть самым обыкновенным и в то же время явственно показать всем, что хоть он и идет пить чай, но идет сам не зная куда, влекомый народом, пророк в делах духа, беспомощное дитя — в делах мира сего,— змий и голубь. Соня прижалась к косяку, давая дорогу. От писателя на нее пахнуло запахом табаку и старого платья.

Табаком и старьем от писателя пахло по двум причинам. Табаком — потому, что в день выкуривал он пятьдесят толстых папирос, «пушек», изготовлявшихся по особому заказу из крепчайшего табаку и необходимых ему при всех умственных отправлениях. Без папирос понимал он, и то с трудом, самые только простые вещи: это вот — книга, это — ковер, а это — моя нога. Старым же платьем пахло от его парадного сюртука, обычно висевшего в темном чулане, который тучная жена писателя звала гардеробной и где хранила она все тряпье, накопившееся за тридцать лет их супружества.

Однажды, лет восемь тому назад, зайдя в чулан, писатель вдруг ни с того, ни с сего сказал громко:

— А ведь Бога-то нет.

Потом прислушался и переспросил:

— А?

Он постоял с пять секунд и кинулся из чулана прочь. Вбежал в кабинет, закурил, сел в угол дивана, того самого, на котором двадцать пять лет привык обдумывать свои сочинения и который был свидетелем всех его постижений, а потому и вспоминался с полным основанием всякий раз при слове р е л и г и о з н ы й о п ы т. Но тщетно: сколько писатель ни силился, уверенность в Боге не только не возвращалась, но и было как-то непозволительно ясно, что Бога нет; хуже того, было ясно, что он, писатель, всегда это знал. Его охватил ужас перед будущим. Приходили в голову разные мысли: всенародно отречься от всех своих сочинений, выступить с проповедью безбожия, перейти на другие темы, даже покончить с собой (это, впрочем, всего только на одну минутку и только предположительно). Потом он подумал, что, пожалуй, легче всего будет написать книгу: «О трагедии неверия». Наконец, накурившись, решил он, что и это не годится, и все должно остаться попрежнему.

Соня пришла на доклад не оттого, что хотела узнать, надо ли Церкви слушаться писателя.

Она выросла в Туле. Там и теперь ее мать доживала век в семье старшего сына. Соня уже третью зиму жила в Москве. В 1911 г. она поступила в университет и посещала его исправно. Еще исправнее ходила она в театры, на лекции, на картинные выставки, реже — в концерты, вступила, как водится, в какой-то кружок, собиравшийся на квартире зубного врача, друга молодежи. Две дочки зубного врача писали стихи: старшая, почерней и потолще,— о страсти; младшая, посветлей — о природе. Прочие члены кружка тоже сочиняли, большей частью в стихах, реже — в прозе. По воскресениям собирались, читали и обсуждали. Иногда делегация отправлялась к какому-нибудь поэту и залучала его в кружок на ближайшее воскресение. Он приходил и не знал, что делать и что сказать. К чайному столу для него ставили кресло. Едва он раскрывал рот, за столом разлегалась тишь, а он чувствовал себя шарлатаном, если не был таким действительно. Принимая чай от хозяйки, он видел пододвигаемые со всех сторон сахарницы, сухарницы, корзинки с пирожными, вазочки с вареньем, тарелочки с лимоном и кувшинчики сливок. Он благодарил, кланялся во все стороны и улыбался, что-то брал сам, что-то ему накладывали. Кругом шептались, но тут же на шептунов пошикивали, ожидая, что поэт вот-вот может заговорить. Взгляды всех ползали по его лицу, но когда он сам взглядывал на кого-нибудь, тот съеживался. Наконец, нельзя было больше молчать, поэт кидался на первую попавшуюся жертву и, сам жалея ее, вдруг спрашивал:

— А вы пишете стихи или прозу?

Тотчас глаза всех обращались на спрошенного, точно на кролика, которого удав обливает слюной перед тем, как начать заглатывать.

Однажды, тому назад года полтора, Роман Гишин избрал себе такой жертвой Соню.

Роман Гишин в то время еще вполне почитался поэтом. Может быть, три-четыре десятка стихотворений, хоть и недурных, еще не давали права на это звание, но все же верно и то, что Роман печатался в самых передовых журналах, будущее было ему открыто, он числился в «молодых надеждах», бывал в редакциях. Он познакомил Соню с самим Мелентьевым, потом еще с кем-то, потом пристроил ее стихи в небольшой журнал. Мало-помалу Соня сделалась своим человеком в литературной Москве, то есть была со всеми знакома, знала, кто кого любит и кто кого ненавидит, кто кого выдвигает и где нынче сборище. Она умела разгадывать псевдонимы и наперед знала содержание ближайшей книжки «Московского Меркурия». К ней привыкли, она тоже стала жить волнениями и фантазиями этого круга, из которого, ей казалось, она никогда не выйдет и выйти не захочет. Кое-где она уже значилась в списке сотрудников, университет был забыт. Зубной врач самолично накладывал ей сухариков на тарелку, а его старшая дочь перестала поверять Соне сердечные тайны. И самой Соне уже было не так легко с прежними друзьями, потому что она привыкла думать и чувствовать совершенно особым образом.

Когда читателю приходилось особенно туго, он шел в синематограф, потом возвращался домой, заваривал чай и думал, что надо повеситься. Думая, он не знал, чем кончить,— и либо вешался, либо не вешался. Но уж если не вешался, то для него было ясно, что он не повесился. Писатель же в таком случае прежде всего знал наперед, что ни в коем случае не повесится. Однако, тем тщательнее вбивал он мысленно гвоздь и пробовал его крепость, и мылил веревку, и встав на мысленную табуретку, продевал голову в мысленную петлю. Петля проходила здесь вот, под кадыком (писатель довольно крепко давил на кадык двумя пальцами; потом мысленно он отталкивал табуретку и слышал глухой стук от падения); петля резала затылок, позвоночник растягивался, ноги бились; писатель чувствовал, как у него лицо наливается кровью, язык лезет наружу, глаза выкатываются; пальцы сводит судорога; он хрипит, но хрипа, уже, вероятно, не слышно. Жизнь кончена. Этого было достаточно, чтобы отныне он видел себя как бы вы-

ходцем с того света — и по-своему был бы прав. Тотчас же писать об этом было не только не обязательно, но и не целомудренно. Но те обстоятельства, и тех людей, которые довели его до такого состояния, он искренне считал убийцами, и это было его право. Встретив своего убийцу на улице, он его дружески зазывал в ресторанчик и там, подпоив под звуки румынской музыки, неожиданно спрашивал:

— Что это у вас за пятно на лбу?

Тот вынимал платок, слюнявил и тер.

— Ну, как, стер?

— Нет, еще есть.

Убийца трет крепче, лоб у него краснеет.

— Ну, а теперь?

— Нет, этого так не стереть. Вы пойдите к зеркалу.

Пошатываясь, убийца пробирается между столиками к мутному ресторанному зеркалу, все на него оглядываются, кто-то злобно толкает локтем, а писатель думает:

— Вот: скитается Каин. Не будет ему покоя.

Среди этих людей жила Соня уже полтора года. Вот эта жизнь и привела ее на тот вечер, где знаменитый писатель обличил Церковь перед отъездом в Крым.

Чай пили в гостиной. Двери туда были открыты как будто для всех. На самом деле были вхожи немногие: члены Христианского Кружка, профессоры, философы, признанные писатели и их жены, по большей части некрасивые, со страдальческими лицами, в черных бархатных платьях, с воротниками из кружев; некоторые носили большие кресты на цепочках из черных бус. В гостиной были еще и личные гости хозяйки: два миллионера, известный пианист, нарумяненный архитектор, обладатель лучшей в Москве бороды, и молодой художник — жгучий брюнет, на всех собраниях и концертах носящий голубую песцовую муфту за старою миллионершей, собирательницей картин.

Гомбуров был вхож, как редактор «Меркурия». Соне входить не следовало, но она вошла, потому что Гомбуров был там: разговор мог начаться с любой случайности, как месяц тому назад (это был их единственный разговор)...

1925.

О «ЖИЗНИ АРСЕНЬЕВА»

...В последней книжке «Современных записок» Буниным начат второй том «Жизни Арсеньева». Вот произведение подлинного мастера, форму сумевшего превратить в содержание наглядным образом. Сознательно или нет, именно эта задача и руководила Буниным при возникновении его замысла. Самая постановка ее в общем ходе бунинского творчества совершенно естественна. Он должен был к ней прийти — и пришел.

Что есть «Жизнь Арсеньева»? Романом ее назвать было бы очень условно, неглубоко и неточно. В ней нет того, что в романе обязательно: ее внутреннее единство не основано на единстве фабулы (завязка — развитие — развязка), а лишь на единстве героя. Гораздо вернее определить «Жизнь Арсеньева» как «вымышленную автобиографию» или как «автобиографию вымышленного лица». Такое теоретическое определение этой книги потому важно, что отсюда-то и открывается ее смысл: открывается, как и почему она «сделана».

Если автор не занимается бездарным облачением «идей» в образы, то есть не насилует своих персонажей во имя той или иной тенденции, то он оказывается связан развитием тех характеров, страстей, интересов, короче — тех сил, которыми образована первоначальная завязка фабулы. С развитием собственного замысла он становится «одержим» героями и событиями, которые действуют в нем и через него, но уже не только по его воле, а и по собственной (соотношение этих воль требует особого рассмотрения). Постепенно из самодержца автор превращается в конституционного монарха своих персонажей — с довольно ограниченными полномочиями. В результате — герои, а затем фабула, а затем и раскрывающийся в фабуле смысл произведения выходят из-под авторского контроля. «Философию» своего романа автор вычитывает, когда роман кончен, как всякий другой читатель (может случиться, что читатель вычитает ее и правильнее). Этою философией он может остаться доволен или недоволен, согласиться с нею или не согласиться. Разумеется, чаще всего он с нею оказывается согласен: она с ним связана тайными, очень глубокими узами. Но как бы ни был доволен своим созданием «взыскательный художник»,— некое смутное недовольство всегда в нем остается. Ему всегда кажется, что он выразил не совсем то, что хотел, а главное — недовыразил то, что хотел выразить. Это недовольство происходит от того, что первичное ощущение жизни ему пришлось подчинить фабуле, закрепостить за нею, ограничить теми рамками, которые были ему поставлены самой вещью в ее развитии. Такому ограничению не было бы места, если бы ему удалось избавиться от внутренней закономерности, требуемой романом. Писательский опыт в конце концов приводит к тому, что воображение оказывается более стеснено, ограничено в возможностях, нежели действительность. Логика действительности открывается писателю гораздо более свободной, просторной и емкой, нежели логика художественного вымысла. Он приходит к мысли о таком произведении, где жизнь явится, наконец, в своей многозначительной алогичности, в своих мудрых случайностях, со своими неразрывными узлами, со всеми «вдруг» и «почему-то», которые в романе немыслимы — даже если темой романа сделать эту же самую алогичность. Отсюда — один шаг до мысли об автобиографии. Потому-то столько испытаннейших художников в конце концов обращаются к автобиографии, к выражению того, что было всего острее пережито в жизни и оказалось невыразимо в их прямом искусстве. Автобиография есть единственная форма «свободного» романа — не стесненного ни логикой, ни экономикой обычного художественного произведения. Обычная эстетика, всегда подчиненная конечной идее романа, тут взрывается. Она уступает место той кажущейся безыскусственности, которая свидетельствует о совершеннейшем и чистейшем искусстве: не только о слиянии формы с содержанием, но и претворении формы в содержание.

Арсеньев — писатель. В тех главах его автобиографии, которые мы уже знаем, он еще очень молод. Нам неизвестно, как сложится его жизнь в дальнейшем, но нечто важное мы о нем отчасти уже знаем, отчасти можем предугадать: это — основная схема его творческой биографии. Сейчас мы его застаем в ту минуту, когда «впечатления бытия» для него еще новы. Желание их выразить обуревает его, но он еще **не знает, о чем писать.** Что это значит? Это значит, что он еще не умеет изобретать все то, из чего слагаются сюжеты и фабулы. Само по себе ему это и не нужно (потому-то и пробует он составлять «записи» — род дневника). Но он читал других писателей и думает, что без всего этого ему не на что надеть то, что живет в его чувстве, то есть то, что он прощупывает сквозь видимую оболочку мира. Не трудно угадать, что будет дальше. Арсеньев сделается писателем, научится строить сюжеты и фабулы, которые, в свою очередь, сложатся в идеи его произведений. Он будет хорошим писателем. Однако в конце концов испытает он то неудовлетворение, о котором выше говорено,— и обратится к автобиографии. Он сбросил **узы воображения** вместе с порожденными воображением фабулами и отбросит фабулы вместе с возникающими из них идеями. Добытым творческим опытом он воспользуется отчасти для того, чтобы разучиться ранее постигнутым законам и правилам художества, отчасти для того, чтобы научиться новым. Тогда-то он и напишет ту самую «Жизнь Арсеньева», которую нам за него пишет Бунин. (Я думаю, впрочем, что он озаглавит ее «Моя жизнь», а не «Жизнь Арсеньева»).

В «Жизни Арсеньева» Буниным сделано то, о чем, сам того не понимая, мечтал молодой Арсеньев, когда жаждал писать и не знал, что писать. Здесь показано самое простое и самое глубокое, что может быть показано в искусстве: прямое виденье мира художником: не умствование о видимом, но самый процесс видения, процесс **умного зрения.** Иначе — пересоздание мира или создание нового, который не возникает ни из какой идеи, потому что сам по себе уже есть идея. Смысл этого мира — он сам. Из его образов могут быть извлечены идеи, но каж-

дая из них меньше его, и все они в совокупности тоже меньше его. Самое полное философствование о нем есть его созерцание. Его содержание есть его форма, и форма рассказа о нем уже содержит в себе его самого. Поэтому сказать о «Жизни Арсеньева», что в ней Буниным найден стиль, до конца отвечающий замыслу, было бы в особенности недостаточно и неточно. В «Жизни Арсеньева» стиль связан с замыслом теснее и органичнее, чем, быть может, во многих не менее прекрасных произведениях. Здесь не только стиль предопределен в замысле, но и замысел в стиле. Стиль «Жизни Арсеньева» — не прекрасная случайность, а то самое, вне чего и весь замысел оказался бы неосуществлен вовсе. К сожалению, этим общим замечанием мне приходится ограничиться: сколько-нибудь обстоятельно рассмотреть, как именно «сделана» «Жизнь Арсеньева» и чем достигается ее неотразимое обаяние, в газетной статье немыслимо.

Я позволю себе лишь одно еще замечание — о языке, которым она написана. По происхождению этот язык, по-видимому, восходит к Тургеневу, но перед тургеневским языком имеет значительные преимущества, потому что он гораздо строже и вся вода, и весь сахар Тургенева здесь отделены и удалены. Не по окраске, но по разнообразию, силе и точности язык «Жизни Арсеньева» способен, я думаю, выдержать сравнение с языком Толстого или Достоевского. Во всяком случае — это, конечно, один из совершеннейших образцов русской прозы.

1933.

ПОСЛЕСЛОВИЕ *

Письма В. Ф. Ходасевича к М. В. Вишняку открывают малоизвестную страницу жизни русской эмиграции — историю создания «Современных записок» (1920—1940) — лучшего, может быть, журнала того времени. Ходасевич, который считал литературу «самым важным сейчас из всех российских дел», не только публиковал в журнале свои стихи, статьи, очерки-портреты, впоследствии составившие книгу «Некрополь» (1939), главы повести «Державин» (1931) — но по-своему пытался направлять его, стараясь уберечь от дурной современности и дурной инерции, тенденции превратить издание в «выставку достижений». Он привлекал в журнал молодых, поддерживал их: от Н. Оцупа и Довида Кнута до В. Сирина (Набокова). По свидетельству одного из них, Юрия Терапиано, Ходасевич открыл «Современные записки» для молодых авторов.

Марк Вениаминович Вишняк — юрист по образованию, по призванию — политический деятель: один из лидеров партии эсеров, секретарь Учредительного собрания,— тоже считал создание журнала главным делом эмиграции, которое может объединить все духовно здоровые силы вокруг издания, независимого от партийных и политических убеждений. Об истории журнала, его создателях и авторах он рассказал в книге «Современные записки». Воспоминания редактора», Индиана, 1957. Очерк о Ходасевиче и стал первой главкой будущей книги. Вишняк предложил его «Новому журналу».

Журнал этот начали выпускать в Нью-Йорке в 1942 году приятели и соратники Вишняка — поэт и беллетрист М. О. Цетлин (в «Современных записках» он был консультантом отдела поэзии) и М. Алданов, чьи исторические романы появились на страницах «Современных записок».

Выбор Вишняка смутил и раздосадовал их, они явно недоумевали, почему надо печатать очерк о Ходасевиче. «Мы таких статей не давали (за исключением Блока) и об умерших писателях; да и над свежей могилой Осоргина, Бальмонта, Тэффи давали лишь короткие статьи»,— писал М. Алданов Вишняку 27 ноября 1943 г. Даже на предложение прочесть в русском землячестве доклад о Ходасевиче Цетлин ответил так, словно речь шла о неизвестном авторе XVII в.: «Против того, чтобы стать «Учеными записками» при «Горизонте», мы должны бороться. Кроме того, я думаю, что такой доклад публики не соберет и ее не заинтересует» (6 ноября 1943 г.).

На первый взгляд, выбор и в самом деле казался странным: в архиве М. Вишняка хранилась тысяча писем от ста пятидесяти авторов, со многими из которых он был близок, отношения же с Ходасевичем осложнялись размолвками, объяснениями и оборвались ссорой. И тем не менее из переписки его с редакторами «Нового журнала» видно, что не случайно героем очерка стал этот неуступчивый, насмешливый, резкий и неудобный человек.

Снова, на новом историческом витке, повторялась ситуация исхода, рассеяния, снова русским писателям зарубежья приходилось начинать жизнь сначала, в Новом свете, и журнал их назывался просто — Новый журнал. Основан он был в разгар войны. Война не пощадила не только поколение М. Вишняка (в немецком концлагере погиб и друг его И. И. Фондаминский, и жена Ходасевича — О. Б. Марголина, племянница М. Алданова). Молодые писатели умирали в концлагерях, от голода и болезней, воюя с фашистами в рядах Сопротивления. В каждой книге журнала печатались заметки памяти ушедших. В этих условиях — войны, разрухи, отчаяния — снова предстояло собирать по крупицам, восстанавливать русскую культуру.

Понимание культуры как непрерывной цепи, которую невозможно уничтожить или разорвать, потому что в каждом ее звене (зерне) закодировано прошлое и будущее («во мне конец, во мне начало»), культуры как жизненной позиции и жестокой духовной дисциплины (ежедневного делания) — соединились для Вишняка в творчестве и судьбе Ходасевича.

О том , что это не домысел и не натяжка, говорит листок, на котором М. Вишняк делал выписки из статьи богослова и философа В. Ильина «Ходасевич — поэт и мыслитель», где Ходасевич был назван «человеком высшей культуры», получившим «наследство из рук Пушкина».

В. Ильин писал: «Трагедия русской культуры, русской жизни и одна из важнейших причин успеха русской революции — та, что культура была отброшена духовно ослабевшими потомками творческого охранения, эпигонами тех, кто культуру создавал и хранил. И никем не защищаемая культура попала в плен к иным, чуждым людям. Ее новые хранители, комментаторы и раздаватели стали вместе с тем и ее тюремщиками. <...>Жестоко и горько ошибались пришедшие провожать его на место последнего упокоения, если они льстили себе мыслью, что хоронят «своего». Земле предавался прах поэта, свободного от каких бы то ни было уз, трафаретов и, прежде всего, свободного от «их» цепей» («Возрождение», 30 июня 1939 г.).

По настоянию М. Алданова, цитату из текста статьи пришлось убрать («Совершенно невозможно говорить, что он был «наследником Пушкина». Это оскорбительно для Пушкина»), но читатели услышали и поняли, что хотел сказать Вишняк. 14 ноября 1945 г. из Парижа откликнулся Б. Зайцев: «О Ходасевиче мне тоже приятно было читать. Что там вспоминать прежние мелочи, язвительности, уколы, все это так ничтожно... А человек он был нашей культуры, т. е. «любитель просвещения», а это сейчас вроде зубров становится».

Но если очерк издатели все-таки приняли, то письма Ходасевича вызвали у них резкий и дружный протест. Алданов предъявил Вишняку целый меморандум:

«4. Я предлагал не «как бы это сказать помягче? не исказить, смягчить, видоизменить высказывания» Ходасевича, а выпустить их. Если это — «фальсификация», то такая же фальсификация — выпуск отзывов об Осоргине и Милюкове, на что Вы согласны. Мерси (за «фальсификацию»).

5. Письма Наполеона, Бисмарка, Пушкина, Достоевского в течение десятилетий печатались с пропусками по тем же мотивам, которыми руковожусь я. Думаю, что можно так же посягнуть на такую святыню, как письма Ходасевича.

6. Я буду самым решительным образом против помещения каких бы то ни было неприятностей Бунину, Зайцеву и др. Помимо того, что Бунин и Зайцев мои друзья,— они живут в ужасных условиях, ведут себя в них очень достойно, я, быть может, их никогда больше не увижу и они с моей стороны увидели бы в этом чрезвычайно не товарищеский поступок.

...Если же Вы «фальсифицировать» письма не согласны, то не вернуться ли к прежнему плану: расширьте Вашу статью и включите в нее из писем то, что для нас приемлемо».

Очевидно, о том же просил М. Цетлин и, отвечая ему, Вишняк объяснил свою позицию: «Я стою за то, чтобы опустить только КРАЙНИЙ минимум. Поэтому — печатать и «неинтересные» письма; по возможности сохранить все имена и даже несущественные подробности. Они сохраняют особый — эпистолярный стиль — автора даже тогда, когда самый сюжет безразличен. Поэтому я сохранил бы ссылки или поклоны — Мане (почти в каждом письме), хотя она сама против этого. Недошивиной и т. д.

Я опустил неприличные слова (по адресу Цветаевой); но настаивал на сохранении по возможности всех оценок — не только литературных, что само собою разумеется, но и лично-общественных. Там, где они слишком резки (Осоргин, Бальмонт, Куприн),— я предлагаю опустить фамилию, сохранив существо и заменив фамилию литерой. Но литеры иногда прозрачны, а иногда — того хуже: двусмысленны, как, например, литера «Б» — Бунин или Бальмонт?..» [1]

И тут Вишняку пришлось уступить: письма В. Ф. Ходасевича появились в № 7 «Нового журнала» за 1944 год в отредактированном виде. В «Знамени»

* Статья написана по материалам архивов США: «Lilly Library» (Индианский университет), Бахметьевского (Колумбийский у-т), Гуверовского института (Стэнфорд), Байнеке (Йельский у-т). Мы приносим благодарность Д. Соресу, а также работникам архивов за их помощь в работе.

[1] Переписка М. Вишняка с редакторами «Нового журнала» хранится в Гуверовском институте (Стэнфорд).

они впервые публикуются в полном объеме, по подлинникам, хранящимся в библиотеке «Lilly Library» Индианского университета, Блумингтон.

Теперь, когда нам доступны прежде выпускавшиеся эпиграммы на отдельные произведения, грубовато-лаконичные характеристики авторов и мини-рецензии на книжки «Современных записок», видишь, какую яростную борьбу вел Ходасевич за журнал, который представлял себе совершенно иначе, чем редакторы: он видел его «мастерской», где литература делается, где хозяйничает «дух новых исканий». И когда он писал: «Как я люблю Бориса Зайцева, но зачем он разводит такую скуку?» — слово «скука» было для него эмоциональным синонимом ряда: «традиционный», «известный», «ожидаемый», «равный себе», или, как писал он в другом письме: «Ремизов — Ремизов».

Ходасевич очень высоко оценил повесть Б. Зайцева «Анна», назвав ее среди лучших в неопубликованной статье «О двадцатилетии эмигрантской литературы». Еще выше ценил он прозу Бунина, анализу которой посвятил несколько статей: «Божье древо» (1931), «Жизнь Арсеньева» (1933), «Бунин, собр. сочинений» (1934) и др. В то время как вся эмигрантская критика дружным хором, от Луганова до Айхенвальда, нарекла «Жизнь Арсеньева» автобиографией, Ходасевич и Вейдле — его последователь и ученик — доказывали, что это произведение новаторское, вымышленная биография вымышленного лица.

Он и в письмах спорил со своим приятелем, молодым критиком А. Бахрахом: «Я считаю, что Луганов, как и Вы, не имел права писать об автобиографичности. Но после того, как Бунин не протестовал против статьи Луганова и против словосочетания Бунин-Арсеньев — Вы, пожалуй, могли **повторить** эту мысль, уже **не новую»** (18 июля 1928 г.).

В цитировавшейся уже статье «О двадцатилетии эмигрантской литературы» о Бунине Ходасевич писал, как о единственном писателе старшего поколения, который сделал в эмиграции шаг по пути мастерства. «Жалкими» назвал критик разговоры о том, что в лице Бунина Нобелевская премия получена «как бы всеми нами» — бунинские лавры принадлежат лично ему и только ему: нас они вовсе не осеняют».

Но по мысли Ходасевича, свой главный подвиг Бунин совершил в молодости, когда, почти единственный из поэтов, сумел не поддаться столь мощному духовно течению, как символизм, остался в стороне, сознательно и свободно сделав выбор, хотя критик не скрывает, что бунинский путь ему чужд («О поэзии Бунина»). Теперь выбор предстояло сделать молодым.

Изо дня в день пытался он внушить редактору «Современных записок», что литературную политику нельзя строить только на именах, отбирая наилучшее, что процесс, движение в литературе порой важнее результата. Все сочувствие и внимание Ходасевича-критика в эти годы обращено к молодым: «Это именно они, порою почти не видевшие России, порою малообразованные, мало сведущие, все же берегут русскую культуру, ибо сохранение русской культуры предполагает непрестанное, пусть еле приметное, но непрерывное **делание.** Культура не живет ни в холодильниках, ни в бездейственных воспоминаниях. Она в них умирает»,— писал он в статье «Подвиг».

С бережной нежностью открывал он читателям книги А. Ладинского, В. Смоленского, восхищению встречал каждый новый роман Сирина, радуясь, что творчество — постоянная тема его произведений. Авантюрные сюжеты не обманывали его, и задолго до того, как был написан «Дар», Ходасевич предсказал появление романа «о жизни художника и жизни приема в сознании художника» («О Сирине», 1937). Близость их взгляда на литературу, и даже на литературную среду была столь велика, что некоторые типажи, от имени которых пишет письма Ходасевич, словно сошли со страниц романов Набокова. Так в письме-стилизации Ходасевича к А. Бахраху угадываются темноты стиля и жизнерадостное невежество рижанина Буша, одного из персонажей «Дара»:

«...что я желал бы иметь ксек партнеров завтра, суббота, 25 сентябрь текущий, быть может даже до зари. Мы бы сыграли в бридж, не так ли?... Ответьте мне пневматично, если Вам это нравится.

Как Вы видите, я уже есмь с возвращением из Робинзона, в котором забавлялся три недели.

Положите меня к ногам госпожи Вашей матушки.

Весь для Вас. В. Х.» (Недат., предположительно 23—24 сентября 1926 г.).

Именно Набокову признался Ходасевич, что пишет крамольную статью о том, к чему привела политика «старших»: «Секрет: собираюсь писать для «СЗ» статью о 20-летии эмигрантской литературы. Полагаю, что

царь Иван Васильич
От ужаса во гробе содрогнется» (19 ноября 1937).

Статья так и не была опубликована и даже дописана: четыре машинописных странички сохранились в бумагах М. М. Карповича.

Прежде всего Ходасевич утверждал, что эмигрантская литература существует, что от советской отличает ее язык, стиль, понятия о природе и назначении художественного творчества, она сберегла, унесла с собой «общие традиции русской литературы: ее национальную окраску, ее тяготение к религиозно-философским и нравственным проблемам, наконец (и в особенности) — ее духовную независимость. <...> Но той жизненной энергии, того благодетельного духа новых исканий, который свойствен творческим, а не критическим эпохам, она с собою не принесла и не могла принести. <...> Но литература, не движимая духом новых исканий, обречена повторять себя. Творчество эмигрировавших писателей покатилось по старым рельсам. Казалось, писатели перенесли столы из Москвы и Петербурга в Париж и уселись писать как ни в чем не бывало, даже стараясь о том, чтобы перемена места не нарушила их привычных литературных навыков. <...> По очень глубокому и верному замечанию Ф. А. Степуна, память о России все более подменялась воспоминаниями о ней. Рассеянные кое-где проклятия по адресу большевиков компрометировались мещанским характером этих воспоминаний, а главное,— оказывались бессильными создать идейный остов зарубежной словесности. Лишенная литературного пафоса, она не в силах была обрести в себе и пафос гражданский. Она сделалась беженской, а не эмигрантской, обывательской, а не героической. Сама идея о сохранении традиций постепенно уступила место инстинкту персонального самосохранения».

В статье сформулирована самая суть спора, который на протяжении нескольких лет Ходасевич вел с Вишняком-редактором. При этом он всегда отмечал, что во главе «Современных записок» стоят не литераторы — политические деятели или, как называл их Ходасевич, «общественники», и их представления о ценности художественных произведений — иные, а литературная политика — вынужденная. Потому и собирают они на страницах журнала «все, что представляется в нашей литературе наиболее выдающимся. Тут единственный путь — не гонясь за неведомым, неиспытанным — сосредоточить внимание на том, что в известной степени уже себя зарекомендовало, что выдвинуто критикой и голосом литературной среды» («Числа», № 6»).

Статья «Числа», № 6», по словам М. Вишняка, и послужила поводом к ссоре, столь бурной что Ходасевич собирался вызвать Вишняка на дуэль. Она обнаружила всю глубину непонимания, заложенного в природе каждого из них: Вишняк оставался политическим деятелем и занявшись литературой; для профессионального литератора Ходасевича литература была смыслом, целью, делом жизни. И когда Вишняк писал: «ему был отпущен литературный дар, ему не дано было дара жить», он не понимал, что Ходасевич жил словом, в слове, тут были его поступки, и поступки героические, его счастье и трагедия.

Ходасевичем противостояние их осознавалось задолго до встречи. 14 ноября 1922 г. он писал из Берлина М. О. Гершензону: «Денежные дела неважны: чтобы были хороши, надо печататься в Париже, но там живут эсеры. Они понаслышке меня зовут, а когда я даю стихи,— морщатся, так как хотят чего-нибудь поэтичного, ну там про море, или про любовь, про птичку — а у меня выходит непоэтично» (ГБЛ, ф. 746, карт. 43, ед. хр. 5).

И пошутив над сходством Вишняка с Михайловским при первой встрече, Ходасевич имел в виду, конечно же, не внешнее сходство, шуткой он присоединил Вишняка к чуждой ему партии «общественников». Относясь лично к нему с приязнью, Ходасевич не уставал повторять, что «общественники, не научившиеся разбираться в вопросах искусства, влияют на ход литературы, потому что все издания фактически находятся у них в руках». Так заявил он на заседании «Зеленой Лампы» 5 февраля 1927 г., в присутствии Вишняка. Не однажды приходилось М. Вишняку выслушивать подобные обвинения, читать их в статьях Ходасевича, он не изменил своей традиции даже на юбилее «Современных записок». Не удивительно, что в конце концов Вишняк обиделся.

Статья «Числа», № 6» была напечатана 7 июля 1932 г., но, судя по письмам, за два года до этого отношения разладились, а впоследствии разладились настолько, что «Некрополь» Ходасевич надписал Вишняку, как человеку совершенно чужому: «многоуважаемому...» Между тем эта необычная, самая значительная прозаическая книга Ходасевича рождалась при поддержке М. Вишняка, в пору их дружбы, когда автор сомневался и готов был отступиться, отказаться от написанного. Чтобы понять, что именно бескомпромиссная правдивость, которая была главной чертой характера Ходасевича, создала эту книгу, надо было быть крупным человеком и иметь живое восприятие литературы. Хотя именно потребность в справедливости оборачивалась против Вишняка, била по нему, он и годы спустя настаивал: Ходасевич «был **правдолюбцем**; того больше,— **борцом** за правду в искусстве и литературе, в личных отношениях и общественных. Он искал и отстаивал обретенную им правду фанатически и упорно, против всех и вопреки всему, не считаясь ни с какими последствиями...» («Новый журнал», 1944, № 7, с. 283).

А ведь новизны замысла Ходасевича не сумел оценить даже такой парадоксальный, острый критик, как Ю. Айхенвальд. Он публично возмутился, прочитав первую статью из цикла — «Брюсов»:

«Она прекрасно написана, но ее тяжело читать. Она морально неприемлема. На недавно закрывшуюся могилу поэта другой поэт, близкий к нему при жизни,

возложил венок из крапивы и чертополоха. <...> И бесспорно, что в своеобразном некрологе, принадлежащем искусному и злому перу Ходасевича, есть интересное не только в обывательском, но и в общественном смысле (например, о лжекоммунизме Брюсова). И все-таки... все-таки большую нравственную ответственность проявил В. Ф. Ходасевич тем, что он на себя взял справить такие поминки и сказать такую правду о своем умершем товарище...» («Руль», 1925, 8 апреля).

Да и сам автор с опаской отнесся к очерку о Брюсове: очень уж непохожим вышел он на традиционный некролог, построенный на обратном некрологу принципе: все, кроме неправды! Недаром он спрашивал М. Вишняка, не слишком ли ужасно. Тогда и возник замысел повести «о людях русского символизма» (одно из названий «Некрополя»).

В центре повести — девушка из подмосковного провинциального городка Соня Мамонова, по облику и характеру своему напоминающая добрую приятельницу юности Ходасевича — поэтессу Надю Львову. Приехав в Москву учиться, попадает она в круг символистов. Другой писатель, близкий Ходасевичу в молодые годы, Борис Садовской, описывая Н. Львову в своих «Записках», подчеркивал ее провинциальность, как особо характерную черточку, формирующую облик: «Настоящая провинциалка, застенчивая, угловатая, слегка сутулая...» и «Куда девалась робкая провинциалочка?» [1].

О Наде Львовой в «Некрополе» Ходасевич писал:

«Надя Львова была не хороша, но и не вовсе дурна собой. Родители ее жили в Серпухове; она училась в Москве на курсах. Стихи ее были очень зелены, очень под влиянием Брюсова. Вряд ли у нее было большое поэтическое дарование. Но сама она была умница, простая, душевная, довольно застенчивая девушка. Она сильно сутулилась и страдала маленьким недостатком речи: в начале слов не выговаривала букву «к»: говорила: «'ак», вместо «как», «'оторый», «'инжал».

Мы с ней сдружились. Она всячески старалась сблизить меня с Брюсовым, не раз приводила его ко мне, с ним приезжала ко мне на дачу.

...С ней отчасти повторилась история Нины Петровской: она никак не могла примириться с раздвоением Брюсова — между ней и домашним очагом. С лета 1913 года она стала очень грустна. Брюсов систематически приучал ее к мысли о смерти, о самоубийстве. Однажды она показала мне револьвер — подарок Брюсова.

...Надю хоронили на бедном Миусском кладбище, в холодный метельный день. Народу собралось много. У открытой могилы, рука об руку стояли родители Нади, приехавшие из Серпухова, старые, маленькие, коренастые, он — в поношенной шинели с зелеными кантами, она — в старенькой шубе и в приплюснутой шляпке. Никто с ними не был знаком. Когда могилу засыпали, они, как были, под руку, стали обходить собравшихся. С напускной бодростью, что-то шепча трясущимися губами, пожимали руки, благодарили. За что?»...

История Брюсова и Львовой, самоубийство Нади Львовой, очевидно, была в центре повести. В отрывке угадывается присутствие другого, очень близкого Ходасевичу человека — С. В. Киссина, Муни: он застрелился в 1916 г. В «Некрополе» ему посвящен отдельный очерк. Дело в том, что фамилией «Мелентьев» сам Муни обычно вводил в свои произведения персонаж, в котором узнаются черты, облик Ходасевича. Мелентьев — герой его рассказа «Летом 190*», о нем упоминается в неопубликованной пьесе Муни «В полосе огня». В пьесе под именем «Грэс» выведена возлюбленная Ходасевича Евгения Владимировна Муратова, «царевна» книги стихов «Счастливый домик», в которую и Муни был влюблен. Персонажи пьесы перебрасываются словами из «Счастливого домика», один из них — поэт, посвящает Грэс стихи. И Ходасевич, живой, во плоти, принимает участие в создании пьесы и вписывает в рукопись друга свое стихотворение «Досада». Это и называл он впоследствии «утечкой» творчества в жизнь, характерную для символизма. Зрелый Ходасевич не допускал смешения жизни и литературы, напротив, показал в «Некрополе» грозную силу литературы, гибелью оборачивающейся для тех, «недовоплощенных», кто свою жизнь превращал в творчество.

Мелентьевым назвал он одного из персонажей своей повести. Он часто таким образом вводил Муни в сегодняшнюю литературу то строкой его стихов, то цитируя в своих статьях его письма. Итак, очевидно, что в повести действовали те же персонажи, что и в «Некрополе»: Брюсов, Надя Львова, Муни...

И самый замысел «Некрополя» сложился на этих нескольких страничках. Литература предстала как некий город, городок, замкнутый круг, обособленный от прочих и связанный с ними: кругами докторов, священников, могильщиков, адвокатов. Как кольца на стволе дерева, все вместе составляли они живое тело России, а дух времени, дух эпохи проявлял себя через сердцевину, которой и была литература. Как и в «Некрополе», он осуществлялся в конкретных житейских формах, в будничном течении жизни. «История совершалась, не ощущаясь...»

Самая тональность отрывка, подчеркнутая эпиграфом из стихов А. Блока: «Тащитесь, траурные клячи!..», атмосфера похорон, с которых повесть начиналась, подталкивали читателя к мысли, что перед ними — город мертвых.

[1] Встречи с прошлым. Вып. 6. М., 1988, с. 130.

Сцена на кладбище, данная в начале повести как отправная точка в развитии общего замысла, должна была обернуться в эпилоге гибелью героини.

Приземистые приплюснутые старики в сцене похорон Н. Львовой (они и физически, как в фильмах Сокурова, представляют иной тип, нежели москвичи-литераторы), под руку обходящие собравшихся у могилы дочери, явились в «Некрополь» словно бы из повести.

Ходасевич жаловался, что повесть не движется, что суета и поденная работа мешают ему. На самом деле, по напечатанному отрывку видно, как судорожно кружит его мысль в поисках формы: пробует себя то в гротеске, то создает образы традиционно-реалистические, то ныряет в аналитическую прозу, где ей всего свободнее... Да и взгляд на события девушки-провинциалки стеснял, сковывал автора.

Подсказала ее сама жизнь: вслед за известием о смерти Брюсова Ходасевич узнал, что умер Гершензон, с которым связывали его и вместе пережитые годы революции и особая духовная близость-доверие: в письмах к Гершензону он беззащитно открыт, серьезен и глубок. Не стало Сологуба, которого Ходасевич считал крупнейшим поэтом. Покончила с собой Нина Петровская, до последней минуты верная заветам символизма. О жизни и смерти каждого из них Ходасевич сказал свое слово. И оказалось, что траурная рамка не только не мешает высказать «последнюю правду», жестокую правду о времени, но подчеркивает, выявляет ее как принцип эстетический, делает форму острой, что очерк-некролог и есть та единственная форма для воплощения его замысла. Явилась книга.

Тогда он и отдал в «Возрождение» отрывок «из неоконченной повести» (14 апреля 1931 г.), это было прощанием с ней. С тех пор отрывок не перепечатывался.

Мысль о книге, словно магнит, собрала в одно целое разнонаправленные усилия писателя: наброски воспоминаний в черновых тетрадях, газетные очерки о людях ушедшей эпохи: поэтах, издателях, меценатах, и критические статьи: «О символизме», «Панорама литературы» и др.

Желание написать портрет поколения заставило по-новому осмыслить свое место, себя в мире. То, что с такой естественностью вырвалось в стихах «Я, я, я. Что за дикое слово! Неужели вон тот — это я?» — в прозе требовало другие способы выражения. Процесс создания прозы из материала живой жизни оказался ему ближе всего, вот почему внимание Ходасевича-критика привлекает автобиографическая проза и — шире — проблема соотношения биографии и творчества. Он размышлял над этим и в своих пушкинских статьях. И конечно же, он думал и о своей работе, когда писал рецензию на «Жизнь Арсеньева» Бунина: «Писательский опыт в конце концов приводит к тому, что воображение оказывается более стеснено, ограничено в возможностях, нежели действительность. Он приходит к мысли о таком произведении, где жизнь явится наконец, в своей многозначительной алогичности, в своих мудрых случайностях, со своими неразвязанными узлами, со всеми «вдруг» и «почему-то», которые в романах немыслимы». Страницы критической прозы о книгах «Божье древо» и «Жизнь Арсеньева» — это своего рода творческий дневник Ходасевича. Анализируя прозу Бунина, он пришел к окончательному убеждению: «Автобиография есть единственная форма «свободного романа».

Только герой его «романа» — коллективный, литературная эпоха. Автор же выступает в роли свидетеля, который дает показания перед судом истории и клянется говорить правду и только правду. Свою роль свидетеля Ходасевич подчеркнул во вступлении к «Некрополю», написанном нарочито-протокольным языком: «Собранные в этой книге воспоминания... основаны только на том, чему я сам был свидетелем, на прямых показаниях действующих лиц и на печатных и письменных документах». Свидетеля, но не судьи, вот почему, печатая отрывок из повести, Ходасевич не вернулся к первоначальному заглавию «Ложные Солнца»: оценка эпохи в «Некрополе» гораздо сложнее [1].

В качестве «документов» в «Некрополе» выступают письма. Шутки, анекдоты, словечки тех лет — весь ежедневный литературный сор, осаждавшийся в письмах, становится своеобразным источником для воссоздания литературной биографии поколения. Письма в творчестве Ходасевича играют огромную роль, как ма-

[1] Уже когда статья была сдана в редакцию, вышел № 3 «Вопросов литературы» за этот год со статьей М. Долинского и И. Шайтанова «Кресло в кулисах», многие положения которой и верны, и интересны, кроме главного: Ходасевичу отводится роль «стороннего наблюдателя», причем авторы стремятся уверить нас в том, что «эта роль в его характере». Можно только удивляться, какой силой убеждения обладало слово писателя, если все, кто писал о нем, создавали портрет, пользуясь его красками и образами, по его подсказке. Стоило поэту пошутить: «подпольной жизни созерцатель...» — и критик Д. Святополк-Мирский объявил Ходасевича «поэтом из подполья», вернув выражению его «достоевский» смысл. Шарж-портрет, нарисованный А. Белым в его мемуарах «Между двух революций» — своеобразный коллаж из строк Ходасевича, и образ «стороннего наблюдателя» тоже подсказан стихами «Тяжелой лиры» («Буря», «В заседании» и др.). Как могли авторы, знающие статьи Ходасевича, написанные в пору создания «Некрополя», не ощутить мощной творческой энергии, которая шла от него, когда один человек стал по существу профессиональной школой мастерства: его статьи об истории литературы XIX века, истории символизма — своеобразные лекционные курсы, обращенные к молодым литераторам, эмиграции. Назвать статью о Ходасевиче «Кресло в кулисах» — это, простите, такая же пошлость, как и попытка объяснить его нелюбовь к Брюсову «личным поводом»: «потребностью отделиться от того, с кем его упорно связывали».

териал, подпочва. Но они выполняют еще одну существенную роль: письма и проза соотносятся как понятия «низа» и «верха», составляющие любой, всякий его образ и образ судьбы поэта, в частности.

Чтобы понять это, перечтите «Балладу», давшую название книге «Тяжелая лира». Первая же строка сбрасывает поэта вниз, в глубокий колодец комнаты:

Сижу, освещаемый сверху,
Я в комнате круглой моей...

Этот ракурс, взгляд сверху в процессе чтения меняется. По мере того, как «музыка, музыка, музыка вплетается в пенье мое» и поэт всем существом, физически принимает участие в «плавном, вращательном танце», он «сам над собой вырастает» — он вырастает над читателем, так что и взглядом до него не дотянуться: перед нами фигура, продолжающая скалы, уходящая вверх, почти не различимая в вышине — только стопы его теперь и доступны нашему глазу:

На гладкие черные скалы
Стопы опирает Орфей.

У кого еще из поэтов найдешь Орфея, состоящего из стоп и лиры, когда само слово «Орфей» поэт лепит, подготавливает звучанием слов: «стопы» и «опирает» (чем, кстати, замечательно передает физическую тяжесть лиры, требующей опоры). Вся композиция «Баллады» подчинена мощной тяге снизу вверх, так же, как творчество Ходасевича создано мощным усилием прорваться сквозь «заплеванное и низкое», прободать «прозрачную плеву».

Стоит ему столкнуть лексическую пару, представляющую «верх» и «низ» (на самом внешнем уровне), чтоб возникла энергия, невидимая зрителю, но достаточная, чтоб поэт ощутил рождение стихотворения, или «рассады», как вслед за Гершензоном он называл заготовки для стихов. «О, низкий, низкий вам поклон... // Вверху над ним златые свитки, трубы, лиры...»

Причем чем больше разрыв между «верхом» и «низом», тем глубже вбирают стихи «дыханье века моего». Это единственное условие творчества и единственная молитва: «В последний раз: восхить меня в ту высь, откуда открывается паденье». Поэзия Ходасевича живет в щели, образуемой грубой, вещественной действительностью и мечтой. И по мере того, как все ниже опускается «штукатурное небо» и в неразрешимых усилиях, где-то под землей «судорожно бьется» мечта, стихи начинают задыхаться, обрываются на полуслове, поэт замолкает навсегда. В черновиках последних лет осталось множество нерожденных «рассад».

А произошло это, когда «верх» и «низ» слились, сомкнулись, как в стихотворении «Звезды», где есть только низ, низ, низ, бесконечное падение, а верх — величина мнимая.

Вверху — грошовый дом свиданий,
Внизу — в грошовом казино
Расселись зрители. Темно.
Пора щипков и ожиданий...

«Вверху» и «внизу» здесь мало того, что уравнены по смыслу, равенство это подчеркнуто параллелизмом строк и общим эпитетом: «грошовый». Перед нами дантовский «естественный подвал с неровным дном, и свет мерцал убого». «Звезды» — трагическая пародия на 13-ю песнь «Рая», где проплывает светлый хоровод Большая Медведица и Полярная. Сами понятия «верха — низа» у Ходасевича близки дантовским, как и образность в стихах последних лет.

«Звезды» завершают «Собрание стихов» 1927 г., последнюю книгу, составленную поэтом, и являются пародией также на эстетику символизма. Именно на заключительной строке «Божественной комедии» строил Вяч. Иванов статью «Мысли о символизме»: «Любовь, что движет Солнце и другие звезды». Любовь в стихотворении — продажная, звезды — грошовое платье балагана, а солнце — какое же солнце в подвале? — темно...

Но как топография поэзии Ходасевича предполагает наличие «верха» и «низа», так и критическая его проза строилась по той же модели, и «низ» здесь представлен письмами. Чем темпераментнее откликался писатель на события сегодняшнего дня, принимая участие в «газетной войне», и в войне с евразийцами, грубо, яростно набрасываясь на своих собратьев по перу,— тем ответственней и строже возводилось им на газетном листе здание литературы, неподвластное капризам личных вкусов и отношений, живущее по своим внутренним законам. И тут Бунин, Зайцев, Цветаева и др. займут свое, иное, чем в письмах, место.

Публикация, комментарии
и послесловие Инны Андреевой

Вадим Бакатин

НЕИЗБЕЖНАЯ ОТСТАВКА

Отставка — дело прошлое, пережитое. Частный случай. Писано на эту тему переписано. Все факты и вся хронология известны. Казалось бы, что писать? Все готово. Но нет, второй день сижу перед чистым листом... «Отыщи всему начало, и ты многое поймешь». Спасибо Козьме Пруткову.

Начало в Указе о назначении меня министром. Но есть еще одно начало. Перестройка — как переходный период из одного состояния общества в другое, значительно более сложное. И еще одно. Изначальная роль КПСС как руководящей и направляющей 70 лет силы, которую, как оказалось, сменить непросто...

Эти «три начала» приводят меня к пониманию неизбежной закономерности моей отставки.

Дело в том, что теперь уже совершенно ясно: начав перестройку, КПСС начала путь к своему политическому самоуничтожению. В развитии этого процесса заложен потенциал большой внутренней опасности для перестройки. Сможет ли он проходить спокойно?

В общепринятом изначальном понимании партия (лат.) — это часть. КПСС уже давно перестала быть «частью» политической системы, став той субстанцией, которая и делала целое целым, наше общество — нашим обществом. «Народ и партия едины». Все держалось на КПСС.

Задачу реформирования (тем более радикального) конгломерата нашей старой жизни невозможно решить без того, чтобы партия, все «склеивающая», перестала быть таковой.

Взамен должны появиться другие связи, более тонкие и сложные, и разнообразные. А КПСС должна перестать быть тем, чем она была, превратившись в обычную политическую партию, часть целого.

Но в этом-то и опасность, что процесс перестройки неотвратимо запущен, а КПСС оказалась не в состоянии сама перестроиться. Как разрешить это противоречие?

Шесть лет как заклинание повторяем, что перестройку надо (было) начинать с партии, что партии надо перестраиваться, менять цели, программу... И я так же считал. «Это был бы самый оптимальный вариант перестройки».

Но ничего подобного не происходит, и оказывается, и не могло произойти. Это утопия — перестроить 18-миллионную партию, привыкшую к команде, к одной идеологии, не знавшую, что такое политическая борьба, что такое теоретическое творчество...

И тогда появился лозунг «Пора партии выходить из окопов». Во имя чего? Спасать себя. «Перестройка не состоялась», цели «подменили», далеко зашли в «смене строя»... Пора вспомнить прошлое и выходить из окопов... Это очередная иллюзия — возродить прошлое, но тем не менее. Кое-что появилось... «Комитеты национального спасения»... Новый пафос старых лозунгов. «Буржуазия не пройдет!» А главное, объективно действительно есть кого «спасать» и на чье недовольство опираться... Из-за полумер, неопределенности, шатания, отсутствия

Глава из книги «Учиться штопать паруса».

исного курса, чему прямо способствовал догматизм партийного руководства, людям действительно хуже жить стало...

В этой ситуации мне, ставленнику КПСС и ее воспитаннику, не было никаких шансов долго проработать министром внутренних дел...

К сожалению, а точнее, к счастью, я слишком серьезно и по-своему понял перестройку... Понял, что это всерьез и надолго. Это — демократия, ненасилие, это — правовое государство, это — экономика здравого смысла, это — правда, уважение к инакомыслию, открытость и искренность...

Едва ли я мог бы дольше задержаться на посту руководителя Министерства внутренних дел, которое всегда — и в годы «культа», и в годы «застоя» — было опорой КПСС, если бы только «делал вид», что «перестраиваю» систему для работы в условиях демократии и многопартийности, оставляя все по-старому, если бы пусть даже негласно считал для себя партийную дисциплину и указания Политбюро выше Закона. Но все равно этот номер бы не прошел.

В условиях нарождающейся демократии и ее «детских» болезней я бы просто не смог так и сам работать, или на какой-нибудь очередной трагедии, которые в этом случае были бы и чаще, и серьезней, сломал бы себе голову и получил бы отставку с другой стороны.

Когда же я начал искренне заниматься перестройкой, а по-другому говоря, служить не идеологии, не КПСС, а закону и государству..., то в условиях, когда понятия КПСС и государства разошлись, я получил со стороны разномасштабных лидеров партии ту реакцию, которую должен был получить... Тут нет никакого субъективизма... Кто бы ни находился на моем месте, проводя эту же политику, он бы получил то же самое...

И совершенно зря здесь аналитики-журналисты кинулись объяснять серию отставок стремлением Горбачева к «диктатуре», его «поправением»... Он выполнил «волю партии». Другое дело — партия ли выражала эту волю?

У каждой «отставки» свой сценарий. Неужели не видно, что Горбачев сам находится точно в таком же положении? Наша короткая история за последние месяцы демонстрировала всю безвыходность личной позиции Президента.

Если он будет серьезно и последовательно продолжать логику перестройки, твердо пойдет по трудному пути демократии и замены мертвой плановой экономики на эффективный рынок, ортодоксы из КПСС, «выражая волю партии и народа», вместе с «ультрапатриотами», шовинистами и националистами будут всемерно стараться устранить его с руководящих постов в партии и в государстве.

И у него почти нет пространства для политического маневрирования. Потому что нетерпение и экстремизм, авантюризм, сепаратизм и национализм слишком тесно переплелись с истинно демократическими силами. Понятие ответственности для них неведомо. А согласие понимается только как «быть по-моему». Я не говорю о ситуации, когда Горбачеву приходится чуть-чуть уступать «товарищам по партии» и «брать вправо». Здесь справедливо берется верхняя нота теми, кто постоянно «на страже», постоянно поддерживает нужное, а иногда и абсолютно не нужное напряжение... Хуже другое, когда Президенту с его политикой здравого смысла не на кого опереться.

И никуда не денешься. Такова реальность. Такова политическая ситуация в стране. Здесь 70 лет была одна-единственная «правильная партийная линия», другой быть не могло. И может ли вчерашняя сегодняшняя КПСС смириться с тем, чтобы отдать свою руководящую роль без боя? Тем более что сила-то еще есть. А урожай в нашей «системе» хозяйствования действительно без партии еще собирать не научились. Можно и припугнуть. Даже новый премьер, на всякий случай, чтобы потом оправдаться, какие-то «полномочия» у Парламента запросил. Зря не дали.

Но вернемся к моей отставке.

Какие силы ее добивались?

Члены Политбюро ЦК КПСС, руководители компартий прибалтийских республик, Украины и Белоруссии, руководство КГБ, Председатель Совмина, наиболее экстремистские руководители из депутатской фракции «Союз».

Причины — в идеологических разногласиях, разном понимании целей перестройки, моем нежелании участвовать в осуществлении власти, где идеология ставится впереди права, а Союз сохраняется силой.

Конечно, об этом никто не говорил. Был взят удобный повод — растет преступность.

Каков был метод, технология действий?

В нормальном общепринятом понимании, когда недостатки того или иного должностного лица открыто и гласно разбираются либо в парламенте, либо на Кабинете Министров, в конце концов на Политбюро, ничего подобного не было. Если не считать попытку Н. И. Рыжкова заслушать мой отчет на Совмине. Отчет заслушивали с заранее поставленной задачей — показать неудовлетворительную работу милиции и министра, но из этого ничего не вышло. Мне удалось убедительно доказать, что не там ищем мы причины наших экономических, политических, межнациональных неудач. После этого отчета мои позиции, судя по прессе, скорее укрепились...

Ничего не было. Но что-то все-таки было. Была закулисная игра. Было постоянное ощущение какой-то гнусной атмосферы, когда все тебе улыбаются, поддакивают, но про себя знают, что твои дни сочтены... Часто заходили взволнованные депутаты, которые хотели меня предупредить о каких-то действиях и разговорах, направленных на мою отставку.

Все это, конечно, рождалось не на пустом месте, накапливалось от события к событию, от решения к решению в обычной, непрерывной и напряженной будничной работе.

Взять хотя бы отношение к демонстрациям и митингам. Министерство внутренних дел внесло предложение перейти от «разрешительного» к «уведомительному» характеру взаимоотношений между властью и организатором акции, возложив на организаторов ответственность за обеспечение порядка. Фактически такая практика и сложилась. Милиция не вмешивалась в политическое содержание (в любом случае это не вопрос милиции, а вопрос КГБ), в контакте с организаторами обеспечивала общественный порядок. Министерство выступало против запретов митингов и демонстраций, так как по закону для этого оснований не было, а фактически именно запреты и могли привести к массовым беспорядкам.

Первое испытание МВД выдержало в январе — феврале 1990 года. За эти два месяца митинговало около 7 млн. человек, тогда как за весь 1989 год — 12 млн. Общественный порядок был везде обеспечен. Но Президиум Совмина и Политбюро, испуганные размахом движения, остались недовольны «пассивной» позицией министра.

«Идеология запрета» не давала покоя. Казалось: вот запретить демонстрации и митинги, и все образуется. Я стоял на своем, что это только обострит ситуацию. А милиции дал указание «не пасти» митинги, выделять минимум сотрудников, не отрывая их от главного дела — борьбы с преступностью.

Я старался не вмешивать Президента в дела МВД. Не спрашивать у него разрешения по поводу и без повода. А информировать считал нужным только по исключительно важным делам. Но довольно часто просился к нему на прием для того, чтобы поставить очередные проблемные вопросы.

В то же время заметил, что вопросы, которые прямо относятся к сфере деятельности милиции, ставятся перед Президентом из каких-то других «источников», причем скрытно от меня. Кого ни спроси, авторства не узнаешь. Можешь только догадываться.

Примеров много. Расскажу об одном, широко известном Указе о запрете демонстраций в пределах Садового кольца в Москве. 22 апреля 1990 года я как член Президентского Совета должен был участвовать в церемонии, посвященной памяти В. И. Ленина. С небольшим опозданием со стороны Кремля вошел в помещение перед Мавзолеем В. И. Ленина, где уже собрались члены Президентского Совета, Политбюро и некоторые члены Правительства. Вижу — Михаил Сергеевич только что подписал какую-то бумагу. Заметив меня, он пошутил: вот, мол, и исполнитель пришел. И зачитал мне суть того, что только что подписал. Демонстрации в пределах Садового кольца вправе разрешать только Совмин СССР.

Я пожалел Совмин. Так и получилось. Уже через неделю он вынужден был «разрешить» проведение первомайских демонстраций.

Никогда не надо запрещать то, что все равно состоится. А Указ этот, поскольку он противоречил Конституции, вскоре был отменен Комитетом конституционного надзора.

Самая серьезная стычка по поводу демонстраций произошла накануне октябрьских праздников 1990 года.

Проходило заседание Президентского Совета. До этого было поручено Лукьянову, Председателю Мосисполкома Лужкову, Бакатину разобраться в ситуации, складывающейся по празднованию 7 Ноября. Намечалось проведение нескольких альтернативных демонстраций. По всей стране была сложная ситуация... В Москве в контакте с Моссоветом много работал П. Богданов, начальник московской милиции. Свели все многообразие демонстраций к трем: одна — официальная, вторая — альтернативная (Т. Гдлян и группа, с ним связанная) и третья — демонстрация демократических сил от Лубянки до дома Сахарова. А. И. Лукьянов сказал, что выработано общее мнение — демонстрации не запрещать. Это не понравилось. Я тоже сказал, что мы запрещать ничего не можем. На основании чего? Права нет. Активно выступил В. Крючков, потребовавший, «наконец, показать силу». Я тогда сказал: «Кто хочет запрещать, пусть это сам и реализует, милиция этим заниматься не будет».

Здесь Михаил Сергеевич меня не поддержал. Первый раз я его видел таким возбужденным. Очень резко выступил против, обвинил меня в трусости. Получилась настоящая перепалка. Я сказал, что боюсь не за себя, а за него, за авторитет власти и за жизнь людей и готов хоть сейчас уйти с этой работы, но участвовать в этом деле не буду.

Когда заседание закончилось, я подошел к нему: «Кому сдавать дела?» Он даже не поглядел на меня, но, уже остывая, сказал: «Продолжай работать! Я скажу, когда сдавать».

Я написал заявление, но до праздников так и не смог попасть на прием. Вскоре понял, что был неправ, нельзя устраивать такие демонстрации Президенту на Президентском Совете. Хочешь уходить — уходи. Геройства здесь было мало, больше было несдержанности. Позже он мне сказал: «Сам-то ты зачем демонстрации устраиваешь?»

Я решил, что больше заявлений об уходе писать не буду.

Если проанализировать эволюцию тактики милиции за 1989—1990 годы по обеспечению общественного порядка при массовых выступлениях трудящихся, то здесь налицо определенный прогресс. Применяя принцип контакта с организаторами, кадры МВД СССР научились спокойно и все меньшим числом личного состава обеспечивать общественный порядок при самых сложных массовых акциях с участием сотен тысяч человек. Примером тому могут быть и демонстрации, и митинги, и шахтерские забастовки.

Не могу не сказать здесь доброго слова о начальниках Кемеровского, Донецкого УВД В. Шкурат, В. Недригайло, министре Коми республики Е. Трофимове, министрах Украины И. Гладуше и А. Василишине.

Вторая тема, которая постепенно подводила меня к отставке,— отношения с правительствами «сепаратистских» прибалтийских республик. Здесь я тоже не был оригинален. Сразу выступал за диалог, против блокады и тем более каких-либо силовых мер. Считал, чем меньше мы успеем испортить отношения, тем легче будет жить и российским, и прибалтийским народам в будущем.

Со всеми правительствами у меня был контакт и нормальное взаимопонимание по большинству вопросов.

Один раз меня подвел Председатель правительства Латвии И. Годманис, поспешив освободить министра Б. Штейнбрика и утвердив в парламенте А. Вазниса. Но и этот вопрос вскоре был решен в соответствии с законом, а не с желанием лидеров КП Латвии.

Участвуя в переговорах с Литвой, которые вел Н. И. Рыжков, я видел всю заранее заданную неуступчивость, но в то же время слабость позиции Центра и, конечно, был плохим помощником Николаю Ивановичу.

Все это вызывало раздражение у некоторых руководителей в Центре (Рыжков, Догужиев, Шенин) и в республиках (Бурокявичус, Рубикс). В этом раздражении не было логики. Иногда от меня требовали «прекратить финансировать милицию (полицию) сепаратистов», а потом возмущались: Бакатин «развалил» систему. Финансирования я не прекращал. А моя позиция была очень простой. С любым законным республиканским правительством союзный министр был обязан работать, обеспечивая общественный порядок и борьбу с преступностью.

Что я и делал. Хорошо ли, плохо, но делал. Пусть кто-нибудь покажет, как делать лучше. И все республиканские министры (не только прибалтов) оставались в союзном подчинении, естественно, в соответствии с Конституцией, находясь и в подчинении соответствующего республиканского премьера.

Вместе с республиканскими министрами мне приходилось бороться против тех, кто стремился раскалывать милицию по идеологическому или национальному признаку. Этого усиленно добивались те, кто, потеряв власть, взял на вооружение тактику: «чем хуже, тем лучше», абсолютно беспочвенно надеясь таким образом взять реванш за проигрыш на выборах. Ничего хорошего из этого не вышло и не выйдет.

Не выйдет ничего и у лидеров депутатской группы «Союз» (Алкснис, Блохин, Коган), которую поддерживает А. И. Лукьянов. Но силой Союз не сохранить. И их деятельность под благородными лозунгами защиты «национальных меньшинств» фактически ведет к обратному, к разжиганию национализма и шовинизма.

И если бы не этот ложный депутатский «патриотизм», можно было бы с меньшими трудностями сохранить Союз на единственно возможной добровольной основе, развивая Ново-огаревское соглашение «9+1», терпеливо продвигаясь к подписанию Союзного договора.

В отношении меня лидеры «Союза» время от времени в каком-нибудь очередном интервью стали распускать ложь. Например, «вооружил департамент по охране края» или что-либо тому подобное.

Если я кого и «вооружал», то не «департамент», а дружинников, и не по просьбе Правительства, а по просьбе депутата Е. Когана, и не автоматами, а резиновыми палками.

Мне грех жаловаться, что у меня не было поддержки Верховного Совета СССР. Большинство относилось ко мне с пониманием и даже по-доброму.

Как я уже сказал, конфликты начались с партийными лидерами, когда роль партии стала иной, когда изменился состав Политбюро, когда демократизация стала набирать силу, когда в республиках Закавказья, Молдавии, Прибалтики, в Москве, Ленинграде коммунистическая партия в структурах государственной власти не получила большинства, не сформировала «свои» правительства. Если рассуждать по-старому: служить государству — служить партии, служить партии — служить государству. Разницы нет. Сейчас работать на государство — уже не значит служить партии.

Я очень твердо определил: мы служим государству, подчиняемся Закону. После ухода В. М. Чебрикова «партийный телефон» у меня в кабинете замолчал. Конечно, это не значит, что контакты или звонки прекратились. Но звонок звонку рознь. Одно дело совет с руководством республиканской Компартии, как вместе предотвратить новую вспышку насилия в Абхазии или Комрате. Другое, когда тебе звонят ночью домой из Киева и требуют принять меры к студентам, которые «нам октябрьскую демонстрацию срывают». На такие звонки я не реагировал или реагировал так, что потом обижались.

Ситуации, конечно, были интересными.

Министр Союза, приезжая во Львов, первым делом должен идти в обком? Нет, я иду в исполком. Меня не волнует, что их идеология — антикоммунизм. Их не волнует моя принадлежность к КПСС. Мы три часа говорили. Не сошлись только в необходимости сохранения Союза. Но это не нам решать.

Нормальные коммунисты, без догматических комплексов, включая и руководство Львовского обкома КПУ, меня понимали, но у некоторых это вызывало раздражение. Как это так: министр внутренних дел сказал, что с «ними» можно

говорить, а они демонтируют памятники? Нужно говорить! Если не говорить, тогда что делать?

Конечно, осквернение памятников Ленину, и не только Ленину,— это безобразие. Это вандализм в любом государстве. Безобразие, когда памятники обливают краской, когда делается это ночью, тайно. Это хулиганство. Это — работа милиции: найти хулиганов. А что делать милиции, когда демонтаж производится по решению Советской власти? Арестовать председателя Совета, который расписался под этим решением? Это уже не в компетенции милиции. Но такая позиция не устраивала С. И. Гуренко. Милиция все равно должна действовать. А как быть с Законом? Это никого не интересует. Не лучше ли коммунистам организовать общественное мнение против решения Совета и добиться его отмены?

Как уже говорил, поводом для моей отставки был взят рост преступности. Здесь недовольство деятельностью министра имело объективную основу. И здесь первую скрипку играл Председатель Совмина Н. И. Рыжков. Думаю, он искренне хотел покончить с преступностью, а заодно и с министром, который на Президентских Советах не соблюдал субординацию, упрекал Николая Ивановича в том, что лично им был упущен шанс начала конструктивной работы на базе политического согласия с программой «500 дней».

Правительство хотело идти вперед, ничего не меняя. Но кто-то (без участия правительства?) все-таки развалил экономику. Как сказал Н. И. Рыжков в интервью «Правде»: «Надо было отдельные венцы заменить, а мы всю избу раскатали...»

Я тоже против того, чтобы сначала все сломать, а потом строить. Но должна быть ясная цель. А нужной цели у правительства не было. Мы начали блуждать, дергаться. Спросите у любого специалиста, это великолепные условия для роста преступности. Это и произошло. Тогда из преступности начали делать ширму. Но ведь преступность — вторична. Не она порождает развал экономики. А развал экономики порождает преступность. Хотели представить наоборот. Тот же Николай Иванович говорил, что люди готовы мириться с тем, что сегодня молока, мяса нет, но они не могут мириться, когда преступность. Правильно, поскольку демагогично. Причем представлялось, что стоит милиции заработать — и проблема решена.

У сложных проблем нет легких решений.

Административными мерами нельзя покончить с преступностью. Отголоски этого упрощенного подхода не исчезли до сих пор. Даже Президент, выступая в Минске, сказал, что за полтора-два года надо покончить с организованной преступностью. Может, он оговорился, но это невозможно. Никогда с организованной преступностью не покончить. Она будет жить даже тогда, когда в магазинах будет изобилие. Другое дело — пора начать с ней бороться.

Как и полагается, началась кампания в партийной прессе. У меня хорошие отношения с журналистами. Мне рассказывали о заседании редколлегии в газете «Правда»: «Как это так: преступность растет. И популярность Бакатина растет. Примите меры».

И меры приняли вплоть до поиска «компромата» по мусорным ящикам.

Газета «Гласность» использует известный прием — письма трудящихся. Мы просили: дайте нам эти письма, чтобы мы конкретно могли поработать. Еле-еле наскребли полтора десятка. Обычная жизнь. Но такие шовинистические заголовки: «Убит за то, что говорил по-русски!», и подзаголовок — еще один пример бездеятельности Бакатина. Это уже подлость. Не во мне дело. Народы стравливают. Критика в отношении МВД и министра — справедливая критика — была почти каждый день. Кто против критики? Другое дело — кампания в «Гласности». Начали сериями принимать и публиковать партийные решения из Прибалтики. «Требуем отставки».

Конечно, о примитивных нападках в прессе не стоило бы и говорить. На кого сегодня не нападают?

Стали давать Президенту лживую информацию на уровне сплетен. С кем-то встречаюсь, что-то замышляю... К чести Президента, он на это не реагировал. Но что-то, видимо, оставалось в душе...

В общем, сговорились и били в одну точку. Два раза заходил с этим вопросом к Михаилу Сергеевичу. Два раза Горбачев мне говорил: «Ну что ты ходишь? Я ведь тебе этих претензий не предъявляю. Я тебе доверяю». Когда мне доверяют, я работаю.

На Политбюро в конце 1990 года пригласили неожиданно, без повестки, Крючкова, Сухарева и меня. Шел разговор о ситуации в стране. Выступил В. Крючков. На вопрос, что делать, предложил вводить президентское правление по всей стране. Его многие поддержали.

Выступил и я. Как мне потом говорил один товарищ, выступил я неприлично. Сказал, что мне страшно за партию с такими членами Политбюро, и был категорически против введения в стране чрезвычайного положения.

Горбачев тоже был против.

После этого началась вторая волна выступлений уже не за чрезвычайное положение, а за то, чтобы поставить на место какого-то там министра, который бог весть чего себе позволяет...

Сильно меня раскритиковали. Не меньше досталось и А. Я. Сухареву. Вскоре после этого его сняли. Позже он мне позвонил, сказал: «Скоро то же будет с тобой. Нельзя позволять, когда безвластие валят на правоохранительные органы». Я сказал: «Не позволим».

Позже, в октябре, Михаил Сергеевич меня пригласил и предложил работу заместителем Председателя Совета Министров СССР по вопросам национальностей. Я попросил время подумать.

На следующий день утром во Дворце съездов шло какое-то мероприятие. До начала встретиться не удалось. «Посиди в зале, послушай. Тебе полезно. Потом поговорим». По-моему, шел профсоюзный съезд. Горбачев и Рыжков сидели рядом в Президиуме. Потом Николай Иванович прошел в зал. Сел ко мне. «Ну как, согласен?» Я хотел говорить с Горбачевым, поэтому ничего ему не ответил.

Вскоре Горбачев ушел за сцену, куда пригласили и меня. Я готовился к длинному разговору. Чтобы чего-нибудь не упустить, даже изложил его схему на бумаге... Начал. Но вскоре Михаил Сергеевич перебил меня. «Ты говори, согласен или нет...» «Нет. Не согласен, считаю, что это ошибка...»

«Ну, иди, работай, но только смотри, спрашивать будем...»

Мне почему-то стало смешно. Наверное, был рад, что оставили министром?

Я говорил Президенту, что все «обвинения» в мой адрес шиты белыми нитками.

«Развалил милицию».

У нас плохая милиция. Но если сравнивать милицию с экономикой, то милиция выглядит блестяще. И хоть развалить ее стараются со всех сторон, и кризисные явления в ней есть, милиция еще держится. И даже пользуется некоторым уважением среди людей.

«Милиция недорабатывает»...

Все относительно. Смотря с кем сравнивать. Условия, в которых последний год работает милиция, небывало трудные. Работает она как умеет. Не хуже и не лучше. Но работает гораздо **больше**, чем раньше.

Вопрос в другом. Всех тех, кто «информирует» Президента, не устраивает моя позиция по ряду вопросов. Главные обвинения: **«перебежчик», переметнулся к демократам, «потакает сепаратистам», «деполитизирует милицию» и вообще...**

Я свою позицию по всем актуальным вопросам неоднократно излагал в средствах массовой информации, в выступлениях, докладывал лично Президенту. Она не застывшая. Главное — отказ от идеологических догм и переход к политике здравого смысла. Не изобретать велосипед. Рыночная экономика с признанием частной собственности и предпринимательства. Демократизация всех сторон государственной и общественной жизни. Нормальная цивилизованная многопартийность. Сохранение Союза на основе добровольности. Как первоочередная задача, как первый шаг начала стабилизации — прекращение антиконституционных «парламентских войн». Я всегда был за более решительную интеграцию в мирохозяйственные связи.

В деятельности милиции главный принцип — законность при минимуме на-

силия. Для этого надо, чтобы милиция была сильной, а не слабой. Не допускать раскола правоохранительной системы по национальным, территориальным, политическим, профессиональным или иным мотивам.

Нельзя допустить, чтобы идеологические споры решались силой. И важно, чтобы именно КПСС нашла выход из этой трудной ситуации политическим путем, не прячась за спины административных органов.

Поручая мне этот участок работы, на мои возражения мне говорили, что нужен «не милиционер, а политик».

Я плохой политик для московской политической элиты. Язык мой — враг мой. В этой среде откровенность почитается за глупость. Здесь нельзя быть откровенным. Но это не по мне.

Я считал, что в той обстановке моя отставка не будет способствовать стабилизации ситуации. Может быть, она будет использована лидерами КП Литвы и Латвии для демонстрации своего «веса», но это едва ли им поможет.

Если говорить об идее зама по межнациональным вопросам, то она в нынешних условиях не сработает. Это будет просто «мальчик для битья». У него ничего не будет. Никаких реальных рычагов власти.

В Министерстве внутренних дел для решения этих проблем было больше возможностей.

Мне представляется, вопрос надо решать именно через МВД. Кто бы министром ни был.

Сегодня все, даже КГБ, Минюст и Прокуратура увлеклись борьбой с уголовной преступностью. Это проще.

Абсолютно безнадзорными остались нарушения в сфере межнациональных отношений и политики. Милиция ими не занималась, так как не имеет на это права, а КГБ прекратил, потому что старый политический стержень ликвидирован, а нового нет.

Я предлагал провести серьезную реорганизацию правоохранительной системы. Выделив внешнюю разведку и контрразведку, объединить МВД, КГБ, прокурорское следствие.

Создать действительно Министерство внутренних дел. Любые отклонения от Закона, включая антиконституционные действия политических, националистических и иных сил,— его сфера деятельности.

Гражданский министр, гражданские заместители. В Министерство входят совершенно самостоятельные структуры, возглавляемые чистыми профессионалами (криминальная милиция, следствие, охранная милиция, внутренняя разведка, пенитенциарная система, внутренние войска, создается новая система «гражданских комиссаров» (префекты).

Сочетание федерального и республиканского уровней здесь возможно. Могут быть варианты.

Я говорил Михаилу Сергеевичу, что сомневаюсь в чистоте замыслов тех, кому я мешаю. Как бы они в очередной раз не ошиблись. Тактика проволочек, обмана, стихии, полумер, равно как и бодряческие призывы «к действию», к порядку через насилие ведет к поражению.

Для меня развязка наступила в ночь с 17 на 18 ноября. Верховный Совет заслушал доклад Президента «О положении в стране». Доклад не произвел впечатления. Потом — совет с товарищами и утром новое выступление из восьми пунктов, вызвавшее аплодисменты. Мне показалось оно несколько эклектичным. Но пункт: «укрепить руководство МВД» — прозрачен, как стекло. После заседания зашел к Горбачеву: «Михаил Сергеевич, как понимать вопрос укрепления руководства правоохранительных органов? Мне продолжать работать? Думать над тем, как реализовать Ваши 8 пунктов или, может быть, дела готовить к сдаче?» Он собирался лететь в Испанию, Италию. «Слушай, освободи ты меня, видишь, какая кипа бумаг. Завтра вылетать. Давай занимайся. Приеду, поговорим».

Вопрос серьезный решил подготовить А. И. Лукьянову для депутатов документы.

Они опубликованы. Суть их в том, что мы зря ищем причины паралича власти в недостатках милицейских структур. Это уже следствие. Есть немало причин более высокого порядка, но одна из главных в том, что у нас за 73 года не создан, да и не мог быть создан правовой и исполнительный механизм, пресекающий беззаконие власти. Кто и как может объявить, допустим, областной Совет незаконным, распустить его, если он нарушает союзные или республиканские законы и даже Конституцию?

С учетом перехода к многопартийности становится естественным, нормальным делом приход к власти в республиках и на местах политических сил иной направленности, чем Центральная власть. Разделение бремени власти могло быть даже полезным при одном элементарном условии — власть любой идеологической направленности не может нарушать Закон. А у нас власть плюет на Закон. В этом случае милиция, которая не может выступить против власти, бессильна.

Сейчас это стало проявляться не только в политических или межнациональных сферах, но и в экономике, социальной сфере, где представители уже новой власти не менее рьяно нарушают морально-этические нормы и в условиях правового вакуума делают, что хотят.

За сутки до Указа о моей отставке Горбачев в три часа дня пригласил меня: «Ну вот, как мы говорили с тобой, теперь время подошло. Тебе надо уйти с этой работы». Я ему сказал: «Вы правы, Михаил Сергеевич, Вы меня сюда поставили, Вы вправе меня убрать. Я это много раз Вам говорил, и у меня на Вас никаких обид не может быть. Если бы я был кадровым милиционером, прошел бы всю жизнь до генерала, то это — крушение моей жизни. МВД для меня — все-таки случайность. Я не просился на эту работу — Вы меня поставили. Я Вас не устраиваю, Вы меня можете убрать... Но я уже Вам говорил, что это ошибка...» Он слушать не стал. «Все. Вопрос решен». Но разговор был добрым. «Сейчас намечаются большие структурные изменения. Николай Иванович Рыжков будет уходить, будет создан Совет Безопасности. Думаю, что и тебе можно найти место в этих структурах...»

Я ему сказал: «Та политика, которую Вы начали, мне понятна. Поэтому и согласен с Вами работать. Совет безопасности, как я представляю, интересная работа». «Ну хорошо, догуляй отпуск, а потом определимся спокойно...» Я ушел неожиданно расстроенным.

Указ вышел в тот же день. 3 декабря, в понедельник, выхожу на работу, звоню Лукьянову: «Что мне делать?» «Я не знаю». Звоню Рыжкову. «Не знаю. Работай». А потом звонит уже Рыжков: «Собирай коллегию на 12.30».

Собираю коллегию, он с Б. К. Пуго приезжает. Очень коротко — пятнадцать — двадцать минут — вот Указ Президента, вот новый министр, Борис Карлович Пуго. Вопросы есть? Вопросы какие-то были. И все.

А с Пуго просидели с часу до шести часов, не вставая. Говорили откровенно обо всем, что его интересовало и что я ему хотел сказать.

Потом собрал руководителей, поблагодарил за совместную работу, попросил прощения за вольные и невольные прегрешения, пожелал удачи... Прения не открывали.

А потом был Верховный Совет СССР, который не соглашался с моей отставкой. Процедура проходила тяжело. Михаил Сергеевич несколько раз вставал, убеждал депутатов. Я был намерен выступить, но не стал. Попросил только не вносить дополнительное напряжение там, где его можно не вносить.

Вчера от Президента требовали решительных действий. Сегодня — объяснений. Нет логики. Решение так и не проголосовали.

До марта у меня не было достаточно определенной работы.

Критика

Владислав Кулаков

ЛИРИКА — ЭТО ТО, ЧТО ТРЕБУЕТСЯ

ПОЭЗИЯ «НОВОЙ ВОЛНЫ»

РЕЦИДИВ ЭСТРАДЫ?

Похоже, до сих пор считается хорошим тоном рассуждать о кризисе поэзии, об отсутствии новых ярких имен, спаде читательского интереса и т. д. Живы в памяти сенсации 60-х, переполненные стадионы, диспуты в Политехническом, фантастический спрос на поэтические сборники. Ныне хочется новых сенсаций. А их нет. Значит, это кризис?..

А тут и время на дворе такое — перестройка, обновление. Как тогда, в 50—60-х. Где же энтузиазм, благородные порывы, открытия? Энтузиазма что-то не видно. Шестидесятники верили в обновление. Восьмидесятников на мякине теперь не проведешь. Всем ясно: то, что мы имеем сегодня, **обновить** нельзя. И гордиться нам, как оказалось, нечем. За романтические порывы «эстрадных» шестидесятников порою, право, бывает неловко. Нет, по-человечески понять их можно: искренне верили... Но хоть и от чистого сердца — бывало — фальшивили, а искусство этого не прощает. Больше всего восьмидесятники боятся сфальшивить, еще раз «наколоться» — вот и не прививается энтузиазм.

Тем не менее «оттепель» — предтеча перестройки, многое действительно повторяется. И возросшую поэтическую активность не заметит разве что слепой. Есть, кстати говоря, и настоящие сенсации — Дмитрий Александрович Пригов, например. Правда, он не молод, и производят фурор его стихи десяти-, а то и двадцатилетней давности, но нам-то что за дело? Мы-то их прочитали только сегодня, и для нас они открытие. Хорошо бы за этим открытием сделать и следующие: прочитать, например, по-настоящему И. Холина, Г. Сапгира, Вс. Некрасова, делавших то же, что и Пригов еще во времена «оттепели» и задолго до самого Пригова. Но механизм сенсации работает по-другому, да и не все работают на сенсацию.

Как бы то ни было, поэзия (и не только) восьмидесятников прошла через свой период ажиотажного спроса. Стадионные аудитории, правда, и собраться не успели — они быстро перекочевали на санкционированные и несанкционированные митинги. Но все же... На первую свободную выставку (17-я молодежная, на Кузнецком мосту) публика шла так же, как чуть позже пойдет на Кашпировского. Запомнился поэтический вечер в ДК завода «Дукат» летом 87 года: деликатные любители поэзии штурмовали черный ход и окна клуба, как рок-фанаты на концерте заезжего кумира. Нынче же не то что авангардистские выставки или поэтические выступления — рок-концерты проходят при полупустых залах. Но пару лет ситуация была вполне «эстрадная» — восьмидесятники с успехом выполняли соцзаказ.

Такого рода успехи, думаю,— дело для поэзии сомнительное, и не случайно бурная деятельность московского клуба «Поэзия» многих раздражала. «В чем дело,— вопрошал московский журналист А. Семенов в отчете об одном из вечеров клуба,— может, это вечер юмора, телепередача «Вокруг смеха»?»

Аркадий Семенов, сам, кстати, поэт, сомневается в том, что такой юмористический шум может иметь отношение к поэзии. Наверное, справедливо сомневается: шум поэзии противопоказан. Но вот юмор, ирония — отнюдь. Ну и само явление новых иронистов, конечно, вовсе не так уж экстраординарно с эстетической точки зрения. Тут давняя литературная традиция, долгое время как-то недостаточно осознаваемая, а в нынешней ситуации оказавшаяся актуальной.

Ирония — это, конечно, не жанр, не стиль, склонность к иронии — скорее черта характера. Ироничны Бродский, Вознесенский (чтобы не сказать Пушкин и Мандельштам), но иронистами их почему-то не называют. Жанр «иронической поэзии», культивируемый в рубриках сатиры и юмора, к поэзии, как правило, отношения не имеет. И хотя то вдруг обэриуты окажутся в окружении пародистов-юмористов, то вдруг лианозовец Ян Сатуновский залетит неожиданно в «Зеленый портфель» журнала «Юность» — это все же исключения из правила, свидетельствующие скорее о редакторской некомпетентности.

Ирония, игра — все это, безусловно, постмодернистские веяния. Но иронистов не интересует поставангардная проблематика сама по себе. Для них важней другое:

В пятидесятых — рождены,
В шестидесятых — влюблены,
В семидесятых — болтуны,
В восьмидесятых — не нужны.
(Е. Бунимович)

Не культурная рефлексия, а социальная драма — наша общая, отечественная, и даже конкретнее — драма поколения — становится основой их творчества, дает исходный поэтический импульс. Еще одно потерянное поколение, дети застоя, с отвращением взирающие на свое пионерско-комсомольское прошлое, мучительно трезвеющие:

Дмитрий зарезан. Шлагбаум закрыт.
Хмурое утро Юрьева дня.
Русский народ у разбитых корыт
насмерть стоит, проклиная меня.
(В. Коркия)

Поэзия иронистов — поэзия похмелья, поэзия «разбитых корыт».

«Там, где они плачут, мы давно смеемся сквозь их слезы»,— сказал как-то В. Коркия. И «русский народ» в лице Л. Барановой-Гонченко (а она никогда не сомневалась в том, что имеет право говорить от имени русского народа) немедленно «проклял» поэта: «Но слез мы как раз и не заметили, а вот глумливым смехом сыты в полную меру».

Грустно иметь дело с людьми, не умеющими смеяться. А поэтическими рыданиями мы тоже сыты в полную меру. Слезами горю не поможешь. И все же, что касается глубокой, настоящей боли, без которой поэзии не бывает, то все это есть, конечно, в смехе «иронистов», в смехе, прямо скажем, не очень веселом. Над кем смеемся? Известно — над собой:

Я сошел с конвейера Москвы,
вместо сердца — пламенный мотор,
и вот ЭТО — вместо головы...
Извини —
естественный отбор.
Я «Москвич»...
Обидно, что не «ЗИЛ»!
Не хватает лошадиных сил.
Вял дизайн... Мешает лишний вес...
Извини,
красотка «мерседес»...
(Е. Бунимович)

Эстетический нигилизм, та самая «чернуха» — только следствие окружающего абсурда. Пафос как в говорухинском фильме (задолго до самого фильма): «Так жить нельзя!» А по-другому жить мы не умеем. И не научимся — во всяком случае, **мы**, те, кто «в 50-х рождены». Поэту однажды открылась кровавая бездна лжи и безумия, рядом с которой все бездны и высоты духа и культуры теряют свое значение:

Как хорошо у бездны на краю
загнуться в хате, выстроенной с краю,
где я ежеминутно погибаю
в бессмысленном и маленьком бою.
(А. Еременко)

Тут уж не до смеха. Потому что «бой» этот самый настоящий и далеко не бессмысленный. Он—за духовное выживание и имеет, конечно, стратегическое значение не только для поэта или даже не только для поэзии.

Так что и смех далеко не глумливый. Это тот самый смех, который в отличие от слез может вполне реально помочь всем нам. Помочь пережить похмелье и протрезветь. Вообще все разговоры о тотальном нигилизме новых иронистов не более чем очередной миф. Перед нами прежде всего лирическая поэзия, авторский монолог, вовсе не обязательно, замечу кстати, сплошь иронически-саркастический:

Прости меня,
в коляске спящий сын,
что в этом доме выпало родиться,
но, может, сила вся родных осин
в том, что они родные,
и защиплет
в глазах,
когда придешь сюда один
и свой увидишь параллелепипед...
(Е. Бунимович)

Стих иронистов подчеркнуто афористичен, ими широко используется игра слов, каламбур; любимое их занятие — реализация общеупотребительных языковых метафор, «материализация» идиом: «В сугробах ядерной зимы, на свалке золотого века...» (В. Коркия), «пыльная буря в граненом стакане» (Е. Бунимович) и т. п. Активизируется «чужое» слово в самом широком смысле: от прямых цитат (особенно характерных для А. Еременко) до введения в текст разнообразных идеологических, бюрократических клише:

МИНЗДРАВ СССР
ПРЕДУПРЕЖДАЕТ:
Все миновалось, молодость прошла...
(Е. Бунимович)

И все же перед нами традиционно монологическая поэзия, прямое авторское высказывание. Поэтому напрасно поминают обэриутов рядом с иронистами, рядом с теми же А. Еременко или Е. Бу-

Владислав КУЛАКОВ (родился в 1959 году) — критик, автор статей по современной поэзии. Его материалы печатались в журналах «Литературное обозрение», «Вопросы литературы», «Синтаксис» (Париж), «Литературной газете» и др. В «Знамени» публикуется впервые.

нимовичем. Хотя обэриуты непосредственно определяют очень многое в современной поэзии: и в поэзии концептуалистов, и в самиздатской поэзии шестидесятых годов — лианозовской группы, ленинградцев — В. Гаврильчика, В. Уфлянда, О. Григорьева... Речь здесь идет не о каком-то прямом наследовании обэриутской поэтике: концептуализм подхватил невостребованные и мало кем по достоинству оцененные обэриутские открытия в области игровой эстетики, искусства организации художественной среды, контекста. Концептуализм (да и вообще постмодернизм) — это уже по определению искусство не монологическое. Близкими к концептуалистской линии оказываются другие поэты, обычно зачисляемые в общую иронистскую кучу,— такие, как И. Иртеньев, В. Друк... Травестийная поэзия И. Иртеньева перекликается с мифотворчеством Д. Пригова, тот же соц-арт:

Женщина в прозрачном платье белом,
В туфлях на высоком каблуке,
Ты зачем своим торгуешь телом
От большого дела вдалеке?

Правда, собственно концептуальная проблематика И. Иртеньева занимает гораздо меньше, чем Пригова. Иртеньев использует пародию по прямому назначению, в сатирических целях. Тем не менее стих его никак не укладывается в обычные рамки «сатиры и юмора», напоминая подчас о речевой наглядности поэзии Н. Олейникова, «скульптурной» выразительности стиха И. Холина. Хотя об ученичестве тут речь не идет.

Влияние шестидесятников — в первую очередь лианозовцев — заметно в стихах Владимира Друка:

...шиит — антишиит,
суннит — антисуннит,
семит — антисемит,
калмык — антикалмык,
бисквит — антибисквит,
э-л-е-к-т-р-о-л-и-т!
пускай им
общим
памятником
будет
построенный в боях...
О!
этот ТЕАТР ДРУЖБЫ
НАРОДОВ!
где все мы — актеры...
(«Памятники»)

И дело даже не в том, что еще в 1960 году Всеволод Некрасов написал «Антистих»: «Есть протон — антипротон, нуклон — антинуклон, и циклон — антициклон... и т. д.» Вполне возможно, что В. Друк и не знал именно этих стихов Вс. Некрасова, тем более что они до сих пор еще не опубликованы. Существенно то, что В. Друк, начинавший в характерной иронистской манере, с некоторых пор стал активно использовать чисто игровые средства и небезуспешно.

Другой вариант игровой поэтики демонстрирует нам А. Левин, известный до недавнего времени больше как бард, обладающий незаурядным мастерством гитариста. Особого разделения на песни и собственно стихи у него, по-видимому, нет; похоже, это тот случай, когда тексты песен и в напечатанном виде, без мелодии воспринимаются как самодостаточные. Гротескная образность, виртуозное словотворчество А. Левина близки к поэтике некоторых книг Г. Сапгира (особенно «Терцихи Генриха Буфарева») и по изобретательности, по чувству языка А. Левин, мне кажется, ничуть ему не уступает:

Шумелка-мышь, шуршавшая в полу.
Бубнитофон немножечко в углу.
Сижу, задумчив, как земельный таг,
гляжу закат — практически за так.
Затакт.
В окно вжужжался пирожук,
горящий и хрустящий, как сухарь,—
упал. А я вминательно сижу
и не упал. Я мирозданью царь.
(«Модель мыслителя у окна»)

Тем не менее ни Левин, ни Друк, ни Иртеньев не могут быть с полным основанием причислены к концептуалистам так же, как, скажем, Пригов, Рубинштейн, Сухотин — никакие не иронисты. Изобразительные средства могут быть почти одни и те же, но вот цели, художественная задача у них — разные. Концептуализм — действительно авангардное явление, искусство, непосредственно занятое проблемами самого искусства, исследованием возможности возникновения художественного высказывания. Для «иронистов», как я уже отмечал, центр тяжести смещается в иное проблемное поле, рефлексия уходит на периферию, и сам концептуалистский опыт становится как бы готовым средством. Но главное в иронистах — лирическая, гражданская определенность высказывания. Отсюда и политическая острота, и эстрадный успех... Все это перекликается с эстрадными шестидесятниками, хотя, думаю, гражданская зрелость новых иронистов глубже, так же, как перестройка глубже оттепели. (Тут надо быть осторожным в сравнениях, потому что все же оттепель была после Сталина, а не после «застоя», и это существенно разные вещи; контрастность «оттепели», может, даже резче, чем контрастность сегодняшнего дня на фоне, скажем, 85 года.) Как бы то ни было, но и издержки эстрадности — некоторая лозунговость, чрезмерная политизация, публицистичность в ущерб художественности — все это нередко дает о себе знать. Но неудачи забываются, а стихи остаются — и осталось, запомнилось уже немало.

ГОСИЗДАТ И САМИЗДАТ

О литературе, которая занимала девять десятых журнальных площадей своими оптимистичными историко-революционными эпопеями и радостно-героическими поэмами, сказано уже немало. Сегодня она благополучно уходит в небытие. Но выпускал госиздат и другую литературу, настоящую, и предавать ее забвению было бы ошибкой. Ветеран самиздата Всеволод Некрасов заметил как-то, что, по-видимому, силы госиздата и самиздата примерно равные. На десять тысяч членов Союза писателей несколько десятков истинных талантов наберется... Благодаря им какая-то жизнь и в госиздате все же теплилась, и в поэзии что-то происходило; иногда случалось даже и нечто очень значительное: Слуцкий, Самойлов, Чухонцев... По знакомому сценарию развивались события и для нового поколения. Среди бездарного хора-ора печатающихся «молодых голосов» начала 80-х обнаружились имена, достойные внимания.

Советская послевоенная поэзия проявила себя прежде всего в стремлении избавиться от трескучей псевдогероической риторики поэзии сталинской эпохи, берущей начало в позднем эпосе Маяковского, в военизированно-комсомольской романтике 20—30-х годов. Эта эстетика к закату сталинской эры окончательно утратила какие-либо признаки реальной жизни. На этом фоне и возникла, зазвучала окопная правда, суровый реализм поэтов фронтового поколения и тех, кто пришел за ними. Восьмидесятники, конечно, уже не отличались такой «суровостью». Появились представители первого поэтического поколения, выросшего относительно безбедно, даже с известным комфортом. Росли-то, конечно, в «хрущобах», но «хрущоба» — это все же отдельная квартира, не коммуналка, не «воронья слободка». Почему это важно? Да потому что именно бытом вдохновлялись новые поэты, тем, что окружает с детства, именно через бытовые реалии они выражали свое лирическое отношение к миру. Один из них — Олег Хлебников — даже назвал себя «бытописателем бытия».

Андрей Мальгин еще в 1986 году довольно точно охарактеризовал эту поэтическую генерацию в статье «Мы — поколенье Нового Арбата...» («Новый мир», 1986, № 4) как новую волну городской поэзии (что дало повод нашим «почвенникам» развернуть странную и весьма непродуктивную полемику вокруг этой статьи с целью доказать, что городской поэзии нет и быть не может). Новые «городские» на фоне предыдущих выглядели, пожалуй, даже «тепличными», слишком негероическими. Но это тоже было важно: в стране непрерывного насильственного героизма, бесконечных искусственно создаваемых социальных катаклизмов заговорить о нормальных человеческих вещах, о том, что окружает,— без революционного пафоса. Гражданская поэзия, привыкшая к изображению эпохальных полотен, массовых сцен, ощутила вдруг уникальность каждой человеческой жизни и к этой уникальности проявила интерес. Отсюда и стремление к предметности, конкретности, даже хроникальности. Быт становится эстетически значимым, и это уже не тот позорный быт, который только мешался под ногами победно шествующей к одухотворенному, нематериальному будущему идеи, быт, с которым нужно бороться. Нет, теперь он одухотворен, самоценен неповторимостью собственной и других людских судеб, в нем отраженных.

Тогда же, в середине 80-х, И. Шайтанов в статье «Преимущественно о тридцатилетних» («Вопросы литературы», 1986, № 5) сетовал на проявившуюся у молодых «страсть к воспоминательству». Но это было неизбежно при очень малом внимании новых городских лириков к собственному лирическому «я» и такой пристальности взгляда на внешний мир. И вот что любопытно: в воспоминаниях этих главными оказываются не обобщения, а подробности, сама память представляется как нечто сугубо материальное:

Ну так вот, говорю я, память —
не то роскошное
оловянное отражение искаженное,
а заплатанное и захватанное
рогожное
покрывало, местами прорванное
и прожженное.
(М. Поздняев)

Новые бытописатели, кажется, хорошо усвоили эффект хроникальных фильмов: самым интересным в них оказываются не «исторические моменты», ради которых затевалась съемка, а то, что попадает в кадр случайно: какая-нибудь афишка на заднем плане или пачка папирос, давно не выпускаемых табачной промышленностью. Из таких деталей «клеится» порой целое стихотворение: «...время спутника, футбола, спора посреди бульвара, время слова «радиола», время славы — «Че Гевара», кукол — все еще немецких, скатертей — еще китайских, фотоаппаратов детских и велосипедов дамских...» (О. Хлебников). При этом никакого особого умиления перед жизнью или заискивания перед своими героями новые «городские» поэты, как правило, не допускают. Выражаются они всегда конкретно, часто иронично, иногда беспощадно. Советский быт вообще не дает поводов для умиления, и при-

вкус его абсурдности постоянно присутствует в стихах, временами материализуясь в характерные советские детали вроде памятников «свинье и свиноводу» (О. Хлебников) или «горнисту с подъятою трубой» (В. Салимон). Но это лишь неодушевленный фон, потому что все равно «звезда звенит, звезда горит и проливает свет на ГОСКОМТРУД, ГОССНАБ, ГЛАВЛИТ, ГЛАВАТОМ, ВТОРЧЕРМЕТ» (В. Салимон). Так и за иронией, за намеренной заземленностью, антиэстетичностью всегда «звезда звенит», «звезда» лирики, чувствуешь напряженное ощущение полноты бытия, возникающее из глубокого единения с окружающим миром — не с советским, конечно, абсурдом, а с людьми, живущими вопреки этому абсурду (хотя этот момент — «вопреки» — не акцентируется и, может, даже не осознается), живущими по-своему неповторимо, в России во второй половине XX века:

И я увидеть успел, замерев на пороге
зала огромного, в облаке хвои
и снега —
как посреди несказанно
широкой дороги,
передо мной протянулся рубеж
полувека...
И — уцелевшее в давке пушистое семя,
я возлюбил этот век. И в обнимку
со всеми
переступил во вторую его половину.
(М. Поздняев)

Слуцкий, Чухонцев и еще, пожалуй, Глазков — с его иронией, игрой, чудачеством — непосредственные ориентиры для новых «городских» (особенно заметно влияние Глазкова в стихах В. Салимона). И. Шайтанов в той же статье отмечал, что в этом ряду молодые сильно уступают старшим. Может быть. Но есть тут и своя специфика. Конечно, бытовая фактура у Чухонцева гораздо более эмоционально насыщена, чем в бесконечных предметных рядах новых поэтов. Но ведь Чухонцев вовсе не занимается эстетизацией, лиризацией быта. Он, скорее, быт мифологизирует, растворяет его в общем напряженном духовном пространстве, никому и в голову не придет назвать его «бытописателем бытия». А «городские» как раз заняты обратным: они как бы материализуют дух в быте, и здесь некоторые нагромождения, наверное, неизбежны.

Не наступи времена благословенной гласности, разговор о поэзии восьмидесятников на этих рассуждениях, наверное, пришлось бы закончить. Потому что никаких таких иронистов, андерграунда, авангарда для официальной критики вроде бы и не существовало. Прошумела в начале 80-х дискуссия о «сложных» поэтах, но понять что-нибудь было совершенно невозможно: спорить о чем-то спорили, а вот стихов почему-то почти не печатали. Дальше — больше: взялся М. Эпштейн объяснять новую поэзию, и все окончательно запуталось, потому что талантливый эссеист объяснял не столько литературу, сколько свои собственные эстетические и метафизические взгляды. Дело в том, что разобраться в «новой» литературе вне контекста всей истории развития «неофициального» искусства просто невозможно, а именно это и пытался делать М. Эпштейн.

Чем же характерно неофициальное искусство, где та эстетическая доминанта, на которую с неизменной бдительностью реагировали цензоры? Я здесь говорю не о диссидентской поэзии (тоже, кстати, давшей немало ярких талантов), появившейся в самиздате по известным политическим причинам. Я о другой линии неофициальной литературы, той самой, в которой, собственно, и сформировались все столь актуальные сегодня постмодернистские художественные идеи. Дело тут не только в «авангардности» (хотя, конечно, любая степень эстетического риска в первую очередь вызывала подозрения). Для постмодерна привычная оппозиция «авангард — не-авангард» утрачивает свое значение. О чем, в частности, свидетельствует совместимость вроде бы совершенно непохожих авторов и под одной обложкой, как, скажем, в сборнике «Понедельник. Семь поэтов самиздата» (изд-во «Прометей» МГПИ им. Ленина, 1990), или даже в рамках одной поэтической группы «Альманах», творчеству которой посвящена статья А. Зорина «Муза языка и семеро поэтов» («Дружба народов», 1990, № 4).

Но «муза языка», то есть особое эстетическое отношение к «живому языку социума» — лишь следствие какой-то более общей художественной установки. А. Зорин, цитируя Д. Самойлова, противопоставляет два подхода к языку: «Альманаха» и советских традиционалистов — «Поэзия пусть отстает от просторечья...» Эту мысль можно развить далее. Вот «позиция поэта» в формулировке того же Д. Самойлова:

Не по крови и не по гною
Я судил о нашей эпохе.
Все, что было,— было со мною,
А иным доставались крохи!

Я судил по людям, по душам
И по правде и по замаху.
Мы хотели, чтоб было лучше,
Потому и не знали страху.

Правда, речь идет о войне, но и не только. Судить «не по крови и не по гною», а «по людям, по душам и по правде и по замаху» — это, наверное, была единственная возможность выжить поэту как на войне, так и в годы террора — физического и идеологического. Оставаться лирическим поэтом, занимая традиционную позицию судьи и пророка, можно было только так — судить «не по крови и не по гною». И это было испокон веку: вроде бы традиционна лирическая установка — «для звуков слад-

ких и молитв». Но слишком много пролилось той самой крови за последние семь десятилетий. Слишком много — и для искусства. Поэты самиздата поэтому меньше всего желали бы судить, выяснять свои отношения с эпохой. Эпохальность не по их части. Они стремятся к иному лирическому качеству.

Что это за качество, можно проследить на фоне творчества тех же «городских», продолжающих в этом смысле Самойлова. Вспомним «звезду» В. Салимона, что «проливает свет на ГОСКОМТРУД, ГОССНАБ и т. д.». Безжизненные уродцы, нелепые, но безобидные, даже милые, как гипсовая роскошь парка культуры и отдыха, выставки достижений народного хозяйства. А вот строки концептуалиста М. Сухотина:

На дне оврага
СПЕЦГОЭЛРО там
ПОТРЕБГУЛАГА,

Там ГОСПРИРОДА
в ЧЕЛОВЕК-ЧАСЬЕ
исходит потом,
пока из грязи
не выйдет боком
ЖИЛТРЕСТПРОМСЧАСТЬЕ...

Здесь уже ни о какой «звезде» и речи не идет, разве что о гипсовой пятиконечной. Но гипс оживает — не милые уродцы, а безобразные чудовища движутся на нас вместе с «потом» и «грязью»; «кровью и гноем»: поэт-лирик не может отделить себя от страшного социума, столь круто замешенного на крови.

Ощущение советского социума как кошмара в новой поэзии напрямую связано с диссидентским движением, с идеологией «прав человека». Никакая идея (в том числе и идея прав человека) не может стать оправданием ни одной загубленной судьбы, ни одной пролитой капли крови. Тимур Кибиров обнажает это чувство кошмара до предела, до физической боли:

Что ж. сучара, ты ждешь, что ты,
падла, глядишь,
улыбаешься, дура такая?
На-ка выкуси шиш, отвяжись,
отвяжись,
не дыши на меня, умоляю!..

Так зачем же ты ждешь и помыла
полы
и, нарезав снежинки искусно
(как прекрасны они, как чисты
и белы),
на окошко наклеила густо.

Но прямота высказывания — лишь видимость. Ставится задача создания собственного поэтического языка.

Отказываясь от пророческой позиции, новая поэзия отказывается от лирической инерции, рутины. Лирика сегодня — это не то, что дано, а то, что требуется доказать. Автор апеллирует не столько к внутреннему, сколько к внешнему, стремится быть максимально наглядным. Пусть речь, слово сами за себя скажут. Вот и звучит нередко «отчужденное» слово, даже, может быть, чуждое — вплоть до идеологической языковой абракадабры, как в соц-арте. Мы и раньше знали, из «какого сора растут стихи». Но теперь оказалось, что этот самый сор может быть не только почвой, удобрением, но и строительным материалом.

Отсюда и «муза языка» не только концептуализма, но вроде бы и традиционно-монологической лирики С. Гандлевского, М. Айзенберга, Е. Сабурова. Понятно, что социальная направленность этой поэзии во многом близка иронистам, здесь обнаружишь и сходные «поколенческие» мотивы:

Нас пугают, а нам не страшно
Нас ругают, а нам не важно
Колют, а нам не больно
Гонят, а нам привольно
Что это мы за люди?
Что ж мы за перепелки?
Нам бы кричать и падать
Нам бы зубами щелкать
И в пустоте ползучей
Рыться на всякий случай.
(М. Айзенберг)

Но и различия принципиальны. Иные акценты. Те самые, постмодернистские. И характерный иронистский нажим здесь невозможен; сравним откровенно прямую речь Е. Бунимовича — «В пятидесятых рождены...» — и совершенную «закрытость» процитированных выше стихов М. Айзенберга на ту же тему. Исповедуется своего рода эстетический минимализм, корни которого — в конкретной поэзии 50—60-х годов.

Есть и противоположная линия — максималистская, та самая «сложная» поэзия, о которой столь горячо дискутировали в свое время. Задача создания своего поэтического языка у «максималистов» — тоже основная, но к проблеме этой они подходят по-иному: упор делается на авторское слово, на сугубо личную и, как правило, внесоциальную лирическую мифологию. Отсюда, собственно, и пресловутая «сложность». «Метаметафоры», конечно, никакой не существует, но есть очередная попытка создания эзотерической, сакральной поэтической речи, «высокого» стиля. Впрочем, и тут видны разные тенденции. Скажем, одно дело — стихи И. Жданова, О. Седаковой с их собственной, личной, предельно субъективной мифологией; совсем иное — более аналитичная поэзия петербуржцев Е. Шварц, В. Кривулина, с их тягой к игре, стилизации. Можно выделить еще одну тенденцию преимущественно интеллектуальной, скажем так, поэзии. Ее представители — А. Драгомощенко, А. Парщиков, Н. Байтов не стремятся к музыкальной выразительности. Они — исследователи, и стих у них превращается в довольно громоздкий аналитический аппарат.

В принципе все это тоже выражение общего постмодернистского скепсиса по отношению к возможности прямого высказывания. Проблема «знака» и «значения» становится иной раз постоянным мотивом лирической рефлексии, например, в стихах Николая Байтова:

Дело в том, что знаки регулярны
только на
ограниченном пространстве смыслов,
а если —...
то, конечно,— как поймаешь
радио-музыку
в скользкой тесноте и в мельтешеньи
свистов,
где на каждом повороте в дырах
мглистых
кучи мусора — и всюду узко и
тускло.
Некуда взглянуть, и лишь
в придуманных формах
можно было бы обосноваться. Однако
страх стоит, особенно в астрах —
в мохнатых
многоруких пауках,
притворно-мертвых.

Слова «помнят» о своей знаковой природе, а стремление вырваться из области «придуманных форм» приводит к необходимости «учета» как можно бо́льшего числа языковых проекций, «планов» в надежде на то, что количество перейдет в качество, «придуманные формы» — в непридуманное лирическое переживание. Н. Байтову, на мой взгляд, это удается гораздо чаще, чем, например, А. Парщикову (хотя, конечно, с И. Роднянской, объявившей А. Парщикова во всеуслышанье записным эпигоном, никак нельзя целиком согласиться). Вообще, разумеется, одно дело — программная установка на создание собственного поэтического языка, другое — результат, то, что получается. А получается у новых поэтов по-разному: у кого-то лучше, у кого-то хуже. Но тут надо, конечно, подходить к творчеству каждого автора отдельно.

Самиздатская поэзия слишком обширна и почти еще не исследована нашей критикой. В этих беглых заметках я коснулся лишь того, что имеет непосредственное отношение к поэзии 80-х. Но писать историю неофициальной поэзии, издавать тексты 20—30-летней «выдержки» все равно придется, если мы, конечно, действительно заинтересованы, чтобы наша словесность не была «официальной» и «неофициальной», «советской» и «антисоветской», не подвергалась административно-территориальному делению вышестоящих органов, а просто была тем, чем была всегда,— органичной частью русской литературы.

ОТ ИРОНИСТОВ ДО «ПАТРИОТОВ»

Не будет большим преувеличением сказать, что именно иронизм, нигилизм во многом определяют лицо сегодняшней поэзии. Это совершенно естественная реакция на эстетическое ханжество предыдущих десятилетий, свидетельство глубоких изменений в общественном сознании, раскрепощения духовной жизни. Раскрепощение идет не без перехлестов, не без «чернухи» и не без «порнухи», но тут уж ничего не поделаешь. И главное, не надо ничего делать, не надо бороться, довольно борьбы и руководящих указаний. Культура — система самоорганизующаяся, она сама о себе позаботится.

Вообще тут дело не в иронизме как таковом, важна общность мироощущения, мотивов «потерянного поколения», выражающихся в какой-то мере в характерном привкусе эстетического нигилизма, того самого смеха сквозь слезы. Помимо тех, о ком уже шла речь в моей статье, можно вспомнить еще немало достаточно известных поэтов, таких, как Ю. Арабова, Н. Искренко, Т. Щербину, В. Степанцова А. Туркина, менее избалованных прессой и ТВ, но, на мой взгляд, не менее, а порой и более интересных — В. Строчкова, В. Тучкова, А. Вулыха, В. Дмитриева... В крайних своих формах эта эстетика приводит к открытому эпатажу (как у А. Туркина). Раньше эпатировали буржуа, мещанина, теперь появилась новая фигура — «совок» — тот же обыватель, только советский. «Совок» — это и «гомо советикус», определенный человеческий тип, и явление, некий менталитет, благодаря которому оказывается до сих пор жизнеспособным весь невероятный строй советской жизни. «Антисовковый» пафос — основная движущая сила иронистов.

К ироническому «полюсу» тяготеют А. Лаврин, С. Золотусский, Л. Жуков, М. Лаптев. Правда, у них уже заметно усиление лирической рефлексии личностности поэзии. Наиболее интересна, на мой взгляд, в этом плане поэзия Д. Веденяпина, Д. Новикова, В. Санчука, С. Самойленко. Сохраняя ироническую резкость и в интонации, и в языковой фактуре, их стихи приобретают уже качества лирической суггестивности за счет смелых, хотя и гармонизированных речевых ходов.

Далее в нашем условном «эстетическом спектре» идет уже чистая, беспримесная «литературная» лирика, поэзия «самовыражения», которой, как и во все времена, более чем достаточно в общем поэтическом потоке. Но и здесь можно назвать достаточно ярких авторов — это С. Белорусец, Нина Габриэлян, Ян Шанли... Заметен, кстати говоря, приход в литературу второй «волны» «городских» поэтов, таких, как, И. Болычев, Е. Степанов, А. Пурин, С. Надеев и др.

Авангард (конечно, с приставкой «пост») представлен в основном концептуализмом (есть еще попытки неофутуризма, но вряд ли он перспективен). Вообще-то концептуализм — явление 70-х годов, сугубо самиздатское (А. Монастырский, Вс. Некрасов, Д. Пригов, Л. Рубинштейн), в 80-х же он просто вошел в моду и, как говорится, во многом «вышел в тираж». Но связь с «восьмидесятниками» тут самая прямая, во всяком случае, в творчестве таких поэтов, как Т. Кибиров и М. Сухотин, сформировавшихся еще в лоне самиздата. Близок к концептуализму и Иван Ахметьев, до сих пор практически не имеющий публикаций на родине (в ФРГ в издательстве В. Казака у него недавно вышла книжка). Речевой, говорной стих Я. Сатуновского и Вс. Некрасова непосредственно отозвался в эстетике речевого фрагмента И. Ахметьева:

были попытки
которые
не получив развития
превратились в события

И. Ахметьев — один из ярких представителей той «минималистской» линии, о которой уже шла речь. Отсюда, из сегодняшней работы Вс. Некрасова, Л. Рубинштейна, И. Ахметьева, поэтов, по сути, очень близких друг другу, расходятся какие-то важные силовые линии, определяющие многое в современном самоощущении поэтического языка.

И. Ахметьев пишет преимущественно свободным стихом, но его верлибр (как и верлибр Вс. Некрасова) особенный, несколько выпадающий из общего верлибрического движения, явственно обозначившегося в последние годы. У этого «движения» есть свои мэтры — В. Бурич, В. Куприянов, вышли уже сборники и антологии свободного стиха — «Белый квадрат», «Время икс» и монументальная «Антология русского верлибра». Среди наиболее интересных верлибристов-восьмидесятников можно назвать К. Джангирова (составитель «Времени икс» и «Антологии...»), А. Тюрина, А. Макарова-Кроткова. Тут жанровый признак — не отрывок, не фрагмент, как у Ахметьева а лирическая или сентенциозная миниатюра, достигающая порой выразительности афоризма.

в этой стране
только и умеем что
говорить на своем языке

(А. Макаров-Кротков)

Странным только кажется желание верлибристов как-то обособиться от всей остальной поэзии, будто свободный стих — это и на самом деле литературный жанр. Ведь не организует же никто движений ямбических или хореических!

Концептуалисты, «иронисты», верлибристы — это «левый фланг». Далее «следует» сильный центр, а за ним, как полагается, не менее сильный (во всяком случае, в количественном отношении) фланг «правых». Эстетический консерватизм здесь счастливо сочетается с консерватизмом идеологическим. Раньше, помнится, говорили о «деревенской» поэзии, даже полемика была на тему: кто лучше — «деревенские» или «городские» (как будто и те, и другие никак не могут быть одинаково хорошими)? Теперь уже нет необходимости скрывать то, что дело тут не в деревне, вернее, не столько в деревне, сколько в «русской идее». Именно служением идее объясняется загадочная избирательность зрения критиков «патриотического» направления, их порой удручающая некомпетентность. Впрочем, «не быть сильно умным да больно грамотным» — это, как заметил Вс. Некрасов, «почетная обязанность для русского патриота». Сначала идея, а искусство потом. Ну и как всякое искусство, «заедаемое» идеологией, поэзия «патриотов» сталкивается с серьезными проблемами.

Все же оговорюсь, речь идет не просто о патриотах, а о «патриотах» в кавычках. Патриот вовсе не тот, кто кричит о патриотизме, тем более профессиональный патриотизм — вещь сомнительная. Потому что «русские — не профессия и не конфессия».— Есть такая очень точная строчка в совместном стихотворении (так уж получилось) двух русских поэтов И. Ахметьева и Вс. Некрасова.

Как бы ни был широк «эстетический спектр» новой поэзии, в любой его части можно услышать живые поэтические голоса. Крупных, значительных поэтических событий по-прежнему немного (наверное, странно было бы, если бы было иначе), но сама атмосфера, культурная среда, думаю, вполне жизнеспособна. Литература перестала быть государственным делом, но от этого она не перестала быть делом общественным. Повторюсь: лирика — это то, что требуется доказать, и представители новой поэзии не самообольщаются. Но лирика — это и то, что просто требуется, требуется всем нам и, значит, появится.

P. S. Пока статья готовилась к печати, произошли всем известные события 19 августа. «Невероятный строй советской жизни», о котором говорится в статье еще в настоящем времени, наконец-то перешел в область времени прошедшего. Но я не стал менять грамматические формы. Я писал статью о поэзии эпохи перестройки, не зная, что эта эпоха вот-вот закончится. «Перестройка» действительно целиком осталась в минувшем десятилетии, которое по-настоящему завершилось только сейчас, в августе минувшего года. И там, где два месяца назад я ставил многоточие, сама история, похоже, поставила жирную точку.

Елена Иваницкая

НЕ СОБЛАЗНЯЙТЕ НАС ИДЕАЛОМ

С какой предписанной государственным этикетом эйфорией, с какой верноподданнической благодарностью вслушивались мы еще так недавно в прекрасные слова о приоритете общечеловеческих ценностей, лелея надежду на то, что «общечеловеческое» — это и есть человеческое, то есть соразмерное человеку, живое, свободное. С какой готовностью мы вспоминали марксово «свободное развитие каждого есть условие свободного развития всех». Да неужели «огромный, неуклюжий, скрипучий поворот руля» действительно направляет наш корабль к тем представлениям о жизни, где «человек — мера всех вещей»? «Мы как бы вновь обретаем свое человеческое измерение»,— писал философ А. А. Гусейнов в своей недавней статье «Перестройка: Новый образ морали», открывающей сборник «Этическая мысль 1990». Хотелось верить. Но...

1

...Ничего подобного. Человек — вовсе не мера всех вещей, как никогда ею еще не был. Мера всех вещей — идеал.

Это очень строгая и суровая мера, применение которой ко всякому явлению жизни ведет к единственному приговору — виновны. Перед идеалом все виновны. Это приговор окончательный. Жизнь виновна перед идеалом.

А выносят приговор именем идеала его полномочные представители, а правильнее сказать — хозяева. Они устанавливают, кто, что и насколько соответствует идеалу, а может быть, даже его и воплощает. Разве мы не прожили всю жизнь под простертой рукой воплощенного идеала — «самого человечного из всех прошедших по земле людей»?

Но это слишком легкий пример.

Хотя позвольте — разве социалистический идеал не высок и не прекрасен? Я не про воплощение — с простертой ли рукой или в бронзовых сапогах,— а про идеал. Остроумно и точно сказал об этом еще 35 лет назад Абрам Терц: «Западный либерал-индивидуалист или русский интеллигент-скептик в отношении социализма находится примерно в той же позиции, какую занимал римский патриций, умный и культурный, в отношении побеждающего христианства. Он называл веру в распятого Бога варварской и наивной..., считал бессмыслицей учение о Троице, непорочном зачатии и воскресении. Но высказать сколько-нибудь серьезные аргументы против идеала Христа было свыше его сил... Разве мог он заявить, что Бог, понятый как Любовь и Добро,— это плохо, низко, безобразно? И разве мы можем сказать, что всеобщее счастье, обещанное в коммунистическом будущем,— это плохо?»

Да, идеал социализма-коммунизма высок и прекрасен. И не говорите мне, что он кощунственно отрицал высшие ценности, заповеданные Христом в Нагорной проповеди. Это просто неправда. Давайте же наконец перестанем сравнивать идеалы одной мировоззренческой системы с пороками другой. А ведь именно это делает, например, В. Непомнящий, утверждая в одной из своих последних статей о Пушкине, что «мы» вывернули наизнанку заветы Христа: «Заработали «классовые», черные заповеди — ненавидь, убий, укради (экспроприируй), лжесвидетельствуй, наконец — прелюбодействуй». В. Непомнящему очень легко ответить в том же духе: «мы», мол, провозгласили, что «свободное развитие каждого есть условие свободного развития всех», и вообще, «человек человеку друг, товарищ и брат», а церковь, например, преследовала науку, благословляла агрессии и т. д.

И давайте не противопоставлять библейский завет «почитай отца твоего и матерь твою» несчастному Павлику Морозову, который то ли был, то ли выдуман сталинским агитпропом. Любовь к родителям, единство поколений — несомненная ценность социализма, как и всякой обнародовавшей и пропагандирующей свою идеологию системы, но высший идеал — дороже. И это требование не социалистического идеала, а всякого. Всякого — называется ли его реальное или чаемое воплощение социализмом, национал-социализмом, Царством Божиим или Святой Русью. В критический момент выбора любовь к отцу должна отступить перед идеалом.

Это заповедано и в Евангелиях: «Если кто приходит ко Мне и не возненавидит отца своего и матери, и жены и детей, и братьев и сестер, а притом самой жизни своей, тот не может быть Моим учеником» (Лука, 14 : 26).

Идеал требует жертв. И чем выше, чем лучезарнее идеал, тем больше крови за него льется, как только он становится руководством к действию.

Да, и христианский идеал, ныне благоговейно и настойчиво восстанавливаемый в общественном сознании,— тоже. Вы говорите, что это чистейший идеал любви? И я говорю то же самое, но не могу не добавить при этом, что ради него так же резали, жгли топили, душили, как ради не менее высокого и прекрасного коммунистического. Конечно, красный террор против духовенства вызывает ужас. Распоясавшаяся власть создавала мучеников. Но разве Церковь, пока сама была силой и властью, не создавала мучеников тоже?

Да что говорить! Все это тысячу раз слышали и, кажется, прекрасно знали. Но еще одно замечательное свойство идеала состоит в том, что он способен менять перспективу фактов. И вот митрополит Волоколамский и Юрьевский Питирим со страниц «Советской культуры» произносит панегирик Иосифу Волоцкому: «Среди многих русских святых и подвижников он занимает исключительное место... Целью своей жизни он изначально поставил внутренний подвиг во имя служения обществу». Преподобного Иосифа Волоцкого нам предлагают в качестве духовного образца и нравственного ориентира. Да, того самого Иосифа Волоцкого который «требует смертной казни не только за ересь, но и за недонесение о ереси»,— привожу слова С. С. Аверинцева из его статьи «Византия и Русь: два типа духовности». Правда, тут же С. С. Аверинцев предостерегает против некоего неверного взгляда на это, к «чему наше, что называется, «интеллигентское» сознание естественным образом склонно». Что же, испытывать ужас перед таким христианским пастырем, который требовал пыток, благословлял казни, опирался на доносы,— это не естественное чувство перед кошмаром произвола, а некий порок интеллигентского сознания? И ведь оправданную его идеалом нравственно-политическую максиму, требующую казней и пыток, он применил и на практике, настояв в 1504 году на сожжении новгородских ересиархов. Все слышали об Иосифе Волоцком, а кто помнит имена его жертв — дьяка Ивана Курицына, Ивана Максимова, Некраса Рукавова, архимандрита Юрьева монастыря Касиана и его брата Ивана Самочерного? Еретиков сожгли в клетке на льду Москвы-реки с полного одобрения идеала...

Так о чем я? А о том, что всякий идеал заключает в себе страшную опасность. И чем он выше, тем опаснее.

2

Нравственный, политический, экономический кризис в обществе нередко связывают с утратой идеала. Четко и бескомпромиссно выразил эту идею еще два года назад известный публицист Михаил Антонов в программной статье «Выход есть!» («Наш современник», 1989, № 9): «Народ живет полнокровной жизнью, пока в его душе наличествует высокий идеал». С утратой идеала народ вырождается в чернь, стадо. Показательно, однако, что М. Антонов не предполагает, что идеал сам вызреет в глубине народного духа, а исходит из того, что идеал будет народу «дан»: «Возродим свой народ духовно, дадим ему снова высокий и облагораживающий идеал — и развитие страны пойдет гигантскими шагами». Какой именно идеал «дадут» народу «патриотические силы», публицист заранее сказать не берется, но думаю, что скромничает он напрасно: параметры этого идеала заданы в его статье достаточно явственно. Именем идеала М. Антонов уже выносит приговор: «Самая презренная разновидность черни — это чернь полуобразованная, космополитическая, либеральная, именующая себя интеллигенцией».

М. Антонов высказал в своей статье предположение, что чаемый идеал будет поддержан Церковью. Предположение не вовсе беспочвенное. Не прошло и года, как на тех же страницах «Нашего современника» появилась рубрика «Не хлебом единым», и в предисловии к ней отец Владимир горячо провозгласил этот идеал: «Православие, Отечество, национальное возрождение. Мы обязаны и будем строить Святую Русь — вечный идеал нашей исторической жизни». Не правда ли — возвышенно и благородно? Впрочем, всякий идеал возвышен и благороден, мелкого и пошлого идеала быть не может — просто по определению. Мелким и пошлым идеал может казаться только с позиций другого идеала. Но кто будет допущен к прекрасному идеалу национального возрождения? С атеистами, скептиками, либералами-вольнодумцами все ясно. В общем ясно и с теми русскими христианами, которые веруют как баптисты, католики и т. д. Но мне, например, не очень понятно, как этот идеал относится к старообрядчеству.

Вопрос, конечно, риторический, поскольку идеал не терпит рядом с собой «вариантов». Он не допускает критического обсуждения. Не позволяет он и просто индифферентного к себе отношения. Не приемлет и «примирения», «компромисса» и тому подобных либеральных

Е. ИВАНИЦКАЯ — критик, кандидат филологических наук, доцент Ростовского государственного университета автор статей и рецензий по проблемам современной советской и классической русской литературы. Печаталась в журналах «Дон», «Литературное обозрение», «Русская речь». В «Знамени» публикуется впервые.

хитростей. Он однозначен и убедителен, как топор.

Вышеупомянутое предисловие к рубрике «Нашего современника» строится на соединении трех временных пластов: к нашим дням о. Владимир обращает слова философа начала века Александра Нечволодова, который, в свою очередь, вспомнил заветы св. Феодосия. И вот двойным эхом до нас доносится: «Нет иной Веры лучшей, чем наша чистая, Святая, Православная Вера. ...Не подобает хвалить чужую веру. Кто хвалит чужую веру, тот, все равно что свою хулит. Если же кто будет хвалить свою и чужую, то он двоеверец, близок ереси». А как поступать с еретиками, завещал Иосиф Волоцкий: «А иные, господине, говорят, что грех осуждать еретика,— читаем мы в послании епископу Нифонту Суждальскому и Торускому.— ино, господине, не только осужати их велено, но и казнити и в заточение посылати».

Казни, доносы, заточения — оборотная сторона всякого идеала.

Разве не Лениным было сказано: «Наш идеал исключает насилие над людьми»?

3

Но Бог ему судья, Владимиру Ильичу. Зато идеал, чьи хозяева не стояли у власти, сохраняет мощный заряд неокровавленного обаяния.

В настоящее время это прежде всего общественно-нравственная проповедь Толстого.

Одним из первых к возвышенному идеалу Толстого призвал В. Лакшин в статье «Возвращение Толстого-мыслителя» («Вопросы литературы», 1988, № 5). Справедливо требуя преодолеть наконец сто раз опровергнутый, но так и не умерший предрассудок, что Толстой был великий писатель, но слабый философ, В. Лакшин предупреждает: «Кое-что из прочно зачисленного нами в реестр ошибок и заблуждений было на деле пророческим видением будущего». Мы должны понять и принять Толстого во всей полноте и глубине, утверждает ученый. Толстой-мыслитель насущно необходим нашему тревожному времени, ибо он «занят поисками и утверждением и д е а л а, прежде всего идеала нравственного, то есть сознательного жизнеповедения человека, основанного на добре».

Необходимость высочайшего идеала Толстого для перестройки отстаивает и И. Константиновский, выступивший в «Огоньке» со статьей «Лев Толстой, как зеркало перестройки»: «Толстой искал, в сущности, то, что всегда ищут люди: смысл и цель жизни, твердую веру, Бога... Толстой, как, пожалуй, никто другой из великих русских писателей, мог бы участвовать в наших нынешних тревожных, порой даже отчаянных поисках».

Ненасилие, сознательное жизнеповедение, основанное на Добре, «Бог есть любовь» — все эти заповеди вызывают глубочайшее уважение и ничего иного вызвать не могут. Но боюсь, что это не «весь», не полный и цельный Толстой.

Будучи в свою эпоху оппозиционным, гонимым идеалом, толстовство не выявило до конца (хотя в немалой степени и выявило) свои принудительные, ограничительные, насильственные стороны. О, конечно, и здесь можно сказать, что «иго мое благо и бремя мое легко». Конечно, толстовство с его аскетизмом, роевым началом, недоверием к интеллекту, науке, культуре, демократии, женщине мучительно близко нашему несчастному сердцу, в которое все это въелось намертво (и неужели навсегда?).

Рискну, однако, и в этом случае повторить: как только появляется высочайший идеал — жди призыва к расправе. Идеал бескомпромиссен.

Призыв к расправе у Толстого, апологета непротивления злу насилием? Конечно. То есть да, к сожалению. Ибо толстовский идеал — как и всякий — не допускает выбора, варианта, иных возможностей. Да и какие могут быть «варианты», когда провозглашен идеал единения людей с Богом и между собой? Всякая иная «возможность» тем самым невольно, но неизбежно оказывается отступничеством от Бога и разъединением людей. Не правда ли?

Применение этого идеала к искусству привело известно к чему: «Есть только два рода хорошего христианского искусства,— пишет Толстой в знаменитом трактате «Что такое искусство»,— все же остальное... должно быть признано дурным искусством, которое не только не должно быть поощряемо, но должно быть изгоняемо, отрицаемо и презираемо». Да, Шекспир, Гете, Данте, Шуман, Берлиоз, Лист, особенно презираемый Толстым Вагнер, не говоря уже о «декадентах». А то, что было бы со всеми и всякими «сюрреализмами-постмодернизмами», мы прекрасно представляем, потому что у нас вполне в духе Толстого действовала исходящая из великого идеала жесткая нормативная система, называвшаяся социалистическим реализмом. И почему только у нас? Для пришедшего к власти гитлеризма «не терпящей отлагательств оказалась акция отторжения чуждого духовного материала. Под действие закона о конфискации произведений «выродившегося искусства» из музеев и частных коллекций попало, по мнению специалистов, более двадцати тысяч работ, заточенных в спецхранилищах, ...сожженных в 1938 году во дворе Главной пожарной команды Берлина (4289 работ)». (Юрий Маркин. Искусство третьего Рейха.— «Декоративное искусство СССР», 1989, № 3). «Изгоняемо, отрицаемо и презираемо»...

И ведь подобные приговоры у Толстого не исключение. Легко привести множество подобных приговоров в отношении... ну, скажем, науки. Вот идеал: «Настоящая наука та, которую необходимо знать каждому... вся она сводится к тому, чтобы любить Бога и ближнего, как говорил Христос». Из этого, безусловно, прекрасного идеала следует разгромный вывод: «Нет ничего вреднее тех пустяков, которые называются праздными людьми нашего мира науками. ...астрономия, математика, в особенности столь любимая и восхваляемая так называемыми образованными людьми биология» и т. д. «Так называемые образованные люди»... «Образованцы»... «наши плюралисты»...

Обобщая все размышления, Толстой доверяет «нравственному и честному христианину» высказать окончательный приговор: «Лучше пускай не было бы никакого искусства, чем продолжалось бы то развращенное искусство или подобие его, которое есть теперь». И почему только искусство? Этот вывод можно распространить и на культуру в целом.

В этом суждении Л. Толстого наглядно выявляется нигилистический заряд всякого идеала: если нечто не подчиняется и не способно подчиниться предписанному критерию, то пусть лучше этого не будет совсем.

Нельзя не вспомнить предупреждение Н. А. Бердяева: «Мало кто сомневается в высоте толстовского морального сознания. В то время как принятие этого толстовского морального сознания влечет за собой погром и истребление величайших святынь и ценностей... Толстой является одним из виновников разгрома русской культуры. Он нравственно подрывал возможности культурного творчества».

Культура, как и жизнь вообще, никакому идеалу не подчиняется и подчиниться не способна. А то самое святое горение во имя идеала, отсутствие которого так тревожит сегодня многих, способно устроить большой пожар. Подразумевается, что в очистительном огне сгорит то, что заслуживает уничтожения. Но «доколе», так сказать, будем мы впадать в одни и те же иллюзии? А иллюзия «очистительного пожара», безусловно, самая опасная. Ведь именно она лежала в основе «принятия революции» Александром Блоком и вызвала у поэта, носившего в сердце «прозрачную свежесть Кремля», чудовищные строки: «Не бойтесь разрушения кремлей, дворцов, картин, книг... Дворец разрушаемый — не дворец. Кремль, стираемый с лица земли,— не кремль».

Идеал — это прокрустово ложе жизни. Идеал — это то самое, что разрешает «кровь по совести». Кровь по совести разрешает не цинизм, не беспринципность (хотя бы потому, что «совести» у них нет), «кровь по совести» человек разрешает себе с санкции идеала. А если идеал запрещает пролитие крови, то инакомыслящий сжигается живьем.

4

«Прекрасное есть идеал» (Достоевский), «какая же была бы жизнь без идеала» (Толстой). Весь авторитет пророчества и гениальности ведет нас к надежде на идеал. И столь возвышенна, столь благородна эта надежда, что отказ от нее представляется кощунством.

Хотя кровавый опыт нашего столетия беспощадно доказал, что идеал есть истребляющая жизнь утопия.

Восстав против утопии, измученные воплощенными утопиями, мы, однако, продолжаем разграничивать утопию и идеал, надеясь на то, что, избавившись от очередной «плохой» утопии (поняли же, что «хороших» утопий не бывает), мы обретем возможность спасения в очередном «прекрасном» идеале.

Насилие, перерастающее в произвол, предельное недоверие к жизни, стремление все охватить собою, не оставляя ни молекулы свободы,— неизбежные свойства всякого идеала, и в этом смысле всякий идеал неизменно чреват чрезвычайным положением. «Гордость и честь советского человека должны быть восстановлены в полном объеме». (!) («Известия», 20 августа, стр. 1.)

Но здесь мне скажут, что таковы свойства идеала **земного**. Христианство же воздвигает идеал **небесный**. И от имени этого высочайшего, чистейшего идеала не могут выступать не только какой-нибудь Мих. Антонов, но даже Иосиф Волоцкий. Мне скажут, что преступления, совершенные ради земного идеала, были действительно порождены им, но преступления, совершенные ради идеала небесного, были страшным его нарушением.

Но вот перед нами отрывки из дневника Александра Викторовича Ельчанинова. Священник, писатель, мыслитель, он был одарен замечательным педагогическим талантом. «Будучи убежденным христианином, он стремился пробуждать в юных душах любовь к вечным евангельским идеалам»,— так писал о нем покойный отец Александр Мень, подготовивший публикацию этих отрывков в журнале «Искусство кино».

Дневник — интимнейшая беседа с собственной душой, устремленной к небесному идеалу, к «источнику света — Христу». Можем ли мы выслушать А. В. Ельчанинова как истинного представителя высочайшего идеала? Думаю, что можем.

Но разве не с тем бо́льшим страхом убеждается читатель, что А. В. Ельчанинов призывал катастрофы на голову ближнего, который не разделял его идеала и воплощал иные «варианты» жизнеповедения?

«Вот тип человека, часто встречающийся: в нем соединение трех черт: 1) гордость, вера в свои силы, упоение своим творчеством, 2) страстная любовь к земной жизни и 3) отсутствие чувства греха. Как такие люди могут подойти к Богу? Таковы, как они есть, они безнадежно изолированы от Бога, лишены даже потребности в Нем. Этот тип культивируется современной жизнью — воспитанием, литературой и т. д. Идея Бога вытравлена в его душе, и какие нужны катастрофы, чтобы такой человек мог возродиться!»

Даже добро, совершаемое помимо идеала Бога, Ельчанинов не принимает, считая фальшивым: «Есть люди, которые, как будто не веря в Бога, «живут морально, делая добро». Большею частью это ложная мораль и фальшивое добро, изнутри отравленное скрытым тщеславием и гордостью».

Богатство не только материальное, но богатство всех жизненных сил человека — способности, талант, воля, сила, красота, здоровье — все это враждебно высшему идеалу, который носил в своей душе А. В. Ельчанинов. «Да, поистине блаженны нищие в смысле имущества — как легко им приобрести евангельскую легкость духа и свободу от земных пут, но блаженны и не имеющие здоровья и молодости..., блаженны некрасивые, неталантливые, неудачники — они не имеют в себе главного врага — гордости, так как им нечем гордиться. ...Не только богатство материальное мешает вхождению в Царство Божие; еще больше богатство душевное, талантливость, специальные способности, воля».

...Ибо если идеал просто велнкий (если так можно выразиться) режет и рубит, но предполагает все же, что в обрубленном виде жизнь будет продолжаться, то идеал велнчайший тайно замешен на уничтожении жизни.

5

Наша духовная атмосфера всегда была настояна на идеале. Именно поэтому, мне кажется, самым «невостребованным» из блестящей плеяды философов русского религиозного ренессанса остается Лев Шестов, решившийся на отчаянную вещь — на восстание против идеала ради человека. Идеал (он же абсолютное Благо, Добро, Высшая нравственность, Категорический императив) прежде всего требует жертв, пишет философ, и призывает идеал к ответу за пролитую кровь. Жертвы никогда не «спасали» человечество, но укрепляли тираническую власть идеала. Пойти на крест за свой идеал... «Но разве крест — это аргумент?» — кощунственно воскликнул Фридрих Ницше, любимый философ Льва Шестова. В русской традиции мы должны ответить: да! крест — это не просто аргумент, это высший аргумент, который может привести личность.

В статье «Юлий Цезарь» Шекспира», вошедшей в книгу «Апофеоз беспочвенности» (и опубликованной в прошлом году журналом «Иностранная литература»), философ предпринимает исследование этого комплекса идей, выявляя бесчеловечность идеала, его агрессивный напор на человека: «Ведь высшее, абсолютное благо — это приносить в жертву высокой нравственности себя и других». Причем эти жертвы и страдания должны ощущаться не как жертвы и страдания, а как величайшее счастье: «А там уж история вас не забудет и соорудит вам памятник — каждому отдельно или всем вместе, если вас наберется много». Жертв набралось очень много. «Предощущения Шестова, его страх-отчаяние перед лицом диктатуры «высоких» принципов и идеалов для XX века оказались пророческими»,— пишет Н. Мотрошилова в сопровождающей шестовскую публикацию статье «Невыносимое слово «жертва»...». Но зачем взят в кавычки эпитет «высоких»? Разве ради псевдовысоких, ложно высоких, а не действительно высочайших идеалов пролились реки крови?

Само слово «идеал», надежда на идеал все еще гипнотизируют нас. Гипнотизировала даже и Льва Шестова, у которого вырвалась однажды поразительная мысль: «Множественность миров, множественность людей и богов среди необъятных пространств необъятной вселенной,— да ведь это (да простится мне слово) идеал!»

Идеал множественности, идеал разнообразия, вариативный идеал — да ведь это — contradictio in adiecto!

Идеал единствен, совершенен и абсолютен. И как не тянуться к идеалу? Идеал прекрасен, а жизнь нехороша, больна, тяжела и вообще обречена смерти.

Вероятно, можно сказать, что весь русский религиозный ренессанс (с особой позицией Шестова) был страстно устремлен к идеалу. Причем вот тут уж идеал провозглашался столь великий, столь окончательный, что выше и окончательнее ничего невозможно вообразить. «Окончательная победа над смертью», жажда «преображения мира, конца данного мира, ограниченного, испорченного, смертного» с тем, чтобы «заменить его миром иным» — это настойчивый мотив творчества философов религиозного ренессанса начала века (я в данном случае использую формулировки Н. А. Бердяева из его статьи «О новом религиозном сознании»). «Идея конца тем и заманчива, тем и прекрасна,— пишет Бердяев,— что она есть вместе с тем идея начала, не смерти, а вечной жизни». Слово сказано: конец. Идея конца. Конца «этой» жизни. Конца жизни. Правда, сразу следуют пояснения о «воскресении», «преображении», но жизнь-то уже уничтожена. В этом смысле всякий идеал (и чем он выше, тем сильнее) предполагает чудо и требует чуда. Сияющего воскресения уничтоженной жизни.

Опыт XX века со всей беспощадностью доказал, что чуда не будет. Жизнь есть — такая, как есть, та самая, которая нехороша, больна, тяжела и вообще обречена смерти. Преодоления смерти не будет. Всеобщего счастья не будет. А вот идеал преодоления смерти и всеобщего счастья вполне может воплотиться — в уничтожении жизни, ибо никак иначе он воплотиться не может.

Ростов-на-Дону

До основанья, а затем...

Одним из верных признаков морального состояния общества является отношение к обездоленным: инвалидам, тяжелым больным, сиротам, одиноким старикам, жизнь которых невозможна без посторонней помощи.

Многие годы считалось, что в нашей стране в условиях социализма эта проблема решена, так как государство обеспечивает нуждающихся всем необходимым и оснований для беспокойства не должно быть.

Однако в последние годы, когда открылось истинное положение дел в детских домах, психиатрических больницах, домах для престарелых, когда выяснилось, как много в стране людей, живущих ниже черты бедности, без определенного места жительства, наркоманов и алкоголиков, стало очевидным, что без привлечения общественности изменить положение вряд ли удастся.

Мы привыкли считать — и нас в этом убеждали с упорством, достойным лучшего применения,— что большинство наших недостатков — это наследие проклятого прошлого, пережитки капитализма в обществе и сознании людей. Игнорирование или в лучшем случае слабое знание истории способствовало укреплению веры в этот постулат.

В результате огромная благотворительная деятельность многих поколений россиян неизвестна большинству наших нынешних сограждан. Утеряна или ослаблена память о многих десятках и сотнях благородных людей, отдавших свои состояния для помощи сирым и несчастным. Между тем жизни этих подвижников могут служить примером бескорыстного служения добру.

Традиции помощи слабым в России давнишние. Еще в начале XII века Владимир Мономах в своем «Поучении» писал: «Всего же более — убогих не забывайте». История свидетельствует о том, что эти традиции не прерывались и умножались вплоть до века нынешнего.

В этой связи я хочу представить читателям книгу, которая рассказывает о замечательных людях России, их добрых делах в области призрения неимущих и больных. Мне думается, что в наш жестокий век эта книга заслуживает особого внимания.

Автор книги, известный ученый-медик профессор Павел Васильевич Власов, многие годы жизни посвятил исследованию истории больниц, приютов, богаделен, вдовьих домов и других «богоугодных» заведений, построенных на территории Москвы и ее пригородов на личные средства благотворителей. Не ограничившись изучением многочисленных книг и документов, этот немолодой и притом отнюдь не богатырского здоровья человек, колеся на стареньком велосипеде по городу и окрестностям, посетил здания всех бывших и нынешних странноприимных домов, познакомился с их архитектурой и состоянием. Из многочисленных, нередко трудных разысканий сложилась книга, которую автор посвятил памяти своей трагически погибшей дочери.

Начиная с эпохи Петра Первого и до 1917 года прослежены все основные этапы становления домов призрения, возводимых усилиями общественности и частных лиц. Среди последних были купцы, дворяне и даже члены императорской фамилии. Так, например, самая старая из сохранившихся московских больниц, Павловская, а ныне 4-я городская, не случайно была названа в честь сына Екатерины II — будущего императора Павла. В девятилетнем возрасте он тяжело заболел и дал обет в случае выздоровления основать больницу для бедных. Мальчик поправился, и завет был исполнен. Для оплаты расходов на приобретение здания больницы цесаревич в течение девяти лет платил по 1500 рублей. В настоящее время это одно из крупных клинических учреждений Москвы.

Колоритна личность купца и издателя Козьмы Терентьевича Солдатенкова. Этот богатый предприниматель завещал «на предмет устройства и содержания в Москве новой бесплатной больницы для бедных без различия званий, сословий и религий...» сумму в 2 миллиона 81 тысячу 561 рубль 38 копеек. Больницу, по указанию завещателя, следовало пост-

---

П. Власов. Обитель милосердия. М., Московский рабочий, 1991.

роить на территории бывшего Ходынского поля, где произошла трагедия при коронации Николая II, стоившая жизни свыше тысячи горожанам. Открыта она была в 1910 году и до 1920 года именовалась Солдатенковской, после чего была переименована в Боткинскую, так как власти сочли имя Солдатенкова недостойным высокой чести. Только в нынешнем году горожане смогли отдать запоздалую дань достойному сыну Москвы: на территории больницы был установлен его бюст.

Небезынтересно отметить, что Солдатенков материально поддерживал некоторых опальных писателей, в том числе Н. Г. Чернышевского после лишения его гражданских прав, хотя взгляды последнего отнюдь не совпадали с его убеждениями человека глубоко верующего, старообрядца. Наряду с другими добрыми делами он основал на свои средства в Москве учебное заведение для подготовки среднего медицинского персонала.

Среди многих щедрых жертвователей, основавших больницы и дома призрения в Москве, автор упоминает П. А. Демидова, княгиню Екатерину Дмитриевну Голицыну (дочь молдавского господаря Дмитрия Кантемира, в девичестве Смарагда Кантемир), доктора Ф. П. Гааза, камергера и командора П. П. Бекетова, Ю. Т. Крестовникову (урожденную Морозову), В. Е. Морозова, Н. А. Алексеева, П. М. Третьякова.

Благотворители заботились и об архитектуре зданий, в которых размещались основанные ими учреждения. Уже то, что для этого привлекались такие выдающиеся зодчие, как М. Ф. Казаков, О. М. Бове, Дж. Кваренги, А. И. Герман, А. А. Михайлов, Д. И. Жилярди, Е. С. Назаров, говорит о многом. В проектируемых ими зданиях и ансамблях отразились архитектурные стили всех эпох — от средневековья до начала нынешнего века. Эти сооружения являются и хранителями истории России, ее памятниками, и как таковые требуют надежной защиты со стороны современной общественности и государства.

Книга состоит из очерков, посвященных развитию различных видов и форм общественного призрения. Приведенные в ней многочисленные яркие примеры из глубины времен как бы взывают к добру, милосердию, подвижничеству, бескорыстному служению людям, в первую очередь бедным и немощным.

Один из первых читателей написал автору письмо-отзыв: «Ваша книга, несомненно, заполнит хотя бы частично пробел, который существовал в течение многих десятилетий, когда слово «милосердие» было почти забыто, как устаревшее и ненужное. Продолжайте работать над темой, такие книги необходимы нашему выздоравливающему обществу». Читатель этот — академик Дмитрий Сергеевич Лихачев.

Весьма желательно переиздание книги: ограниченный объем ее не позволил автору углубиться в своих исследованиях в более давние времена, к примеру, почти не нашел отражения монастырский период общественного призрения. К тому же тираж книги (15 000 экземпляров) явно недостаточен: так немаловажно ее нынешнее значение и звучание; будет лучше, если ее прочтут как можно больше людей, особенно молодых. Хотелось бы помечтать, чтобы среди читателей были и современные предприниматели, у которых появляются все большие возможности для благотворительности.

И последнее. Хотя книга посвящена прошлому, думается, что она весьма актуальна сегодня, когда неблагополучие нашей жизни нередко вызывает в людях злобу, нетерпимость, зависть. Напоминание о доброте и живые примеры истинного человеколюбия не могут не принести пользы. «Добро не наука,— говорил Ромен Ролан,— оно действие».

Л. С. Розенштраух,
профессор,
заслуженный деятель науки РСФСР

Содержание журнала «Знамя» за 1991 год

ПРОЗА

ПОЭЗИЯ

ПУБЛИЦИСТИКА

Urbi et orbi

МЕМУАРЫ. АРХИВЫ. СВИДЕТЕЛЬСТВА

КРИТИКА

Статьи

Рецензии

МЕЖДУ ПРОЧИМ

СОВЕТУЕМ ПРОЧИТАТЬ

ПРИСТАЛЬНОЕ ПРОЧТЕНИЕ

ИЗ ПОЧТЫ «ЗНАМЕНИ»

Адрес редакции: 103863 ГСП, Москва, ул. Никольская 8/1.
Телефоны: главный редактор — 921-24-30, заместители главного редактора — 921-13-81 и 921-08-09, ответственный секретарь — 928-22-78, отдел прозы — 923-72-82, отдел публицистики — 921-14-64, отдел критики и библиографии — 928-29-42, отдел поэзии — 921-59-67, для справок — 924-13-46.

Технический редактор Л. С. Алексеева.

Сдано в набор 03.10.91. Подписано к печати 01.11.91. Формат 70×106 1/16.
Печать высокая. Усл. печ. л. 21,00. Усл. кр.-отт. 21,70. Уч.-изд. л. 23,17.
Тираж 419 000 экз. Заказ № 975. Цена 1 р. 90 к.

Типография издательства «Правда». 125865, ГСП, Москва, А-137, ул. «Правды», 24.